



С. Т. АКСАКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

С. Т. АКСАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

С. Т. АКСАКОВ

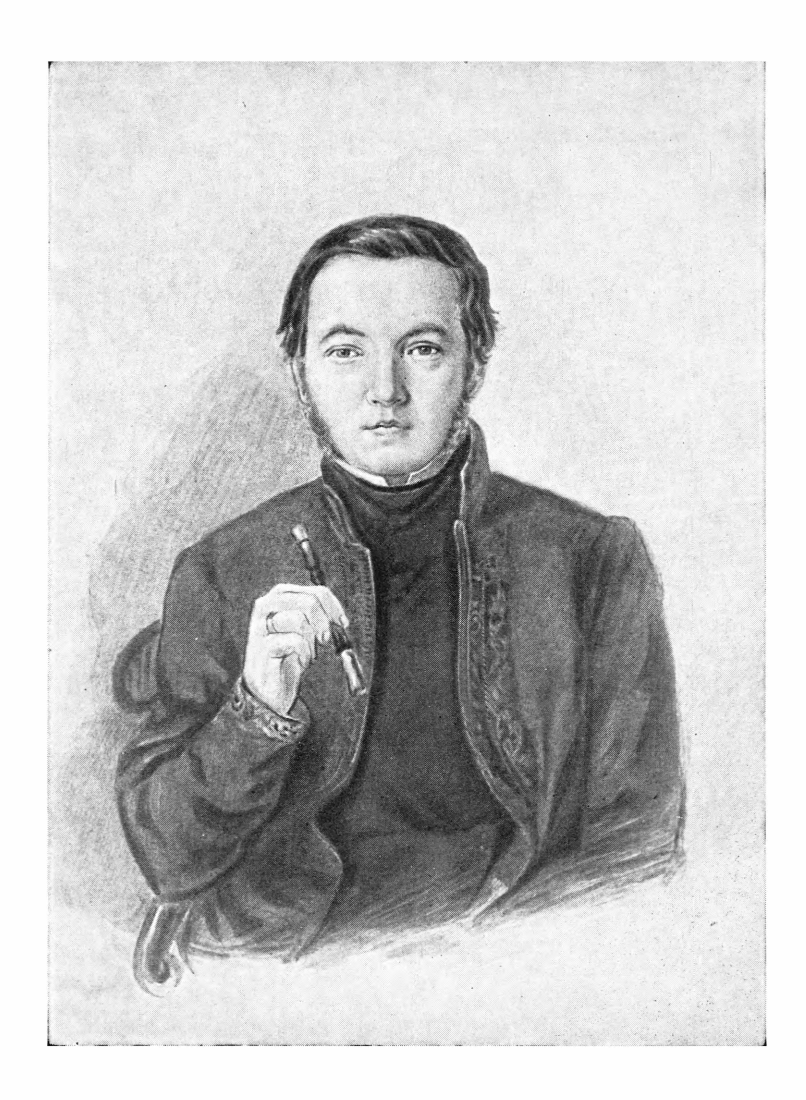
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

Подготовка текста и примечания
С. МАШИНСКОГО



ВОСПОМИНАНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

ГИМНАЗИЯ

Период первый

В середине зимы 1799 года приехали мы в губернский город Казань. Мне было восемь лет. Морозы стояли трескучие, и хотя заранее были наняты для нас две комнаты в маленьком доме капитанши Аристовой, но мы не скоро отыскали свою квартиру, которая, впрочем, находилась на хорошей улице, называющейся «Грузинскою». Мы приехали под вечер в простой рогожной повозке на тройке своих лошадей (повар и горничная приехали прежде нас); переезд с кормежки сделали большой, долго ездили по городу, расспрашивая о квартире, долго стояли по бестолковости деревенских лакеев, — и я помню, что озяб ужасно, что квартира была холодна, что чай не согрел меня и что я лег спать, дрожа как в лихорадке; еще более помню, что страстно любившая меня мать также дрожала, но не от холода, а от страха, чтоб не простудилось ее любимое дитя, ее Сереженька. Прижавшись к материнскому сердцу и прикрытый сверх одеяла лисьим, атласным, еще приданым салопом, я согрелся, уснул и проснулся на другой день здоровым, к неописанной радости моей встревоженной матери. Сестра моя и брат, оба меня моложе, остались в Симбирской губернии, в богатом селе Чуфарове, у

двоюродной тетки моего отца, от которой в будущем ожидали мы наследства; но в настоящее время она не помогала моему отцу ни одной копейкой и заставляла его с семейством терпеть нередко нужду: даже взаймы не давала ни одного рубля. Не знаю, какие обстоятельства принудили моих родителей, при их стесненном положении в деньгах, приехать в губернский город Казань, но знаю, что это было сделано не для меня, хотя вся моя будущность определилась этой поездкой. Проснувшись на другой день, я был поражен движением на улице; до сих пор я ничего подобного не видывал. Впечатление было так сильно, что я не мог оторваться от окошка. Не удовлетворяясь ответами на мои расспросы приехавшей с нами женщины Параши, которая сама ничего не знала, я добился какой-то хозяйской девушки и мучил ее несколько часов сряду, задавая иногда такие вопросы, на которые она отвечать не умела. Отец и мать ездили в собор помолиться и еще куда-то, по своим делам, но меня с собою не брали, боясь жестоких крещенских морозов. Обедали они дома, но вечером опять уехали; утомленный новыми впечатлениями, я заснул ранее обыкновенного, болтая и слушая болтовню Параши; но только что разоспался, как ласковая рука той же Параши бережно меня разбудила. Мне сказали, что за мною прислали возок, что мне надобно встать и ехать в гости, где ожидали меня отец и мать. Меня одели в праздничное платье, умыли и причесали, закутали и посадили в возок вместе с тою же Парашей. Вырванный из крепкого ребячьего сна, испуганный таким происшествием, какого со мной никогда не бывало, застенчивый от природы, с замирающим сердцем, с предчувствием чего-то страшного, ехал я по опустевшим городским улицам. Наконец, мы приехали. Параша раздела меня в лакейской, повторила мне на ухо слова, несколько раз сказанные дорогой, чтоб я не робел, довела за руку до гостиной, лакей отворил дверь, и я вошел. Блеск свечей и громкие речи так меня смутили, что я остановился как вкопанный у двери. Первый увидел меня отец и сказал: «А вот и рекрут». Я смешался еще более. «Лоб!» — произнес чей-то громовой голос, и мужчина огромного роста поднялся с кресел и пошел ко мне,

Я так перепугался, ибо понимал страшный смысл этого слова, что почти без памяти бросился бежать. Громкий хохот всех присутствующих остановил меня, но матери моей не понравилась эта шутка: материнское сердце возмутилось испугом своего дитяти; она бросилась ко мне, обняла меня, ободрила словами и ласками, и, поплакав, я скоро успокоился. Теперь надобно рассказать, куда привезли меня: это был дом старинных друзей моего отца и матери, Максима Дмитрича и Елизаветы Алексеевны Княжевичей, которые прежде несколько лет жили в Уфе, где Максим Дмитрич служил губернским прокурором (вместе с моим отцом) и откуда он переехал, также прокурором, на службу в Казань. Максим Дмитрич еще в молодости выехал из Сербии. Он прямо поступил в кавалергарды, а потом был определен в Уфу прокурором Верхнего земского суда. Он мог назваться верным типом южного славянина и отличался радушием и гостеприимством; хотя его наружность и приемы, при огромном росте и резких чертах лица, сначала казались суровыми и строгими, но он имел предобрейшее сердце; жена его была русская дворянка Руднева; дом их в городе Казани отличался вполне славянскою надписью над воротами: «Добрые люди, милости просим!»[1] — Когда Княжевичи жили в Уфе, то мы видались очень часто, и мы с сестрой игрывали вместе с их старшими сыновьями, Дмитрием и Александром, которые также были тут и которых я не скоро узнал; но когда мать все это мне напомнила и растолковала, то я вдруг закричал: «Ах, маменька, так это те Княжевичи, которые учили меня бить лбом грецкие орехи!» Восклицание мое возбудило общий смех. Робость прошла, и я сделался весел и вновь подружился с старыми приятелями; они были одеты в зеленые мундиры с красными воротниками, и я узнал, что они отданы в казанскую гимназию, куда через час их увезли. Это случилось в воскресенье; молодые Княжевичи были отпущены к родителям с утра до восьми часов вечера. Мне стало скучно, и, слушая раз-

[1] Надпись по длинноте и крупноте букв не умещалась, а поэтому была написана следующим образом: «Д. Л. Милости просим». Читая буквы по-старинному, то есть «Добро, Люди», получался почти тот же смысл, какой выражался бы в полной надписи.

говоры моего отца и матери с хозяевами, я задремал, как вдруг долетели до детского моего слуха следующие слова, которые навели на меня ужас и далеко прогнали сон. «Да, мой любезный Тимофей Степаныч и почтенная Марья Николавна, — говорил твердым и резким голосом Максим Дмитриевич, — примите мой дружеский совет, отдайте Сережу в гимназию. Особенно советую я это потому, что он, кажется, матушкин сынок; она его избалует, разнежит и сделает бабой. Мальчика пора учить; в Уфе никаких учителей не было, кроме Матвея Васильича в народном училище, да и тот ничего не смыслил; а теперь вы переехали на житье в деревню, где и Матвея Васильича не достанешь». Мой отец безусловно соглашался с этим мнением, а мать, пораженная мыслию разлуки с своим сокровищем, побледнела и встревоженным голосом возражала, что я еще мал, слаб здоровьем (отчасти это была правда) и так привязан к ней, что она не может вдруг на это решиться. Я сидел, как говорится, ни жив ни мертв и уже ничего не слышал и не понимал, что говорили. Часов в десять поужинали, но ни я, ни мать моя не могли проглотить ни одного куска. Наконец, тот же возок, который привез меня, отвез нас опять на квартиру. Когда мы легли спать и я по обыкновению обнял и прижался к сердцу матери, то мы оба с нею принялись громко рыдать. Кроме слов, заглушаемых всхлипываньями: «Маменька, не отдавай меня в гимназию», я ничего сказать не мог. Мать также рыдала, и мы долго не давали спать моему отцу. Наконец, мать решила, что ни за что со мною не расстанется, — и к утру мы заснули.

Мы пробыли в Казани недолго. После я узнал, что мой отец и Княжевичи продолжали уговаривать мою мать отдать меня немедленно на казенное содержание в казанскую гимназию, убеждая ее тем, что теперь есть вакансия, а впоследствии, может быть, ее не будет; но мать моя ни за что не согласилась и сказала решительно, что ей надобно по крайней мере год времени, чтобы совладеть с своим сердцем, чтобы самой привыкнуть и меня приучить к этой мысли. От меня все было скрыто, и я поверил, что этой страшной беды никогда со мною не случится.

Мы опять потащились на своих лошадях, сначала

в Симбирскую губернию, где взяли сестру и брата, и потом пустились за Волгу в Новое Аксаково, где оставалась новорожденная сестра Аннушка. Езда зимой на своих, по проселочным дорогам тогдашней Уфимской губернии, где по целым десяткам верст не встречалось иногда ни одной деревни, представляется мне теперь в таком ужасном виде, что сердце замирает от одного воспоминания. Проселочная дорога была не что иное, как след, проложенный несколькими санями по снежным сугробам, при малейшем ветерке совершенно заметаемый верхним снегом. По такой-то дороге надобно было тащиться гусем, часов семь сряду, потому что пряжки, или переезды, делались верст по тридцати пяти и более; да и кто мерил эти версты! Для этого надобно было подниматься с ночлега в полночь, будить разоспавшихся детей, укутывать шубами и укладывать в повозки. Скрип от полозьев по сухому снегу терзал мои чувствительные нервы, и первые сутки я всегда страдал желчной рвотой. Кормежки и ночевки в дымных избах вместе с поросятами, ягнятами и телятами, нечистота, вонь... не дай бог никому и во сне все это увидеть. Не говорю уже о буранах, от которых иногда надобно было останавливаться в какой-нибудь деревушке, ждать суток по двое, когда затихнет снежный ураган... Страшно вспомнить! Но мы приехали, наконец, в мое милое Аксаково, и все было забыто. Я начал опять вести свою блаженную жизнь подле моей матери; опять начал читать ей вслух мои любимые книжки: «Детское чтение для сердца и разума» и даже «Ипокрену, или Утехи любословия», конечно не в первый раз, но всегда с новым удовольствием; опять начал декламировать стихи из трагедии Сумарокова, в которых я особенно любил представлять вестников, для чего подпоясывался широким кушаком и втыкал под него, вместо меча, подоконную подставку; опять начал играть с моей сестрой, которую с младенчества любил горячо, и с маленьким братом, валяясь с ними на полу, устланному для теплоты в два ряда калмыцкими, белыми как снег кошмами; опять начал учить читать свою сестрицу: она училась сначала как-то тупо и лениво, да и я, разумеется, не умел приняться за это дело, хотя очень горячо им занимался. Я очень помню,

что никак не мог растолковать моей шестилетней ученице, как складывать целые слова. Я приходил в отчаяние, садился на скамеечке в угол и принимался плакать. На вопрос же матери, о чем я плачу, я отвечал: «Сестрица ничего не понимает...» Опять начал я спать с своей кошкой, которая так ко мне была привязана, что ходила за мной везде, как собачонка; опять принялся ловить птичек силками, крыть их лучком и сажать в небольшую горницу, превращенную таким образом в обширный садок; опять начал любоваться своими голубями, двухохлыми и мохноногими, которые зимовали без меня в подпечках по разным дворовым избам; опять начал смотреть, как охотники травят сорок и голубей и кормят ястребов, пущенных в зиму. Недоставало дня, чтобы насладиться всеми этими благами! Зима прошла, и наступила весна; все зазеленело и расцвело, открылось множество новых живейших наслаждений: светлые воды реки, мельница, пруд, грачовая роща и остров, окруженный со всех сторон старым и новым Бугурусланом, обсаженный тенистыми липами и березами, куда бегал я по нескольку раз в день, сам не зная зачем; я стоял там неподвижно, как очарованный, с сильно бьющимся сердцем, с прерывающимся дыханием... Всего же сильнее увлекала меня удочка, и я, под надзором дядьки моего Ефрема Евсеича, с самозабвением предался охоте удить рыбу, которой много водилось в прозрачном и омутистом Бугуруслане, протекавшем под самыми окнами деревенской спальни, прирубленной сбоку к старому дому покойным дедушкой для того, чтобы у его невестки была отдельная своя горница. Под самым окном, наклонясь над водой, росла развесистая береза; один толстый ее сучок выгибался у ствола, как кресло, и я особенно любил сидеть на нем с сестрой... Теперь воды Бугуруслана подмыли корни березы, она состарилась преждевременно и свалилась набок, но все еще живет и зеленеет. Новый хозяин посадил подле нее новое дерево...

О, где ты, волшебный мир, Шехеразада человеческой жизни, с которым часто так неблагосклонно, грубо обходятся взрослые люди, разрушая его очарование насмешками и преждевременными речами! Ты, золотое время детского счастия, память которого так сладко и

грустно волнует душу старика! Счастлив тот, кто имел его, кому есть что вспомнить! У многих проходит оно незаметно или нерадостно, и в зрелом возрасте остается только память холодности и даже жестокости людей.

Лето провел я в таком же детском упоении и ничего не подозревал, но осенью, когда я стал больше сидеть дома, больше слушать и больше смотреть на мою мать, то стал примечать в ней какую-то перемену: прекрасные глаза ее устремлялись иногда на меня с особенным выражением тайной грусти; я подглядел даже слезы, старательно от меня скрываемые. Встревоженный и огорченный, со всеми ласками горячей любви я приставал с расспросами к моей матери. Сначала она уверяла меня, что это так, что это ничего не значит; но скоро в ее разговорах со мной я начал слышать, как сокрушается она о том, что мне не у кого учиться, как необходимо ученье мальчику; что она лучше желает умереть, нежели видеть детей своих вырастающих невеждами; что мужчине надобно служить, а для службы необходимо учиться... Сердце сжалось у меня в груди, я понял, к чему клонится речь, понял, что беда не прошла, а пришла и что мне не уйти от казанской гимназии. Мать подтвердила мою догадку, и сказала, что она решилась; а я знал, что ее решенья тверды. Несколько дней я только плакал и ничего не слушал, и как будто не понимал, что говорила мне мать. Наконец, ее слезы, ее просьбы, ее разумные убеждения, сопровождаемые нежнейшими ласками, горячность ее желания видеть во мне образованного человека были поняты моей детской головой, и с растерзанным сердцем я покорился ожидающей меня участи. Все мои деревенские удовольствия вдруг потеряли свою прелесть, ни к чему меня не тянуло, все смотрело чужим, все опостылело, и только любовь к матери выросла в таких размерах, которые пугали ее. Меня стали приготовлять к школьному ученью. Для своего возраста я читал как нельзя лучше, но писал по-детски. Отец еще прежде хотел мне передать всю свою ученость в математике, то есть первые четыре арифметические правила, но я так непонятливо и лениво учился, что он бросил ученье. Тут все переменилось: в два месяца я выучил эти четыре правила, которые только одни из всей математики и теперь не позабыты

мной; в остальное время до отъезда в Казань отец только повторял со мной зады: в списывании прописей я достиг также возможного совершенства. Все это я делал на глазах у своей матери и единственно для нее. Она сказала мне, что сгорит со стыда, если меня не похвалят на экзамене, который надобно было выдержать именно в этих предметах при вступлении в гимназию, что она уверена в моих отличных успехах, — этого было довольно. Я не отходил от матери ни на шаг. Напрасно посылала она меня погулять или посмотреть на голубей и ястребов. Я никуда не ходил и всегда отвечал одно: «Мне не хочется, маменька». С намерением приучить меня к мысли о разлуке мать беспрестанно говорила со мной о гимназии, об ученье, непременно хотела впоследствии отвезти меня в Москву и отдать в университетский благородный пансион, куда некогда определила она, будучи еще семнадцатилетней девушкой, прямо из Уфы, своих братьев. Ум мой был развернут не по летам: я много прочел книг для себя и еще более прочел их вслух для моей матери; разумеется, книги были старше моего возраста. Надобно к этому прибавить, что все мое общество составляла мать, а известно, как общество взрослых развивает детей. Итак, она могла говорить со мной о преимуществах образованного человека перед невеждой, и я мог понимать ее. Будучи необыкновенно умна, владея редким даром слова и страстным, увлекательным выражением мысли, она безгранично владела всем моим существом и вдохнула в меня такую бодрость, такое рвение скорее исполнить ее пламенное желание, оправдать ее надежды, что я, наконец, с нетерпением ожидал отъезда в Казань. Мать моя казалась бодрою и веселою; но чего стоили ей эти усилия! Она худела и желтела с каждым днем, никогда не плакала и только более обыкновенного молилась богу, запершись в своей комнате. Вот где было настоящее торжество безграничной, бескорыстной, полной самоотвержения материнской любви! Вот где доказала мне мать любовь свою! Я был прежде больной ребенок, и она некогда проводила целые годы безотлучно у моей детской кровати; никто не знал, когда она спала, ничья рука, кроме ее, ко мне не прикасалась. Впоследствии она перешла весною,

в ростополь, страшную, посиневшую реку Каму, уже ни для кого не проходимую, ежеминутно готовую взломать свои льды, — узнав, что тоска меня одолела и что я лежу в больнице... Но это ничего не значит в сравнении с решимостью отдать в гимназию свое ненаглядное, слабое, изнеженное, буквально обожаемое дитя, по девятому году, на казенное содержание, за четыреста верст, потому что не было других средств доставить ему образование.

Пришла опять зима, и в декабре мы отправились в Казань. Чтобы не так было грустно матери моей возвращаться домой, по настоянию отца взяли с собой мою любимую старшую сестрицу; брата и меньшую сестру оставили в Аксакове с тетушкой Евгенией Степановной. В Казани мы остановились на прошлогодней квартире, у капитанши Аристовой. С Максимом Дмитричем Княжевичем мы переписывались из деревни; заранее знали, что есть казенная ваканция в гимназии, и заранее приготовили все бумаги, нужные для моего определения. Итак, недели через две, познакомясь предварительно через Княжевича со всеми лицами, с которыми надобно было иметь дело, и помолясь усердно богу, отец мой подал просьбу директору Пекену.

Совет гимназии предложил главному надзирателю (он же был инспектором) Николаю Ивановичу Камашеву проэкзаменовать меня, а доктору Бенису освидетельствовать в медицинском отношении. Камашев находился в отпуску; должность главного надзирателя исправлял надзиратель «благонравной» комнаты Василий Петрович Упадышевский, а должность инспектора классов — старший учитель российской словесности Лев Семеныч Левитский. Оба были добрые и ласковые люди, а Упадышевский впоследствии сделался истинным ангелом хранителем моим и моей матери; я не знаю, что было бы с нами без этого благодетельного старика. Поехав подавать просьбу директору, отец взял меня с собою, и директор приласкал меня. Левитский был нездоров и не мог приехать в совет гимназии, и потому отец повез меня к нему на квартиру. Лев Семеныч был любезный, веселый, краснощекий толстяк уже с порядочным брюшком, несмотря на свою молодость. Он очаровал своим приемом обоих нас: начал с того, что разласкал

и расцеловал меня, дал мне читать прозу Карамзина и стихи Дмитриева — и пришел в восхищение, находя, что я читаю с чувством и пониманием; заставил меня что-то написать — и опять пришел в восхищение; в четырех правилах арифметики я также отличился; но Левитский, как настоящий словесник, тут же отозвался о математике с пренебрежением. По окончании экзамена он принялся меня хвалить беспощадно; удивлялся, что мальчик моих лет, живя в деревне, мог быть так хорошо приготовлен. «Да кто же был его учителем в каллиграфии? — добродушно смеясь, спросил Лев Семеныч у моего отца,— ваш собственный почерк не очень красив?» Отец мой, обрадованный и растроганный почти до слез похвалами своему сыну, простодушно отвечал, что я достиг до всего своими трудами под руководством матери, с которою был почти неразлучен, и что он только выучил меня арифметике. Он прибавил к этому, что моя мать жила всегда в губернском городе, что мы недавно переехали в деревню, что она дочь бывшего значительного чиновника и большая охотница до книг и до стихов. «А, теперь я понимаю, — воскликнул Левитский, — отчего печать благонравия и даже изящества лежит на вашем милом сыне — это плод женского воспитания, плод трудов образованной матери». Мы уехали очарованные им. Доктор Бенис, который имел прекрасный дом на Лядской улице, принял нас очень учтиво и без всякого затруднения дал свидетельство о моем здоровье и крепком телосложении. Воротясь домой, я заметил, что мать моя много плакала, хотя глаза ее были такого свойства, что слезы не мутили их ясности и никакого следа не оставляли. Отец мой с жаром рассказал все случившееся с нами. Мать устремила на меня взгляд, выражения которого я не забуду, если проживу еще сто лет. Она обняла меня и сказала: «Ты мое счастье, ты моя гордость». Чего мне было больше? И я по-своему был счастлив, горд и бодр.

Мать моя сделала визит жене доктора Бениса и познакомилась с ним самим. Молодости, красоте, уму и слезам моей матери трудно было отказать в сочувствии; доктор и докторша полюбили ее, и доктор дал ей обещание, что в случае малейшего моего нездоровья будут мне оказаны все медицинские пособия. Обещание страш-

ное, по моим теперешним понятиям: я боюсь излишества медицинских пособий; но тогда оно несколько успокоило мою бедную мать. — Василий Петрович Упадышевский был вдовец, и двое его сыновей находились в числе казенных воспитанников казанской гимназии. Отец мой познакомился с ним и пригласил его к нам на квартиру. Этот добрый старик был так обласкан моею матерью, так оценил ее горячность к сыну и так полюбил ее, что в первое же свидание дал честное слово: во-первых, через неделю перевесть меня в свою благонравную комнату — ибо прямо поместить туда неизвестного мальчика показалось бы для всех явным пристрастием — и, во-вторых, смотреть за мной более, чем за своими повесами, то есть своими родными сыновьями. Он свято исполнил и то и другое. Как теперь гляжу на его добродушное и приветливое лицо, на его правую руку, подвязанную черной широкой лентой, потому что кисть руки была оторвана взрывом пушки и вместо нее привязывалась к руке черная перчатка, набитая хлопчатой бумагой; впрочем, он очень четко и хорошо писал левою рукою.

Наконец, все формальности были выполнены, и состоялось определение совета принять меня в гимназию на казенное содержание; даже сняли с меня мерку и сшили форменное платье. Напряженное состояние духа, в котором находилась мать моя и я сам, не ослабевало. Поехали в собор, отслужили молебны Гурию, Варсонофию и Герману, казанским чудотворцам; прямо оттуда отец с матерью отвезли меня в гимназию и отдали с рук на руки Упадышевскому; дядька мой, Ефрем Евсеич, также поступил туда в должность комнатного служителя. Прощанье, разумеется, сопровождалось слезами, благословениями и наставлениями, но ничего особенного не случилось. Меня отвезли поутру в десять часов: классы только что переменились [1], и все ученики нахо-

[1] Утренние классы зимой начинались в восемь часов; в десять переменялись учителя; в двенадцать классы оканчивались; в половине первого обедали; летом же классы начинались в семь часов, оканчивались в одиннадцать; обедали ровно в двенадцать, после обеда учение всегда начиналось в два и оканчивалось в шесть часов; ужинали в восемь, ложились спать в девять, вставали в пять часов летом и в шесть зимою.

дились в классных комнатах наверху. Спальные внизу были пусты, и мать моя могла осмотреть их, даже видеть ту кровать, на которой я буду спать; казалось, она всем осталась довольна. Как только уехали мои родители, Упадышевский взял меня за руку, отвел в класс чистописания, представил учителю, рекомендовал как самого благонравного мальчика и просил особенно мной заняться. Меня посадили за отдельный стол, вместе с новенькими, и заставили выписывать палочки. Я был так поражен, что находился точно в каком-то забытьи; все казалось мне сном, но страха и тоски я не чувствовал. После обеда, которого я не заметил, надели на меня форменную мундирную куртку, повязали суконный галстук, остригли волосы под гребенку, поставили во фрунт по ранжиру, по два человека в ряд, подле ученика Владимира Граффа, и сейчас выучили ходить в ногу. Я все исполнял, как говорится, машинально: точно дело шло не обо мне. По окончании классов Упадышевский встретил меня у дверей и, сказав: «Матушка тебя дожидается», отвел меня в приемную залу. Отец с матерью были там; отец, увидя меня, рассмеялся и сказал: «Вот как перерядили Сережу». А мать, которая в первую минуту меня не узнала, всплеснула руками, ахнула и упала без чувств. Я закричал, как исступленный, и также упал у ее ног. Упадышевский, смотревший в непритворенную дверь, перепугался и прибежал на помощь. Обморок моей матери продолжался около получаса, напугал моего отца и так встревожил бедного Упадышевского, что он призвал из больницы жившего там подлекаря Риттера, который давал матери моей какое-то лекарство и даже мне что-то дал выпить. Когда мать опомнилась, то сделалась очень слаба, и добрый Упадышевский сам предложил отпустить меня ночевать домой. «Так и быть, — говорил он, — пусть прогневается на меня Николай Иваныч (главный надзиратель), когда, воротясь, узнает об этом; правда, он ни за что бы не позволил, но я уж беру все на свою ответственность, только, пожалуйста, привезите его завтра к семи часам, прямо к завтраку». Мы не находили слов благодарить доброго человека и отправились на квартиру. Дома мать одумалась, ободрилась и меня ободрила. Она заставила себя спокойно смотреть

на мою, почти выбритую голову, где рука ее напрасно искала мягких, белокурых кудрей моих, на суконный галстук, который уже успел натереть мою нежную шею, никогда еще не носившую и шелкового платка. Во всем находила она разумную потребность, которой должно было покориться. Взаимная наша твердость духа и решимость с новою силою овладели нами. На другой день в семь часов я был уже в гимназии. Мать приезжала ко мне всякий день два раза, в двенадцать часов перед обедом, всего на полчаса, и в шесть часов вечера, и тогда я мог оставаться с ней часа полтора. При свиданьях со мною она казалась спокойною и даже веселою; но по печальному лицу моего отца я отгадывал, что дома без меня происходило совсем другое. Через несколько дней отец мой убедился, что дела так продолжаться не могут и что эти беспрестанные свиданья и прощанья — только одно бесполезное мученье; он призвал на совет Княжевича, и они вместе решили увезти немедленно мою мать в деревню. Решить было легко, да исполнить трудно: отец мой знал это очень хорошо; но, сверх его ожиданья и к большому удовольствию, мать моя скоро уступила общим просьбам и убеждениям. Слова доктора Бениса, принявшего в этом деле участие, без сомнения, имели большой вес. Он уверял, что частые свиданья, раздражая мои слабые нервы, вредны моему здоровью и что я никогда или очень долго не привыкну к новой моей жизни, если мать моя не уедет. Даже добрейший Упадышевский упрашивал о том же, утверждая, что в таком положении я не могу хорошо учиться и что учителя получат обо мне дурное мнение... и мать моя согласилась уехать на другой же день. Удивляюсь только одному, как она могла решиться обмануть меня? Она сказала мне перед обедом, что завтра или послезавтра уезжает и что мы еще увидимся раза два; сказала также, что вечер проведет у Княжевичей и потому ко мне не приедет. Уехать тихонько, не простясь со мной, — это была несчастная мысль, поддержанная Бенисом и Упадышевским. Разумеется, хотели пощадить нас обоих, и особенно меня, от последнего прощанья, но расчет оказался неверен. Я и теперь убежден, что эта благонамеренная хитрость произвела много печальных последствий.

В первый раз случилось, что мать не приехала ко мне вечером, и хотя я был предупрежден ею, но тоска и предчувствие неизвестной беды томили мое сердце. Ночь спал я дурно. На другой день поутру, когда я стал одеваться, дядька мой Евсеич подал мне записку: мать прощалась со мной; она писала, что если я люблю ее и хочу, чтоб она была жива и спокойна, то не буду грустить и стану прилежно учиться. Она уехала накануне в восемь часов вечера. Ясно помню я эту минуту, но описать ее не умею: что-то болезненное пронзило мою грудь, сжало ее и захватило дыхание; через минуту началось страшное биение сердца. Полуодетый, я сел на кровать и с безумным отчаянием глядел на всех, ничего не слушая и ничего не понимая. Упадышевский, который дни за два перевел меня в свою благонравную комнату и который знал об отъезде матери моей, следовательно понимал причину моего состояния, — не велел меня трогать, увел поскорее воспитанников наверх, поручил их одному из надзирателей и прибежал ко мне: я сидел на кровати в том же положении; Евсеич стоял передо мною и плакал. Что ни говорил Упадышевский, я не слыхал и молчал. Я не мог сообразить никакой мысли, и глаза у меня были, как мне после сказали, дикие и неподвижные. Меня отвели в больницу; я и там сел бессознательно на кровать и сидел так же молча и глядел так же дико. Через час приехал Бенис; он осмотрел меня по-докторски, покачал головой и сказал что-то по-французски; после я узнал от других, что он сказал: «Pauvre enfant»[1]. Мне дали проглотить отвратительное лекарство, раздели, положили в постель и принялись тереть суконками. Скоро сильный озноб и дрожь привели меня в память. Я громко закричал: «Маменька уехала!..» — и ручьи задержанных слез хлынули из моих глаз. Бенис, видимо, обрадовался, сел подле меня и начал говорить об отъезде моей матери, о необходимости этого отъезда для ее здоровья, о вредных следствиях прощанья и о том, как должен вести себя умненький мальчик в подобных обстоятельствах, любящий свою мать и желающий ее успокоить... Его слова были вдохновением свыше, по-

[1] Бедное дитя *(франц.)*.

тому что доктор, будучи весьма почтенным человеком, не отличался нежностию и мягкостию характера; слезы мои потекли еще сильнее, но мне стало легче. Бенис уехал. Я рыдал еще часа два и, наконец, заснул от утомления, и благотворный сон подкрепил мой слабый организм. Упадышевский приходил ко мне несколько раз; даже принес мне для развлечения «Детское училище», которого я еще не видывал. Упадышевский знал, что я был страстный охотник читать; но мне было тогда еще не до чтения. Я попросил позволения писать и писал к отцу и к матери весь день и весь вечер, и почти беспрестанно плакал. Ночь я спал беспокойно и много грезил, к чему я всегда был склонен. Евсеич не отходил от меня. На другой день поутру Бенис нашел мое здоровье в лучшем положении, выписал из больницы, потому что считал вредным для меня, в нравственном отношении, и бездействие и пребывание между больными, и велел занимать слегка ученьем. Упадышевский опять сам отвел меня в учебные комнаты, и я попал опять в тот же класс чистописания и потом в класс к священнику. Два часа слушал я, как сказывали мои товарищи свои уроки из катехизиса и священной истории, как священник задавал новый урок и что-то много толковал и объяснял; но я не только в этот раз, но и во все время пребывания моего в гимназии не понимал его толкований. Своих уроков на этот раз я не знал. Священник был предупрежден о моем болезненном состоянии, и хотя он был человек весьма не снисходительный и строгий, но ограничился одним выговором и велел приготовить уроки к следующему разу. После обеда, чтоб я не оставался праздным и не предался грустным мыслям, Упадышевский поручил одному из старших воспитанников, Илье Жеванову, хорошо рисовавшему, занять меня рисованием, к чему в детстве я имел большую склонность. Я сам слышал, как этот добрейший старик просил Жеванова сделать ему большое одолжение, которого он никогда не забудет, — заняться рисованьем с бедным мальчиком, который очень тоскует по матери, — и Жеванов занимался со мной; но ученье не только в этот раз, но и впоследствии не пошло мне впрок; рисованье кружков, бровей, носов, глаз и губ навсегда отвратило меня от рисованья. После же

вечерних классов все тот же благодетельный гений мой, Василий Петрович Упадышевский, заставил меня твердить уроки возле себя и, видя, что я сам не понимаю, что твержу, начинал со мною разговаривать о моей деревенской жизни, об моем отце и матери и даже позволял немного поплакать. Я не знаю, как пошла бы моя жизнь дальше; но тут внезапно все переменилось; на третий день, во время обеда, Евсеич подал мне записочку от матери, которая писала ко мне, что она стосковалась, не простившись со мною как следует, и что она, отъехав девяносто верст, воротилась назад, чтоб еще раз взглянуть на меня хотя одну минуту. Я никак не могу объяснить себе, отчего в первую минуту я не почувствовал той великой радости, которую, казалось бы, должно было мне почувствовать? Я будто испугался, будто не поверил, будто грезил во сне... Упадышевский также получил записку: мать просила отпустить меня с шести до девяти часов вечера, а если нельзя, то хотела приехать сама; к этому прибавляла она, что пробудет в Казани только до утра. Упадышевский приказал мне написать, чтобы Марья Николавна не беспокоилась и сама не приезжала, что он отпустит меня с дядькой, может быть, ранее шести часов, потому что на последние часы учитель, по болезни, вероятно не придет, и что я могу остаться у ней до семи часов утра. Я писал эти слова и решительно думал, что вижу сон. Евсеич побежал с моим письмом. Часа через полтора он воротился с такой радостной запиской, с такой горячей благодарностью Упадышевскому, что старик прослезился, прочитав письмецо моей матери. Евсеич рассказал нам, что барыня воротилась одна из села Алексеевского, в девяноста верстах от Казани по почтовому тракту, что барин остался там с барышней, которая нездорова, и что мать моя прискакала на почтовых, в легкой ямской повозке, с одной горничной и одним человеком. Я как будто начал приходить в себя, начал верить своему благополучию и вскоре так поверил, что последний час ожидания был для меня невыносимой пыткой. Учитель точно уведомил, что не будет, — и в четыре часа и пять минут я сел с моим дядькой в извозчичьи сани, уже не помня себя от неописанной радости. Мать моя остановилась, у кого не

помню, на Проломной улице, только это был не постоялый двор. Вбежав в комнату, я издали увидел, что мать моя, бледная и худая, сидит в теплом салопе, у затопленного камина, потому что комната была очень холодна. Эта минута свидания была такова, что невозможно дать о ней понятия! Подобного чувства счастия я не испытывал уже во всю мою жизнь. Несколько минут мы ничего не говорили, только плакали и радовались. Но это продолжалось недолго. Скоро мысль о близкой разлуке отогнала все другие мысли и чувства и болезненно сжала мое сердце. С горькими слезами рассказал я матери все происходившее со мной со времени внезапного ее отъезда. Я испугался, какое действие произвел мой рассказ! Как обвиняла себя и как раскаивалась бедная мать моя, что согласилась обмануть меня и уехать, не простясь! Потом она рассказала мне про себя; она не помнила, как выехала из Казани, потому что ей сделалось дурно, когда ее усадили в повозку. По мере удаления от города с каждым часом становилось ей тошнее; скоро овладела ею мысль воротиться назад, но убеждения отца и собственный рассудок удерживали на некоторое время стремление материнской любви. Наконец, она была не в состоянии противиться своим чувствам и воротилась одна, потому что побоялась растрясти мою сестру, и без того нездоровую. Мой отец и сестра должны были дожидаться ее в Алексеевском; для сестры моей даже нужен был отдых. Целый вечер и большую половину ночи провели мы в разговорах и слезах; но как всему есть мера, то и мы, можно сказать, пресытились слезами и заснули. Я помню, что несколько раз вздрагивал во сне и начинал рыдать, но мать обнимала меня, клала мою голову к себе на грудь, и я снова засыпал. В шесть часов нас разбудили. Мы были спокойнее и бодрее. Мать дала мне обещание, что по первому летнему пути она приедет в Казань и проживет до окончания экзаменов, а после гимназического акта, который всегда бывал в первых числах июля, увезет меня на вакацию в деревню, где я проживу до половины августа. Отрадное чувство наполнило мое сердце; мы простились довольно спокойно. В семь часов мать моя села в свою ямскую кибитку, а я с Евсеичем в извозчичьи сани, и мы в одно

время съехали со двора: повозка поехала направо к заставе, а я налево в гимназию; скоро мы свернули с улицы в переулок, и кибитка исчезла из моих глаз. Сердце у меня оторвалось, как говорится, грусть залегла в душе; но голова не была смущена, я понимал ясно, что вокруг меня происходило и что ожидает впереди. Огромное белое здание гимназии, с яркозеленой крышей и куполом, стоящее на горе, сейчас бросилось мне в глаза и поразило меня, как будто я его никогда не видывал. Оно показалось мне страшным, очарованным зáмком (о которых я читывал в книжках), тюрьмою, где я буду колодником. Огромная дверь на высоком крыльце между колоннами, которую распахнул старый инвалид и которая, казалось, проглотила меня; две широкие и высокие лестницы, ведущие во второй и третий этаж из сеней, освещаемые верхним куполом; крик и гул смешанных голосов, встретивший меня издали, вылетавший из всех классов, потому что учителя еще не пришли, — все это я увидел, услышал и понял в первый раз. Несмотря на то, что я жил в гимназии уже более недели, я не замечал ее. Только теперь почувствовал я себя казенным воспитанником казенного учебного заведения. Целый день я удивлялся всему, как будто новому, невиданному, и боже мой! как все показалось мне противно! Вставанье по звонку, задолго до света, при потухших и потухающих ночниках и сальных свечах, наполнявших воздух нестерпимой вонью; холод в комнатах [1], отчего вставать еще неприятнее бедному дитяти, кое-как согревшемуся под байковым одеялом; общественное умыванье из медных рукомойников, около которых всегда бывает ссора и драка; ходьба фрунтом на молитву, к завтраку, в классы, к обеду и т. д.; завтрак, который состоял в скоромные дни из стакана молока пополам с водою и булки, а в постные дни — из стакана сбитня с булкой; в таком же роде обед из трех блюд и ужин из двух... Чем все это должно было казаться изнеженному, избалован-

---

[1] В спальнях держали двенадцать градусов тепла, что, кажется, и теперь соблюдается во всех казенных учебных заведениях и что, по-моему, решительно вредно для здоровья детей. Нужно не менее четырнадцати градусов.

ному мальчику, которого мать воспитывала с роскошью, как будто от большого состояния? Но всего более приводили меня в отчаяние товарищи: старшие возрастом и ученики средних классов не обращали на меня внимания, а мальчики одних лет со мною и даже моложе, находившиеся в низшем классе, по большей части были нестерпимые шалуны и озорники; с остальными я имел так мало сходного, общего в наших понятиях, интересах и нравах, что не мог с ними сблизиться и посреди многочисленного общества оставался уединенным. Все были здоровы, довольны и нестерпимо веселы, так что я не встречал ни одного сколько-нибудь печального или задумчивого мальчика, который мог бы принять участие в моей постоянной грусти. Я смело бросился бы к нему на шею и поделился бы моим внутренним состоянием. «Что это за чудо, — думал я, — верно, у этих детей нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни дому, ни саду в деревне», и начинал сожалеть о них. Но скоро удостоверился, что почти у всех были отцы, и матери, и семейства, а у иных и дома и сады в деревне, но только недоставало того чувства горячей привязанности к семейству и дому, которым было преисполнено мое сердце. Само собою разумеется, что я как *нелюдим*, как *неженка*, *недотрога*, как *матушкин сынок*, который все *хнычет по маменьке*, — сейчас сделался предметом насмешек своих товарищей; от этого не могли оградить меня ни власть, ни нравственное влияние Василья Петровича Упадышевского, который не переставал и днем и ночью наблюдать за мной. Он сам запретил мне жаловаться на обиды товарищей, хорошо зная, как ненавидят в училищах ябедников, клеймя этим именем всякого, кто пожалуется начальству на оскорбление товарищей. Он поставил мою кровать между кроватями Кондырева и Мореева, которые были гораздо старше меня и оба считались самыми степенными и в то же время неуступчивыми учениками; он поручил меня под их защиту, и по их милости никто из шалунов не смел подходить к моей постели. Надобно заметить, что тогда не было у нас рекреационных зал и что казенные воспитанники и пансионеры все время, свободное от ученья, проводили в спальнях.

С самых первых дней, после окончательной разлуки с матерью, я принялся с жаром за ученье. Я упросил моих учителей (все через Упадышевского), чтобы мне задавали не по одному, а по два и по три урока, для того чтобы догнать старших учеников и не сидеть на одной лавке с новенькими. Способность понимания и память были у меня сильно развиты; через месяц я не только перегнал и оставил позади новеньких, но во всех классах сел за первый стол вместе с лучшими воспитанниками. Это обстоятельство усилило нерасположение ко мне и тех, которых я обогнал, и тех, с которыми я сравнялся.

В самое это время воротился к должности главный надзиратель Николай Иваныч Камашев. Не знаю, по справедливости ли считался он очень умным человеком, но то верно, что он был человек холодный, твердый, говоривший всегда тихо и с улыбкой и действовавший с непреклонною волею. Все без исключения боялись его гораздо больше, чем директора. Он любил власть, умел приобресть ее и пользовался ею с педантическою точностью. — Упадышевский отгадал, что Николай Иваныч на него прогневается; он сейчас узнал все отступления от устава гимназии, которые сделал для меня и для моей матери исправлявший его должность надзиратель, то есть: несвоевременное свидание с родителями, тогда как для того были назначены известные дни и часы, беззаконные отпуски домой и особенно отпуски на ночь. Главный надзиратель задал такую гонку моему благодетелю, что старик долго ходил задумавшись. Камашев сказал ему с тихою улыбкою: «что если что-нибудь подобное случится еще один раз, то он попросит почтеннейшего Василья Петровича оставить службу при гимназии». Я горько плакал, узнав об этом, и получил непреодолимое отвращение и ужас даже к имени главного надзирателя — и недаром: он невзлюбил меня без всякой причины, сделался моим гонителем, и впоследствии много пролила от него слез моя бедная мать. Дня через три после своего возвращения Камашев вызвал меня из фронта на средину залы и сказал мне довольно длинное поучение на следующую тему: что дурно быть избалованным мальчиком, что очень нехорошо пользоваться пристрастным снисхождением начальства и не быть

благодарным правительству, которое великодушно взяло на себя немаловажные издержки для моего образования. — Хотя я был кроткий и добрый мальчик, но впечатлительный и вспыльчивый от природы. Я стоял, потупив глаза, и неизвестное мне до тех пор чувство незаслуженного оскорбления и гнева волновало мою грудь. «Что вы не смотрите на меня? — вдруг сказал Камашев .— Это недобрый знак, если мальчик прячет свои глаза и не смеет или не хочет смотреть прямо на своего начальника... Глядите на меня!» — произнес он строго и возвыся голос. Я поднял глаза и, видно, в них так много выражалось внутреннего чувства оскорбленной детской гордости, что Камашев отвернулся и сказал, уходя, Упадышевскому: «Он совсем не так смирен и добр, как вы говорите». После я узнал, что главный надзиратель хотел перевесть меня из благонравной комнаты; он потребовал аттестаты всех учителей и надзирателей; но везде стояло: *примерного поведения и прилежания, отличный в успехах,* и Камашев оставил меня на прежнем месте. Во все время первого пребывания моего в гимназии он часто осматривал в классах мои книги и тетради, заставлял учителей спрашивать меня при себе и нередко придирался ко мне из пустяков, а надзирателям приказывал, чтобы заставляли меня играть вместе с воспитанниками, прибавляя, что он не любит *тихоней* и *особняков.* Теперь я понимаю, что такое замечание иногда бывает верно; но ко мне оно вовсе не шло и только умножало мое справедливое раздражение. Упадышевский нежно любил меня и, с заботливостью матери, всякий день осматривал мое платье и постель, чистоту рук, тетрадей и книг; он часто твердил мне, чтобы я всегда смотрел в глаза Николаю Иванычу и ничего не возражал на его замечания и выговоры; из любви к старику я исполнял в точности его наставления.

Камашев не унимался. По распоряжению гимназического начальства, никто из воспитанников не мог иметь у себя ни своих вещей, ни денег: деньги, если они были, хранились у комнатных надзирателей и употреблялись с разрешения главного надзирателя; покупка съестного и лакомства строго запрещалась; конечно, были злоупотребления, но под большою тайной. В числе других

строгостей находилось постановление, чтобы переписка воспитанников с родителями и родственниками производилась через надзирателей: каждый ученик должен был отдать незапечатанное письмо, для отправки на почту, своему комнатному надзирателю, и он имел право прочесть письмо, если воспитанник не пользовался его доверенностью. Это постановление решительно не исполнялось; но Камашев потребовал, чтоб Упадышевский показывал ему мои письма. Скрепя сердце добрый старик, который в каждом моем письме, не читая его, приписывал сам, должен был сделаться моим цензором. Первое прочитанное им письмо привело его в большое затруднение: оно все состояло из описания моего грустного ежедневного состояния, из жалоб на товарищей и даже на учителей, из выражений горячего желания увидеть мать, оставить поскорее противную гимназию и уехать из нее на лето в деревню. Не было ничего предосудительного, но Василий Петрович почувствовал, что в глазах Николая Иваныча каждое мое слово будет виновато, что он найдет тут ропот, обвинение начальства, клевету на учебное заведение и неблагодарность к правительству. Что было ему делать? Открыть мне настоящее положение дел — ему сначала не хотелось: это значило войти в заговор с мальчиком против своего начальства; он чувствовал даже, что я не пойму его, что не буду уметь написать такого письма, какое мог бы одобрить Камашев; лишить мою мать единственного утешения получать мои задушевные письма — по доброте сердца он не мог. — Целые сутки ломал он голову, но ничего не придумал, как сам он после сказывал, и решился, наконец, открыть мне всю истину, решившись в то же время обманывать своего строгого начальника. Таким образом, он заставил меня написать другое письмо, под его диктовку, совершенно официальное, и показал его главному надзирателю, который, разумеется, не мог в нем найти ничего к моему обвинению. Оба письма были отправлены вместе. Вся последующая переписка состояла уже из двойных писем: явных и тайных, даже тогда, когда мой гонитель перестал их читать. Василий Петрович сейчас написал к моей матери, отчего

это так делается; письма относил на почту сам Евсеич. Я не умел тогда оценить всю великость самоотвержения, с которым действовал мой благодетель; но мать моя оценила его вполне и написала к Упадышевскому письмо, в котором выражалась самая горячая материнская благодарность. Нечего и говорить, что она хотя не знала вполне гонений Камашева, но была очень ими встревожена.

Дела продолжали идти в прежнем порядке; но со мной случилась перемена, которая для всех должна показаться странною, неестественною, потому что в продолжение полутора месяца я бы должен был привыкнуть к новому образу жизни; я стал задумываться и грустить; потом грусть превратилась в периодическую тоску и, наконец, в болезнь. Две причины могли произвесть эту печальную перемену: догнав во всех классах моих товарищей, получая обыкновенные, весьма небольшие, уроки, которые я часто выучивал не выходя из класса, я ничем не был занят не только во все время, свободное от ученья, но даже во время классов, — и умственная деятельность мальчика, потеряв существенную пищу, вся обратилась на беспрестанное размышление и рассматриванье своего настоящего положения, на беспрестанное воображение, что делается в его семействе, как тоскует о нем его несчастная мать, и на воспоминание прежней, блаженной деревенской жизни. Я возненавидел в душе противную гимназию, ученье и решил по-своему, что оно совершенно бесполезно, совсем не нужно и что от него все дети делаются негодными мальчишками. Второю причиною, и, может быть, главнейшею — было несправедливое гонение Камашева. Каждое его появление производило потрясение в моих нервах, а он приезжал всякий день по два раза, и никто не знал времени его приезда. Не было такого часу ни днем, ни ночью, в который бы он когда-нибудь не посещал гимназии, и посещения эти были совершенно неожиданны и внезапны. Теперь я отдаю полную справедливость его неусыпной, хотя слишком строгой и педантической, деятельности, но тогда он казался мне тираном, извергом, злым духом, который вырастал как будто из земли даже в таких местах, куда и надзиратели не заглядывали. Его

страшный для меня образ поселился в детском моем воображении, и тягостное его присутствие со мной не расставалось. Притом тайные мои письма к матери сделались гораздо короче прежних и писались час от часу с бóльшим стеснением, с большей осторожностью. Я понял, наконец, какое насилие делает Упадышевский своему честному и прямодушному характеру и чем он рискует. — Впоследствии присоединилась и третья причина. В конце марта и в начале апреля солнце начало сильно греть, снег таял, ручьи побежали по улицам, дохнула весна, и ее дыхание потрясало нервы мальчика, еще бессознательно, но уже страстно любившего природу. Раздражительное действие солнечных весенних лучей на человеческий организм, — дело известное. Я живо помню, что в красные дни мне было гораздо тяжелее, чем в пасмурные. Как бы то ни было, только я начал задумываться, или, лучше сказать, переставал обращать внимание на всё, меня окружающее, переставал слышать, что говорили другие; без участия учил свои уроки, сказывал их, слушал замечания или похвалы учителей и часто, смотря им прямо в глаза, воображал себя в милом Аксакове, в тихом родительском доме, подле любящей матери; всем казалось это простою рассеянностью. Чтобы живее предаваться мечтам моего воображения, представительная сила которого возрастала с каждым днем, я зажмуривал глаза и нередко получал толчки от соседей, которые думали, что я сплю. Один раз, в классе русской грамматики, злой мальчишка Рушка закричал: «Аксаков спит!» Учитель, спросив у других учеников, точно ли я спал, и получив утвердительный ответ, едва не поставил меня на колени. Я перестал зажмуривать глаза в классах, но стал чаще под известными предлогами уходить из них, разумеется сказавши прежде свой урок, и мне иногда удавалось спокойно простоять с четверть часа где-нибудь в углу коридора и помечтать с закрытыми глазами. По окончании послеобеденных классов, после получасового беганья в приемной зале, в котором я только по принуждению принимал иногда участие, когда все должны были усесться, каждый за своим столиком у кровати, и твердить урок к завтрашнему дню, я также садился, клал перед собою книгу и, посреди громкого бормотанья

твердимых вслух уроков, переносился моим воображением все туда же, в обетованный край, в сельский дом на берегу Бугуруслана. Скоро, однако, такое напряженное усилие воображения развилось до таких огромных размеров, что слабый телесный состав не мог их выносить. На меня стала нападать истерическая тоска, сопровождаемая такими тяжелыми слезами и рыданьями, что я впадал на несколько минут в беспамятство; после я узнал, что в продолжение его появлялись у меня на лице судорожные движения. Сначала я умел как-то скрывать мое состояние от всех. Я делал это бессознательно, может быть по тайному чувству угадывая, что мне станут мешать предаваться моим мечтам, которые составляли мою единственную отраду. Тоска почти всегда находила на меня вечером; я чувствовал ее приближение и выбегал через заднее крыльцо на внутренний двор, куда могли ходить все ученики для своих надобностей; иногда я прятался за колонну, иногда притаивался в углу, который образовывался высоким крыльцом, выступавшим из средины здания; иногда взбегал по лестнице наверх и садился в углу сеней второго этажа, слабо освещаемом снизу висящим фонарем. Вероятно, холодный воздух способствовал скорому прекращению припадков, и я возвращался на свое место в обыкновенном своем положении. Но один раз забежал я в незапертые классы, когда сторожа убирали их; сам не знаю, как я забился под скамью одного стола. Мне кажется, этот припадок продолжался долее прежних, может быть оттого, что случился не на свежем воздухе. Сторож заметил меня, хотел выгнать, но, видя, что я ничего не отвечаю, донес надзирателю; тот узнал меня и сказал Упадышевскому. Встревоженный старик прибежал ко мне наверх, но в самую эту минуту я очнулся и спокойно воротился с ним в свою комнату. До этого случая Упадышевский, обнадеженный моим почти двухмесячным пребыванием, моим прилежным ученьем, хотя и замечал мою рассеянность или задумчивость, но не придавал ей никакого особенного значения. Тут он расспросил меня подробно. Я рассказал ему с полною откровенностью все то, что знал о своем состоянии; но я многого не понимал и многого не помнил. В продолжение

ночи он сам и мой дядька Евсеич наблюдали за мной; я проспал до утра совершенно спокойно. Надобно заметить, что в продолжение всего первого периода моей болезни все ночи я спал хорошо; упоминаю об этом потому, что во втором периоде болезнь взяла совершенно противоположный характер. На другой день поутру, по обыкновению, приехал Бенис в больницу, куда и был я приведен Упадышевским. Доктор расспросил и осмотрел меня внимательно, нашел, что я несколько похудел, побледнел и что пульс у меня расстроен, но отпустил в класс, не предписал никакого лекарства, запретил изнурять меня ученьем, — не веря моим словам, что оно слишком легко, — приказал наблюдать за мной и никуда одного не пускать. Он прибавил к этому, чтобы всякий день, во время его приезда в больницу, я приходил к нему. Упадышевский принял все нужные меры: кроме того, что он сам беспрестанно подходил ко мне, он поручил двум воспитанникам постоянно смотреть за мной во всякое время, свободное от ученья; дядька же мой должен был идти со мной всякий раз, когда я выходил на задний двор. Во всей гимназии разнесся слух, что «на Аксакова находит *черная немочь*». Я испугался, хотя не понимал значения этих слов .— Мне показалось очень неприятно такое постоянное внимание посторонних людей к каждому моему движению; целый вечер мне было скучно и грустно. Я уже привык наслаждаться моими мечтами, а теперь мысль, что несколько глаз меня наблюдают, мешала мне оторваться от горькой действительности, чтоб грезить наяву сладкими снами; но тем не менее вечер прошел благополучно: ни тоски, ни истерического припадка не было. Упадышевский и дядька мой обрадовались; очень также остался доволен и Бенис, когда я на другой день пришел к нему в больницу и когда Василий Петрович рассказал, что весь вчерашний день, вечер и ночь я провел спокойно. Несмотря на то, что доктор нашел мой пульс так же расстроенным, он отпустил меня без всяких медицинских пособий, уверяя, что дело поправится и что натура преодолеет болезненное начало; но на другой день оказалось, что дело не поправилось, а только изменилось: часу в девятом утра, сидя в арифметическом классе, вдруг я почувствовал,

совершенно неожиданно, сильное стеснение в груди, через несколько минут зарыдал, упал и впал в беспамятство. Сделался большой шум, послали за Упадышевским; по счастию, он был дома [1] и приказал перенесть меня в спальную, где я через четверть часа очувствовался и даже воротился в класс. Вечером припадок повторился и продолжался гораздо долее. Больше прежнего встревожился благодетельный Василий Петрович и перепугался мой усердный дядька. На этот раз Бенис дал мне какие-то капли (вероятно, нервные), которые я должен был принимать, как только почувствую стеснение; по постным дням приказал давать мне скоромный обед из больницы и вместо черного хлеба булку, но оставить в больнице ни за что не согласился. Капли сначала помогли мне, и дня три хотя я начинал тосковать и плакать, но в беспамятство не впадал; потом, по привычке ли моей натуры к лекарству, или по усилению болезни, только припадки стали возвращаться чаще и сильнее прежнего.

Никакой период моего детства не помню я с такою отчетливою ясностью, как время первого пребывания моего в гимназии. Я мог бы безошибочно рассказать со всеми подробностями (чего, конечно, делать не буду) весь ход моего странного недуга. Всем казалось тогда, а в том числе и мне, что появление припадков происходило без всякой причины; но теперь я убежден в противном: они всегда происходили от неожиданно возникавшего воспоминания из прошедшей моей жизни, которая вдруг представлялась моему воображению с живостью и яркостью ночных сновидений. Иногда я доходил до таких явлений сознательно и постепенно, углубляясь в неисчерпаемое хранилище памяти, но иногда они посещали меня без моего ведома и желания. Случалось, что в то время, когда я думал совсем о другом и даже когда был сильно занят ученьем, — вдруг какой-нибудь звук голоса, вероятно похожий на слышанный мною прежде, полоса солнечного света на окне или

---

[1] Из четырех человек надзирателей двое дежурных никуда не отлучались, но остальные, во время классов, могли уходить по своим надобностям; к обеду же и ужину все собирались налицо.

стене, точно так освещавшая некогда знакомые, дорогие мне предметы, муха, жужжавшая и бившаяся на стекле окошка, на что я часто засматривался в ребячестве, — мгновенно и на одно мгновение, неуловимо для сознания, вызывали забытое прошедшее и потрясали мои напряженные нервы. Впрочем, некоторые случаи объяснялись тогда же сами собою: один раз я сказывал урок, как вдруг голубь сел на подоконную доску и начал кружиться и ворковать — это сейчас напомнило мне моих любимых голубей и деревню; грудь моя стеснилась, и последовал припадок. В другой раз пришел я напиться квасу или воды в особенную комнату, которая называлась *квасною;* там бросился мне в глаза простой деревянный стол, который прежде, вероятно, я видал много раз, не замечая его, но теперь он был выскоблен заново и казался необыкновенно чистым и белым: в одно мгновение представился мне такого же вида липовый стол, всегда блиставший белизной и гладкостью, принадлежавший некогда моей бабушке, а потом стоявший в комнате у моей тетки, в котором хранились разные безделушки, драгоценные для дитяти; узелки с тыквенными, арбузными и дынными семенами, из которых тетка моя делала чудные корзиночки и подносики, мешочки с рожковыми зернами, с раковыми жерновками, а всего более большой игольник, в котором вместе с иголками хранились крючки для удочек, изредка выдаваемые мне бабушкой; все это, бывало, я рассматривал с восхищением, с напряженным любопытством, едва переводя дыхание... Я был поражен сходством этих столов, прошедшее ярко блеснуло, ожило передо мною, — сердце замерло, и последовал сильный припадок. Точно то же случилось со мной при взгляде на кошку, которая спала, свернувшись клубком на солнышке, и напомнила мне мою любимую кошку в деревне. Мне кажется, довольно этих случаев, чтобы предположить во всех остальных подобные причины.

Положение мое становилось хуже и хуже. Припадки появлялись чаще, продолжались долее; я потерял аппетит, бледнел и худел с каждым днем; терял также и охоту заниматься ученьем; один только сон подкреплял меня. Внимательный Василий Петрович заметил, что

мне вредно раннее вставанье, попробовал один раз не будить меня до восьми часов и увидел, что я тот день чувствовал себя гораздо лучше. Дядька мой ходил за мной с отцовской нежностию. Камашев пробовал несколько раз говорить мне строгие поучения и даже стращал наказанием, если я не буду держать себя, как следует благовоспитанному мальчику. Мою болезнь называл он баловством, хандрою и дурным примером для других. Наконец, он приказал положительно отдать меня в больницу; этого желали все, и я сам; противился только один Бенис; но теперь он должен был согласиться, и меня отвели в лазарет.

Моя мать, уезжая в последний раз из Казани, заставила моего дядьку Евсеича побожиться перед образом, что он уведомит ее, если я сделаюсь болен. Он давно порывался исполнить свое обещание и открылся в этом Упадышевскому, но тот постоянно его удерживал; теперь же он решился действовать, не спрашиваясь никого: один из грамотных дядек написал ему письмо, в котором, без всякой осторожности и даже несправедливо, он извещал, что молодой барин болен падучею болезнию и что его отдали в больницу. Можно себе представить, каким громовым ударом разразилось это письмо над моим отцом и матерью. Письмо шло довольно долго и пришло в деревню во время совершенной распутицы, о которой около Москвы не могут иметь и понятия; дорога прорывалась на каждом шагу, и во всяком долочке была зажора, то есть снег, насыщенный водою; ехать было почти невозможно. Но мать мою ничто удержать не могло; она выехала тот же день в Казань с своей Парашей и молодым мужем ее Федором; ехала день и ночь на переменных крестьянских, не подкованных лошадях [1], в простых крестьянских санях в одну лошадь; всех саней было четверо: в трех сидело по одному человеку без всякой поклажи, которая вся помещалась на четвертых санях. Только таким образом была какая-нибудь возможность подвигаться шаг за шагом вперед, и то пользуясь морозными утренниками, которые на этот

[1] По проселкам, при глубоком снеге, подкованных лошадей в это время года дорога не поднимает.

раз продолжались, по счастию, до половины апреля. В десять дней дотащилась моя мать до большого села Мурзихи на берегу Камы; здесь вышла уже большая почтовая дорога, крепче уезженная, и потому ехать по ней представлялось более возможности, но зато из Мурзихи надобно было переехать через Каму, чтоб попасть в село Шуран, находящееся, кажется, в восьмидесяти верстах от Казани. Кама еще не прошла, но надулась и посинела; накануне перенесли через нее на руках почту, но в ночь пошел дождь, и никто не соглашался переправить мою мать и ее спутников на другую сторону. Мать моя принуждена была ночевать в Мурзихе; боясь каждой минуты промедления, она сама ходила из дома в дом по деревне и умоляла добрых людей помочь ей, рассказывала свое горе и предлагала в вознаграждение все, что имела. Нашлись добрые и смелые люди, понимавшие материнское сердце, которые обещали ей, что если дождь в ночь уймется и к утру хоть крошечку подмерзнет, то они берутся благополучно доставить ее на ту сторону и возьмут то, что она пожалует им за труды. До самой зари молилась мать моя, стоя в углу на коленях перед образом той избы, где провела ночь. Теплая материнская молитва была услышана: ветер разогнал облака, и к утру мороз высушил дорогу и тонким ледочком затянул лужи. На заре шестеро молодцов, рыбаков по промыслу, выросших на Каме и привыкших обходиться с нею во всяких ее видах, каждый с шестом или багром, привязав за спины нетяжелую поклажу, перекрестясь на церковный крест, взяли под руки обеих женщин, обутых в мужские сапоги, дали шест Федору, поручив ему тащить *чуман*, то есть широкий лубок, загнутый спереди кверху и привязанный на веревке, взятый на тот случай, что неравно барыня устанет, — и отправились в путь, пустив вперед самого расторопного из своих товарищей для ощупывания дороги. Дорога лежала вкось, и надобно было пройти около трех верст. Переход через огромную реку в такое время так страшен, что только привычный человек может совершить его, не теряя бодрости и присутствия духа. Федор и Параша просто ревели, прощались с белым светом и со всеми родными, и в иных местах надобно было силою

заставлять их идти вперед; но мать моя с каждым шагом становилась бодрее и даже веселее. Провожатые поглядывали на нее и приветливо потряхивали головами. Надобно было обходить полыньи, перебираться по сложенным вместе шестам через трещины; мать моя нигде не хотела сесть на чуман, и только тогда, когда дорога, подошед к противоположной стороне, пошла возле самого берега по мелкому месту, когда вся опасность миновалась, она почувствовала слабость; сейчас постлали на чуман меховое одеяло, положили подушки, мать легла на него, как на постель, и почти лишилась чувств: в таком положении дотащили ее до ямского двора в Шуране. Мать моя дала сто рублей своим провожатым, то есть половину своих наличных денег, но честные люди не захотели ими воспользоваться; они взяли по синенькой на брата (по пяти рублей ассигнациями). С изумлением слушая изъявление горячей благодарности и благословения моей матери, они сказали ей на прощанье: «Дай вам бог благополучно доехать» — и немедленно отправились домой, потому что мешкать было некогда: река прошла на другой день. Все это подробно рассказала мне Параша. Из Шурана в двое суток мать моя доехала до Казани, остановилась где-то на постоялом дворе и через полчаса уже была в гимназии.

Обращаюсь назад: в больнице поместили меня очень хорошо; дали особую, небольшую комнату, назначенную для тяжелых больных, которых на ту пору не было; там спал со мною мой дядька, переведенный в больничные служители. Лекарь или подлекарь, хорошенько не знаю, Андрей Иванович Риттер, жил подле меня. Это был рослый, румяный, красивый и веселый детина; он, впрочем, сидел дома только по утрам, ожидая Бениса, после которого немедленно отправлялся на практику, которую действительно имел в купеческих домах; он был большой гуляка и нередко возвращался домой поздно и в нетрезвом виде. Удивляюсь, как терпел его главный надзиратель; впрочем, на больных он обращал менее внимания, чем на здоровых, и в больнице Упадышевский имел больше весу. Я совершенно забыл имя и фамилию доброго старика, бывшего тогда больничным

надзирателем, хотя очень помню, как он был попечителен и ласков ко мне. Упадышевский сейчас позаботился, чтобы мне не было скучно, и снабдил меня книгами: «Детским училищем» в нескольких томах, «Открытием Америки» и «Завоеванием Мексики». Как я обрадовался тишине, спокойствию и книгам! Халат вместо мундира, полная свобода в употреблении времени, отсутствие звонка и чтение были полезнее для меня всяких лекарств и питательной пищи. Колумб и Пизарро возбуждали все мое любопытство, а несчастный Монтезума — все мое участие. Прочитав в несколько дней «Открытие Америки» и «Завоевание Мексики», я принялся и за «Детское училище». При этом чтении случилось со мной обстоятельство, которое привело меня в великое недоумение и которое я разрешил себе отчасти только впоследствии. Читая, не помню который том, дошел я до сказки «Красавица и Зверь»; с первых строк показалась она мне знакомою и чем далее, тем знакомее; наконец, я убедился, что это была сказка, коротко известная мне под именем: «Аленький цветочек», которую я слышал не один десяток раз в деревне от нашей ключницы Пелагеи. Ключница Пелагея была в своем роде замечательная женщина: очень в молодых годах бежала она, вместе с отцом своим, от прежних господ своих Алакаевых в Астрахань, где прожила с лишком двадцать лет; отец ее скоро умер, она вышла замуж, овдовела, жила внаймах по купеческим домам и в том числе у купцов персиян, соскучилась, проведала как-то, что она досталась другим господам, именно моему дедушке, господину строгому, но справедливому и доброму, и за год до его смерти явилась из бегов в Аксаково. Дедушка, из уважения к такому добровольному возвращению, принял ее очень милостиво, а как она была проворная баба и на все мастерица, то он полюбил ее и сделал ключницей. Должность эту отправляла она и в Астрахани. Пелагея, кроме досужества в домашнем обиходе, принесла с собою необыкновенное дарование сказывать сказки, которых знала несчетное множество. Очевидно, что жители Востока распространили в Астрахани и между русскими особенную охоту к слушанью и рассказыванью сказок. В обширном сказочном каталоге Пелагеи вместе со всеми

русскими сказками находилось множество сказок восточных, и в том числе несколько из «Тысячи и одной ночи». Дедушка обрадовался такому кладу, и как он уже начинал хворать и худо спать, то Пелагея, имевшая еще драгоценную способность не дремать по целым ночам, служила большим утешением больному старику. От этой-то Пелагеи наслушался я сказок в долгие зимние вечера. Образ здоровой, свежей и дородной сказочницы с веретеном в руках за гребнем неизгладимо врезался в мое воображение, и если бы я был живописец, то написал бы ее сию минуту, как живую. Содержанию «Красавица и Зверь», или «Аленький цветочек», суждено было еще раз удивить меня впоследствии. Через несколько лет пришел я в Казанский театр слушать и смотреть оперу «Земира и Азор» — это был опять «Аленький цветочек» даже в самом ходе пиесы и в ее подробностях.

Между тем, несмотря на занимательное чтение, на сладкие, ничем не стесняемые, разговоры с Евсеичем про деревенскую жизнь, удочку, ястребов и голубей, несмотря на удаление от скучного школьного шума и тормошенья товарищей, несмотря на множество пилюль, порошков и микстур, глотаемых мною, болезнь моя, сначала как будто уступившая леченью и больничному покою, не уменьшалась, и припадки возобновлялись по нескольку раз в день; но меня как-то не смущали они, и сравнительно с прежним я был очень доволен своим положением. Больница помещалась в третьем этаже, окнами на двор. Здание гимназии (теперешний университет) стояло на горе; вид был великолепный: вся нижняя половина города с его Суконными и Татарскими слободами, Булак, огромное озеро Кабан, которого воды сливались весною с разливом Волги, — вся эта живописная панорама расстилалась перед глазами. Я очень помню, как ложились на нее сумерки и как постепенно освещалась она утренней зарей и восходом солнца. Вообще пребывание в больнице оставило во мне навсегда тихое и отрадное воспоминание, хотя никто из товарищей не навещал меня. Приходили только один раз Княжевичи, с которыми, однако, я тогда еще близко не сошелся, потому что мало с ними встречался: они были в

средних классах и жили во «французской комнате» у надзирателя Мейснера. Притом я был так занят собою, или, лучше сказать, своим прошедшим, что не чувствовал и не показывал ни малейшего к ним расположения; я подружился с Княжевичами уже во время вторичного моего вступления в гимназию, особенно в университете.

Домой я писал каждую почту, уведомляя, что я совершенно здоров. Вдруг, в один понедельник, не получил я письма от матери. Я встревожился и начал грустить; в следующий понедельник опять нет письма, и тоска овладела мною. Напрасно уверял меня дядька, что теперь распутица, что из Аксакова нельзя проехать в Бугуруслан (уездный город, находящийся в двадцати пяти верстах от нашей деревни), — я ничего не хотел слушать; я хорошо знал и помнил, что, несмотря ни на какое время, каждую неделю ездили на почту. Я не знаю, что бы со мной было, если б и в третий срок я не получил письма; но в середине недели, именно поутру в среду 14 апреля, мой добрый Евсеич, после некоторого приготовления, состоявшего в том, что «верно, потому нет писем, что матушка сама едет, а может быть, и приехала», объявил мне с радостным лицом, что Марья Николавна здесь, в гимназии, что без доктора ее ко мне не пускают и что доктор сейчас приедет. Несмотря на приготовление, мне сделалось дурно. Когда я очнулся, первые мои слова были: «Где маменька?» Но возле меня стоял Бенис и бранил ни в чем не виноватого Евсеича: как бы осторожно ни сказали мне о приезде матери, я не мог бы принять без сильного волнения такого неожиданного и радостного известия, а всякое волнение произвело бы обморок. Доктор был совершенно убежден в необходимости дозволить свидание матери с сыном, особенно когда последний знал уже о ее приезде, но не смел этого сделать без разрешения главного надзирателя или директора; он послал записки к обоим. От директора пришло позволение прежде, и когда мать была уже у меня в комнате, получили приказание от Камашева: «дожидаться его приезда». — Не нахожу слов и не беру на себя рассказать, что чувствовал я, когда вошла ко мне моя мать. Она так похудела, что можно было не узнать

ее; но радость, что она нашла дитя свое не только живым, но гораздо в лучшем положении, чем ожидала (ибо чего не придумало испуганное воображение матери), — так ярко светилась в ее всегда блестящих глазах, что она могла показаться и здоровою и веселою. Я забыл все, что вокруг меня происходило, обнял свою мать и несколько времени не выпускал ее из моих детских рук. Через несколько минут явился Камашев. Холодно и вежливо он сказал моей матери, что для нее нарушен существующий порядок в гимназии, что никому из родственников и родителей не позволяется входить во внутренние комнаты учебного заведения, что для этого назначена особая приемная зала, что вход в больницу совершенно воспрещен и что особенно это неприлично для такой молодой и прекрасной дамы. Кровь бросилась в лицо моей матери, и по своей природной вспыльчивости она много лишнего наговорила Камашеву. Она сказала между прочим, что «верно, только в их гимназии существует такой варварский закон, что матери везде прилично быть, где лежит ее больной сын, и что она здесь с дозволения директора, непосредственного начальника его, г. главного надзирателя, и что ему остается только повиноваться». Мать вонзила нож в самое больное место. Камашев побледнел. Он сказал, что директор дозволил это только для первого раза, что приказание его исполнено, что, вероятно, оно не повторится и что он просит теперь ее уехать... Но Камашев не знал моей матери и вообще не знал материнского сердца. Мать моя сказала ему, что она не выйдет из этой комнаты, покуда директор сам лично или письменно не прикажет ей уехать, и что до той поры только силою можно удалить ее от сына. Все это было сказано таким голосом, с такой энергией, что не оставляло сомнения в точности исполнения. Она взяла стул, пододвинула к моей кровати и села на нем, оборотясь спиной к Камашеву. Не знаю, что бы сделал этот последний, если б Бенис и Упадышевский не упросили его выйти в другую комнату; там доктор, как я узнал после от Василья Петровича, с твердостью сказал главному надзирателю, что если он позволит себе какой-нибудь насильственный поступок, то он не ручается за несчастные последствия и даже за

жизнь больного, и что он также боится за мать. Упадышевский, с своей стороны, умолял пощадить бедную женщину, которая в отчаянии не помнит себя, а всего более пощадить больного мальчика, и обещал ему, что он уговорит мать мою уехать через несколько времени. Камашев весьма неохотно согласился и вместе с Бенисом отправился для донесения обо всем директору. Упадышевский воротился к моей матери, старался ее успокоить и сказал, что она может остаться у меня часа на два. Мать пробыла у меня до сумерек, почти до шести часов вечера. Сцена с Камашевым сначала сильно меня испугала, и я начинал уже чувствовать обыкновенное сжатие в груди; но он ушел, и присутствие матери, ее ласки, ее разговоры, радость — не допустили явления припадка. На прощанье мать с твердостью сказала мне, что возьмет меня совсем из гимназии и увезет в деревню. Я совершенно поверил ей. Я привык думать, что маменька может сделать все, что захочет, и счастливая будущность засияла предо мной всеми радужными цветами счастливого прошедшего.

Мать моя отправилась из гимназии прямо к Бенису: его не было дома. Она бросилась (в буквальном смысле) к ногам его жены и, обливаясь слезами, умоляла, чтобы ей возвратили из гимназии сына. Мадам Бенис, понимавшая материнские чувства, приняла живое участие и уверила ее, что Христиан Карлыч сделает все, что может, что она за него ручается. Доктор скоро приехал. Обе женщины, каждая по-своему, приступили к нему с просьбами, но Бениса убеждать было не нужно; он сказал, что это его собственная мысль, что он уже намекнул об этом директору, но что, по несчастию, вместе с ним был главный надзиратель, который сильно этому воспротивился и, кажется, успел склонить директора на свою сторону; что директор хотя человек слабый, но не злой; что надежда на успех не потеряна. Тут мать рассказала все несправедливые придирки ко мне и постоянное преследование главного надзирателя. Бенис сам не любил его за присвоение власти, ему не принадлежащей; он не только не смягчил раздражения моей матери, но усилил его, и она возненавидела Камашева как лютейшего своего и моего врага. Хозяева поступили с моей

матерью, как друзья, как родные; уложили ее на диван и заставили съесть что-нибудь, потому что последние сутки она не пила даже чаю; дали ей какое-то лекарство, а главное уверили ее, что моя болезнь чисто нервная и что в деревне, в своей семье, я скоро совершенно оправлюсь. Решено было вести с главным надзирателем открытую войну. На другой день, поутру, мать моя должна была приехать к директору до приезда к нему Камашева с рапортом, выпросить позволение приезжать ко мне в больницу два раза в день и потом вымолить обещание: отпустить меня в деревню на попечение родителей впредь до выздоровления, если доктор найдет это нужным. Бенис просил только не жаловаться на Камашева, не говорить о нем ничего дурного и не упоминать об его личном нерасположении и преследованиях ее больного сына. Призывая благословение божие на доктора и его жену, высказав им все, что может высказать благодарное материнское сердце, мать уехала отдохнуть на свою квартиру. Отдохновение было ей необходимо: двенадцать дней такой дороги, почти без сна и пищи, и целый день таких душевных мучительных волнений могли свалить с ног и крепкого мужчину, а мать моя была больная женщина. Но бог в немощных являет свою крепость и силу, и, уснув несколько часов, моя мать проснулась бодрою и твердою. В девять часов утра она сидела уже в гостиной директора. Он вышел немедленно и встретил ее с явным предубеждением, которое, однако, скоро прошло. Искренность горя и убедительность слез нашли путь к его сердцу; без большого труда он позволил матери моей приезжать в больницу каждый день по два раза и оставаться до восьми часов вечера; но просьба об увольнении меня из гимназии встретила большое сопротивление. Может быть, и тут слезы и мольбы одержали бы победу, но вдруг вошел главный надзиратель, и сцена переменилась. Директор возвысил голос и с твердостью сказал, что увольнять казенных воспитанников по нездоровью или потому, что они станут тосковать, расставшись с семейством, — дело неслыханное: в первом случае это значит признаться в плохом состоянии врачебных пособий и присмотра за больными, а в последнем — это просто смешно: какой же

мальчик, особенно избалованный, привыкший только заниматься детскими играми, не будет тосковать, когда его отдадут в училище? — Камашев сейчас присоединился к директору и поддержал его слова многими весьма рассудительными и в то же время язвительными речами. Он упомянул о вредных следствиях женского воспитания, материнского баловства и дурных примеров неуважения, непокорности, дерзости и неблагодарности. В заключение он сказал, что правительство не затем тратит деньги на жалованье чиновникам и учителям и на содержание казенных воспитанников, чтоб увольнять их до окончания полного курса ученья и, следовательно, не воспользоваться их службою по ученой части; что начальство гимназии особенно должно дорожить таким мальчиком, который по отличным способностям и поведению обещает со временем быть хорошим учителем. — Мать мою взорвала такая иезуитская двуличность; она забыла предостережение Бениса и весьма горячо и неосторожно высказала свое удивление, «что г. Камашев хвалит ее сына, тогда как с самого его вступления он постоянно преследовал бедного мальчика всякими пустыми придирками, незаслуженными выговорами и насмешками, надавал ему разных обидных прозвищ: *плаксы, матушкина сынка* и проч., которые, разумеется, повторялись всеми учениками; что такое несправедливое гонение г. главного надзирателя было единственною причиною, почему обыкновенная тоска дитяти, разлученного с семейством, превратилась в болезнь, которая угрожает печальными последствиями; что она признает г. главного надзирателя личным своим врагом, который присвоивает себе власть, ему не принадлежащую, который хотел выгнать ее из больницы, несмотря на позволение директора, и что г. Камашев, как человек пристрастный, не может быть судьей в этом деле». Директор был несколько озадачен; но обозлившийся главный надзиратель возразил ей, «что она сама, по своей безрассудной горячности, портит все дело; что в отсутствие его она пользовалась слабостью начальства, брала сына беспрестанно на дом, беспрестанно приезжала в гимназию, возвращалась с дороги, наконец через два месяца опять приехала, и что, таким образом, не дает возможности

мальчику привыкнуть к его новому положению; что причиною его болезни она сама, а не строгое начальство, и что настоящий ее приезд наделает много зла, потому что сын ее, который уже выздоравливал, сегодня поутру сделался очень болен». — При этих словах мать моя вскрикнула и упала в обморок. Добродушный директор ужасно перепугался и не знал, что делать. Обморок продолжался около часу; кое-как привели ее в чувство. Первые слова ее были: «Пустите меня к сыну». Перепуганный и сжалившийся директор, обрадованный, что мать моя по крайней мере не умерла (чего он очень опасался, как сам рассказывал после), подтвердил приказание Камашеву, чтобы мою мать всегда пускать в больницу, куда она сейчас и уехала. В больнице встретил ее доктор и по возможности успокоил. Он поклялся, что моя новая болезнь, лихорадка, ничего не значит, что это следствие нервного потрясения и что она даже может быть полезна для моих обыкновенных припадков. В самом деле, первый лихорадочный пароксизм был очень легок, и хотя на другой день он повторился сильнее и хотя лихорадка в таком виде продолжалась две недели, но зато истерические припадки не возвращались. Мать почти целые дни проводила со мной. Директор несколько раз посещал больницу и всякий раз, встречая у меня мать, был с обоими нами очень ласков: ему жалко было смотреть на бледность и худобу моего лица; выразительные черты моей матери, в которых живо высказывалось внутреннее состояние души, также возбуждали его сочувствие. Когда Камашев хотел на другой день войти ко мне в комнату, мать моя не пустила его и заперла дверь и потом упросила директора, чтобы главный надзиратель не входил ко мне при ней, говоря, что она не может равнодушно видеть этого человека и боится испугать больного таким же обмороком, какой случился в доме г. директора; он очень его помнил и согласился. Главный надзиратель обиделся и не ходил ко мне совсем.

Между тем намерение взять меня из гимназии, подкрепляемое согласием Бениса, остановленное на время моею новою болезнию, приняло официальный ход. Желая посоветоваться наперед в этом деле с друзьями,

мать ездила к Максиму Дмитриевичу Княжевичу, но твердый, несколько грубый, хотя и добрый по природе, серб не одобрил этого намерения. «Нет, государыня моя Марья Николавна, — сказал он, — не могу посоветовать взять сынка, завернуть его в хлопочки, нежить и кормить сахаром, увезти в деревню, чтобы он бегал там с дворовыми мальчишками и вырос ни на что не годным неучем. Ну, какой выйдет из него мужчина? Откровенно скажу, что на месте Тимофея Степановича не позволил бы вам так поступать». Не понравились такие слова моей матери; она отвечала, что не думает воспитать своего сына неучем и деревенским повесой, но прежде всего хочет спасти его жизнь и восстановить его здоровье, — и более не видалась с Княжевичем. В Казани был дальний родственник моему отцу, советник палаты Михеев. Мать обратилась к нему, и хотя он также не одобрял намерения и отказался хлопотать об его исполнении, но удовлетворил ее желанию, приказав написать просьбу в совет гимназии о моем увольнении. В просьбе было написано, что моя мать просит возвратить ей сына на время для восстановления его здоровья и что как скоро оно поправится, то она обязуется вновь представить меня в число казенных воспитанников. Вместе с этой просьбой поступило в совет донесение доктора Бениса. Он писал, что находит совершенно необходимым возвратить воспитанника Аксакова в родительский дом, именно в деревню; что моя болезнь такого рода, что только один деревенский воздух и жизнь на родине посреди своего семейства могут победить ее, что никакие медицинские средства в больнице не помогут, что припадки мои угрожают переходом в эпилепсию, которая может окончиться апоплексией, или повреждением умственных способностей. Не могу сказать, до какой степени было это справедливо; но доктор этим не удовольствовался: он утверждал, что у меня есть какое-то расширение в коленках и горбоватость ножных костей, что для этого также нужно телодвижение на вольном воздухе и продолжительное употребление декокта (какого не помню), которым предлагал снабдить меня из казенной аптеки. Кажется, все последнее было несправедливо; хотя точно я имел очень толстые коленки, но у детей

это часто бывает и проходит само собой. Тем не менее такие пустые наружные признаки были найдены впоследствии вполне уважительными. Началось дело в совете, в котором, под председательством директора, присутствовали главный надзиратель и трое старших учителей. Камашев, от которого прежде все зависело, употребил свое влияние, и учителя приняли его сторону. Директор колебался. Хотели дать предписание Бенису, чтоб он пригласил на консилиум инспектора врачебной управы и вновь испытал надо мной медицинские пособия, но Бенис предварительно объявил, что он не исполнит этого предписания и донесет совету, чтоб он скорее уволил меня, потому что, по прошествии лихорадки, сейчас оказались признаки возобновления прежних припадков, что и было совершенно справедливо. — Видя, что дело идет нехорошо, бедная мать моя пришла в совершенное отчаяние. Наконец, Бенис посоветовал ей просить директора, чтоб он приказал при себе освидетельствовать меня гимназическому доктору, вместе с другими посторонними докторами, и чтобы согласился с их мнением, — и мать моя поехала просить директора. Желая избавиться от скучных просьб и слез, он велел сказать, что никак не может принять ее сегодня и просит пожаловать в другое время; но как такой отказ был уже не первый, то мать приготовила письмо, в котором написала, «что это последнее ее посещение, что если он ее не примет, то она не выйдет из его приемной, покуда ее не выгонят, и что, верно, он не поступит так жестоко с несчастной матерью». Делать было нечего. Директор вышел в гостиную и опять не устоял перед выражением истинной скорби и даже отчаяния. Он дал честное слово исполнить все, о чем просила его моя мать, — и сдержал свое слово. На другой же день состоялось определение гимназического совета, совершенно согласное с желанием Бениса и вчерашнею просьбою моей матери, чего, впрочем, никто не знал, кроме самого директора. Все, напротив, считали свидетельство посторонних врачей оскорблением для Бениса и были уверены, что врачи с ним не согласятся. Пригласили городового штаб-лекаря и одного из членов врачебной управы. Но Бенис, предварительно уверенный в их согласии с своим мнением,

спокойно дожидался развязки; его уверенность успокоила несколько мою мать, которая в свою очередь старалась успокоить и меня. Она рассказывала мне с величайшей подробностью все свои поступки и все свои переговоры, она старалась уверить меня, что, несмотря на препятствия, надежда на успех ее не покидает; но я только по временам, и то ненадолго, обольщался этой надеждой: освобождение из каменного острога, как я называл гимназию, и возвращение в семейство, в деревню — казалось мне блаженством недостижимым, несбыточным. Переписка с властями о назначении докторов тянулась как-то медленно, и по настоянию главного надзирателя директор приказал выписать меня из больницы, потому что лихорадка моя совершенно прошла. Бенис должен был согласиться. Я опять поступил в комнату к Упадышевскому и нашел кровать свою никем не занятою. После довольно продолжительного пребывания на свободе, в тихой и спокойной больничной комнате, стал еще противнее для меня весь порядок и шумный образ жизни посреди моих гимназических товарищей. Притом такое перемещение показалось мне зловещим признаком, что меня не хотят отпустить. Мать видалась со мной каждый день, но весьма на короткое время, и то в общей приемной зале. Все это вместе нагнало опять тоску на мою душу, и мои припадки появились с прежнею силою, как будто и не прекращались. Благодарение богу, такое мучительное состояние продолжалось недолго. Ровно через неделю, когда воспитанники после ужина сошли в спальные комнаты и начали раздеваться, Евсеич сунул мне в руку записочку от матери и сказал: «Прочтите так, чтобы никто не видал». Мать писала ко мне, чтоб на другой день поутру я не вставал с постели, а сказал бы Василью Петровичу, что у меня ломят ноги, особенно коленки, и попросился бы в больницу. Записочку приказано было сжечь, что я сейчас исполнил. Ложь была совершенно мне незнакома. Мать особенно строго за нее взыскивала, и я очень изумился такому приказанию. Хотя какая-то темная догадка мелькала у меня в уме, что эта ложь будет способствовать моему освобождению из гимназии, но я долго не мог заснуть, смущаясь, что завтра должен сказать неправду, которую и Василий

Петрович и доктор сейчас увидят и уличат меня. На другой день, когда дядька стал меня будить, я сказал ему, что у меня болят ноги и что я хочу опять в больницу. Легкая улыбка искривила рот моего Евсеича, и он пошел доложить о том Упадышевскому, который, к удивлению моему, не обратив на это никакого внимания, весьма равнодушно сказал: «Хорошо; так пусть он не встает, я только провожу детей наверх, а потом приду за ним и отведу его в больницу». — Но товарищи не оставили меня в покое и многие из них, сдергивая с моей головы одеяло, которым я нарочно закрылся, спрашивали меня: «Отчего ты не встаешь?» Смущаясь и краснея, принужден я был солгать еще несколько раз. Со смехом отвечали мне: «Ты врешь; лень учиться, в больнице понравилось!» Шумная ватага мальчиков, построясь в комнатный фронт, ушла наверх. Упадышевский воротился и, не расспросив меня о болезни, отвел в больницу и сдал с рук на руки подлекарю Риттеру и больничному надзирателю. Меня поместили в прежней комнате. В девять часов приехал Бенис и, начав меня осматривать, предупредил словами: «Верно, у вас разболелись ноги? Я этого ожидал», и, указывая подлекарю и надзирателю на мои коленки, он прибавил: «Посмотрите, как они в одну неделю распухли и жар в них усилился». Коленки мои были совершенно в прежнем положении, жара я не чувствовал и с изумлением заметил, что все как будто сговорились лгать. Еще более изумила меня мать, которая приехала вслед за Бенисом и без всякого смущения рассуждала с ним и с другими о моей новой небывалой болезни. Когда мы остались наедине, я посмотрел на нее с изумлением и спросил: «Маменька, что это значит?» Она обняла меня и сказала: «Что делать, мой друг! это необходимо, так приказал Бенис. На этих днях тебя будут свидетельствовать другие доктора, и ты должен им сказать, что у тебя болят ноги, Христиан Карлыч уверяет, что оттого тебя выпустят из гимназии». Луч надежды блеснул в моей душе, хотя я не видел особенных причин предаваться ей. Через два дня, вечером, сказала мне мать, что завтра будут меня свидетельствовать, повторила мне все, что

я должен говорить о болезни своих ног, и убеждала, чтоб я отвечал смело и не запинался. В следующий день, в одиннадцать часов, вошли ко мне в комнату: директор, главный надзиратель, Бенис с двумя неизвестными мне докторами, трое учителей, присутствовавших в совете, и Упадышевский. Небольшая моя комната наполнилась людьми, всем подали кресла, и все торжественно расселись около моей постели. Я так смутился, что мне сейчас начало делаться дурно; впрочем, я скоро оправился без лекарства и услышал, что Бенис рассказывает докторам историю моей болезни, иногда по-латыни, но большею частию по-русски; во многом он ссылался на Упадышевского, которого тут же расспрашивали. Призван был также мой дядька, которому было сделано несколько вопросов о состоянии моего здоровья до поступления в гимназию. Меня самого также очень много спрашивали; доктора часто подходили ко мне, щупали мою грудь, живот и пульс, смотрели язык; когда дело дошло до коленок и до ножных костей, то все трое обступили меня, все трое вдруг стали тыкать пальцами в мнимо больные места и заговорили очень серьезно и с одушевлением. Я помню, что часто упоминались слова: «лимфа, пасока, скорбут». Насилу кончилось это тягостное, очень утомившее меня свидетельство; оно продолжалось по крайней мере час. Когда все ушли, я немедленно заснул, а проснувшись, увидел сидящую предо мною мать и простывший больничный обед на столе. Мать моя, хотя надеялась, но решительного еще ничего не знала. Она немедленно уехала к Бенису и часа через два опять приехала ко мне с блистающим радостью лицом: доктора прямо от меня отправились в совет гимназии, где подписали общее свидетельство, в котором было сказано, что «совершенно соглашаясь с мнением г-на доктора Бениса, они считают необходимым возвратить казенного воспитанника Аксакова на попечение родителей в деревню; а к прописанному для больного декокту полагают нелишним прибавить такие-то медикаменты и предписать впоследствии крепительные холодные ванны». Директор положительно согласился, трое учителей последовали его примеру; но главный надзиратель остался

при своем мнении и не подписал журнала;[1] впрочем, это ничему не мешало.

Итак, совершилось желанное событие, так долго казавшееся несбыточною мечтою! Мать моя сияла блаженством; она плакала, смеялась, всех обнимала, особенно Упадышевского и Евсеича, благодарила бога. Я был так счастлив, что по временам не верил своему счастью, думал, что я вижу прекрасный сон, боялся проснуться и, обнимая мать, спрашивал ее, «правда ли это?» Долее всех вечеров просидела она со мной, и Упадышевский не один раз приходил и просил ее уехать. Камашев не изменил себе до конца; он предложил совету взыскать с моей матери за пятимесячное пребывание мое в гимназии все издержки, употребленные на мое содержанье и ученье. Но директор не согласился на такое предложение, сказав, что воспитанника не исключают совсем, а только возвращают родителям до выздоровления. На третий день после свидетельства пригласили мою мать в совет, обязали ее подпиской представить в гимназию сына по выздоровлении и позволили взять меня. Мать прямо из совета в последний раз пришла в больницу; Евсеич переодел меня в мое прежнее платье и сдал все казенные вещи и книги. С горячими слезами благодарности простились мы с Упадышевским и больничным надзирателем. Мать взяла меня за руку и, в сопровождении Евсеича, вывела на крыльцо... Я вскрикнул от радостного изумления: перед крыльцом стояла наша деревенская карета, запряженная четверкой наших доморощенных лошадей; на козлах сидел знакомый кучер, а на подседельной — еще более знакомый форейтор, всегда достававший мне червяков для уженья. Федор и Евсеич посадили меня в старую колымагу подле матери, и мы поехали на квартиру. Карета, люди и лошади были присланы отцом моим из деревни. Несмотря на радость, которою был не только проникнут, но, можно сказать, ошеломлен, я так расплакался, прощаясь с Васильем Петровичем, что даже в деревенской карете продолжал плакать. В самом деле, доброта этого человека, его бескорыстное нежное участие,

---

[1] Копии со всех бумаг долго у нас хранились.

доходившее до самоотвержения, к людям совершенно посторонним стоили самой искренней благодарности; надобно к этому прибавить, что, находясь несколько лет в гимназии, он неминуемо должен был привыкнуть к подобным явлениям, а сердца, не покоряющиеся привычке, встречаются не часто. На квартире ожидали меня радостные слезы Параши и даже хозяйки дома, все той же капитанши Аристовой, которая также принимала участие в нашем положении [1]. В тот же день, вечером, мы с матерью ездили к доктору Бенису благодарить и проститься. Надобно отдать должную справедливость и этому человеку, который, не знаю почему, имел в городе репутацию холодного «интересана», — что в отношении к нам он поступал обязательно и бескорыстно; он не только не взял с нас ни копейки денег, но даже не принял подарка, предложенного ему матерью на память об одолженных им людях; докторам же, которые свидетельствовали меня, он подарил от нас по двадцать пять рублей за беспокойство, как будто за консилиум; разумеется, мать отдала ему эти деньги. Итак оставалось благодарить Бениса словами, слезами и молитвами за него богу — и мать благодарила так от души, так горячо, что Бенис и жена его были очень растроганы. Что касается до меня, то я как-то не растрогался, и хотя я очень хорошо знал, что единственно Бенису обязан за освобождение из гимназии, но я не заплакал и благодарил очень вяло и пошло, за что мать после мне очень пеняла. На другой день поутру мы отправились в собор и потом к Казанской божией матери и отслужили благодарственные молебны. Заехали к директору, но его не было дома или он не хотел нас принять. Воротясь домой, мы нашли у нас Василья Петровича, который еще раз пришел повидаться с нами и проститься. Он также отказался принять подарок на память и отвечал коротко и ясно: «Не обижайте меня, Марья Николавна». С ним прощался я совсем не так, как с Бенисом: я ужасно расплакался; долго не могли меня унять, даже боялись возвращения припадка, но какие-то новые капли успокоили мое волнение; должно

[1] Мать моя с почтового двора немедленно переехала к ней.

заметить, что это лекарство в последние дни уже в третий раз не допускало развиться дурноте. По уходе Упадышевского мы кое-как пообедали и сейчас принялись укладываться. Нам как-то страшно было оставаться в Казани, и каждый час промедления казался долгим днем; к вечеру все было готово. Вечер наступил теплый, совершенно летний, и мы с матерью легли спать в карете. На рассвете, без всякого шума, заложили лошадей и, не разбудив меня, тихо выехали из Казани. Когда я проснулся, яркое солнце светило в карету; Параша спала, а мать сидела возле меня и плакала самыми радостными, благодарными богу, слезами; это чувство так выражалось в ее глазах, что никто бы не опечалился, а скорее порадовался, увидя ее слезы. Она обняла свое ненаглядное дитя, и поток нежных речей и ласк высказал ее внутреннее состояние. Это было 19 мая, день рождения моей милой сестры. Прекрасное, даже жаркое, весеннее утро настоящего майского дня обливало горячим светом всю природу. В окна кареты заглянули зеленые, молодые хлебные поля, луга и леса; мне так захотелось окинуть глазами все края далекого горизонта, что я попросил остановиться, выскочил из кареты и начал бегать и прыгать, как самое резвое пятилетнее дитя; тут только я вполне почувствовал себя на свободе. Мать любовалась, глядя на меня из кареты. Я обнял Евсеича и Федора, поздоровался с кучером и форейтором, который успел сказать мне, что рыба начинала шибко клевать, когда он уезжал из Аксакова. Я поздоровался также со всеми лошадьми: Евсеич взял меня на руки, поднял, и я погладил каждую из них. Это был славный шестерик бурой и караковой масти, такой породы лошадей, о какой давно и слуху нет в Оренбургской губернии; но лет двадцать помнили ее и говорили о ней. Лошади были крупные, четырехвершковые, сильные до невероятности, рысистые, не задушливые на бегу и не знавшие усталости. В тяжелых экипажах делали на них по 80 и по 90 верст в день. — Боже мой, как было мне весело! Насилу усадили меня в карету, но я высунулся в окошко и ехал так до самой кормежки, радостными восклицаниями приветствуя все, что попадалось на дороге. Наконец, сверкнула полоса воды —

это была река Мёша, не очень большая, но глубокая и чрезвычайно рыбная; по ней ходил довольно плохой плот на веревке. Мы переправлялись долго: лошадей ставили только по одной паре, а карету едва перевезли; ее облегчили от сундуков и других тяжестей, и, несмотря на то, плот погружался в воду. Мы с матерью переехали прежде всех на другой берег; цветущая и душистая урема покрывала его. Я не помнил себя от восхищения. Запасливый форейтор, страстный охотник удить, взял с собою из деревни совсем готовую удочку с удилищем, которая и была привязана под каретой к дрожине; ее сейчас отвязали, и покуда совершалась переправа, я уже удил на хлеб и таскал плотву. Кроме Дёмы, я не видывал реки рыбнее Мёши; рыба кипела в ней, как говорится, и так брала, что только успевай закидывать. Мудрено ли, что после освобождения из гимназического плена эта кормежка показалась мне блаженством! На оставленном нами берегу находилась чья-то господская деревня; там достали овса, сена, курицу, яиц и все нужные припасы. Какой обед на дорожном тагане приготовил нам Евсеич, который был немножко и повар! Сковорода жареной рыбы также показалась очень вкусным блюдом. Мы уже отъехали тридцать верст от Казани, кормили четыре часа и пустились в дальнейший путь. Набежали тучи, загремел гром, дождь вспрыснул землю, и ехать было не жарко и не пыльно; сначала ехали шагом, а потом побежали такой рысью, что уезжали более десяти верст в час. Скоро небо прояснилось, и великолепное солнце осушило следы дождя; мы отъехали еще сорок верст и остановились ночевать в поле, потому что на кормежке запаслись всем нужным для ночевки. Опять множество новых удовольствий, новых наслаждений! Выпрягли, спутали лошадей и пустили их на сочную молодую траву; развели яркий огонь, наложили дорожный самовар, то есть огромный чайник с трубою, постлали кожу возле кареты, поставили погребец и подали чай. Как он был хорош на свежем вечернем воздухе! Через два часа напоили остывших коней, разбили хребтуги с овсом, привязав их к дышлу и вколоченным в землю кольям, и припустили к овсу лошадей. Мы с матерью и с Парашей улеглись в карете, и

сладко заснул я, слушая, как жевали кони овес и фыркали от попадавшей в ноздри пыли. На другой день поутру мы переправились, немного повыше Шурана, через Каму, которая была еще в разливе. Я боялся (и теперь боюсь) большой воды, а тогда дул порядочный ветер. На перевозе оказалась *посуда*[1], большая и новая: на одну завозню поставили всех лошадей и карету; меня заперли в нее с Парашей, опустили даже гардинки и подняли жалузи, чтоб я не видал волнующейся воды; но я сверх того закутал голову платком и все-таки дрожал от страха во все время переправы; дурных последствий не было. Весенняя пристань находилась еще в Мурзихе; летом она спускалась несколько верст ниже. Мать отыскала в Мурзихе своих провожатых; она всем привезла хорошие гостинцы: подарки были приняты без удивления, но с удовольствием и благодарностью. Мы проехали еще пятнадцать верст до места своей кормежки. Так продолжался наш путь, и на пятый день приехали мы ночевать в деревню Татарский Байтуган, лежащую на реке Сок, всего в двадцати верстах от Аксакова. Река Сок также очень рыбна, но, боясь вечерней сырости, мать не пустила меня поудить, а форейтор сбегал и принес несколько окуней и плотиц. Поднявшись с ночлега по обыкновению на заре, мы имели возможность не заехать в село Неклюдово, где жили родные нам по бабушке, Кальминские и Луневские, а также и в Бахметевку, где недавно поселился новый помещик Осоргин с молодою женою: и мы и они еще спали во время нашего проезда. Версты за четыре до Аксакова, на самой меже нашего владения, я проснулся, точно кто-нибудь разбудил меня; когда проехали мы между Липовым и Общим колком[2] и выехали на склон горы, должно было немедленно открыться наше Аксаково с огромным прудом, мельницей, длинным порядком изб, домом и березовыми рощами. Я беспрестанно спрашивал кучера: «Не видно ли деревни?» И когда он сказал, наконец, наклонясь к переднему окошку: «Вот наше

[1] Так называются завозни, дощаники, паромы и проч.
[2] Теперь не существует последнего названия, потому что владельцы размежевались.

Аксаково, как на ладонке», — я стал так убедительно просить мою мать, что она не могла отказать мне и позволила сесть с кучером на козлах. Не берусь передать, что чувствовало мое сердце, когда я увидел милое мое Аксаково! Нет слов на языке человеческом для выражения таких чувств!..

Во все течение моей жизни я продолжал испытывать, приближаясь к Аксакову, подобные ощущения; но несколько лет тому назад, после двенадцатилетнего отсутствия, также довольно рано подъезжал я к тому же Аксакову: сильно билось мое сердце от ожидания, я надеялся прежних радостных волнений! Я вызвал милое прошедшее, и рой воспоминаний окружил меня... но не весело, а болезненно, мучительно подействовали они на мою душу, и мне стало невыразимо тяжело и грустно. Подобно волшебнику, который, вызвав духов, не умеет с ними сладить и не знает, куда от них деваться, — не знал я, как мне прогнать мои воспоминания, как успокоить нерадостное волнение. Старые меха не выдерживают молодого вина, и старое сердце не выносит молодых чувств... но тогда, боже мой, что было тогда!

Несколько раз я чувствовал стеснение в груди и готов был упасть; но я молчал, крепко держался за ручку козел и за кучера, и стеснение проходило само собою. — Быстро скатилась карета под изволок, переехала через плохой мост на Бугуруслане, завязла было в топи у Крутца, но, выхваченная сильными конями, пронеслась мимо камышей, пруда, деревни — и вот наш сельский дом, и на крыльце его отец с милой моей сестрицей. Когда мы подъехали, она всплеснула ручонками и закричала: «Братец Сереженька на козлах!..» Выбежала тетка и вывела брата, кормилица вынесла маленькую мою сестру! Сколько объятий, поцелуев, радости, вопросов и ответов! Сбежалась вся дворня, даже крестьяне, случившиеся дома, и куча мальчишек и девочек. Отец мой очень обрадовался; он не верил, чтоб удалось высвободить меня из гимназии; последнюю неделю некогда было писать к нему из Казани, и он ничего не знал, что там происходило.

ГОД В ДЕРЕВНЕ

Первые дни были днями самозабвения и суматошной деятельности. Прежде всего я навестил своих голубей и двух перезимовавших ястребов. Я обегал все знакомые, все любимые места, а их нашлось немало. Около дома, в саду, в огороде и в ближайшей роще с грачовыми гнездами везде бегала со мною сестрица, уцепясь за мою руку, и даже показывала, как хозяйка, кое-что сделанное без меня и в том числе огромную и высокую паровую гряду из навоза, на которой были посажены тыквы, арбузы и дыни. Сбегали мы также с ней и в кладовые амбары, где хранилось много драгоценностей: медные, железные и резной костью оклеенные ларцы с разными штуфами и окаменелостями, подаренными некогда моей матери каким-то важным горным чиновником; посетили и ключницу Пелагею на погребе и были угощены холодными густыми сливками с черным хлебом. Но к реке и за реку сестрице не позволяли ходить со мною, и туда провожал меня Евсеич. Мы перешли с ним через мосточки на первый остров, где стояла летняя кухня и лежали широкие лубки, на которых сушили мытую пшеницу. Этот островок окружала с двух сторон старица Бугуруслана, которая начинала пересыхать и зарастать таловыми кустами; мы перебрались через нее по жердочкам и сейчас перешли на другой остров побольше, также с одного боку окруженный старицей, но еще глубокой и прозрачной. Это было любимое место моей тетки Евгеньи Степановны, все засаженное по берегу реки березами и пересеченное посредине липовой аллеей. Очевидно, что это место давно понравилось еще моему дедушке и что он засадил его деревьями задолго до рождения меньшой своей дочери Евгеши, как он называл ее, потому что деревьям было лет по пятидесяти, а дочери — тридцать пять. Евгенья Степановна хотя не получила никакого воспитания, как и все ее сестры, но имела в душе какое-то влечение к образованности и любовь к природе. У ней водились кое-какие книжечки: старинные романы (вероятно, доставленные ей братом) и театральные пиески. Разумеется, я все их перечитал с дозволения и без дозволения; особенно помню один

водевильчик под названием: «Драматическая Пустельга». Тетка любила читать книжку на острове и удить рыбку в глубокой старице. На многих березах вырезала она свое имя и числа разных годов и месяцев, даже какие-то стишки из песенника. Как я любил этот остров!.. Как хорошо было на нем в летние жары! Прохладная тень и кругом вода! С одной стороны — новая канавка, идущая от вешняка, соединялась с водой, быстро бегущей из-под мельницы, а с другой — прежнее русло Бугуруслана, еще глубокое и прозрачное, огибало остров. Без сердечного трепета, без замиранья сердца не могу я до сих пор вспомнить летнего полдня на этом острове. Теперь все переменилось. Старица почти высохла; другая, новая канавка отвела воду от вешняка в другую сторону; везде разросся тальник и ольха, и остров уже понапрасну сохраняет свое имя. Впрочем, если взять все пространство земли, идущее до плотины, то с натяжкой оно может еще называться прежним именем. Налюбовавшись досыта островом, оглядев каждое дерево, перечитав все тетушкины надписи, насмотревшись на головлей и язей, гулявших или неподвижно стоявших в старице, отправились мы с Евсеичем на мельницу; но я забежал на *Антошкины мостки*, где часто уживал пескарей, и на кузницу, где я любил смотреть, как прядали искры из-под молота, ковавшего раскаленное железо. Когда же я взбежал на плотину и широкий пруд открылся передо мной с своими зелеными камышами и лопухами, с длинною плотиною, обраставшею молодыми ольхами, с целым миром своего птичьего и рыбьего населения, с вешняком, каузом и мельницей, — я оцепенел от восторга и простоял как вкопанный несколько минут. Мельник, по прозванью Болтуненок, очень меня любивший, приготовил мне неожиданную потеху: он расставил в травах несколько жерлиц на щук и нарочно не смотрел их до моего прихода; он знал, что я приду непременно; он посадил меня с Евсеичем в лодку и повез полоями до травы; вода была очень мелка, и тут я не боялся. Я сам вынимал каждую жерлицу, и на одной из них сидела большая щука, которую я вытащил с помощию Евсеича и с торжеством нес на своих руках до самого дома. Потом дни через два отец свозил меня поудить и в *Малую*

и в *Большую Урему;* он ездил со мной и в *Антошкин враг,* где на самой вершине горы бил сильный родник и падал вниз пылью и пеной; и к *Колоде,* где родник бежал по нарочно подставленным липовым колодам; и в *Мордовский враг,* где ключ вырывался из каменной трещины у подошвы горы; и в *Липовый,* и в *Потаенный колок,* и на пчельник, между ними находившийся, состоящий из множества ульев. Там жил постоянно, и лето и зиму, старый пчеляк в землянке, также большой мой приятель, у которого был кот *Тимошка* и кошка *Машка,* названные так в честь моего отца и матери.

В таких-то приятных суетах и хлопотах прошли первые две недели после нашего приезда в Аксаково. Нечего и говорить, как была счастлива моя мать, видя меня веселым, бодрым и, повидимому, здоровым. Она еще в Казани взяла свои меры, чтоб не пропало в совершенной праздности время моей деревенской жизни, и запаслась учебными гимназическими книжками. Постоянно думая, что если я, по милости божией, поправлюсь здоровьем, может быть, через год, то все же надобно будет представить меня опять в гимназию, — она назначила мне от двух до трех часов в день для повторения всего, чему я учился, для занятия чистописанием и чтением ей вслух разных книг, приличных моему возрасту. Я исполнял это очень охотно, и деревенские удовольствия становились для меня еще приятнее после занятий. Я принялся также доучивать мою милую ученицу, маленького моего друга, мою сестрицу, и на этот раз с совершенным успехом.

Я уже сказал, что, повидимому, казался здоровым, но на деле вышло не совсем так. Правда, по выходе из гимназии не было у меня ни одного припадка, дорогой даже прошли стеснения и биения сердца и в деревне не возобновлялись; но я стал каждую ночь бредить во сне более, сильнее обыкновенного. Сначала мать моя не придавала этому бреду никакой значительности, все приписывая излишнему беганью и живости детских впечатлений, тем более что до поступления в гимназию я часто грезил, чему подвержены бывают многие дети. Но теперь это начало принимать мало-помалу другой характер. Во-первых, я стал бредить постоянно всякую

ночь очень сильно, иногда по нескольку раз. Во-вторых, я стал не только говорить во сне, но вскакивать с постели, плакать, рыдать и выбегать в другие комнаты. Я спал вместе с отцом и матерью в их спальной, и кроватка моя стояла возле их кровати; дверь стали запирать изнутри на крючок, и позади ее в коридорчике спала ключница Пелагея, для того чтобы убежать сонному не было мне никакой возможности. Ночной бред, усиливаясь день ото дня, или, правильнее сказать, ночь от ночи, обозначился, наконец, очевидным сходством с теми припадками, которым в гимназии я подвергался только в продолжение дня; я так же плакал, рыдал и впадал в беспамятство, которое переходило в обыкновенный крепкий сон. Но эти ночные новые припадки были гораздо сильнее и страшнее прежних денных припадков и проявлялись с бóльшим разнообразием. Иногда это был тихий плач и рыданья, всегда с прижатыми к груди руками, с невнятным шепотом каких-то слов, продолжавшиеся целые часы и переходившие в бешенство и судорожные движения, если меня начинали будить, чего впоследствии никогда не делали; утомившись от слез и рыданий, я засыпал уже сном спокойным; но большого труда стоило, особенно сначала, чтоб окружающие могли вытерпеть такое жалкое зрелище, не попробовав меня разбудить и помочь мне хоть чем-нибудь. Мне рассказывали после, что не только мать, которая невыразимо терзалась, глядя на меня, но и отец, тетка и все, кто около меня были, сами надрывались от слез, смотря на мои мучительные слезы и рыданья. — Иногда я вдруг вскакивал на ноги с пронзительным криком, дико глядел во все глаза и, беспрестанно повторяя: «Пустите меня, дальше, прочь, мне нельзя, не могу, где он, куда идти!» — и тому подобные отрывистые, ничего не объясняющие слова, я бросался к двери, к окну или в углы комнаты, стараясь пробиться куда-то, стуча руками и ногами в стену. В это время у меня была такая сила, что двое и трое не могли удержать меня, и я, обливаясь потом, таскал их по комнате. Этого роду припадок всегда оканчивался сильным обмороком, в продолжение которого трудно было заметить, что я дышу; обморок переходил постепенно в сон, сначала несколько беспокой-

ный, но потом глубокий и тихий, продолжавшийся иногда часов до девяти утра. После тихих слез и рыданий я просыпался бодрый и живой, как будто всю ночь проспал спокойно; но после исступленного вскакивания и какого-то бешенства я бывал несколько слаб, бледен, как будто утомлен; впрочем, все это скоро проходило, и я целый день весело учился, бегал и предавался своим охотам. Проснувшись, я ничего ясно не помнил: иногда смутно представлялось мне, что я видел во сне что-то навалившееся и душившее меня или видел страшилищ, которые за мной гонялись; иногда усилия меня державших людей, невольно повторявших ласковые слова, которыми уговаривали меня лечь на постель и успокоиться, как будто пробуждали меня на мгновение к действительности, и потом, совсем проснувшись поутру, я вспоминал, что ночью от чего-то просыпался, что около меня стояли мать, отец и другие, что в кустах под окнами пели соловьи и кричали коростели за рекою. Мать моя не знала, что и делать; особенно пугало ее то, что во время обморока показывались у меня на лице судорожные подергиванья и пена на губах, признак зловещий. Мысль, что это может быть в самом деле падучая болезнь, задолго пропророченная Евсеичем в его письме, — приводила ее в ужас. Капли, предписанные Бенисом, она перестала давать; кровочистительного декокта, полученного из казенной аптеки, вовсе не употребляла, хотя Бенис советовал попить его, подозревая во мне золотуху, которой никогда не бывало. Мать позволила мне купаться в реке, думая, что купанье может укрепить меня: оно мне очень нравилось, но пользы не приносило. Мать обратилась к Бенису и так мастерски написала историю моей болезни, что доктор пришел в восхищение от ее описания, благодарил за него, прислал мне чай и пилюли и назначил диету. Все исполняли с большой точностью, но облегчения болезни не было; напротив, припадки становились упорнее, а я слабее. Чай и пилюли бросили, принялись за докторов простонародных, за знахарей и знахарок. Все говорили, что дитя испорчено, что мне *попритчилось;* умывали, обливали, окуривали меня — все без успеха. Я совсем не против народной медицины и верю ей, особенно в соединении с магнетизмом;

я давно отрекся от презрительного взгляда, с которым многие смотрят на нее с высоты своего просвещения и учености; я видел столько поразительных и убедительных случаев, что не могу сомневаться в действительности многих народных средств; но мне тогда не помогли они, может быть оттого, что не попадали на мою болезнь, а может быть и потому, что мать не согласилась давать мне лекарства внутрь. Помню, однако, что я долго принимал, по совету одной соседки, папоротник в порошке, для чего употреблялись самые молоденькие побеги его, выходящие, наподобие гребешка, непосредственно из корня, между большими прорезными листьями или ветвями этого растения. Папоротник также не помог. Наконец, обратились к самому известному лекарству, которое было в большом употреблении у нас в доме еще при дедушке и бабушке, но на которое мать моя смотрела с предубеждением и до этих пор не хотела о нем слышать, хотя тетка давно предлагала его. Это лекарство называлось «припадочные, или росные, капли», потому что росный ладан составлял главное их основание; их клали по десять капель на полрюмки воды, и вода белела, как молоко. Число капель ежедневно прибавлялось по две и доводилось до двадцати пяти на один прием, всегда на ночь. Мне начали их давать, и с первого приема мне стало лучше; через месяц болезнь совершенно прошла и никогда уже не возвращалась. Когда довели до двадцати пяти капель, то стали убавлять по две капли и кончили десятью; я не переставал купаться и не держал ни малейшей диеты. Сколько было бы шуму, если б так чудотворно вылечил меня какой-нибудь славный доктор! Отдохнула моя бедная мать, и отец, и все меня окружающие, особенно ключница Пелагея, которая постоянно возилась со мной во время припадков, сказывала сказки мне с вечера и продолжала их даже тогда, когда я спал; мать моя была так обрадована, как будто в другой раз взяла меня из гимназии. — Вот как часто ищем мы исцеления вдалеке, когда оно давно находится у нас в руках. — Возвращаюсь несколько назад.

Несмотря на страшный характер моей болезни, ни ученье мое, ни деревенские удовольствия не прекраща-

лись во все время ее продолжения; только и тем и другим, когда припадки ожесточались, я занимался умереннее и мать следила за мной с бóльшим вниманием и не отпускала от себя надолго и далеко. Каждый день поутру, покуда не так было жарко, отправлялся я с Евсеичем удить. Самое лучшее уженье находилось у нас в саду, почти под окнами, потому что пониже Аксакова, в мордовской деревне *Кивацкое*, была мельница и огромный пруд, так что подпруда воды доходила почти до сада; тут Бугуруслан мог назваться верховьем Кивацкого пруда, а всем охотникам известно, что для уженья рыбы это очень выгодно. Впервые познакомился я тогда с высшим наслаждением рыбака, с уженьем крупной рыбы: до тех пор я лавливал только плотву, окуней и пескарей; конечно, две первые породы достигают также значительной величины, но мне как-то очень крупная не попадалась, а если и попадалась, то я не мог ее вытащить, потому что удил на тонкие лесы и маленькие крючки. Евсеич свил мне две лесы, волос в двадцать каждую, навязал толстые крючки, привязал лесы к крепким удилищам и, взяв еще свою удочку, повел меня в сад на свое секретное место, которое он называл «золотым местечком». Насадив на крючок кусок умятого черного хлеба величиною с большой русский орех, он закинул мою удочку на дно под самый куст, а свою пустил у берега возле травки и камыша. Я сидел смирно и не смел смигнуть с моего наплавка, который тихо похаживал взад и вперед оттого, что тут вода завертывала под берег. В непродолжительном времени Евсеич вдруг вскочил и, закричав: «Вот он, батюшка!» — начал возиться с большой рыбой, обеими руками держа удилище. Евсеич не имел понятия об уменье удить и потащил изо всей силы, как говорится, через плечо на вынос; рыба, вероятно, запуталась за траву или за камыш, удилище было просто палка, и леса порвалась: так мы и не видали, какая это была рыба. Евсеич пришел в большой азарт; я также почти дрожал, глядя на него. Евсеич клялся и уверял, что это была такая большая рыбища, какой он сроду не уживал; но, вероятно, обыкновенный язь или головль запутался за траву и оттого показался ему так тяжел. Развив другую мою удочку, дядька мой

закинул ее поскорее на то же самое место, где взяла у него рыба, и, сказав: «Видно, я маленько погорячился, теперь стану тащить потише», — сел на траву дожидаться новой добычи, но напрасно. Тогда пришла моя очередь, и судьба захотела меня потешить: наплавок мой стал понемногу привставать и опять ложиться, потом встал окончательно и исчез под водою; я подсек, и огромная рыба начала тяжело ходить, как будто упираясь в воде. Евсеич поспешил мне на помощь и ухватился за мое удилище; но я, помня его недавние слова, беспрестанно повторял, чтоб он тащил потише; наконец, благодаря новой крепкой лесе и не очень гнуткому удилищу, которого я не выпускал из рук [1], выволокли мы на берег кое-как общими силами самого крупного язя, на которого Евсеич упал всем телом, восклицая: «Вот он, соколик! теперь не уйдет!» Я дрожал от радости, как в лихорадке, что, впрочем, и потом случалось со мной, когда я выуживал большую рыбу; долго я не мог успокоиться, беспрестанно бегал посмотреть на язя, который лежал в траве на берегу, в безопасном месте. Удочку закинули опять, но рыба больше не брала. Через полчаса мы пошли домой, потому что я был отпущен на короткое время. Это первое удачное начало сделало меня окончательно горячим рыбаком. Язя надели на прутик, и я принес его к отцу, который и сам иногда любил удить. Тогда еще не было у нас обыкновения взвешивать крупную рыбу, но мне кажется, что я и после никогда не выуживал язя такой величины и что в нем было по крайней мере семь фунтов.

Отец брал меня иногда на охоту с ружьем, на которую, впрочем, он езжал очень редко. Я сильно ей сочувствовал, и такие поездки были для меня праздниками, хотя участие мое в охоте ограничивалось тогда исправлением должности легавой собаки, то есть я бегал за убитой птицей и подавал ее отцу. Ружья мне и в руки не давали. Года через три, однако, во время летней ва-

---

[1] Для успешного уженья крупной рыбы вообще полезно гнуткое удилище и очень вредно твердое; но как здесь язь был вытащен вопреки всем правилам уженья, прямо через плечо, то твердое удилище, мало сгибаясь, оказалось полезным, ибо леса, по крепости своей, могла выдержать рыбу.

кации, о чем я расскажу в своем месте, первый ружейный выстрел решил мою судьбу: все другие охоты, даже удочка, потеряли в глазах моих свою прелесть, и я сделался страстным ружейным охотником на всю жизнь.

Когда болезнь моя прошла совсем, август месяц был уже в исходе; язи и головли давно перестали брать; но я успел выудить их несколько штук замечательной величины и, разумеется, упустил вдвое более. Зато уженье плотвы и особенно окуней находилось еще в сильном разгаре. Впрочем, я тогда очень развлекался ястребами; прошлогодними еще в июле начали травить перепелок; молодых гнездарей также давно уже выносили, и травля шла очень удачно. Старые ястреба были у Никанора Танайченка и у Ивана Мазана, а молодые — у Федора и у моего дядьки Евсеича. У меня также был свой собственный маленький ястреб, чеглик, выношенный очень хорошо, которым я травил воробьев и разных птичек. Я нередко езжал в поле на длинных дрогах, с кем-нибудь из названных мною охотников, всего чаще с Евсеичем, и очень любил смотреть, как травили жирных осенних перепелок и дергунов. Так прошло лето и начало осени, полные разных деревенских удовольствий, в число которых также можно поставить поездки за ягодами, а потом за грибами [1].

Мать моя не любила деревенских прогулок. Нам редко удавалось уговорить ее поехать со мной и отцом в поле или лес. Помню, однако, что чудесная полевая клубника, родившаяся тогда в великом изобилии, выманивала иногда мою мать на залежи ближнего поля, потому что она очень любила эту ягоду и считала ее целебною для своего здоровья. Езжали также изредка на живописные горные родники пить чай со всей семьей под тенистыми березами; но брать грибы казалось матери моей нестерпимо скучным; отец же мой и тетка, напротив, весьма любили *ездить по грибки*, и я разделял их любовь. Всего было больнее то, что моя мать не любила также нашего милого Аксакова. Она находила местопо-

[1] Я не воображал тогда, что грибы будут одним из самых постоянных моих удовольствий на старости лет. В благодарность за то у меня давно заронилась мысль — и я не отказываюсь еще от нее — написать книжку о грибах и об удовольствии брать их.

ложение его низменным и сырым, что отчасти было справедливо, запах от пруда и плотины отвратительным, ключевые воды известковыми и жесткими, и все вместе положительно вредным для ее здоровья; много было правды в этом, но много предубеждения и преувеличения. Надобно вспомнить, что мать моя родилась и выросла в городе, и всякая деревня казалась бы ей скучною. С огорчением слушали мы с отцом ее частые, красноречивые нападения на Аксаково, и хотя не смели защищать его, но мысленно не соглашались. Мать моя, живя в деревне, деревенской жизни не вела. Она занималась детьми, чтением книг и деятельною перепискою с прежними знакомыми, по большей части замечательными людьми, которые, быв только временными жителями или посетителями Уфы, навсегда сохранили к моей матери чувства почтительной дружбы. Она любила также читать медицинские книги: «Домашний лечебник» Бухана был ее авторитетом. К медицинским книгам она получила привычку, находясь несколько лет при постели своего больного отца; она имела домашнюю аптеку и лечила сама больных не только своих, но и чужих, а потому больных немало съезжалось из окружных деревень; отец мой в этом добром деле был ее деятельным помощником. Домашним хозяйством она почти не занималась.

Наступила осень, одно удовольствие исчезало вслед за другим; дни стали коротки и сумрачны; дожди, холод загнали всех в комнаты; больше стал я проводить время с матерью, больше стал учиться, то есть писать и читать вслух. Впрочем, в долгие вечера читал отец и даже сама мать — читала же она необыкновенно хорошо. Хотя отец мой не был приучен к чтению смолоду в своем семействе (у дедушки и бабушки водились только календари да какие-то печатные брошюрки «о Гарлемских каплях» и «Эликсире долгой жизни»), но у него была природная склонность к чтению, чему доказательством служит огромное собрание песен и разных тогдашних стишков, переписанных с печатного его собственною рукою, сохраняющееся у меня и теперь. Моя мать успела развить эту склонность, и потому чтения по вечерам производились ежедневно с общим интересом. Я с живейшим удовольствием вспоминаю эти вечера, при которых всегда

присутствовала и тетушка Евгенья Степановна; литературное удовольствие подкреплялось кедровыми и калеными русскими орехами, которые были очень вредны для моей матери, но которые она очень любила: являлся на сцену медный ларец с лакомством и приносились щипчики и пестики для раздавливанья и для разбиванья орехов [1]. Как скоро чтение возбуждало мое любопытство, то это надбавочное удовольствие становилось мне очень неприятно, потому что развлекало и мешало слушать. — Когда моя мать чувствовала себя лучше обыкновенного и находилась в приятном расположении духа, то бывала увлекательно весела, много смеялась и других заставляла смеяться. Особенно роман «Франчичико Петрочио» и «Приключения Ильи Бенделя», как глупым содержанием, так и нелепым, безграмотным переводом на русский язык, возбуждали сильный смех, который, будучи подстрекаемый живыми и остроумными выходками моей матери, до того овладевал слушателями, что все буквально валялись от хохота — и чтение надолго прерывалось; но попадались иногда книги, возбуждавшие живое сочувствие, любопытство и даже слезы в своих слушателях.

Наступление зимы с ее первыми порошами и легкими морозами на некоторое время опять дало мне возможность предаваться моим охотам. По порошам сходили зайцев, русаков и беляков. Отец брал меня с собою, и мы, в сопровождении толпы всякого народа, обметывали тенетами лежащего на логове зайца почти со всех сторон; с противоположного края с криком и воплями бросалась вся толпа, испуганный заяц вскакивал и попадал в расставленные тенета. Я тоже бегал, шумел, кричал и горячился, разумеется, больше всех. Я очень любил эту забаву и любил толковать о ней с моим отцом. Когда мать моя бывала чем-нибудь занята и я мешал ей своими вопросами и докуками, или когда она бывала нездорова,

---

[1] Судьба этого медного ларца достойна внимания. Мать принесла его в приданое в 1788 году, с ленточками, позументиками, кружевцами; в девяностых годах и даже в 1801 году он наполнялся калеными орехами; в 1807 году в нем лежало более ста тысяч рублей деньгами и векселями и на большую сумму бриллиантов и жемчугов; а теперь он стоит под письменным рабочим столом моего сына, набитый старинными грамотами.

то обыкновенно посылала меня к отцу, прибавляя: «Поговори с ним об зайчиках», — и у нас с отцом начинались бесконечные разговоры. — Кроме охоты за зайцами, у меня была большая охота ставить поставушки на маленьких зверьков: хорьков, горностаев и ласок. Снятые шкурки пойманных зверьков, гладкие и красивые, висели, как трофеи, у моей кровати. Но скоро глубокие снега начали засыпать сугробами землю, забушевали бураны, и все мои охоты решительно прекратились. Страшное и печальное зрелище зимний буран не только в степи, но и в теплом жилье! Занесет окна, надует снегу даже в сени, заметет все дорожки от дома в людские избы, так что надобно отрывать их лопатами; в десяти саженях не видать строения, в десяти шагах не видать человека! Наконец, навалит такие снежные громады, что кажется, никогда они не растают, — и уныние невольно овладевает душой! В столицах не могут иметь понятия об этом, но деревенские жители меня понимают и сочувствуют мне. — Я окончательно заключился в стенах дома и никак не мог упросить мою мать, чтоб меня отпускали с отцом, который езжал иногда на *язы* (около Москвы называют их *завищами*), то есть на такие места, где река на перекатах, к одной стороне, более глубокой, загораживалась плетнем или сплошными кольями, в середине которых вставлялись плетеные *морды* (нерота, верши, по-московски). Около святок и даже ранее начинали попадать в них налимы, иногда очень крупные. Привезут, бывало, их, окоченевших от сильного мороза, вывалят в большое корыто с водой, и мраморные, темнозеленые, пузатые налимы оттают понемногу, начнут плескаться, пошевеливая мягкими своими хвостами, опушенными мягкими перьями. Долго не отходил я от корыта, любуясь их движениями и отскакивая всякий раз, когда летели водяные брызги от их плес или хвостов. У отца моего много сидело налимов в больших плетеных сажалках — и вкусная налимья уха и еще вкуснейшие пироги с налимьими печенками почти всякий день бывали у нас на столе, покуда всем так не наскучивали, что никто не хотел их есть. Тогда начинали налимов приготовлять изредка и окончательно уже истребляли в продолжение великого поста.

По той же самой причине, что моя мать была горожанка, как я уже сказал, и также потому, что она провела в угнетении и печали свое детство и раннюю молодость и потом получила, так сказать, некоторое внешнее прикосновение цивилизации от чтения книг и от знакомства с *тогдашними* умными и образованными людьми, прикосновение, часто возбуждающее какую-то гордость и неуважение к простонародному быту, — по всем этим причинам вместе, моя мать не понимала и не любила ни хороводов, ни свадебных и подблюдных песен, ни святочных игрищ, даже не знала их хорошенько. С большим трудом уступала она иногда просьбам тетки позволить мне посмотреть на них; тетка же, как деревенская девушка, все это очень любила; она устраивала иногда святочные игры и песни у себя в комнате, и сладкие, чарующие звуки народных родных напевов, долетая до меня из третьей комнаты, волновали мое сердце и погружали меня в какое-то непонятное раздумье. Мне было очень досадно, что не позволяли не только самому участвовать, но даже присутствовать на этих играх, и вследствие такого строгого запрещения меня соблазнили, наконец, обманывать свою умную и так горячо любимую мать. Разумеется, я сначала просился и приставал с вопросами к моей матери: для чего она не пускает меня на игрища? Мать отвечала мне решительно и строго: «что там бывает много глупого, гадкого и неприличного, чего мне ни слышать, ни видеть не должно, потому что я еще дитя, не умеющее различать хорошего от дурного». А как я ничего дурного не видел или, видя, не понимал, в чем оно состоит, то повиновался неохотно, без внутреннего убеждения, даже с неудовольствием. Тетка же моя с своими сенными девушками говорили совсем другое; они утверждали, «что у матери моей такой уже нрав, что она всем недовольна и что все деревенское ей не нравится, что оттого она нездорова, что ей самой невесело, так она хочет, чтоб и другие не веселились». Такие слова вкрадчиво западали в мой детский ум, и следствием того было, что один раз тетка уговорила меня посмотреть игрища тихонько; и вот каким образом это сделалось: во все время святок мать чувствовала себя или не совсем здоровою, или не совсем в хорошем расположении духа;

общего чтения не было, но отец читал моей матери какую-нибудь скучную или известную ей книгу, только для того, чтоб усыпить ее, и она после чая, всегда подаваемого в шесть часов вечера, спала часа по два и более. Я в это время уходил к тетке. В один из таких удобных часов она уговорила меня посмотреть игрища и, завернув с головой в шубу и отдав на руки здоровенной своей девке Матрене, отправилась со мной в столярную избу, где ожидала нас, переряженная в медведей, индеек, журавлей, стариков и старух, вся девичья и вся молодая дворня. Несмотря на сальные вонючие огарки, даже дымную лучину, плохо освещавшую просторную избу, несмотря на удушливый мефитический воздух, сколько было истинной веселости на этих деревенских игрищах! Чудные голоса святочных песен, уцелевшие звуки глубокой древности, отголоски неведомого мира, еще хранили в себе живую обаятельную силу и властвовали над сердцами неизмеримо далекого потомства! Каким-то хмелем веселья, опьянением радости проникнуты были все. Взрыв звонкого дружного смеха часто покрывали и песни и речи. Это были не актеры и актрисы, представляющие кого-то для удовольствия других, — себя выражали одушевленные песенницы и плясуньи, себя тешили они от избытка сердца, и каждый зритель был увлеченное действующее лицо. Все пело, плясало, говорило, хохотало — и в самом разгаре, в чаду шумного общего веселья, те же сильные руки завертывали меня в шубу и стремительно уносили из волшебного сказочного мира... Долго я не засыпал в эти ночи, и долго странные образы плясали и пели вокруг меня и не расставались со мною даже в сновидениях [1].

---

[1] Я помню одну драматическую святочную игру, с особенною песнью и пляскою, которая, как я слышу теперь, уже вышла из памяти народной в той губернии, где я видал ее: посередине избы, на скамье или чурбане, сидит старик (разумеется, кто-нибудь переряженный), молодая его жена в кокошнике и фате, ходя вокруг и приплясывая, поет жалобу на дряхлость мужа, хор ей подтягивает. Пропев куплет, кажется из восьми стихов, из которых я помню два начальные во всех куплетах:

Ох ты горе мое, гореванье,
Ты тяжелое мое, воздыханье... —

В первый раз я был увлечен в этот обман внезапно, почти насильно, и по возвращении домой долго не смел смотреть прямо в глаза моей матери; но очаровательное зрелище так меня пленило, что в другой раз я охотно согласился, а потом и сам стал приставать к моей тетке и проситься на игрища.

Наконец, переломилась жестокая зима и унялись трескучие морозы. У нас не было тогда термометров, и я не могу сказать, до сколька градусов достигала стужа, но помню, что птица мерзла и что мне приносили воробьев и галок, которые на лету падали мертвыми и мгновенно коченели; некоторым теплота возвращала жизнь. Вообще я должен заметить, что зимы во время моего детства и ранней молодости были гораздо холоднее нынешних, и это не стариковский предрассудок; в бытность мою в Казани, до начала 1807 года, два раза замерзала ртуть, и мы ковали ее, как разогретое железо. Теперь уже в Казани это сделалось преданием старины.

Начало пригревать солнышко, начала лосниться дорога, пришла масленица, и началось катанье с гор. В общественных катаниях, к сожалению моему, мать также не позволяла мне участвовать, и только катаясь с сестрицей, а иногда и с маленьким братцем, проезжая мимо, с завистию посматривал я на толпу деревенских мальчиков и девочек, которые, раскрасневшись от движения и холода, смело летели с высокой горы, прямо от гумна, на маленьких салазках, коньках и ледянках: ледянки были не что иное, как старые решета или круглые

жена подходит к мужу и посылает его пахать яровую пашню. Старик кашляет, стонет и дребезжащим голосом отвечает: «Моченьки нет». Зрители хохочут. Молодая женщина опять поет вместе с хором новый куплет, ходя и приплясывая кругом старика. Таким образом перебираются все полевые работы, и на все приглашения сеять, пахать, косить, жать и проч. старик отвечает словами: «Моченьки нет», разнообразя отказ прибаутками и оханьем. Наконец, жена поет последний куплет, в котором говорится, что все добрые люди убрались с полей и принялись варить пиво, потом подходит к мужу и зовет его к соседу «бражки испить». Старик проворно вскакивает, бодро отвечает: «Пойдем, матушка, пойдем» — и бежит стариковской рысью, утаскивая за руку молодую жену. Громкий веселый хохот зрителей заключает эту игру.

лубочные лукошки, подмороженные снизу так же, как и коньки. Шумный говор и смех раздавался в бодрой, веселой толпе, часто одетой в фантастические костюмы, особенно когда летели вверх ногами наездники с высоких коньков или, быстро вертясь, опрокидывалась ледянка с какой-нибудь девчонкой, которая начинала визжать задолго до крушения своего экипажа. Как мне хотелось туда — в этот шум, говор и смех... и как после этого зрелища казалось мне скучным уединенное катанье с ледяной горки, устроенной в саду перед окнами гостиной, и только одно меня утешало, что моя милая сестрица каталась вместе со мной.

С наступлением великого поста оканчивались все зимние, очень немногие, удовольствия. Нельзя сказать, чтоб великий пост проходил у нас в посте и молитве. Мать моя постов не держала по нездоровью; я, конечно, не постничал; отец мой хотя не ел скоромного в успенский и великий пост, но при изобильном запасе уральской красной рыбы, замороженных илецких[1] стерлядей, свежей икры и живых налимов — его постный стол был гораздо лакомее скоромного. Церкви у нас еще не было, и ближайшая находилась в девяти верстах, в селе Мордовский Бугуруслан. Священник был как-то не расположен к нам, и мы езжали туда только по самым большим праздникам. Вообще должно сказать, что у нас дом был не то что не богомольный, но мало привычный к слушанью церковной службы, что почти всегда бывает при отдаленности церкви. Итак, великий пост провел я в обыкновенных, несколько усиленных, учебных занятиях. Ученица моя уже не печалила, а радовала меня своими успехами. Я играл с ней в куклы, строил городки из чурочек, а иногда читывал и растолковывал ей детские сказочки.

Мать моя постоянно была чем-то озабочена и даже иногда расстроена; она несколько менее занималась мною, и я, более преданный спокойному размышлению, потрясенный в моей детской беспечности жизнью в гимназии, не забывший новых впечатлений и по возвращении к деревенской жизни, — я уже не находил в себе

[1] То есть уральских.

прежней беззаботности, прежнего увлечения в своих охотах и с бо́льшим вниманием стал вглядываться во все меня окружающее, стал понимать кое-что, до тех пор не замечаемое мною... и не так светлы и радостны показались мне некоторые предметы. Чувство неиспытанной мною до тех пор особенного рода грусти стало примешиваться ко всем моим любимым занятиям, ко всем забавам... Я не буду распространяться об этом печальном обстоятельстве, но я должен упомянуть о нем, потому что иначе было бы нельзя понять, отчего через несколько месяцев жизнь в Аксакове уже не казалась мне прежним светлым раем, а вторичное поступление в гимназию, особенно учеником своекоштным, — не представлялось страшным событием.

Зима стояла долгая и упорная. Весна медленно вступала в права свои, и только в исходе апреля теплота в воздухе, дождь и ветер дружно напали на страшные громады снегов и в одну неделю разрушили их. Во время пасхи стояла совершенная распутица, и мы не ездили даже к заутрене великого праздника. Всю светлую неделю провел я невесело: мать была нездорова и печальна, отец молчалив; он постоянно сидел за бумагами по тяжебному делу с Богдановыми о каком-то наследстве, — это дело он выиграл впоследствии. Отец всякий день ходил на мельницу наблюдать прибыль воды. Однажды, воротясь неожиданно скоро домой, он сказал мне: «Просись, Сережа, у матери: сейчас будем спускать воду». Я побежал проситься, и в этот раз счастливее прежних разов: мать отпустила меня, приняв некоторые предосторожности, чтобы я не промочил ног и не простудился. На длинных крестьянских дрогах доехали мы до мельницы; на плотине дожидались нас крестьяне с разными орудиями. Русский народ любит смотреть на движение воды, и все население Аксакова сбежалось поглядеть, как будут спускать пруд. Заводских вешняков с деревянными запорами у нас еще не заводилось, и отверстие в плотине, то есть вешняк, для спуска полой воды ежегодно заваливали наглухо. Пруд надулся и весь посинел, лед поднялся, истрескался и отстал от берегов, материк давно прошел, и вода едва помещалась в каузе. Топорами, пешнями и железными

лопатами разрубили мерзлую плотину по обоим краям прошлогоднего вешняка, и едва своротили верхний слой в аршин глубиною, как вода хлынула и, не нуждаясь более в человеческой помощи, так успешно принялась за дело, что в полчаса расчистила себе дорогу до самого материка земли. Яростно устремились мутные волны, и в одну минуту образовалась сильная река, которая не уместилась в новенькой канавке и затопила окружные места. Радостными восклицаниями приветствовал народ вырвавшуюся на волю из зимнего плена любимую им стихию; особенно кричали и взвизгивали женщины, — и все это, мешаясь с шумом круто падающей воды, с треском оседающего и ломающегося льда, представляло полную жизни картину... и если б не прислали из дому сказать, что давно пришла пора обедать, то, кажется, мы с отцом простояли бы тут до вечера.

На другой день поутру мы опять поехали на плотину и нашли уже там другое, также шумное и веселое зрелище. Первые бурные порывы воды несколько усмирились, пруд значительно сбежал, мелкие глыбы льда разбились о сваи и пронеслись, а большие сели на дно, по обмелевшим местам. По сухому почти месту, где текла теперь целая река из-под вешняка, были заранее вколочены толстые невысокие колья; к этим кольям, входя по пояс в воду, привязывали или надевали на них петлями морды и хвостуши; рыба, которая скатывалась вниз, увлекаемая стремлением воды, а еще более рыба, поднимавшаяся вверх по реке до самого вешняка, сбиваемая назад силою падающих волн, попадала в морды и хвостуши. То и дело мокрые крестьяне, дрожа от холода, но в то же время перекидываясь шутками и громкими восклицаниями, вытаскивали на берег свою добычу, а бабы, старики, старухи, мальчишки и девчонки таскали ее домой в лукошках и решетах, а иногда и просто в подолах своих рубашек. Выбрав несколько крупных рыб, мы отправились домой. Мать моя была недовольна, что мы так замешкались, и не скоро получил я позволение побывать на мельнице.

В короткое время исчезли все признаки зимы, оделись зеленью кусты и деревья, выросла молодая трава,

и весна явилась во всей своей красоте. Попрежнему населился наш сад всякими певчими птичками, зорьками и малиновками, особенно любившими старые смородинные и барбарисовые кусты, опять запели соловьи, и опять стали передразнивать их варакушки. Проведя прошлогоднюю весну в тюремном заключении, в тесной больничной комнате, казалось бы, я должен был с особенным чувством наслаждения встретить весну в деревне; но у меня постоянно ныло сердце, и хотя я не понимал хорошенько, отчего это происходило, но тем не менее все мои удовольствия, которым, повидимому, я попрежнему предавался, были отравлены грустным чувством.

Еще зимой отец мой задумал сделать на плотине так называемый заводский вешняк с запорами и построить хорошую мельницу. Он нанял для этого какого-то *верхо́вого* мельника, Краснова, великого краснобая и плута, что все оказалось впоследствии. Весь великий пост заготовляли наши крестьяне лесной материал: крупные и мелкие бревна, слеги, переводины, лежни и сваи, которых почему-то понадобилось великое множество, и сейчас, по слитии полой воды, принялись разрывать плотину и рубить новый вешняк на другом месте; в то же время наемные плотники начали бить сваи и потом рубить огромный мельничный амбар, также на другом месте, в котором должны были помещаться шесть мукомольных поставов: толчея находилась в особом пристрое. Работы продолжались почти во все лето. Отец мой слепо вверился Краснову, и хотя старый мельник Болтуненок и некоторые крестьяне, разумеющие несколько мельничную постройку, исподтишка ухмылялись и покачивали головами, но на вопросы моего отца: «Каков Краснов-то, как разумеет свое дело? нарисовал весь план на бумаге и по одному глазомеру бьет сваи, и все приходятся по своим местам!» — всегда отвечали с простодушным лукавством русских людей: «Боек, батюшка, боек. Что и говорить, мастер своего дела! Все раскинет в уме, и все приходится, как быть надо. Только не знай, как-то будет мельница молоть: вода-то пойдет по канаве, чай, тихо, не то что прямо из материка, да как бы зимой промерзать не стала?» Но Краснов улыбался на мужичьи замечанья и

с такой самоуверенностью опровергал их, что отцу моему и в голову не входило ни малейшего сомнения в успехе. Я также слушал с благоговением красноречивого Краснова. Между тем постройка требовала, чтобы пруд был спущен, и в пруду открылось такое уженье, какого не видывали до тех пор, да и после не видали. Вся прудовая рыба скатилась в трубу, то есть в материк реки. Рыбы было столько, как в кастрюле с доброй ухой. Началось баснословное уженье. Я с Евсеичем не сходил с пруда и нигде уже больше не удил; даже отец мой, удивший очень редко за недосугом, мог теперь удить с утра до вечера, потому что бóльшую часть дня должен был проводить на мельнице, наблюдая над разными работами: он имел полную возможность удить, не выпуская из глаз всех построек и осматривая их от времени до времени. Головли, язи, лини, окуни, щуки и крупная плотва (фунта по три и более) брали беспрестанно и во всякое время дня. Величина рыбы зависела от величины насадки: кто насаживал огромные куски, у того брала огромная рыба. Я помню, что мой отец, который особенно любил удить окуней и щук, навязывал по два крючка на одну лесу, насаживал крючки мелкой рыбешкой и таскал по два окуня вдруг, и даже один раз окуня и щуку. Впрочем, щук ловили большею частью на жерлицы, насаживая порядочными окунями и плотицами, и нередко попадались полупудовые щуки. Само собою разумеется, что несмотря на толстые лесы и крючки, без уменья удить и без помощи сачка самая крупная рыба часто срывалась, ломала удилища и крючки и рвала лесы. Евсеич мой, который и в старости часто смешил меня своей горячностью на уженье, более всех подвергался несчастным потерям, а по его милости и я часто терял крупную рыбу, потому что без его помощи не мог ее вытащить, а помощь его почти всегда была вредна. Самый сильный лов продолжался с весны до половины июля, а потом крупная рыба перестала брать: я разумею язей, головлей и линей; остальная же вся брала превосходно, но, вероятно, и они бы брали, если б тогда была известна насадка целых линючих раков.

В течение всего этого года моя мать постоянно переписывалась каждый месяц с Васильем Петровичем

Упадышевским. В этот год много последовало перемен в казанской гимназии: директор Пекен и главный надзиратель Камашев вышли в отставку; должность директора исправлял старший учитель русской истории Илья Федорыч Яковкин, а должность главного надзирателя — Упадышевский. Переговоря с новым директором и инспектором, Василий Петрович уведомил, что я могу теперь, если моим родителям угодно, не вступать в казенные гимназисты, а поступить своекоштным и жить у кого-нибудь из учителей; что есть двое отличных молодых людей: Иван Ипатыч Запольский и Григорий Иваныч Карташевский, оба из Московского университета, которые живут вместе, нанимают большой дом, берут к себе пансионеров, содержат их отлично хорошо и плату полагают умеренную. Отец и мать очень обрадовались таким известиям, особенно тому, что провалился Камашев, и хотя платить за меня по триста рублей в год и издерживать рублей по двести на платье, книги и дядьку было для них очень тяжело, но они решились для моего воспитания войти в долги, которых и без того имели две тысячи рублей ассигнациями (тогда эта сумма казалась долгами!), и только в ожидании будущих благ от Надежды Ивановны Куроедовой отважились на новый заем. Курс ученья начинался в гимназии с 15-го, а прием с 1 августа. — Итак, было положено в исходе июля отправиться в Казань. Такое решение принял я почти спокойно, потому что внутреннее состояние моего духа становилось тяжеле и больнее. Но когда сборы были кончены, назначен день отъезда, — мне стало так жаль Аксакова, что вдруг все в нем получило в глазах моих прежнюю цену и прелесть, даже, может быть, бóльшую. Мне казалось, что я никогда его не увижу, и потому я прощался с каждым строением, с каждым местом, с каждым деревом и кустиком, и прощался со слезами. Я раздарил все мое богатство: голубей отдал я повару Степану и его сыну, кошку подарил Сергевне, жене нашего слепого поверенного Пантелея Григорьича, необыкновенного дельца и знатока в законах; мои удочки и поставушки роздал дворовым мальчикам, а книжки, сухие цветы, картинки и проч. отдал моей сестрице, с которой в этот год мы сделались такими друзьями,

какими только могут быть девятилетняя сестра с одиннадцатилетним братом. Разлука с ней была для меня очень прискорбна, и я упросил мать взять мою сестрицу с собой. Мать сначала противилась моим просьбам, но, наконец, уступила.

Должно упомянуть, что за неделю до нашего отъезда была пущена в ход новая мельница. Увы, оправдались сомнения Болтуненка и других: вода точно шла тише по обводному каналу и не поднимала шести поставов; даже на два молола несравненно тише прежнего. Отец мой, разочарованный в искусстве Краснова, прогнал его и поручил хоть кое-как поправить дело старому мельнику.

Наконец, 26 июля та же просторная карета, запряженная тем же шестериком, с тем же кучером и форейтором — стояла у крыльца; такая же толпа дворовых и крестьян собралась провожать господ; отец с матерью, я с сестрой и Параша поместились в экипаже, Евсеич сел на козлы, Федор на запятки, и карета тихо тронулась от крыльца, на котором стояла тетушка Евгенья Степановна, нянька с моим братом и кормилица на руках с меньшой сестрой моей. Толпа крестьян и дворовых провожала нас до околицы, осыпая прощаньями, благословеньями и добрыми желаньями. Дорога шла до Крутца вдоль пруда, по которому уже плавали черные лысухи и над которым уже вилась стая белых и пестрых мартышек или чаек. Как я завидовал каждому деревенскому мальчику, которому никуда не надо было ехать, ни с кем и ни с чем не разлучаться, который оставался дома и мог теперь с своей удочкой сесть где-нибудь на плотине и под густой тенью ольхи удить беззаботно окуней и плотву! Он оставался полным спокойным хозяином широкого пруда, на этот год не заросшего камышами и травами, потому что был с весны долго спущен. Фыркали и горячились застоявшиеся кони, но сильные привычные руки кучера осаживали их и долго заставляли идти шагом. В карете все казались печальны и молчали. Я высунулся из окна и глядел на милое Аксаково до тех пор, пока оно не скрылось из глаз, и тихие слезы катились по моим щекам.

ГИМНАЗИЯ

Период второй

Приехав в Казань (1801 года), мы не остановились уже у капитанши Аристовой, а наняли себе квартиру получше; не помню, на какой улице, но помню, что мы занимали целый отдельный домик, принадлежавший, кажется, г. Чортову. Василий Петрович Упадышевский не замедлил к нам явиться. Все его встретили, как близкого родного, благодетеля и друга. Он рассказал нам, что Яковкин до сих пор только исправляет должность директора гимназии и что ходят по городу слухи, будто директором будет богатый тамошний помещик Лихачев, и что теперь самое удобное время поместить меня в гимназию своекоштным учеником, потому что Яковкин и весь совет на это согласен, и что, может быть, будущий директор посмотрит на это дело иначе и заупрямится. Упадышевский очень хвалил двух старших учителей, поступивших уже давно в гимназию из Московского университета: Ивана Ипатыча Запольского, преподававшего физику, и Григория Иваныча Карташевского, преподававшего чистую математику. Он превозносил их ум, ученость и скромность поведения. Они были дружны между собою, жили вместе в прекрасном каменном доме и держали у себя семерых воспитанников, своекоштных гимназистов: Рычкова, двух Скуридиных, Ах—ва и троих Манасеиных; содержали и кормили их очень хорошо и прилежно наблюдали за их ученьем в классах. Они не принимали более воспитанников, но Упадышевский рассказал им мою историю и столько наговорил доброго обо мне и моем семействе, что молодые люди, убежденные его просьбами, согласились сделать исключение для моей матери и принять меня в число своих воспитанников. Отец поехал со мной к Яковкину и, получив его согласие определить меня в своекоштные гимназисты, отправился, также вместе со мной, к Ивану Ипатычу Запольскому и Григорию Иванычу Карташевскому. Везде приняли нас очень благосклонно, но Григорий Иваныч объявил, что я могу поступить собственно к его товарищу Запольскому, потому что они воспитанников разделили; что трое старших находятся

непосредственно под его наблюдением; что его воспитанники, через год кончив курс гимназического ученья, должны оставить гимназию для поступления в службу, и что он, Григорий Иваныч, тогда будет жить особо и воспитанников иметь не хочет. Иван Ипатыч с удовольствием согласился меня принять. Для моего отца было все равно, кто бы ни взял меня; он только убедительно просил обоих молодых людей познакомиться с моей матерью. На другой день они приехали к нам. С первого взгляда Григорий Иваныч чрезвычайно понравился моей матери, и она очень огорчилась тем, что я буду жить не у него. Отцу же моему и мне гораздо более нравился Иван Ипатыч, который показался нам приветливее, добрее и словоохотнее своего серьезного товарища. На все ласковые убеждения моей матери, что разлучаться друзьям не надобно, а лучше жить вместе и помогать друг другу в исполнении таких святых обязанностей, — Григорий Иваныч очень твердо отвечал, что считает эту обязанность слишком важною и тяжелою, что ответственность за воспитание молодых людей если не перед родителями их, то перед самим собою ему не под силу и мешает заниматься наукой, в которой он сам еще ученик. Ответ был высказан так решительно, что возражать было нечего, да и неловко. Молодые люди уехали, и моя мать, по живости своего нрава, очень огорчилась. Будучи всегда слишком страстною в своих увлечениях, она превозносила до небес достоинства Григория Иваныча и находила много недостатков в его товарище. Последствия доказали, что горячее увлечение моей матери не было ошибочно. Иван Ипатыч был очень хороший человек в обыкновенном смысле этого слова; но Григорий Иваныч принадлежал к небольшому числу тех людей, нравственная высота которых встречается очень редко и которых вся жизнь — есть строгое проявление этой высоты... Я же радовался от всей души, что попаду к доброму Ивану Ипатычу и стану жить не с большими воспитанниками, которые помещались особо, а с своими ровесниками, такими же веселыми и добрыми мальчиками, как я. Все дела наши, благодаря участию Упадышевского, устроились без всякого затруднения, и через

месяц отец, мать и сестрица уехали в Аксаково; но в продолжение этого месяца Григорий Иваныч, умевший оценить мою мать, часто бывал у нас, хотя считался большим домоседом, и прочная, на взаимном уважении основанная дружба, доказанная впоследствии многими важными опытами, образовалась между ними.

Вторичная разлука наша с матерью далеко не сопровождалась такою мучительною горестью, как первая. Особенно в себе я заметил эту разницу, и, несмотря на мой детский возраст, она поразила меня и заставила грустно задуматься. Но скоро новый образ жизни поглотил все мое внимание. Меня поместили в одной комнате с тремя братьями Манасеиными, с которыми я сейчас познакомился хорошо. Ах—в же занимал маленькую особую комнату, возле нашей. Он был очень богат и, кажется, единственный сын у своей матери, вдовы. Несмотря на богатство, которое видно было в его платье, постели и во всем, он жил очень скупо; в комнате у него стоял огромный сундук, окованный железом, ключ от которого он носил в кармане. Товарищи мои думали, что в сундуке хранятся драгоценные вещи и разные сокровища; сундук возбуждал общее любопытство.

Наконец, я опять увидел некогда страшную и противную мне гимназию, и увидел ее без страха и без неприятного чувства. Я очень этому обрадовался. Я поступил опять в те же нижние классы, из которых большая часть моих прежних товарищей перешла в средние и на место их определились новые ученики, которые были приготовлены хуже меня; ученики же, не перешедшие в следующий класс, были лентяи или без способностей, и потому я в самое короткое время сделался первым во всех классах, кроме катехизиса и краткой священной истории. Священник постоянно сохранял ко мне какое-то неблагорасположение, несмотря на то, что я знал свои уроки всегда очень твердо. Замечательно, что впоследствии, когда Упадышевский спрашивал его, отчего Аксаков, самый прилежный ученик везде, не находится у него в числе лучших учеников и что, верно, он нехорошо знает свои уроки, священник отвечал: «Нет, уроки он знает твердо; но он не охотник до катехизиса и священной истории».

Прошло несколько месяцев, рассеялись последние остатки грусти по доме родительском, по привольному деревенскому житью; я постепенно привык к своей школьной жизни и завел себе несколько приятелей в гимназии и полюбил ее. Этой перемене много способствовало то, что я только приезжал в гимназию учиться, а не жил в ней. Житье у Ивана Ипатыча не так резко разнилось от моей домашней жизни, как безвыходное заключение в казенном доме гимназии посреди множества разнородных товарищей.

Ах—в, который чуждался меня и Манасеиных, да и всех в гимназии, заметив мою скромность и смиренство, стал со мной заговаривать и приглашать в свою комнату, даже потчевал своими домашними лакомствами, которые он ел потихоньку от всех; наконец, сказал, что хочет показать мне свой сундук, только таким образом, чтобы никто этого не знал. Я обрадовался. Воображение мое, полное волшебных сказок, представляло мне этот сундук хранилищем драгоценных камней, слитков золота и серебра. Мы условились с Ах—м, что я приду к нему в комнату, когда все заснут. Я так и сделал в тот же самый вечер; Манасеины не заставили меня долго ждать и скоро захрапели; я пришел к Ах—ву, у которого по ночам теплилась лампадка перед большим, богато вызолоченным образом. Хозяин зажег свечу, запер дверь, взял с меня обещание никому не сказывать о том, что увижу, и бережно отпер таинственный сундук... Каково было мое удивление! Сундук оказался набит битком гравированными, рисованными и раскрашенными лубочными картинками! Между ними находились и ландшафты, и портреты, писанные масляными красками, разумеется вроде цирюльных вывесок. Я сам был охотник до картинок; но как тут я ожидал совсем другого, то не обращал на них внимания и все еще надеялся, что на дне сундука окажется настоящее сокровище; когда же были сняты последние листы и голые доски представились глазам моим, — я невольно воскликнул: «Только-то!..» и смутил ужасно Ах—ва, который думал удивить и привести меня в восхищение. Я шепотом откровенно рассказал ему, что мы все думали об его сундуке. «Вы все дураки», — сказал с негодованием Ах—в

и почти выгнал меня. Тем и кончилась наша ребячья дружба. Через несколько времени я нарушил обещание и рассказал Манасеиным, что хранится в сундуке, и мы потом не один раз, подглядывая в дверные щели, видели, как Ах—в, запершись на крючок, раскладывал свои картинки по постели, по столам, по стульям и даже по полу. Он разглядывал их, обтирал и любовался ими, как Скупой рыцарь у Пушкина своими сокровищами; почти каждый день, по большей части ночью, предавался он этому наслаждению целые часы. Мы стали подсмеиваться над Ах—м, рассказали в гимназии про его охоту к картинкам, — и резвые мальчики не давали ему прохода, требуя, чтоб он делился с другими своим богатством и показал им, как «мыши погребают кота», или как «Еруслан Лазаревич побивает несметную бусурманскую силу». Ах—в сердился, бранился и даже дрался, — ничто не помогало. Наконец, это так надоело ему, что он написал к своей матери, и она скоро совсем взяла его из гимназии. Впрочем, этому могли быть и другие причины. — Недавно я узнал, что Ах—в навсегда остался большим чудаком, но это не мешает ему иметь репутацию очень дельного хозяина.

Первые месяцы после моего поступления к Ивану Ипатычу он кое-как занимался мною и другими. Все занятие состояло в том, что он предварительно спрашивал заданные нам уроки и учил читать по-французски и по-немецки; но мало-помалу он переставал нами заниматься вовсе и стал куда-то отлучаться. Должно сказать правду: ученью нашему были полезны его отлучки, потому что в его отсутствие занимался нами Григорий Иваныч гораздо внимательнее и лучше своего товарища, и я это очень понимал. Наконец, Евсеич сказал мне за тайну, что Иван Ипатыч сватает невесту хорошего дворянского рода и с состоянием и что невеста и мать согласны, только отец не хочет выдать дочери за учителя, бедняка, да еще поповича. Это известие оказалось совершенно справедливым.

Директором гимназии точно был определен помещик Лихачев; но своекоштные ученики долго его и в глаза не знали, потому что он посещал гимназию обыкновенно в обеденное время, а в классы и не заглядывал. —

Я учился, ездил или ходил в гимназию весьма охотно. Товарищи ли мои были совсем другие мальчики, чем прежде, или я сделался другим — не знаю, только я не замечал этого, несносного прежде, приставанья или тормошенья учеников; нашлись общие интересы, родилось желание сообщаться друг с другом, и я стал ожидать с нетерпением того времени, когда надо ехать в гимназию. Притом надобно и то сказать, что я проводил там по большей части классное время, а в классах самолюбие мое постоянно было ласкаемо похвалами учителей и некоторым уважением товарищей, что, однако, не мешало мне играть и резвиться с ними во всякое свободное время и при всяком удобном случае. Домой я писал каждую неделю и каждую неделю получал самые нежные письма от матери, иногда с припискою отца. Мать уверяла меня, что не грустит, расставшись со мною, радуется тому, что я так хорошо учусь и веду себя, о чем пишет к ней Иван Ипатыч и Упадышевский; я поверил, что мать моя не грустит. Во всяком письме она свидетельствовала почтение Ивану Ипатычу и Григорию Иванычу, с которыми от времени до времени переписывалась сама. Таким образом шли дела почти целый год, то есть до июня 1802 года; в продолжение июня происходили экзамены, окончившиеся совершенным торжеством для моего детского самолюбия; я был переведен во все средние классы. В первых числах июля, на акте, я получил книжку с золотою надписью: «За прилежание и успехи» и еще похвальный лист.

За мной давно уже приехала простая кибитка и тройка лошадей с кучером, и в день гимназического акта, после обеда, мы с Евсеичем отправились в наше любимое и дорогое Аксаково. Мы ехали по той же самой дороге, по которой два года тому назад везла меня мать, вырвав из казенных воспитанников гимназии, и останавливались даже на тех же кормежках и ночевках. Скоро дыханье природы проникло в мое существо и выгнало из головы моей гимназию, товарищей, учителей, книги и уроки. После временного как будто забвения или охлаждения еще горячее и уже сознательнее полюбил я красоты божьего мира... Дома вся семья встретила меня с нежною любовью, а радости матери моей — и

описать нельзя! Как выросла и похорошела в один год моя любимая сестрица и как обрадовалась мне! Сколько расспросов, сколько рассказов! Между прочим, я узнал от нее, что моя мать сначала так по мне тосковала, что даже была больна, и мне сделалось как-то больно, что я грустил в разлуке с ней менее, чем прежде.

Все дни вакации, которые провел я тогда в Аксакове, слились в моей памяти в один прекрасный, радостный день! Я никак не могу рассказать, если бы и хотел, что я делал в эти счастливые дни! Знаю только, что я наслаждался от утра до вечера. Всего чаще мелькает в этом рое удовольствий удочка, купанье и ястреб. Мать заставила меня рассказать весь год моей гимназической жизни со всеми мельчайшими подробностями и в продолжение рассказа часто говорила моему отцу: «Видишь ли, Тимофей Степаныч, я не ошиблась в Григории Иваныче. Он далек от Ивана Ипатыча, как небо от земли. Вот кому желала бы я отдать на воспитание Сережу, и я буду стараться о том из всех сил». Рассказы Евсеича еще более утвердили ее в этом намерении, важность которого я уже понимал и сам желал его исполнения. Всего более пленяли мою мать строгость и чистота нравов Григорья Иваныча. — С моей сестрицей я почти не расставался; дружба наша сделалась еще теснее и нежнее. — Быстро пролетели блаженные дни, и 10 августа, в той же кибитке, с тем же кучером и на тех же лошадях, мы с Евсеичем отправились в Казань.

По приезде моем я нашел всех учеников в сборе, но Ивана Ипатыча не было в городе. Мы узнали, что он поехал жениться в деревню к своей невесте Настасье Петровне Елагиной, что через месяц после свадьбы они приедут в Казань, наймут особый дом и тогда уже возьмут нас к себе и что до тех пор будет заниматься с нами Григорий Иваныч. Я очень этому обрадовался, а Манасеины — напротив, особенно меньшой брат Ельпидифор, славный мальчик, но великий шалун, не принявшийся еще за ученье, шалун, из которого вышел впоследствии весьма дельный человек. Очень живо помню, что я с большим нетерпением и желанием учиться вступил в средние классы. Я знал заранее, что в них ученье гораздо труднее и что средние классы считались основанием

всего гимназического курса. Существовало мнение, что тот ученик, который в них отличится, непременно будет отличным и в высших классах, тогда как, напротив, часто случалось, что первые ученики в низших классах оставались в средних навсегда посредственными [1]. Это мнение меня пугало, и весь первый месяц мое опасение не рассеялось. Учителя были другие и нас не знали; все переведенные ученики сидели особо на двух отдельных скамейках, и сначала ими занимались мало. По трудности курса средних классов большая часть воспитанников оставалась в них по два года, отчего классы были слишком полны и для учителя не было физической возможности со всеми равно заниматься. В числе других предметов, вместе с русским языком, в среднем классе преподавалась грамматика славянского языка, составленная самим преподавателем, Николаем Мисаиловичем Ибрагимовым [2], поступившим также из Московского университета; он же был не только учителем российской словесности, но и математики в средних классах. Этот человек имел большое значение в моем литературном направлении, и память его драгоценна для меня. Он первый ободрил меня и, так сказать, толкнул на настоящую дорогу. Ибрагимов диктовал свою славянскую грамматику для тех, кто ее еще не слушал и у кого ее не было; обыкновенно один ученик писал под диктовку на классной доске, а другие списывали продиктованное. Ибрагимов объяснял не довольно подробно и не так понятно; для слушавших грамматику вторично этого толкования было достаточно, но мало для учеников новых, а особенно для двенадцатилетних мальчиков, каким был я и многие другие. По счастию, в это время занимался мною дома Григорий Иваныч (по случаю отсутствия Ивана Ипатыча); он объяснил мне «Введение

---

[1] Очевидно, что разделение гимназического курса на три класса было недостаточно. Это впоследствии дознано опытом, почему теперешний гимназический курс и разделяют на семь классов.

[2] Фамилия его и наружность ясно указывали на его татарское или башкирское происхождение; он имел большую голову, маленькие проницательные и очень приятные глаза, широкие скулы и огромный рот. Горячо любил литературу, был очень остроумен и вообще человек даровитый.

в славянскую грамматику», в котором излагался взгляд на грамматику общую; без объяснения я понял бы этот взгляд так же плохо, как и другие ученики. Имея у себя заранее полный список славянской грамматики, я просмотрел ее всю в воскресные дни и на темные для меня места попросил объяснения у Григория Иваныча. Это было мне впоследствии очень полезно. — Наконец, уже в исходе сентября (через шесть недель после начала учения) маленькая татарская фигурка Ибрагимова, прошед несколько раз по длинному классу с тетрадкою в руке, вместо обыкновенной диктовки вдруг приблизилась к отдельным скамьям новых учеников. Сердце у меня сильно забилось. Ибрагимов стал предлагать всем ученикам, переведенным из нижнего класса, разные вопросы из пройденных им «Введения» и двух глав грамматики — в том порядке, как сидели ученики; порядок же был следующий: сначала сидели казенные гимназисты, потом пансионеры, потом полупансионеры и, наконец, своекоштные. На вопросы Ибрагимова из грамматики кое-как еще отвечали, но из «Введения» решительно никто ничего не знал: ясное доказательство, что его не понимали. Дошла очередь до меня. Из грамматики я отвечал свободно и удовлетворительно. После каждого ответа Ибрагимов говорил: «Прекрасно». Ответы мои заинтересовали его, и вместо трех-четырех он задал мне вопросов двадцать. Все ответы были равно удачны. Ибрагимов беспрестанно улыбался во всю ширину своего огромного татарского рта и, наконец, сказал: «Прекрасно, прекрасно и прекрасно! Посмотрим теперь, что скажет Введение». — Ответы мои продолжали быть вполне удовлетворительны. Он пробовал сбивать меня и не сбил, потому что я говорил, понимая предмет, а не выучив наизусть одни слова. Ибрагимов пришел в совершенное изумление и восхищение. Он осыпал меня всевозможными похвалами, вызвал из-за стола, приказал забрать все классные тетрадки и книжки, взял за руку, подвел к первому столу и, сказав: «вот ваше место», посадил меня третьим, а учеников было с лишком сорок человек. Такое торжество и во сне мне не снилось. Я был совершенно счастлив. Воротясь домой, я послал Евсеича попросить позволения у Григорья

Иваныча прийти к нему в комнату, и, получив согласие, я рассказал с большой радостью о случившемся со мною. Григорий Иваныч внутренне был очень доволен этим происшествием и тем чувством, с которым я его принял, но, следуя своей методе, довольно сухо мне отвечал: «Не слишком радуйтесь; не поторопился ли Ибрагимов? Теперь вы должны поддержать его хорошее мнение и учиться еще прилежнее». Такой ответ мог бы окатить холодной водой или оттолкнуть другого, и я решительно не одобряю такого образа действий; но я уже знал Григория Иваныча. Он и прежде очень хвалил меня в письмах к моей матери, а мне и виду не подавал, что мною доволен; он даже писал, чтобы мать не показывала мне его писем. В классе российской словесности, у того же самого Ибрагимова, успехи мои были так же блестящи; здесь преподавался синтаксис русского языка и производились практические упражнения, состоявшие из писанья под диктовку и из переложения стихов в прозу. Диктовка была нам очень полезна сколько для правописания, столько и для образования нашего вкуса, потому что Ибрагимов выбирал лучшие места из Карамзина, Дмитриева, Ломоносова и Хераскова, заставлял читать вслух и объяснял их литературное достоинство. Он сам не находил пользы в переложениях и, только исполняя программу, раза два заставил нас ими заниматься. Вместо того он упражнял нас в сочинении небольших пиес на заданные темы. Что же касается до других классов, то во всеобщей и русской истории и в географии у Яковкина я шел наравне не с лучшими, а с хорошими учениками. В языках вообще успехи были плохи, без сомнения от плохих учителей. В арифметике я был слаб и в нижнем классе, а в среднем оказалось, что я не имею вовсе математических способностей; такая аттестация удержалась за мной не только в гимназии, но и в университете. Чистописание, рисованье и танцеванье шли порядочно. У священника я был в числе не отличных, но хороших учеников. В среднем классе бросил я тасканье аспидной доски и грифеля, к которым питал сильное отвращение, сохраняемое мною отчасти и теперь. Скрип от черченья грифелем по аспидной доске производил (и производит) содроганье в моих нервах.

Наконец, узнали мы, что Иван Ипатыч с молодой женой приехал в город и остановился в доме своей тещи. На другой же день он приезжал взглянуть на своих воспитанников и чрезвычайно нас обласкал. Евсеич рассказывал мне по секрету, что Григорий Иваныч очень сердился на Ивана Ипатыча за то, что он вместо одного проездил три месяца, говоря, «что ему очень надоело возиться с детьми, которых он не мог бросить без надзора и внимания, как делает это Иван Ипатыч». Последний извинялся, благодарил, обнимал своего товарища, но тот обошелся с ним очень сухо и грубо, грозя ему, что если он немедленно не наймет себе квартиру, то он выедет из дома и бросит его пансионеров. Надобно прибавить, что у Григорья Иваныча уже не было своих воспитанников. Несмотря на такие угрозы, Иван Ипатыч не скоро нанял себе квартиру, и Григорий Иваныч прожил с нами еще два месяца, постоянно и добросовестно занимаясь нашим ученьем, содержаньем и поведеньем. В эти пять месяцев я очень привязался к Григорию Иванычу, хотя он не сказал мне ни одного ласкового слова и по наружности казался сухим и строгим. Я не мог тогда оценить достоинства этого человека и не мог бы его полюбить, если б мать не уведомляла меня потихоньку, что он меня очень любит и очень хвалит и не показывает этого только для того, чтоб я, по молодости своей, не избаловался от его похвал. К сожалению, Григорий Иваныч держался этого ошибочного правила во все продолжение своего полезного, долговременного и важного служебного поприща, где приходилось иметь дело не с детьми, а часто со стариками. Кто имел случай узнать его коротко, тот сохранял к нему глубокое уважение и преданность во всю жизнь, но зато были хорошие люди, которых он оттолкнул от себя благонамеренною сухостью обращения и которые сочли его за человека гордого и жесткого, что было совершенно несправедливо. — Наконец, Иван Ипатыч нанял себе приличную квартиру. Переезжая к нему и расставаясь с Григорием Иванычем, я расплакался, хотел было обнять его, но он не допустил меня и, будучи сам растроган почти до слез (что я узнал впоследствии из его письма к моей матери), сухо и холодно сказал мне: «Это

что такое? О чем вы плачете? Верно, боитесь, что Иван Ипатыч будет построже с вас взыскивать!» Признаюсь, на ту пору досадны были мне эти слова! Я забыл сказать, что Иван Ипатыч привозил к нам свою молодую жену; мы заметили только, что у ней нет бровей и что она по простоте своей не умела сказать нам ласкового слова и беспрестанно краснела. У Ивана Ипатыча поместили нас, то есть меня и троих Манасеиных, в особом флигеле и сначала оставили без всякого надзора. Тут-то я почувствовал всю разницу между ним и Григорием Иванычем. Мы видели Ивана Ипатыча только за обедом и ужином. Молодой муж был совершенно озабочен устройством своего нового положения и подгородной деревни Кощаково, состоявшей из шестидесяти душ, в двадцати верстах от города, которую он получил в приданое за женой и в которую уезжал на два дня каждую неделю. Остальное время он был занят преподаванием физики в высшем классе гимназии или заботами о семействе своей молодой супруги, из числа которого три взрослые девицы, ее сестры, жили у него постоянно. Домашним хозяйством никто не занимался, и оно шло весьма плохо, даже стол был очень дурен, и по этому обстоятельству случилось со мной вот какое приключение: один раз за ужином (мы ужинали всегда в большом доме за общим столом) подали ветчину; только что я, отрезав кусок, хотел положить его в рот, как стоявший за моим стулом Евсеич толкнул меня в спину; я обернулся и с изумлением посмотрел на своего дядьку; он покачал головой и сделал мне знак глазами, чтобы я не ел ветчины; я положил кусок на тарелку и тут только заметил, что ветчина была тухлая и даже червивая; я поспешно отдал тарелку. Я сидел очень близко от Ивана Ипатыча, и он все это заметил. Надобно прибавить, что за столом, кроме воспитанников, сидели теща его, жена и три свояченицы. После ужина, когда мы все подошли к Ивану Ипатычу, чтобы раскланяться и идти спать, он приказал мне остаться и повел нас вместе с Евсеичем к себе в кабинет. Там он сделал мне строжайший выговор за то, что я поступил дерзко и, с намерением осрамить хозяина, обратил внимание всех на испортившуюся ветчину, которую, однакоже, все из дели-

катности ели. Иван Ипатыч, прочтя мне длинное поучение и доказывая, что я сделал непростительный проступок, разбранил очень обидно моего почтенного Евсеича. Я решительно не понимал своей вины и заплакал от незаслуженного оскорбления. Иван Ипатыч смягчился и сказал, что меня прощает, и даже хотел обнять, но я весьма искренне и наивно возразил ему, что плачу не от раскаяния, а оттого, что он обидел меня несправедливым подозрением в умысле и разбранил моего дядьку. Иван Ипатыч вновь рассердился, нашел во мне бог знает какое-то ожесточение, сказал, что я завтра буду примерно наказан, и отпустил спать. Я долго не мог заснуть, и мысль, что посторонний человек, без всякой моей вины, хочет меня как-то примерно наказать, оскорбляла и раздражала меня очень сильно. С тех пор как я стал себя помнить, никто, кроме матери, меня не наказывал, да и то было очень давно. Наконец, я уснул. На другой день поутру, когда мы оделись и пришли пить чай в дом, Иван Ипатыч, против обыкновения, вышел к нам, объяснил мою вину Манасеиным и Елагину [1], приказал им идти в гимназию, а меня лишил чаю, велел остаться дома, идти во флигель, раздеться, лечь в постель и пролежать в ней до вечера, а вместо завтрака и обеда велел дать мне ломоть хлеба и стакан воды. Такое дурацкое и вовсе незаслуженное наказание для такого чувствительного и развитого мальчика, каким был я, должно было показаться и показалось несносным оскорблением, и я в самом деле с ожесточением и презрительною улыбкою посмотрел на своего наставника и поспешно ушел во флигель. Я разделся, лег в постель и взял читать какую-то книгу. Евсеич мой, не понимая нравственного оскорбления, от всей души смеялся над глупым наказанием, обижался только, что я буду голоден, и обещался достать мне потихоньку всего, что будет получше за столом. Я с негодованием запретил ему это делать и выслал вон. Сначала я чувствовал только гнев и раздражение, потом принялся плакать и, наконец, заснул. Ночь я спал мало и потому заснул так крепко,

[1] За две недели молодой Елагин, свояк Ивана Ипатыча, определился в гимназию и поступил в число его воспитанников.

что проснулся только тогда, когда мои товарищи, пообедав в общей зале, пришли во флигель и начали играть и шуметь. Сон успокоил меня, я отказался от хлеба и воды и равнодушно перенес шутки и насмешки моих соучеников, которые также не находили меня виноватым и смеялись не столько надо мной, сколько над странностью моего наказания. Средний Манасеин, порядочный лентяй, даже завидовал мне и говорил, что желал бы всякий день быть так наказанным. Когда мои товарищи ушли в гимназию на послеобеденные классы, я принялся твердить уроки, заданные без меня поутру моим товарищам, и повторил вчерашние. В седьмом часу вечера, когда воспитанники воротились из гимназии и пили чай в столовой, Иван Ипатыч прислал мне сказать, чтоб я оделся и пришел туда же. Я повиновался. Он встретил меня словами, «что прощает меня и что сокращением срока моего наказания я обязан дамам», — и он указал на свою тещу, жену и своячениц. Я поблагодарил их. Иван Ипатыч с женой ту же минуту куда-то уехали. Товарищи, напившись чаю, ушли во флигель, но меня дамы оставили при себе. Сейчас накрыли столик и принесли кушанье; меня посадили за стол, девицы сели около меня, кормили почти из своих рук и даже притащили банку с вареньем, которым я усердно полакомился. Все это сопровождалось такими ласками, которые разнежили мое сердце. Оказалось, что барышни, хотя до сих пор не говорили со мной ни одного слова, давно полюбили меня за мою скромную наружность и что наказание, которое они и старуха, их мать, находили незаслуженным и бесчеловечным, возбудило в них такое ко мне участие, что они неотступно просили Ивана Ипатыча меня простить и что сестра Катерина даже плакала и становилась перед ним на колени. Я заметил, что Катерина Петровна ужасно покраснела. Меня оставили в доме на целый вечер и подробно расспросили обо всем, до меня касающемся. Я, разумеется, разболтался и не только рассказал про свое Аксаково, про первое поступление свое в гимназию, но и прочел множество стихов наизусть, к чему я с давнего времени имел страстную охоту. Барышни искренне восхищались, ахали, хвалили и осыпали меня ласками.

Я был также восхищен произведенным мной впечатлением, и детское мое самолюбие вскружило мне голову. После ужина я воротился во флигель вместе с моими товарищами, которые уже знали через брата Елагиных, как меня ласкали и потчевали его сестры; товарищи расспрашивали и завидовали мне, и я не скоро заснул от волнения и каких-то непонятных мне фантазий.

Я с намерением описал подробно это неважное, повидимому, обстоятельство. Последствием его было то, что я стал не так прилежно учиться. Старуха Елагина, так же как ее дочери, меня очень полюбила и нередко выпрашивала позволение у своего зятя приглашать меня по вечерам в дом, где я проводил часа по два очень весело. В воскресенье же и праздничные дни я беспрестанно бегал в дом и почти перестал ходить к родственницам моего отца, к Киреевой и Сафоновой, у которых прежде бывал часто. Товарищи продолжали мне завидовать, а Елагин, уже пятнадцатилетний болван и повеса, которого сестры прогоняли из нашего общества, хмурился на меня не на шутку и отпускал какие-то язвительные намеки, которых я решительно не понимал. Мало-помалу я совсем развлекся, и хотя Иван Ипатыч месяца через три нанял для нас студента, кончившего курс в духовной семинарии, Гурья Ивлича Ласточкина, очень скромного и знающего молодого человека, с которым я мог бы очень хорошо заниматься, но я до самой весны, то есть до времени отъезда Елагиных в деревню, учился очень плохо. Только у одного Ибрагимова, в классе русской словесности и славянской грамматики, я оставался попрежнему отличным учеником, потому что горячо любил и предмет учения и учителя. Месяца за полтора до экзамена я принялся заниматься с большим жаром. Гурий Ивлич очень полюбил меня в это время и усердно помогал моему прилежанию, но со всем тем я не был переведен в высший класс и остался еще на год в среднем; перешла только третья часть воспитанников и в том числе некоторые не за успехи в науках, а за старшинство лет, потому что сидели по два и по три года в среднем классе. Никто не ставил мне этого в вину, и хотя я находил вместе со всеми другими, что двухгодичное пребывание в среднем классе будет мне полезно и что так

бывает почти со всеми учениками, но детское самолюбие мое оскорблялось, а всего более я боялся, что это огорчит мою мать. Опасения мои были напрасны. Когда я приехал на вакацию в Аксаково (1803 года) с Евсеичем и когда моя мать прочла письма Упадышевского, Ивана Ипатыча и Григорья Иваныча, то она вместе с моим отцом была очень довольна, что я остался в среднем классе. Но когда я с полною откровенностью подробно рассказал о моем пребывании и образе жизни в доме моего наставника, моя мать очень призадумалась и казалась недовольною. Ей не нравился Иван Ипатыч, его семейство и даже Гурий Ивлич Ласточкин, потому что она терпеть не могла семинаристов, в чем совершенно соглашался с нею мой отец, который называл их кутейниками. Этот предрассудок был особенно несправедлив в отношении к Гурью Ивличу, имевшему очень много достоинств [1]. Всего же более оскорбило и раздражило

---

[1] Через несколько лет я встретился с Гурьем Ивличем Ласточкиным самым оригинальным образом. Предварительно надобно сказать, что в последнее время, как я уже и говорил, он очень полюбил меня и, несмотря на то, что мне был двенадцатый, а ему двадцать второй год, дружески поверял мне все свои обстоятельства и между прочим то, что начальство уговаривает его поступить в духовное звание, к которому он не чувствовал влечения. Не знаю, почему мне засело в голову, что Гурий Ивлич будет непременно священником, и я уверял его в этом. Он спорил, даже сердился и, чтоб убедить меня в противном, взял однажды лист бумаги и написал на нем: «Скорее река Казанка потечет вверх, чем Гурий Ласточкин пойдет в духовное звание». Этот лист он отдал мне спрятать как обязательство, что он сохранит свою свободу; явное доказательство, как он сам был еще молод. Месяца через два мы расстались. Прошло три года или около четырех; я ни разу не слыхал о Гурье Ивличе и совершенно забыл об его существовании. В одно скверное осеннее утро получил я записку от моей родной тетки Н. Н. Зубовой, которую очень горячо любил; она жила тогда в доме В — х, и я часто видался с нею. «Милый мой Серж (писала она), сегодня, в шестом часу после обеда, приезжай к нам в мундире и со шпагой. Сегодня у нас свадьба; ты шафер у Лизы, будешь ее обувать и провожать в церковь». Лиза была воспитанница В — х, бедная, молодая и прекрасная собою девушка. Я приехал, немножко опоздал, меня побранили и сейчас провели к невесте; я обул ее ножки в шелковые чулки и башмаки. Невеста была еще не совсем одета, но голова находилась уже в полном свадебном убранстве; я помню, что был поражен ее красотой. Едва я успел перемолвить несколько слов с любимой моей тетушкой

мою мать нелепое наказание, которому подверг меня Иван Ипатыч. Желание взять меня от него и поместить к бывшему его товарищу возникло в душе ее с новою силою. Взять было не трудно, но убедить Григорья Иваныча нарушить свое намерение, единожды принятое, — казалось невозможностью, которая увеличивалась еще тем обстоятельством, что он был не только товарищ, но и короткий приятель с Иваном Ипатычем. Выход лучшего ученика мог повредить ему во мнении других родителей, а перемещение мое к Григорью Иванычу люди, не знающие коротко обстоятельств, могли назвать переманкой. Очень огорчалась бедная моя мать, но не знала, как помочь горю. Ласки барышень Елагиных и особенно нежности одной из них ей также не нравились,

---

у ней в комнате, как хозяйка В—ва позвала меня к себе и попросила, чтоб я поскорее поехал в ее карете к жениху и сказал ему, что невеста одета и чтоб он ехал сейчас в церковь и оттуда прислал шафера сказать, что он ожидает невесту. Второпях я не успел спросить, кто такой жених, и ту же минуту поскакал к нему. Со мной был человек В—х, знавший жениха и его квартиру; он привез меня в какой-то большой каменный дом, в котором много было народа, провел через несколько комнат и, отворив дверь, сказал: «Вон жених, перед зеркалом одевается...», и я увидел спину плотного мужчины, в коротких штанах, шелковых чулках и башмаках, которому торопливо и усердно повязывали белое толстое жабо. Я подошел, жених обернулся, — это был Гурий Ивлич Ласточкин, очень пополневший. Мы оба вскрикнули от изумления. «Ах, милый мой Аксаков, — сказал он, обняв меня, — как я рад, что вас вижу, но, извините меня, в эту минуту я не могу...» Я перебил его слова, сказав, что я шафер его невесты и приехал поторопить жениха. Ласточкин, продолжая поспешно одеваться, продолжал говорить со мной. «Как, я думаю, вы удивлены?» — сказал он. «Да, — отвечал я, — я не знал, кто жених; но я очень рад, что вы женитесь на прекрасной и предоброй девушке». — «Ах, так вы еще ничего не знаете! — воскликнул Ласточкин, взял меня за руку, отвел в сторону и тихо сказал мне: — Вы, верно, помните мое письменное обещание не поступать в духовное звание; ну так знайте же: завтра я священник, а послезавтра протопоп в соборе Петра и Павла...» — и слезы показались у него на глазах. Какие обстоятельства изменили или заставили пожертвовать Гурья Ивлича своим прежним убеждением — я не знаю; но, видно, жаль было ему своей свободы. С тех пор мы не видались. В продолжение пятидесяти лет я постоянно слышал, что Гурий Ивлич Ласточкин был всеми любим за свои душевные качества и уважаем за свою ученость; кажется, он был даже ректором в Духовной академии, не очень давно учрежденной в Казани.

к немалому моему удивлению. Она решилась приехать в Казань по зимнему пути: во-первых, для того, чтобы взглянуть своими глазами на мое житье, и, во-вторых, для того, чтобы употребить все усилия к убеждению Григорья Иваныча взять меня к себе. Третью причину я узнал впоследствии: мать моя хотела, чтобы все время, свободное от ученья, на праздниках зимней вакации, я проводил с нею, а не в семействе жены Ивана Ипатыча.

Летнюю вакацию я прожил в деревне так же приятно, как и прошлого года, но на возвратном пути случилось со мной происшествие, которое произвело на меня сильное впечатление и следы которого не изгладились до сих пор; я стал гораздо более бояться и теперь боюсь переправляться через большие реки. Вот как случилось это происшествие: мы приехали в полдень на летний перевоз через Каму, против села Шурана. На берегу дожидались переправы три крестьянских телеги с поклажей и возчиками и десятка полтора баб с кузовами ягод; бабы возвращались домой пешком на противоположный берег Камы. Перевозчиков на перевозе не было: куда разбрелись они, не знаю. Потолковав несколько времени, крестьяне и мои люди решились сами переправиться через реку, потому что один из крестьян вызвался править кормовым веслом, уверив, что он несколько лет был перевозчиком. Итак, выбрали лучший дощаник, поставили три крестьянские телеги с лошадьми, мою кибитку и всех трех наших лошадей; разумеется, взяли и всех баб с ягодами; мнимый перевозчик стал на корме, двое крестьян, мой кучер и лакей Иван Борисов (молодец и силач, один стоивший десятерых) сели в весла, и мы отчалили от пристани. Между тем черная туча взмывала на западе и мало-помалу охватывала край горизонта; ее нельзя было не приметить, но все думали: авось пройдет стороной или авось успеем переехать. Пристань находилась против самого Шурана, и для того, чтоб не быть снесенным быстротою течения сердитой Камы и чтобы угодить прямо на перевоз, надобно было подняться вверх по реке, на шестах, с лишком версту. Это производилось очень медленно, а гроза быстро начала приближаться. Чтобы ускорить переезд, поднялись вверх только с полверсты, опять сели в весла и, пере-

крестившись, пустились на перебой поперек реки; но лишь только мы добрались до середины, как туча с неимоверной скоростью обхватила весь горизонт, почерневшее небо еще чернее отразилось в воде, стало темно, и страшная гроза разразилась молнией, громом и внезапной неистовой бурей. Кормщик наш в испуге бросил кормовое весло и признался, что он совсем не перевозчик и править не умеет; вихрь завертел наш паром, как щепку, и понес вниз по течению; бабы подняли пронзительный вой — и ужас овладел всеми. Я так испугался, что не мог промолвить ни одного слова и дрожал всем телом. Вихрем и быстротой течения снесло наш дощаник несколько верст вниз по реке и, наконец, бросило на песчаную отмель, по счастию, саженях в пятидесяти от противоположного берега. Иван Борисов спрыгнул в воду, она была ему по пояс; он дошел бродом до берега, глубина воды нигде не доставала выше груди. Он воротился тем же путем на паром, стащил с него одну из наших лошадей посмирнее, посадил меня верхом, велел крепко держаться за гриву и за шею лошади и повел ее в поводу; Евсеич шел подле и поддерживал меня обеими руками. Мутные и огромные волны хлестали через нас и окачивали с головой; по несчастью, Борисов, идя впереди, сбился с того броду, по которому прошел два раза, и попал на более глубокое место; вдруг он нырнул в воду, лошадь моя поплыла, и Евсеич отстал от меня; тут-то я почувствовал такой страх близкой смерти, которого я не забыл до сих пор; каждую минуту я готов был лишиться чувств и едва не захлебнулся; по счастью, глубина продолжалась не более двух или трех сажен. Борисов плавал мастерски, лошадь моя от него не отставала, и, не выпуская повода из рук, он скоро выплыл на мелкое место и благополучно вывел на берег моего коня, но Евсеич, не умевший хорошо плавать, едва не утонул и насилу выбился на берег. Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лошади почти без памяти; пальцы мои закоченели, замерли в гриве моего коня, но я скоро опомнился и невыразимо обрадовался своему спасенью. Евсеич остался со мной, а Борисов пустился опять к дощанику, с которого бабы с криками и воплями, не расставаясь с кузовьями ягод, побросались в воду;

мужики постолкали своих лошадей и телеги, и все кое-как, по отмели, удачно отыскав брод помельче, добирались до берега. Дощаник, облегченный от большей части груза, поднялся, и его начало тащить водою вниз по течению. Вот тут-то пригодилась сила Ивана Борисова: он удерживал дощаник до тех пор, покуда наш кучер столкнул на отмель лошадей и нашу повозку; Борисов перестал держать паром, и его сейчас унесло вниз по реке. Стоя в воде по пояс, заложили лошадей, и повозка моя, подмочив все в ней находившееся, выехала на берег. Мы сели, мокрые и озябшие, и поскакали в Шуран; там обогрелись, обсушились, напились горячего чаю, и холодная ванна не имела для нас никаких дурных физических последствий. Но зато напугалась моя душа, и я во всю мою жизнь не мог и не могу смотреть равнодушно на большую реку даже в тихое время, а во время бури чувствую невольный ужас, которого не в силах преодолеть.

Возвратясь в гимназию, я принялся прилежно учиться. Семейство Елагиных было в деревне, и никто не развлекал меня. Гурий Ивлич, обрадованный моим прилежанием, усердно со мною занимался, и я скоро сделался одним из лучших учеников во всех средних классах, кроме математики. О классах Ибрагимова я уже не говорю: там я был постоянно первым. В это время я уже горячо любил гимназию, учителей, надзирателей и веселых товарищей. Меня не смущала более эта беспрестанная суматоха и беготня, этот шум, говор, хохот и крик. Я не чувствовал их, — я сам пел в хоре, и строен, увлекателен показался мне этот хор. Осень стояла продолжительная и дождливая. В городе появилась сильная эпидемия лихорадок, которая посетила и меня. Бениса уже не было при гимназии, и знакомый нам Андрей Иванович Риттер лечил всех гимназистов, даже полупансионеров и своекоштных; в том числе лечил и меня. Сначала он довольно скоро перервал лихорадку, но она через несколько дней воротилась. Огромные порошки хинной корки с глауберовой солью, о которых я до сих пор не могу вспомнить без отвращения, вторично прогнали лихорадку, но через две недели она опять воротилась с большею жестокостью; так длилось дело довольно долго. Евсеич, видя, что леченье идет плохо, усумнился

в искусстве лекаря, которого знал прежде за большого гуляку и который нередко приезжал ко мне, как выражался мой дядька, «на втором взводе». Евсеич осмелился доложить об этом Ивану Ипатычу, прося его взять для меня другого лекаря. Иван Ипатыч осердился, сказал, что Риттер славится во всем городе успешным лечением лихорадок, и прогнал моего дядьку; но он, любя меня горячо и помня приказание барыни, уведомил ее письмом о моей болезни. Моя мать, испуганная и встревоженная, еще не оправившаяся после родов (семейство наше умножилось третьим братом), немедленно приехала в Казань одна, наняла квартиру, перевезла меня к себе, пригласила лучшего доктора и принялась за мое леченье. Приезд в Казань было новое самопожертвование со стороны моей матери. Здоровье ее очень от того пострадало... и вся жизнь ее состояла из таких самопожертвований! — С Иваном Ипатычем не обошлось без неприятных объяснений; он обижался и тем, что мать перевезла меня на свою квартиру, и тем, что взяла другого доктора. Покуда меня лечили, что продолжалось месяца два, потому что у меня очень болел правый бок, у Ивана Ипатыча вышла какая-то неприятность с родителями Манасеиных, вследствие чего он уничтожил свой пансион и объявил, что более держать воспитанников не хочет. Мать моя очень обрадовалась этому обстоятельству: она и без того не оставила бы меня у Ивана Ипатыча, но тогда ей было бы гораздо труднее, даже невозможно, убедить Григорья Иваныча взять меня к себе прямо от своего приятеля. Впрочем, и теперь она встретила столько затруднений, что успех долго казался сомнительным. Надобно сказать, что во все продолжение вторичного пребывания моего в гимназии, дружеские отношения Григорья Иваныча к моему семейству не только не ослабевали, но постепенно возрастали. Мать моя вела с ним самую живую переписку, и он должен был оценить ее ум, необыкновенную материнскую любовь и постоянную к нему дружбу, основанную на уважении к его строгим нравственным правилам. Не один раз слышал я сам из другой комнаты, с каким жаром сердечного красноречия, с какими горячими слезами моя мать убеждала, умоляла Григорья Иваныча быть моим

воспитателем... наконец, твердость его была побеждена: он согласился, хотя весьма неохотно. Он взял меня не как воспитанника или пансионера, а как молодого товарища; ему было тогда двадцать шесть лет, мне — тринадцать. Он ни за что не согласился взять за меня деньги, но предложил, чтобы наем квартиры и стол мы держали пополам, а для большего удобства я имел свой особый чай; все прочие издержки, как его, так и мои, разумеется, каждый из нас производил на свой счет. Когда моя мать достигла исполнения этого пламенного и давнишнего своего желания, она была так счастлива, так светла и радостна, что я глубоко почувствовал, что с любовью матери никакая другая любовь сравниться не может. Я также был очень рад, что попал к Григорью Иванычу. Я чувствовал к нему глубокое уважение и даже любил его; несколько странные и сухие его приемы не пугали меня: я хорошо знал, что эта холодная наружность, вследствие его взгляда на воспитание, была принята им за правило в обращении с молодыми людьми; я думал тогда, что, может быть, так и надо поступать, чего, конечно, не думаю теперь.

Немедленно наняли довольно хороший и поместительный дом тех же самых Елагиных, дом, в котором они тогда не жили, а отдавали внаймы. Сначала мать переехала туда со мною, устроила наше будущее хозяйство и, сдав меня, уже совершенно выздоровевшего, с рук на руки Григорью Иванычу, исполненная самых приятных надежд, уехала в Оренбургское Аксаково к остальному своему семейству. Это было уже в феврале 1804 года. — Я не знаю более отрадного воспоминания из моей ранней молодости, как воспоминание жизни у Григорья Иваныча. Она продолжалась два года с половиной, и хотя в конце ясность ее помутилась, но в благодарной памяти моей сохранились живее и отчетливее только утешительные картины. Долго не соглашался Григорий Иваныч взять меня; но зато, согласившись, — посвятил мне всего себя. Ученье в классах, с успехом продолжаемое, было, однако, делом второстепенным: главным делом были упражнения домашние. Я постоянно ходил только к некоторым учителям; классы же арифметики, рисованья и каллиграфии посещались мною

редко; в эти часы я работал дома под руководством моего разумного наставника. Странное дело, что математика решительно не шла мне в голову! Григорий Иваныч сначала усердно занимался со мною, и нельзя сказать, чтоб я не понимал его необыкновенно ясных толкований; но я сейчас забывал понятое, и Григорий Иваныч подумал, что я даже не понимаю ничего. Зная, что я был дружен с лучшим студентом математики, Александром Княжевичем, он предложил ему попробовать заняться со мною, и что же? У Княжевича я понимал гораздо лучше, чем у Григория Иваныча, и долее помнил. Но все это ни к чему не повело: через несколько дней не оставалось в голове моей ни одного предложения, ни одного доказательства. Отличная память моя относительно математики оказывалась чистым листом белой бумаги, на котором не сохранялось ни одного математического знака, а потому наставник мой, сообразно моим природным наклонностям и способностям, устроил план моего образования: общего, легкого, преимущественно литературного. Он выписал для меня немедленно множество книг. Сколько могу припомнить, это были Ломоносов, Державин [1], Дмитриев, Капнист и Хемницер. У меня был уже Сумароков и Херасков, но Григорий Иваныч никогда не читал их со мною. На французском языке были выписаны Массильон, Флешье и Бурдалу, как проповедники; сказки Шехеразады, «Дон Кишот», «Смерть Авеля», Геснеровы «Идиллии», «Вакфильдский священник», две натуральные истории, и в том числе одна с картинками, каких авторов — не знаю. Натуральная история была для меня самой привлекательной наукой. Других книг не припомню, но были и еще какие-то. Воспитатель мой прежде всего занялся со мною иностранными языками, преимущественно французским, в которых я, да почти и все ученики, был очень слаб; в три месяца я мог свободно читать и понимать всякую французскую книгу. Ученье вокабул, грамматики и

---

[1] Тогда находился в печати только один том од Державина и еще небольшой томик анакреонтических стихотворений, напечатанный в «Петрограде», как значилось на заглавном листе. Видно, Державину не нравилось иностранное имя новой русской столицы.

разговоров шло само по себе в классе; но дома я ничего не учил наизусть. Григорий Иваныч брал книгу, заставлял меня читать и переводить словесно. Сначала я ровно ничего не понимал, и это было мне дико и скучно; но учитель мой упорно продолжал свою методу, и скорый успех удивил и обрадовал меня. Неизвестные слова я записывал особо; потом словесный перевод, всегда повторенный два раза, писал на бумаге; при моей свежей памяти, я, не уча, всегда знал наизусть на другой же день и французский оригинал, и русский перевод, и все отдельно записанные слова. Первая прочитанная и переведенная мною статья была из французской хрестоматии: «Les aventures d'Aristonoy»; непосредственно после нее я начал читать и переводить Шехеразаду, а потом «Дон Кишота». Некоторые места мне не позволялось читать, и я с точностью исполнял приказание. Боже мой! как было мне весело учиться по таким веселым и увлекательным книгам! Даже теперь, по прошествии пятидесяти лет, я вспоминаю с живейшим удовольствием об этих чтениях; помню, с каким нетерпением дожидался я назначенного для них времени, почти всегда немедленно после обеда!

Григорий Иваныч серьезно занимался своей наукой и, пользуясь трудами знаменитых тогда ученых по этой части, писал собственный курс чистой математики для преподавания в гимназии; он читал много немецких писателей, философов и постоянно совершенствовал себя в латинском языке [1]. Читая же со мною Шехеразаду и Дон Кишота, он отдыхал от своих умственных трудов и от души хохотал вместе со мною, как совершенный мне ровесник, или, лучше сказать, как дитя, чем сначала приводил меня в большое изумление; в это время нельзя было узнать моего наставника; вся его сухость и строгость исчезали, и я полюбил его так горячо, как родного старшего брата, хотя в то же время очень его боялся. Но когда я довольно успел во французском языке, чтение русских писателей, преимущественно стихотворцев,

[1] Григорий Иваныч отлично знал новейшие языки и свободно писал на них. Латинским же языком он приводил в изумление Виленский университет, которого впоследствии был последним попечителем. Удивительно, как и где он мог приобрести такие сведения в языках.

сделалось главнейшим нашим занятием. Григорий Иваныч так хорошо, так понятно объяснял мне красоты поэтические, мысль автора и достоинство выражений, что моя склонность к литературе скоро обратилась в страстную любовь. Без всякого усилия с моей стороны я выучивал все лучшие стихи из Державина, Ломоносова и Капниста, которые выбирал для меня мой строгий воспитатель; стихотворения же Ив. Ив. Дмитриева, как образцовые тогда по чистоте и правильности языка, я знал наизусть почти все. Мы очень мало читали русской прозы, вероятно оттого, что мой наставник не был доволен тогдашними прозаиками. Достойно замечания, что он не читал со мною Карамзина, кроме некоторых писем «Русского путешественника», и не позволил мне иметь в моей библиотеке «Моих безделок». Я читал уже прежде все, написанное Карамзиным, знал на память и с жаром декламировал «Прощанье Гектора с Андромахой» и «Опытную Соломонову мудрость». Я поспешил было похвастаться этим пред своим наставником, но он наморщился и сказал, «что первая пиеса не дает понятия о Гомере, а вторая об Экклезиасте», и прибавил, «что Карамзин не поэт и что лучше эти пиесы совсем позабыть». Я был очень изумлен; обе пиесы мне нравились, и я продолжал декламировать их потихоньку, когда мне случалось одному гулять по саду. Сочинять мне не дозволялось, и я наслаждался этим удовольствием или в классе у Ибрагимова, или дома, также потихоньку. Я слышал один раз из своей комнаты, которая отделялась тонкою дверью от гостиной, служившей ученым кабинетом и спальной для Григорья Иваныча, как он разговаривал обо мне с Ибрагимовым. Ибрагимов очень меня хвалил и показал моему воспитателю мое классное сочинение, в виде письма к приятелю, «О красотах весны» и прибавил, что не худо бы занимать меня поболее сочинениями. Григорий Иваныч, сохранявший всегда над своими товарищами какое-то превосходство, весьма решительно ему отвечал: «Все это, братец, совершенные пустяки. Сочинение его состоит из чужих фраз, нахватанных им из разных книг, а потому даже и нельзя судить, имеет ли он свое собственное дарование. Охота у него большая, и я знаю, что он скоро начнет марать бумагу, но я буду

держать его на вожжах, как можно дольше: чем позже начнет сочинять мой Телемак [1], тем лучше. Надобно, чтобы молодой человек набрался хороших примеров и образовал свой вкус, читая сочинителей, пишущих стройно и правильно. Ты думаешь, я всего Державина даю ему читать? Напротив, он знает стихотворений двадцать, не больше, а Дмитриева знает всего. Я думаю, ты у меня его портишь. Вероятно, «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь» и драматический отрывок «Софья» не выходят у тебя в классе из рук?» Ибрагимов обиделся и возразил, «что он хорошо понимает, что эти пиесы, несмотря на их прелесть, не приличны для учеников». — «Хорошо, что так, — продолжал мой наставник, — а наш Эрих [2] именно эти пиесы заставил переводить на французский язык». Разговор продолжался довольно долго, и как я ни был молод, но понимал разумность речей моего воспитателя. Он не знал, что я дома, и оттого так громко разговорился обо мне: я воротился из гимназии ранее обыкновенного, потому что учителя не было в классе, и прошел в свою комнату, никем не замеченный. Тут я услышал также, как высоко Григорий Иваныч ценил мою мать; но, увы, ни одного лестного отзыва не сказал он обо мне, а как мне хотелось услышать что-нибудь подобное! Точно он знал, что я подслушиваю у двери. — Странное, непостижимое дело! Рассуждая теперь о прошедшем, я не умею себе объяснить, отчего я был так горячо привязан к Григорию Иванычу? По молодости я не мог тогда понимать вполне, что его сухое обращение прикрывало глубокое участие и душевное расположение ко мне. Он ни разу не приласкал меня, не польстил моему самолюбию какою-нибудь похвалою, не ободрил моего прилежания, и со всем тем я любил его так горячо, как не любил никого из посторонних. Я помню, как один раз услышал я, что он смеется: я заглянул в его комнату и увидел, что мой

---

[1] Так звали меня в шутку все товарищи Григорья Иваныча, величая его в то же время Ментором и Минервой.

[2] Эрих был большой лингвист как в новейших, так и в древних языках. В гимназии он учил в высшем классе французскому и немецкому языкам, а в университете был сделан адъюнктом латинской и греческой словесности.

строгий наставник, держа в руке какую-то математическую книгу, хохочет, как дитя, смотря на играющих котят... Лицо у него в то время было такое доброе, ласковое, даже нежное, что я позавидовал котятам. Я вошел к нему в комнату с своей тетрадкой — и прежняя спокойная холодность, даже какая-то суровость выразилась на его лице.

Так шло мое время; Григорий Иваныч становился по временам доступнее, и речи его если не были ласковы, то по крайней мере иногда делались шутливы, но только наедине, преимущественно во время чтения «Дон Кишота», в котором Санхо Пансо был для нас неистощимым источником смеха; как же скоро появлялся третий, хотя бы Евсеич, — наставник мой делался серьезным.

Григорий Иваныч был сын малороссийского дворянина, священника, имевшего около ста душ крепостных крестьян; прадед его, турок, не знаю, по каким причинам, выехал из Турции, принял христианскую веру, женился и поселился в Малороссии. Григорий Иваныч не был любимым сыном у матери, но зато отец любил его с материнскою нежностью. Видя, что мальчику в доме житье плохое, отец отвез его по девятому году в Москву и поместил в университетскую гимназию на казенное содержание. Сын был горячо, страстно к нему привязан и очень тосковал, оставшись в Москве; старик через год приехал навестить его, и мальчик так обрадовался, что получил от волнения горячку; бедный отец не мог долго мешкать в Москве и должен был оставить своего любимца еще больного. Через год старик умер. В продолжение восемнадцати лет, со времени своего определения в московскую гимназию, Григорий Иваныч один только раз ездил на побывку в Малороссию, перед поступлением в звание учителя, и вывез из родительского дома неприятное и тягостное ощущение. Все это рассказал мне его слуга, хохол Яшка, которого он привез с собою. В выговоре моего воспитателя, в складе его ума и в наружности не было ни малейшего признака малоросса. Кажется, родина не привлекала его, и я часто слышал, как он, высоко ставя великорусский толк, подсмеивался над хохлацкой ленью и тупостью, за что очень сердились его земляки — Иван Ипатыч и Маркевич,

служивший в гимназии экономом, человек необыкновенно добрый, с порядочным брюхом, природный юморист и презабавный шутник, который очень ласкал меня и которого я очень любил.

Пришла весна 1804 года, и на страстной неделе Григорий Иваныч говел со мною, соблюдая пост и церковные обряды со всею строгостью. Приходская наша церковь св. великомученицы Варвары находилась у самой заставы, за так называемым Арским полем; мы, несмотря на весеннюю распутицу, ходили в церковь на все службы, даже к заутрене. В это время зашел к нам Иван Ипатыч, и я нечаянно услышал, как он шутил над богомольем Григорья Иваныча. Из его слов можно было заключить, что мой воспитатель не был прежде ревностным исполнителем религиозных обрядов; но на этот раз он строго отделал своего приятеля за неуместные шутки, так что Иван Ипатыч, имевший претензию слыть философом, очень осердился и долго не ходил к нам. Я должен сказать, что Григорий Иваныч во всю жизнь был истинным христианином. Несмотря на маленькую ссору с Иваном Ипатычем, наставник мой уехал со мной в его деревню, и мы вдвоем провели время в Кощакове, без хозяев, очень приятно; мы жили в небольшом флигеле на берегу широкого пруда, только что очищавшегося тогда от зимнего льда; мы постоянно читали что-нибудь и, несмотря на грязь, каждый день два раза ходили гулять. Весна развлекала меня и слишком живо напоминала весну в Аксакове. Крик прилетных птиц волновал душу будущего охотника. Один раз, когда Григорий Иваныч читал со мною серьезную книгу на французском языке и, сидя у растворенного окна, старался объяснить мне какую-то мысль, неясно мною понимаемую, — вдруг кулик красноножка, зазвенев своими мелодическими трелями, загнув кверху свои крылья и вытянув длинные красные ноги, плавно опустился на берег пруда, против самого окошка, — я вздрогнул, книга выпала у меня из рук, и я бросился к окну. Наставник мой был изумлен. Я, задыхаясь, повторял: «Кулик, кулик красноножка, сел на берег близехонько, вон он ходит...» Но Григорий Иваныч не понимал чувства охотника и сурово приказал мне сесть и продолжать. Я повиновался, и хотя не смо-

трел на кулика, но слышал его голос; кровь бросилась мне в лицо, и я не понимал ни одного слова в моей книге. Воспитатель мой с неудовольствием велел мне положить ее и заняться переписыванием набело одного из моих прежних, уже исправленных им, переводов, а сам принялся читать. Через час он спросил меня: «Вылетел ли кулик из вашей головы?» Я отвечал утвердительно, и мы принялись за прерванное занятие. Надобно прибавить, что Григорий Иваныч всегда был очень снисходителен в подобных случаях: как только он замечал, что я утомлялся или развлекался чем-нибудь, он приказывал мне идти гулять по саду или заняться механическим делом.

Наступил июнь и время экзаменов. Я был отличным учеником во всех средних классах, которые посещал, но как в некоторые я совсем не ходил, то и награждения никакого не получил; это не помешало мне перейти в высшие классы. Только девять учеников, кончив курс, вышли из гимназии, а все остальные остались в высшем классе на другой год.

Тройка лошадей и повозка уже приехали за мной. Мы с Евсеичем собрались в дорогу, и в день публичного акта, также в первых числах июля, после обеда назначено было нам выехать. Накануне Григорий Иваныч сказал, что хочет проводить меня, и спросил, доволен ли я его намерением? Я отвечал, что очень доволен. Я подумал, что он хочет проводить меня за город. На другой день поутру Евсеич шепнул мне по секрету: «Григорий Иваныч едет с нами в Аксаково, только не велел вам сказывать». Хотя я занимался ученьем очень охотно, но не совсем был доволен этим известием, потому что во время вакации я надеялся хорошенько поудить, а главное — пострелять; отец обещал еще за год, что он приготовит мне ружье и выучит меня стрелять. Я знал, что Григорий Иваныч не прекратит своих занятий со мной и отнимет у меня много времени; к тому же мне показалась неприятною его скрытность. Евсеич также почему-то не был доволен. После акта мы пообедали несколько ранее обыкновенного и выехали из города. Я не показывал виду, что знаю намерение Григорья Иваныча. Выехав за заставу, мы пошли пешком.

Наставник мой был очень доволен и даже весел: любовался видом зеленых полей, лесов и мелкими облачками летнего неба. Вдруг он сказал, улыбаясь: «Погода так хороша, что хочу проводить вас до ночевки, до Мёши, и посмотрю, как вы меня накормите рыбой». Я притворился, что ничего не знаю. «Так сядемте же и поедемте поскорее, — сказал я, — чтоб пораньше приехать. Да когда же и на чем вы воротитесь?» — «Я ночую с вами в повозке, а завтра поутру найму телегу», — отвечал Григорий Иваныч, смотря на меня пристально. Мы сели и поехали шибкой рысью. Вечер был великолепный, очаровательный; с нами были удочки, и мы с Евсеичем на Мёше наудили множество рыбы, которую и варили и жарили; спать легли в повозке. Проснувшись на другой день поутру, я увидел, что мы едем, что солнце уже взошло высоко и что Григорий Иваныч сидит подле меня и смеется. Я сам рассмеялся и признался, что знал его намерение давно. Он пожурил, однако, Евсеича за нескромность и, прочтя на моем лице, что я не совсем доволен, сказал: «Вы боитесь, что я помешаю вам гулять, но не бойтесь. Я стану заниматься с вами тогда, когда вы сами будете просить о том. Вот теперь дорогой нечего нам делать, так мы будем что-нибудь читать...» И вытащил из кармана книгу. Я был совершенно утешен такими словами и охотно бросился бы на шею своему воспитателю, но я не смел о том и подумать. Мы очень много занимались дорогой, а сверх того я перечитал наизусть все, что знал, даже разговаривали гораздо больше и откровеннее, чем в Казани; но где только можно было удить, я удил, сколько было мне угодно. Таким образом в пятый день приехали мы в Аксаково. Приезд Григорья Иваныча был самою приятною неожиданностью для моей матери; она пришла в восхищение.

Против всякого ожидания, мы нашли полон дом родных, гостей и большую суматоху: тетка моя Евгенья Степановна выходила замуж, и через несколько дней назначена была свадьба. Евгенье Степановне стукнуло уже сорок лет, но она была очень свежа и моложава; ей наскучило жить в доме у невестки и находиться в полной зависимости от хозяйки, которая в старые годы много терпела от своих золовок и в том числе от нее, хотя она

была лучше других. Евгенье Степановне захотелось, хоть под старость, зажить своим домком, иметь свой уголок и быть в нем полной хозяйкой. Она выходила замуж за Василья Васильевича Угличинина, целый век служившего в военной службе и недавно вышедшего в отставку полковником. Это был человек очень простой, добрый, смирный и честный; ему было далеко за пятьдесят лет. Он не имел никакого состояния, кроме пенсии, и происходил из самобеднейших дворян или однодворцев, переселившихся в Уфимское наместничество. Четырнадцати лет определили его в военную службу; он служил тихо, исправно, терпел постоянно нужду, был во многих сражениях и получил несколько легких ран; он не имел никаких знаков отличия, хотя формулярный список его был так длинен и красноречив, что, кажется, должно бы его обвешать всякими орденами. Последнее время он служил на Кавказе, откуда вывез небольшую сумму денег, накопленную из жалованья, мундир без эполет, горского, побелевшего от старости, коня, ревматизм во всем теле и катаракт на правом глазу; катаракт, по счастью, был не так приметен, и Василий Васильич старательно скрывал его, боясь, что за кривого не пойдет невеста. У Евгеньи Степановны в семи верстах от ее сестры Александры Степановны находилась деревушка из двадцати пяти душ, при ней маленький домик, сплоченный из двух крестьянских срубов, на родниковой речке Бавле, кипевшей форелью (уголок очаровательный!), и достаточное количество превосходной земли со всякими угодьями, купленной на ее имя у башкирцев за самую ничтожную цену, о чем хлопотал деверь ее, сам полубашкирец, И. П. Кротков [1]. И такое ничтожное именьице казалось заслуженному воину спокойной пристанью, куском хлеба на старость.

Все потихоньку подсмеивались над старым и кривым женихом, кроме моей матери, отца и Григорья Иваныча, которые обходились с ним с уважением и приветливо.

---

[1] Увы! земля эта отошла после многолетней тяжбы с соседственной Бавлинской тюбой башкирцев, которые доказали, что они настоящие вотчинники. Бедная тетка моя купила неподалеку девятьсот десятин и должна была перевесть свою деревушку и перенесть усадьбу.

Злые языки объясняли ласковость моей матери тем, что она хотела сбыть с рук золовку. Но это неправда: моя мать всегда умела ценить и уважать простодушных и бесхитростных людей; она искренно советовала Евгенье Степановне выйти замуж за доброго человека, и Евгенья Степановна благодарила ее за эти советы всю свою жизнь. Григорий Иваныч находил, сверх того, особенное удовольствие в разговорах с заслуженным инвалидом, и Василий Васильич, до крайности неразговорчивый с другими, охотно отвечал на его вопросы и рассказывал очень много любопытного. Воспитатель мой тогда же обратил мое внимание и сочувствие к этому человеку, объяснив мне его достоинства, которых я, по молодости лет, мог не понять и не заметить. В доме не было места для мужчин, даже женщины с трудом помещались, потому что три комнаты были отделены для будущих молодых. Это привело в затруднение мою мать, и она сделала поступок, которого мужнина родня никогда ей не прощала: она отдала Григорью Иванычу свою спальню, в которую никто из посторонних не смел и входить, и поместила с ним меня, разумеется на то время, пока не разъехались гости. В положенный срок свадьба благополучно совершилась. Отец мой проводил молодых Угличининых на новоселье и немедленно воротился. Наконец, мы остались одни в своей семье.

Я прерываю свой рассказ и забегаю вперед. Так живо представилась мне жизнь Угличининых, что хочется поговорить о ней... Несмотря на недостатки и нужду, которых не знала Евгенья Степановна в своей девической жизни, проведя ее сначала в доме родительском, а потом в доме брата и снохи, и которые она узнала замужем, она была совершенно счастлива. Она любила нежно и горячо своего инвалида-полковника, который также очень нежно и глубоко любил ее. К сожалению, они не имели детей. Евгенья Степановна до глубокой старости сохранила какой-то девический целомудренный вид; в обращении с мужем она была стыдлива и никогда никакой ласки при свидетелях ему не оказывала, над чем иногда подсмеивался старый воин, намекая, что не всегда Евгенья Степановна бывает так неприступна. При других они были далеки между собой,

всегда говорили друг другу *вы* и вообще обходились очень учтиво. С первого взгляда это могло показаться холодностью, но скоро взаимное заботливое внимание, постоянное наблюдение друг за другом, участие к каждому слову и движению — делались заметны, и всякий убеждался, что Евгенья Степановна живет и дышит Васильем Васильичем, а Василий Васильич, хотя не так тревожно, живет и дышит Евгеньей Степановной. Домик их блистал опрятностью и чистотою, привлекал уютностью, дышал спокойствием, тишиной, счастием. Нельзя сказать, чтоб у них были одинаковые вкусы, но самое разногласие сливалось у них в стройное течение жизни. Евгенья Степановна, например, любила кошек, собачек, певчих птичек, которые, надобно заметить, как-то у нее не сорили, не пачкали и ничего не портили; Василий Васильич совсем не любил их, но самая безобразная, хрипучая моська, с языком на сторону, по прозванию «Калмык», была ему приятна и дорога, потому что ее любила Евгенья Степановна, и он кормил, ласкал отвратительного Калмыка с удовольствием и благодарностью. Даже сурок, который зимовал под печкой, который очень забавлял Евгенью Степановну и очень обижал Василья Васильича, потому что затаскивал и прятал его туфли так искусно, что иногда целый день не могли отыскать их, отчего приходилось полковнику вставать с постели босиком, — даже и сурок пользовался его благосклонностью. Все у них в домике было как-то на своем месте, как-то лучше, чем у других: собаки и кошки жирнее и опрятнее, певчие птички веселее и голосистее, растения зеленее. Подарят, бывало, им горшок каких-нибудь засыхающих цветов, — они у них оживут, позеленеют и необыкновенно разрастутся, так что прежний хозяин выпросит их назад. В маленьких комнатах у Евгеньи Степановны росли и стручковое дерево, и финик, и виноград от косточек изюма, и другие растения, требующие тепличного содержания. Как будто в воздухе было нечто успокоительное и живительное, отчего и животному и растению было привольно и что заменяло им, хоть отчасти, дикую свободу или природный климат... Василий Васильич и Евгенья Степановна вместе смотрели за своим маленьким хозяйством, и, без всякого отягощения,

всего делалось у них вдвое более, скорее и лучше, чем у других. Вместе ходили они по грибы и по ягоды, вместе ловили чудную форель в своей речке и вместе радовались всякой удаче... Но, боже мой, что делалось с ними, если кто-нибудь из них захварывал! Тут только сказывалась вполне эта взаимная, глубокая и нежная любовь, которую в обыкновенное время не вдруг и заметишь... Но я удержусь от дальнейших подробностей, которые завели бы меня далеко. Скажу только, что впоследствии, заезжая иногда в этот уединенный уголок и посмотря несколько часов на эту бесцветную, скромную жизнь, я всегда поддавался ее впечатлению и спрашивал себя: не здесь ли живет истинное счастие человеческое, чуждое неразрешимых вопросов, неудовлетворяемых требований, чуждое страстей и волнений? Долго звучал во мне гармонический строй этой жизни, долго чувствовал я какое-то грустное умиление, какое-то сожаление о потере того, что иметь, казалось, так легко, что было под руками. Но когда задавал я себе вопрос, не хочешь ли быть Васильем Васильичем?.. — я пугался этого вопроса, и умилительное впечатление мгновенно исчезало.

Отец мой сдержал свое обещание: он приготовил мне легонькое ружье, очень ловкое в прикладе и красиво отделанное, *с видом*[1] (на манер тогдашних охотничьих английских ружей), с серебряной насечкой и целью; он купил его как-то по случаю, за пятнадцать рублей ассигнациями, и хотя ружье было тульской работы, но и по тогдашним ценам стоило вдвое или втрое дороже; шагов на пятьдесят оно било очень хорошо. — Первый выстрел из ружья, которым я убил ворону, решил мою судьбу: я сделался безумным стрелком. На другой день я застрелил утку и двух болотных куликов и окончательно помешался. Удочка и ястреба были забыты, и я, увлеченный страстностью моей природы, бегал с ружьем целый день и грезил об ружье целую ночь. Так продолжалось и последующие дни. Григорий Иваныч, видя меня только мельком, всегда занятого и спешащего, напрасно ожидал, чтобы я попросил его заняться со мною.

---

[1] Ружье, ствол которого к концу толще и потому шире, называется, или называлось: с видом.

Он сказал о нашем уговоре моей матери, и она приказала мне, чтобы я просил Григорья Иваныча занимать меня, каждый день два часа, чем-нибудь по его усмотрению. Такое приказание было мне очень не по вкусу, но я повиновался. Сначала Григорий Иваныч не мог без смеха смотреть на мою жалкую фигуру и лицо, но когда, развернув какую-то французскую книгу и начав ее переводить, я стал путаться в словах, не понимая от рассеянности того, что я читал, ибо перед моими глазами летали утки и кулики, а в ушах звенели их голоса, — воспитатель мой наморщил брови, взял у меня книгу из рук и, ходя из угла в угол по комнате, целый час читал мне наставления, убеждая меня, чтобы я победил в себе вредное свойство увлекаться до безумия, до забвения всего меня окружающего... Увы, я ничего не слыхал, ничего не понимал, и все его золотые слова, справедливые мысли, убедительные доказательства улетали на воздух. Видя безуспешность убеждений, Григорий Иваныч испытал другое средство: на целую неделю оставил он меня на свободе с утра до вечера бегать с ружьем до упаду, до совершенного истощения; он надеялся, что я опомнюсь сам, что пресыщение новой охотой и усталость возвратят мне рассудок; но напрасно: я не выпускал ружья из рук, мало ел, дурно спал, загорел, как арап, и приметно похудел. Тогда наставник мой, опасаясь за мое здоровье, принял решительные меры, которые давно советовала ему моя мать, но в распоряжения его не мешалась: ружье повесили на стенку, и мне запретили ходить на охоту. Смешно и совестно вспомнить, что было со мною в первые сутки! Я плакал, ревел, как маленькое дитя, валялся по полу, рвал на себе волосы и едва не изорвал своих книг и тетрадей, и, конечно, только огорчение матери и кроткие увещания отца спасли меня от глупых, безумных поступков; на другой день я как будто очнулся, а на третий мог уже заниматься и читать вслух моих любимых стихотворцев со вниманием и удовольствием; на четвертый день я совершенно успокоился, и тогда только прояснилось лицо моего наставника. Во все эти дни он почти не говорил со мною и смотрел на меня то сурово, то с обидным сожалением. Наконец, он обратился ко мне с участием и разумными, снисходи-

тельными словами, и на этот раз — с полным успехом. Мне было совестно, досадно на самого себя почти до слез и, переходя от одной крайности к другой, я хотел отказаться совсем от ружья. Григорий Иваныч опять был недоволен; он не одобрил моего намерения и потребовал, чтобы я каждый день ходил на охоту или от утра до обеда, или от обеда до вечера; но чтобы каждый день три-четыре часа я занимался с участием и прилежанием, особенно историей и географией, в которых я был несколько слабее других отличных учеников. Время потекло правильно и приятно.

В продолжение этого месяца, предаваясь без помехи дружеским и откровенным разговорам, мои родители еще более стали уважать и ценить светлый ум и высокие качества души Григорья Иваныча, соединенные в нем с многосторонним образованием и основательной ученостью. Мать употребила все влияние своей любви на меня, чтобы я понял, какого человека судьба послала мне наставником. Она видела в этом особенную милость божию. Я не только понимал, но и сильно чувствовал слова матери. Я уверял ее, но, к сожалению, никогда не мог уверить вполне, что сам горячо люблю Григорья Иваныча, что только в семействе и в деревне развлекся я разными любимыми предметами и новою, еще неиспытанною мною, охотою с ружьем, но что в городе я об одном только и думаю, как бы заслужить любовь и одобрение моего воспитателя, и что одно его ласковое слово делает меня вполне счастливым.

Подрастала и удивительно хорошела моя милая сестра, мой сердечный друг. Она уже не могла разделять моих деревенских забав и охот, не могла быть так часто со мною вместе; но она видела, как я веселился, и сносила это лишение терпеливо, зато роптала на мое учение и, вероятно, потому неблагосклонно смотрела на моего учителя.

10 августа выехали мы из Аксакова и 15-го без всяких приключений благополучно приехали в Казань. К удивлению моему, Григорий Иваныч в тот же день запретил мне ходить в классы в гимназию, а назначил разные занятия и упражнения дома. Сам же он всякий день, поутру, уезжал в гимназический совет, в котором

был ученым секретарем, и оставался там очень подолгу. Наконец, дней через пять он сказал мне, что ученье в классах идет очень вяло, что многие еще не съехались, что время стоит чудесное и что мы поедем к Ивану Ипатычу в Кощаково, чтоб еще с недельку на свободе погулять и поучиться. Я удивился еще более, но был очень доволен. Мы прожили в Кощакове не недельку, а с лишком две; Григорий Иваныч несколько раз уезжал в город; уезжал рано поутру и возвращался к позднему обеду. Я не обращал на это внимания. Когда мы переехали в Казань, на другой же день Григорий Иваныч приказал мне ходить в классы. Я очень весело побежал в гимназию, но товарищи встретили меня с невеселыми лицами и сообщили мне следующее печальное происшествие.

Предварительно надобно сказать, что директор гимназии Лихачев был очень плохим директором и, сверх того, имел карикатурную наружность, не внушавшую расположения; между прочим нижняя его губа была так велика, как будто ее разнесло от укушения благой мухи или осы. Ни чиновники, ни воспитанники не уважали его, и еще до отъезда моего на последнюю вакацию, во время обеда, когда директор ходил по столовой зале, он был публично осмеян учениками, раздраженными за дурную кашу, в которой кто-то нашел кусок свечного сала. В ту же ночь на многих стенах внутри гимназии, на стенах наружных, даже на куполе здания явились ругательные надписи директору, мастерски начерченные красным карандашом крупными печатными буквами. Надписи были помещены так высоко, что их нельзя было написать без помощи лестницы, а надпись на куполе была признана чудом смелости и ловкости; ни тогда, ни после виноватых не открыли. Я и теперь не знаю, кто это сделал. За несколько дней до возвращения моего с Григорьем Иванычем из Аксакова, когда в гимназии собрались уже почти все ученики, какой-то отставной военный чиновник, не знаю почему называвшийся квартермистром, имевший под своею командой всех инвалидов, служивших при гимназии, прогневался на одного из них и стал его жестоко наказывать палками на заднем дворе, который отделялся забором от переднего

и чистого двора, где позволялось играть и гулять в свободное время всем воспитанникам. Это случилось после обеда, когда именно все воспитанники гуляли. Вопль бедного инвалида возбудил такую жалость в молодых сердцах, что несколько учеников старшего класса, и в том числе Александр Княжевич, нарушили запрещение, прошли в калитку на задний двор и начали громко требовать, чтоб квартермистр перестал наказывать виноватого. Квартермистр очень рассердился за нарушение своей власти, принялся кричать и ругать воспитанников площадными словами, а как Александр Княжевич, по необыкновенной доброте своего сердца горячившийся более всех, был впереди других, то все ругательства прямо и непосредственно были обращены на него. Услышав крик и брань, весь высший класс, а за ним и другие явились на заднем дворе. Старший Княжевич, Дмитрий, узнав голос брата, нежно им любимого, прибежал первый; будучи от природы пылкого нрава, он горячо вступился за оскорбленного брата; воспитанники пристали к нему единодушно; разумеется, не было недостатка в энергических выражениях и угрозах; квартермистр нашелся принужденным прекратить свою расправу и поспешно ретироваться. Такое ничего не значущее обстоятельство, в основании которого лежало прекрасное чувство сострадания, а потом справедливое негодование за грубое и дерзкое оскорбление, имело весьма печальные последствия единственно потому, что было не понято директором и дурно ведено. Сначала письменная и покорная просьба воспитанников высшего класса состояла в том, чтобы жестокий и грубый квартермистр был отставлен; но директор отказал в ней, обвинил одних учеников и даже подверг некоторых какому-то наказанию. Разумеется, такая несправедливость раздражила юношей; отвергнутая почтительная просьба превратилась в настоятельное требование и уклонение от заведенного порядка. Высший класс воспитанников перестал учиться; они говорили, что до тех пор не будут ходить в классы, покуда не удалят из гимназии ненавистного квартермистра. Вскоре средний и даже нижний класс присоединились к старшему, а как вся история поднялась преимущественно за оскорбление одного из лучших учеников,

Александра Княжевича, то естественно, что его брат, первый во всех отношениях воспитанник, очень любимый товарищами, сделался, так сказать, главою этого движения. Директор струсил, не смел показаться ученикам и даже каким-то задним ходом, через квартиру Яковкина, проходил в гимназический совет, или конференцию; он посылал уговаривать воспитанников, но переговоры оказались бесполезными. Нет сомнения, что если б добрый, любимый и уважаемый Василий Петрович Упадышевский служил тогда главным надзирателем, то все это несчастное происшествие прекратилось бы в самом начале; но за несколько недель он оставил гимназию по болезни, и должность его исправлял человек ничтожный. Дело тянулось, в одном и том же нерешительном положении, дни три. Наконец, гимназисты, узнав, что директор сидит в совете, захватив предварительно другой выход, привалили толпою к парадным дверям конференции и громогласно требовали исключения из службы квартермистра. Директор хотел уехать, но, получив известие, что путь к побегу отрезан и что у заднего выхода также его ожидают гимназисты, — так перепугался и растерялся, что немедленно приказал составить определение об увольнении виноватого квартермистра. Определение было прочитано воспитанникам; сейчас все успокоились, поблагодарили начальство и возвратились к полному повиновению. Гимназия пришла в обыкновенный порядок, и учебная жизнь потекла своей обычной колеей. Сначала думали, что это происшествие не будет иметь никаких дальнейших последствий, но очень ошиблись. Директор немедленно донес высшему начальству о происшедшем и, по чьему-то совету войдя в сношения с губернатором, принял следующие меры: через несколько дней, во время обеда, вдруг вошли в залу солдаты с ружьями и штыками; вслед за ними появился губернатор и директор. Последний вызвал по именам шестнадцать человек из высшего класса, в том числе, разумеется, старшего Княжевича, и под прикрытием вооруженных солдат приказал отвести их в карцер. Все остальные были поражены ужасом, и мертвая тишина царствовала в зале. У всех наружных дверей гимназии было поставлено по два солдата с ружьями и штыками; у дверей карцера стояло

четверо. — Через две недели после этого печального события пришел я в первый раз по возвращении с вакации, или, правильнее сказать, из Кощакова, в свой высший осиротевший класс, где и встретили меня сейчас рассказанною мною повестью. Тут сделалось мне понятно, отчего разумный мой наставник сначала не позволил мне ходить в классы, а потом увез меня в деревню. Без всякого сомнения, я был бы одним из самых горячих участников в этом несчастном происшествии. — Через полтора месяца было получено решение высшего начальства. Опять явился в столовую залу губернатор, директор и весь совет, прочли бумагу, в которой была объяснена вина возмутившихся воспитанников и сказано, что в пример другим восемь человек из высшего класса, признанных главными зачинщиками, Дмитрий Княжевич, Петр Алехин, Пахомов, Сыромятников и Крылов (остальных не помню) исключаются из гимназии без аттестации в поведении. Исключены были самые лучшие ученики. Дмитрий Княжевич и Алехин считались красою, славой гимназии. По исполнении приговора, которым все были глубоко поражены и опечалены, вывели солдатские караулы из гимназии и сняли осадное положение, которым мы очень оскорблялись.

Лихачев был вскоре уволен, и вместо него определен директором старший учитель И. Ф. Яковкин. Дмитрий Княжевич сохранил надолго близкую связь с своими гимназическими товарищами. Он определился на службу в Петербурге и каждую почту писал к брату, обращаясь нередко ко всем нам. Его письма читали торжественно, во всеуслышанье.

Приунывшее и приутихшее юное народонаселение гимназии мало-помалу успокоилось, стало забывать печальное событие, опять зашумело, запело, запрыгало, захохотало, — и жизнь понеслась вперед, как будто ничего не бывало.

До половины зимы мирно текли мои классные и домашние упражнения под неослабным надзором и руководством Григорья Иваныча; но в это время приехал в Казань мой родной дядя, А. Н. Зубов; он свозил меня два раза в театр, разумеется с позволения моего воспитателя: в оперу «Песнолюбие» и в комедию «Братом

проданная сестра». Эти два спектакля произвели на меня почти такое же впечатление, как и ружейная охота. Я питал особенное пристрастие к театральным сочинениям и по рассказам составил себе кое-какое понятие об их сценическом исполнении. Но действительность далеко превзошла мои предположения. Я грезил виденными мною спектаклями и день и ночь и так рассеялся, что совершенно не мог заниматься ученьем. Разумеется, Григорий Иваныч сейчас это увидел и, допросив меня, узнал настоящую причину. Нахмурился и вновь огорчился мой рассудительный наставник, и вновь должен был я выслушать длинное поучение. Но на этот раз я сейчас почувствовал справедливость упреков Григорья Иваныча и понял вредные следствия моей склонности к безмерному увлечению. С большим усилием я победил в себе вспыхнувшую страсть к театру, зерно которой давно во мне хранилось и высказывалось в моей охоте к декламации и к драматическим пиесам, русским и французским; я успокоился и с необыкновенным жаром принялся за ученье. Григорий Иваныч был очень доволен. Через неделю он сам стал разговаривать со мною о театре и сценическом искусстве, дал об нем настоящее понятие и рассказал мне о многих славных актерах, живых и мертвых, иностранных и русских. Между прочим упомянул и о московских актерах — Шушерине и Плавильщикове. Дни три продолжались у нас такие приятные для меня разговоры, в часы отдохновения от серьезных занятий. Вдруг в один счастливый день, когда я, воротясь из гимназии, пил свой вечерний чай, Григорий Иваныч отворил ко мне дверь и весело сказал: «Оканчивайте поскорее ваше молочное питье[1]. Вы должны сейчас ехать со мною». Я был готов в одну минуту. Мы сели в сани и поехали. Я был уверен, что мы едем к Г. К. Воскресенскому, к которому Григорий Иваныч изредка езжал со мною и которого сын был моим товарищем в гимназии. На повороте Григорий Иваныч приказал кучеру ехать прямо по Грузинской улице: это было не по дороге

---

[1] Я очень любил молоко и так много клал сливок в чай, что Григорий Иваныч называл его молочным питьем, а меня иногда поеным теленочком, что я считал за большую милость.

к Воскресенскому. Я удивился. Через несколько минут, когда мы поровнялись с театром, он сказал: «К театральному подъезду». Кучер подъехал. Григорий Иваныч выскочил из саней, а я, обомлевши от радостной надежды, сидел неподвижно. Григорий Иваныч не мог удержаться от смеха и спросил меня: «Что же? не хотите в театр?» Я выпрыгнул как безумный. Билеты были взяты заранее; мы вошли в кресла и сели вместе в первом ряду. Давали оперу «Колбасники». Боже мой! Как я был счастлив! До сих пор вижу перед собой актера Михайла Калмыкова в главной роли старого колбасника; до сих пор слышу, как актер Прытков поет с гитарой, то есть разевает рот, а за кулисами пела вместо него актриса Марфуша Аникиева:

Предмет драгоценный
Души распаленной,
Услыши, что пленный
Гласит к злой судьбе...

А вот уже с лишком пятьдесят лет прошло, как я видел этот спектакль, и с тех пор даже не слыхивал об опере «Колбасники». Воротясь домой, я от души поблагодарил моего наставника и с удовольствием услышал от него, что сегодняшний спектакль был награждением за мое благоразумие и что если «Колбасники» не развлекут меня, то от времени до времени мы будем ездить в театр. По правде сказать, «Колбасники» очень занимали и даже развлекали меня, но я всеми силами старался скрывать свое впечатление и, с помощью свежей необыкновенной памяти, я так хорошо продолжал свое ученье, что Григорий Иваныч ничего не мог заметить. В непродолжительном времени я увидел на театре «Недоросля», «Ошибки, или Утро вечера мудренее», оперу «Нина, или Сумасшедшая от любви» и драму Коцебу «Граф Вальтрон». С каждым днем росла и крепла во мне любовь к театру. Я выучил наизусть виденные мною на сцене пиесы и находил время, незаметно для моего воспитателя, разыгрывать перед самим собою все роли в вышесказанных пиесах, для чего запирался в своей комнате или уходил в пустые, холодные антресоли.

В эту же зиму 1804 года начал я сближаться с одним своекоштным учеником Александром Панаевым. Он также был охотник до театра и до русской словесности. Будучи обожателем Карамзина, он писал идиллическою прозой, стараясь уловить гладкость и цветистость языка, созданного Карамзиным. Брат его Иван был лирический стихотворец. Александр Панаев издавал тогда письменный журнал под названием «Аркадские пастушки», которого несколько нумеров и теперь у меня хранятся. Все сочинители подписывались какими-нибудь пастушескими именами, например: Адонис, Дафнис, Аминт, Ирис, Дамон, Палемон и проч. Александр Панаев был каллиграф и рисовальщик, а потому сам переписывал и сам рисовал картинки к каждому нумеру своего журнала, выходившему ежемесячно. Поистине, это было двойное детство: нашей литературы и нашего возраста. Но замечательно, что направление и журнальные приемы были точно такие же, какие держались потом в России несколько десятков лет. Названия пиес и некоторые стихотворные и прозаические отрывки я помещаю в особом приложении.

Благодаря стараниям моего наставника я до того времени еще не был сочинителем, а потому и не участвовал в составлении журнала. Но, к сожалению, пример был очень увлекателен, и я начал потихоньку пописывать, храня тайну даже от друга моего Панаева. Через год я уже издавал с ним журнал, о чем будет рассказано в своем месте. В эту же зиму составился в гимназии благородный спектакль. Два раза играли какую-то скучную, нравоучительную пиесу, название которой я забыл, и при ней маленькую комедию Сумарокова «Приданое обманом». В спектакле я был только зрителем: во-первых, потому, что много было охотников постарше меня, а во-вторых, потому, что я не смел и заикнуться об этом Григорию Иванычу, — и напрасно, как это покажет следующий год, в котором назначено было развернуться моей театральной и литературной гимназической деятельности.

Уже около года носились слухи, что в Казани будет основан университет. Слухи стали подтверждаться, и в декабре 1804 года получили официальное известие, что

устав университета 5 ноября подписан государем. Попечителем был назначен действительный статский советник Степан Яковлевич Румовский, который и приехал в Казань. Это событие взволновало весь город, еще более гимназию и преимущественно старший класс. Конференция собиралась каждый день; в ней председательствовал Румовский и заседали приехавшие с ним два профессора, Герман и Цеплин, директор гимназии Яковкин и все старшие учителя. Что происходило там — я и товарищи ничего не знали. Вдруг в один вечер собралось к Григорью Иванычу много гостей: двое новых приезжих профессоров, правитель канцелярии попечителя Петр Иваныч Соколов и все старшие учителя гимназии, кроме Яковкина; собрались довольно поздно, так что я ложился уже спать; гости были веселы и шумны, я долго не мог заснуть и слышал все их громкие разговоры и взаимные поздравления: дело шло о новом университете и о назначении в адъюнкты и профессоры гимназических учителей. На другой день Евсеич сказал мне, что гости просидели до трех часов, что выпили очень много пуншу и вина и что многие уехали очень навеселе. Он прибавил, что и «*наш* (так он называл Григорья Иваныча) принужден был много пить, но что он не был хмелен ни в одном глазе». У нас в доме никакой пирушки никогда не бывало, и мы с Евсеичем очень дивились такой новости, хотя причина была теперь очевидна: Евсеич сам вслушался, да и я рассказал ему, что Григорий Иваныч был назначен адъюнкт-профессором в новом университете вместе с Иваном Ипатычем, Левицким и Эрихом. Из разговоров их я также узнал, что Яковкин был прямо сделан ординарным профессором русской истории и назначался инспектором студентов, о чем все говорили с негодованием, считая такое быстрое возвышение Яковкина незаслуженным по ограниченности его ученых познаний. Я вслушался также, что, говоря о студентах, Григорий Иваныч громко сказал: «За своего Телемака, господа, я ручаюсь». Я догадался, что и меня хотят сделать студентом, чего я никак не мог надеяться, потому что еще не дослушал курса в высших классах и ничего не знал в математике. На другой день поутру Григорий Иваныч еще спал, когда я уехал в гимназию.

Я спешил сообщить новость своим товарищам, но там уже все знали через сына Яковкина, который был страшный толстяк, весьма ограниченных способностей. Он хвастался, что и его сделают студентом, над чем все смеялись. Лучшие ученики в высшем классе, слушавшие курс уже во второй раз, конечно, надеялись, что они будут произведены в студенты; но обо мне и некоторых других никто и не думал. В тот же день сделался известен список назначаемых в студенты; из него узнали мы, что все ученики старшего класса, за исключением двух или трех, поступят в университет; между ними находились Яковкин и я. В строгом смысле человек с десять, разумеется в том числе и я, не стоили этого назначения по неимению достаточных знаний и по молодости; не говорю уже о том, что никто не знал по-латыни и весьма немногие знали немецкий язык, а с будущей осени надобно было слушать некоторые лекции на латинском и немецком языках. Но тем не менее, шумная радость одушевляла всех. Все обнимались, поздравляли друг друга и давали обещание с неутомимым рвением заняться тем, чего нам недоставало, так чтобы через несколько месяцев нам не стыдно было называться настоящими студентами. Сейчас был устроен латинский класс, и бо́льшая часть будущих студентов принялась за латынь. Я не последовал этому похвальному примеру по какому-то глупому предубеждению к латинскому языку. До сих пор не понимаю, отчего Григорий Иваныч, будучи сам сильным латинистом, позволил мне не учиться по-латыни.

Нельзя без удовольствия и без уважения вспомнить, какою любовью к просвещенью, к наукам было одушевлено тогда старшее юношество гимназии. Занимались не только днем, но и по ночам. Все похудели, все переменились в лице, и начальство принуждено было принять деятельные меры для охлаждения такого рвения. Дежурный надзиратель всю ночь ходил по спальням, тушил свечки и запрещал говорить, потому что и впотьмах повторяли наизусть друг другу ответы в пройденных предметах. Учителя были также подвигнуты таким горячим рвением учеников и занимались с ними не только в классах, но во всякое свободное время, по всем праздничным дням. Григорий Иваныч читал для лучших

математических студентов прикладную математику; его примеру последовали и другие учителя. Так продолжалось и в первый год после открытия университета. Прекрасное, золотое время! Время чистой любви к знанию, время благородного увлечения! Я могу беспристрастно говорить о нем, потому что не участвовал в этом высоком стремлении, которое одушевляло преимущественно казенных воспитанников и пансионеров: своекоштные как-то мало принимали в этом участия, и мое учение шло своей обычной чередой под руководством моего воспитателя. Вероятно, он считал, что я не имел призвания быть ученым, и, вероятно, ошибался. Он судил по тому страстному увлечению, которое обнаруживалось во мне к словесности и к театру. Но мне кажется, что натуральная история точно так же бы увлекла меня и, может быть, я сделал бы что-нибудь полезное на этом поприще. Впрочем, родители мои никогда не назначали меня к ученому званию, даже имели к нему предубеждение, и согласно их воле Григорий Иваныч давал направление моему воспитанию. — Конечно университет наш был скороспелка, потому что через полтора месяца, то есть 14 февраля 1805 г., его открыли. Преподавателей было всего шестеро: два профессора: Яковкин и Цеплин, и четыре адъюнкта: Карташевский, Запольский, Левицкий и Эрих[1].

---

[1] Вот список студентов, открывавших университет; кажется, я забыл двух или трех:

Казенные студенты и пансионеры:

Василий Перевощиков.
Дмитрий Перевощиков.
Василий Кузминский.
Александр Княжевич.
Петр Балясников.
Петр Кондырев.
Александр Петров.
Фомин. } Имен не помню.
Ляпунов. }
Николай Трухин.
Николай Кинтер.
Петр Зыков.
Василий Тимьянский.
Чеснов.

В 1805 году письма Дмитрия Княжевича, всегда получаемые и выслушиваемые с живым участием, приобрели особенный политический интерес. Тогда шла первая война с Наполеоном; не знаю, почему известия о военных событиях как-то трудно и поздно до нас доходили. Княжевич же сообщал их нам скоро и подробно. Сверх того, письма его были проникнуты горячей любовью к славе русского оружия, а потому действовали на всех нас электрически. Бывало, только крикнет Александр Княжевич: «Письмо от брата!», как все мы сейчас окружали его дружною и тесною толпою; лежа друг у друга на плечах, в глубокой тишине, прерываемой иногда восторженными восклицаниями, жадно слушали мы громогласное чтение письма; даже гимназисты прибегали к нам и участвовали в слушании этих писем. Знаменитый Багратион был нашим любимцем, и когда мы услышали, что он, оставленный на жертву неприятелю, пробился с своим отрядом сквозь целую армию французов, — такое грянуло ура, такой был общий единодушный восторг, что я и описать не умею. Много было жизни в поре нашей юности, и отрадно вспоминать о ней.

Воспитанникам, назначенным в студенты, не произвели обыкновенных экзаменов, ни гимназических, ни

Михайла Пестяков.
Михайла Попов.
Василий Чуфаров.
Кайсаров.
Яковкин.
Риттау.
Владимир Графф.
Выдряцкий.
Андреев.
Шоник.
Николай Упадышевский (стар.)

Своекоштные студенты:

Николай Панаев.
Иван Панаев.
Александр Панаев.
Александр Дмитриев.
Сергей Аксаков.
Порфирий Безобразов.
Еварест Грубер.

университетских, а, напротив, все это время употребили на продолжение ученья, приготовительного для слушанья университетских лекций; не знаю, почему Григорий Иваныч, за несколько дней до акта, отправил меня на вакацию, и мы с Евсеичем уехали в Старое Аксаково Симбирской губернии, где тогда жило все мое семейство. Какая была причина этого перемещения из Нового, Оренбургского Аксакова — также не знаю, но оно было мне очень досадно; в Старом, безводном Аксакове не было никакого уженья, да и стрельбы очень мало; правда, дичи лесной водилось там много, можно было найти и бекасов и дупелей, но эта трудная охота была мне еще недоступна. Зная все это наперед, я запасся театральными пиесами, чтобы дома на свободе прочесть их и даже разыграть перед глазами моего семейства, что и было потом исполнено мною с большим успехом и наслаждением. — Отец и мать очень обрадовались моему назначению в студенты, даже с трудом ему верили, и очень жалели, что Григорий Иваныч не оставил меня до акта, на котором было предположено провозгласить торжественно имена студентов и раздать им шпаги. Боже мой, как обрадовалась мне моя милая сестра! С каким наслаждением слушала она мое чтение, или, лучше сказать, разыгрыванье трагедий, комедий и даже опер, в которых я отвечал один за всех актеров и актрис: картавил, гнусил, пищал, басил и пел на все голоса, даже иногда костюмировался с помощию всякой домашней рухляди. Кроме того, зная что с половины августа я начну слушать лекции натуральной истории у профессора Фукса, только что приехавшего в Казань, я решил заранее, что буду собирать бабочек, и в эту вакацию, с помощию моей сестры, сделал уже приступ к тому; но, увы, не умея раскладывать и высушивать бабочек, я погубил понапрасну множество этих прелестных творений. В продолжение вакации мы два раза ездили в Чуфарово к Надежде Ивановне Куроедовой и гостили там по целой неделе. От Старого Аксакова до Чуфарова всего было верст сорок или пятьдесят. Надежда Ивановна была очень довольна, что я сделан студентом; с гордостию рассказывала о том всякому гостю, наряжала меня в мундир и очень жалела, что у меня не было

шпаги; даже подарила мне на книги десять рублей ассигнациями. Узнав как-то нечаянно о моем театральном искусстве, о котором прямо доложить ей не смели, ибо опасались, что оно может ей не понравиться, — она заставила меня читать, представлять и петь и, к моей великой радости, осталась очень довольною и много хохотала. Она никогда не видывала театра, и, по своей живой, веселой и понимающей природе, она почувствовала неизвестное ей до тех пор удовольствие. Особенно ей понравилось мое обыкновенное чтение. Иногда от скуки, преимущественно по зимам, устав играть в карты, петь песни и тогдашние романсы, устав слушать сплетни и пересуды, она заставляла себе читать вслух современные романы и повести, но всегда была недовольна чтецами; одна только мать моя несколько ей угождала. Послушав же меня, она сказала: «Вот как надо читать», и с тех пор, несмотря на летнее время, которое она обыкновенно проводила в своем чудесном саду, Надежда Ивановна каждый день заставляла меня читать часа по два и более. Иногда являлся на сцену «Мельник» Аблесимова и «Сбитенщик» Княжнина, — и как добродушно, звонко смеялась она, глядя, как молоденький мальчик представляет старика мельника и сбитенщика. Я приобрел полное благоволение Надежды Ивановны, чему очень радовались в моем семействе, потому что мысль о будущем богатстве, которым она некогда обещала наделить нас, не могла быть совершенно чуждою человеческим соображениям и расчетам. При моем отъезде я получил милостивое приказание от Надежды Ивановны писать к ней каждый месяц два раза, что было в точности и исполняемо мною до самой ее кончины.

УНИВЕРСИТЕТ

Я благополучно воротился в Казань и очень обрадовался, увидев Григорья Иваныча. Он встретил меня ласково. Первым моим делом было достать мою студентскую шпагу, которая до моего прибытия хранилась в кладовой у дежурного надзирателя. Мы с Александром

Панаевым, прицепив свои шпаги, целое воскресенье бегали по всем городским улицам, и как тогда это была новость, то мы имели удовольствие обращать на себя общее внимание и любопытство. Более просвещенное лакейство, сидя и любезничая с горничными у ворот господских домов, нередко острило на наш счет, говоря: «Ой, студено — студенты идут». — В гимназии шли большие хлопоты о назначении студентам особых комнат, отдельно от гимназистов, помещавшихся в том же здании гимназии, об устройстве студентам особенного стола в другой небольшой зале и об открытии новых университетских лекций. Наконец, в исходе августа все было улажено, и лекции открылись в следующем порядке: Григорий Иваныч читал чистую, высшую математику; Иван Ипатыч — прикладную математику и опытную физику; Левицкий — логику и философию; Яковкин — русскую историю, географию и статистику; профессор Цеплин — всеобщую историю; профессор Фукс — натуральную историю; профессор Герман — латинскую литературу и древности; Эрих — латинскую и греческую словесность и приехавший адъюнкт Эвест — химию и анатомию. Был еще какой-то толстый профессор, Бюнеман, который читал право естественное, политическое и народное на французском языке; лекций Бюнемана я решительно не помню, хотя и слушал его. Вот в каком смешении факультетов и младенческом составе открылся наш университет. Яковкин, как инспектор студентов и директор гимназии, соединял в своем лице звание и власть ректора; под его председательством совет казанской гимназии, в котором присутствовали все профессоры и адъюнкты, управлял университетом и гимназией по части учебной и образовательной. Хозяйственною же частью заведовала контора гимназии, также под председательством Яковкина; один из университетских преподавателей находился в ней постоянным членом. Яковкин, для соблюдения благочиния, с позволения попечителя, назначал камерных студентов и делал другие необходимые распоряжения. Многие воспитанники, в том числе и я, не выслушавшие полного гимназического курса, продолжали учиться в некоторых высших классах гимназии, слушая в то же время уни-

верситетские лекции. Я был этому очень рад, потому что мне было бы больно расстаться с Ибрагимовым. Этот человек так искренно меня любил, так охотно занимался со мною, что время, проведенное в его классах, осталось одним из приятных воспоминаний моей юности. Я должен признаться, что Ибрагимов слишком много мною занимался в сравнении с другими воспитанниками и что мое самолюбие, подстрекаемое и удовлетворяемое его отзывами перед целым классом, играло в этом деле не последнюю роль. Итак, очевидно, что переход из гимназии в университет был вообще для всех мало заметен, особенно для меня и для студентов, продолжавших ходить в некоторые гимназические классы.

С открытия университета дружба моя с Александром Панаевым, также произведенным в студенты, росла не по дням, а по часам, и скоро мы сделались такими друзьями, какими могут быть люди в годах первой молодости; впрочем, Александр Панаев был старше меня тремя годами, следственно восемнадцати лет. Григорий Иваныч одобрял нашу дружбу. Кроме любви к литературе и к театру, которая соединяла меня с Александром Панаевым, скоро открылась новая общая склонность: натуральная история и собирание бабочек; эта склонность развилась, впрочем, вполне следующею весною. Настоящая же зима исключительно обратила нас к театру, потому что неожиданно на публичной сцене явился московский актер Плавильщиков. Его приезд имел важное для меня значение. Григорий Иваныч, говоривший мне и прежде о Плавильщикове, не только заранее позволил мне быть в театре всякий раз, когда Плавильщиков играл, но даже был очень доволен, что я увижу настоящего артиста и услышу правильное, естественное, мастерское чтение, которым по справедливости славился Плавильщиков. Ходить часто в партер или кресла студенты были не в состоянии: место в партере стоило рубль, а кресло два рубля пятьдесят копеек ассигнациями, а потому мы постоянно ходили в раек, платя за вход двадцать пять коп. медью. Но раек представлял для нас важное неудобство; спектакли начинались

в $6^1/_2$ часов, а класс и лекции оканчивались в 6; следовательно, оставалось только время добежать до театра и поместиться уже на задних лавках в райке, с которых ничего не было видно, ибо передние занимались зрителями задолго до представления. Для отвращения такого неудобства употреблялись следующие меры: двое из студентов, а иногда и трое, покрупнее и посильнее часов в пять и ранее отправлялись в театр, занимали по краям порожнюю лавку и не пускали на нее никого. Сначала это не обходилось без ссор, но потом посетители райка привыкли к такому порядку, и дело обходилось мирно. Мы приходили обыкновенно перед самым поднятием занавеса и садились на приготовленные места. Сначала передовые студенты уходили из классов потихоньку, но впоследствии многие профессоры и учителя, зная причину, смотрели сквозь пальцы на исчезновение некоторых из своих слушателей, а достолюбезный Ибрагимов нередко говаривал: «А что, господа, не пора ли в театр?», даже оканчивал иногда ранее получасом свой класс. Доставанье афиш возлагалось на своекоштных студентов. Печатных афиш тогда в городе не было; некоторые почетные лица получали афиши письменные из конторы театра, а город узнавал о названии пьесы и об именах действующих лиц и актеров из объявления, прибиваемого четырьмя гвоздиками к колонне или к стене главного театрального подъезда. Я должен признаться, что мы воровали афиши. Подъедешь, бывало, к театральному крыльцу, начнешь читать афишу и, выждав время, когда кругом никого нет, сорвешь объявление, спрячешь в карман и отправляешься с добычею в университет. Впоследствии содержатель театра Есипов, узнав студентские проделки, дал позволение студентам получать афишу в конторе театра.

Игра Плавильщикова открыла мне новый мир в театральном искусстве. Я не мог тогда, особенно сначала, видеть недостатков Плавильщикова и равно восхищался им и в трагедиях, и в комедиях, и в драмах; но как он прожил в Казани довольно долго, поставил на сцену много новых пиес, между прочим комедию свою «Бобыль», имевшую большой успех, и даже свою тра-

гедию «Ермак», не имевшую никакого достоинства[1] и успеха, и сыграл некоторые роли по два и по три раза, — то мы вгляделись в его игру и почувствовали, что он гораздо выше в «Боте», чем в «Дмитрие Самозванце», в «Досажаеве», чем в «Магомете», в «Отце семейства», чем в «Рославе». Торжеством в искусстве чтения были у Плавильщикова роли Тита в «Титовом милосердии» и особенно пастора в «Сыне любви». Исполнение этой последней роли привело меня в совершенное изумление. Пастора играл в Казани преплохой актер Максим Гуляев, и это лицо в пьесе казалось мне и всей публике нестерпимо скучным, так что длинный монолог, который он читает барону Нейгофу, был сокращен в несколько строк по общему желанию зрителей. Плавильщиков восстановил во всей полноте это лицо и убил им все остальные. И в самом деле, он играл роль пастора превосходно. Плавильщиков же поставил в Казани «Эдипа в Афинах». Стихи Озерова были тогда пленительной новостью; они увлекали всех, и игра Плавильщикова в роли Эдипа произвела общий восторг[2]. Яркий свет сценической истины, простоты, естественности тогда впервые озарил мою голову. Я почувствовал все пороки моей декламации и с жаром принялся за переработку моего чтения. Нечто подобное говорил мне прежде и требовал от меня мой воспитатель, но я плохо понимал его. Как же скоро я услышал Плавильщикова в лучших его ролях, я понял в одно мгновение, чего хотел в моем чтении Григорий Иваныч. Вот как пример

---

[1] Какой-то проказник написал крупными буквами углем на главном театральном подъезде:

«Пиеса Ермака
Не стоит пятака».

Эта глупая острота, говорят, сильно оскорбила Плавильщикова.

[2] Несмотря на общее и мое собственное увлечение, я заметил, что Плавильщиков в Эдипе иногда сбивается с тону своей роли и часто вместо дряхлого старика играет молодого и сильного человека, что в некоторых местах оглушительный крик, кроме его неестественности, лишает силы, мешает действию речей изнеможенного старца. Живость движений при отыскивании дочери показалась мне и многим даже смешною.

уясняет понятия гораздо лучше всяких толкований. Тогда, под руководством Григория Иваныча, я горячо взялся за трудную работу и через две недели прочел другу моему Александру Панаеву известный длинный монолог из роли пастора. Панаев до того был удивлен, что ничего не мог произнести, кроме слов: «Ты Плавильщиков... ты лучше Плавильщикова!» В тот же день Александр Панаев явился в университет прежде меня и успел рассказать всем о новом своем открытии. Когда же я пришел на лекции, студенты окружили меня дружною толпою и заставили прочесть монолог пастора и те места из разных пиес, которые я знал наизусть. Хотя не называли меня Плавильщиковым, но все очень хвалили, и у старших студентов сейчас родилась мысль затеять университетские спектакли. Начальство не вдруг на это согласилось, а потому мы с Александром Панаевым, состряпав какую-то драму, разыграли ее, с помощью его братьев, в общей их квартире — довольно большом каменном доме, принадлежавшем дяде их Страхову. Я не помню названия и содержания этой пиесы, разумеется нелепо-детской, но помню, что играл в ней две роли: какого-то пустынника старика — в первых двух действиях, и какого-то атамана разбойников — в третьем, причем был убит из пистолета. В роли старика я отличился. — Дозволение устроить театр с авансценою и декорациями в одной из университетских зал долго не приходило от попечителя, который жил в Петербурге, а потому мы выпросили позволение у директора Яковкина составить домашний спектакль без устройства возвышенной сцены и без декораций, в одной из спальных комнат казенных студентов. Сколько приятной суматохи и возни было по этому случаю! Сшили занавес из простынь и перегородили им большую и длинную комнату, кроватями отделили место для сцены и классными подсвечниками осветили ее. Мы сыграли комедию «Так и должно» Веревкина и маленькую пиесу «Приданое обманом» Сумарокова. В первой пиесе я играл роль старого Доблестина, а молодого Доблестина — Александр Панаев. Афросинью Сысоевну играл студент Дмитрий Перевощиков, лакея Угара — Петр Балясников, судью — В. Кузминский, с приписью подьячего — Петр Зыков,

который привел всех зрителей в неописанный восторг своим комическим талантом. Не помню, кто играл какую-то молодую женскую роль, кажется Александр Княжевич. Костюмы были уморительные: например, старый Доблестин явился в солдатском изорванном сюртуке одного из наших сторожей-инвалидов; на голове имел парик из пакли, напудренный мелом, а на руках цепи с цепной дворовой собаки, которая на этот вечер получила свободу и кого-то больно укусила. Д. Перевощиков, по своему немоложавому и бледному лицу и несколько сиплому голосу, был очень хорош в роли старухи, и это амплуа навсегда за ним осталось. Я, с моей собачьей цепью, произвел сильный эффект и был провозглашен большим талантом и актером, а равно и П. Зыков. Но, увы, друг мой Александр Панаев, несмотря на прекрасную наружность, очень не понравился всем в роли молодого Доблестина. В самом деле, он имел какой-то плаксивый и холодный тон, много ему вредило также произношение на о, от которого он не мог отвыкнуть. Это был мой первый публичный театральный успех, потому что спектакль у Панаевых происходил секретно и зрителей было очень мало; но здесь находилось университетское и гимназическое начальство, профессоры, учителя и даже их жены и дочери, не говоря уже о студентах и гимназистах, которых набилось столько, сколько могло поместиться. — Вскоре получили позволение от попечителя: устроить театр для казенных студентов «в награду за их отличное прилежание». Инспектору было, однако, предписано наблюдать за выбором пиес, а равно и за тем, чтобы это «благородное удовольствие не отвлекало от занятий учебных». Мы все были в восторге. Сцену и кулисы, которые удобно и скоро снимались, построили на казенный счет, но студенты сами писали декорации и тем значительно сократили расходы. Сначала театр хотели поместить в одной из зал; но это оказалось неудобным по ее величине и показалось дорого начальству, и потому для театра выбрали одну классную комнату, которая представляла большое удобство тем, что разделялась посредине нишею. Прежде это были две комнаты, но за несколько лет выломали разделявшую их стену и для поддержания

потолка оставили нишу, подпертую по бокам двумя колоннами; для устройства сцены это было чрезвычайно удобно. Впрочем, не дождавшись окончательно постановки театра, мы сыграли в вышеупомянутой мною зале комедию Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние». Я отличился в роли Неизвестного, и слава моя установилась прочно. По общему согласию, сочинили театральный устав, который утвердили подписями всех участвующих в театральных представлениях, и выбрали меня, несмотря на мою молодость, директором труппы, но, увы, ненадолго: едва успели мы сыграть комедию того же Коцебу «Брюзгливый» и маленькую пиеску «Новый век», в которых я также отличился, как стечение несчастных обстоятельств на целый год удалило меня со сцены. Надобно рассказать несколько подробнее это героико-комическое происшествие. — После «Брюзгливого» затеяли мы сыграть драму «Мейнау, или Следствие примирения», написанную каким-то немцем для выражения своего мнения, что примирение Мейнау с преступной женой, чем оканчивается комедия Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», — не может восстановить их семейного счастия. В этой пиесе есть маленькая роль генерала, бывшего некогда обольстителем Эйлалии; он встречается нечаянно с Мейнау и его женой, Эйлалия падает в обморок, а муж вызывает генерала на дуэль и убивает его из пистолета. Александр Панаев, так неудачно сыгравший молодого Доблестина, мало участвовал в театральных представлениях, оставаясь, однако, в числе актеров; но когда он узнал, что мы намерены разыграть «Мейнау», то упросил меня дать ему роль генерала. Он сознавался, что у него нет сценического таланта, но желал сыграть эту роль по особенным причинам. Причина была мне известна: он был неравнодушен к одной девице, постоянной посетительнице наших спектаклей, и ему хотелось явиться перед ней на сцене в генеральском мундире с большими эполетами и пасть в ее глазах от роковой пули. Я знал, что товарищи будут недовольны моим распоряжением и что на эту роль метил другой актер — Петр Балясников, по своему характеру и дарованиям имевший сильное влияние на студентов, который, без всякого сравнения, сыграл бы эту роль гораздо лучше.

Но дружба заставила меня покривить душой, и я отдал роль генерала Александру Панаеву, на что, как директор я имел полное право [1]. Товарищи сейчас сказали мне, что Панаев испортит пиесу, но я отвечал, что эта роль маленькая и пустая, что Панаев мне ее читал очень хорошо, что я беру на себя поставить его как следует и что его красивая наружность весьма идет к этой роли. Уважая во мне власть директора, все повиновались, разумеется весьма неохотно. На первой же репетиции друг мой Александр так всем не понравился, что мне больно было на него смотреть. Вновь приступили ко мне товарищи с просьбою отдать роль генерала кому-нибудь другому; но я не согласился, извинял Панаева незнанием роли, ручался, что я его выучу и что он будет хорош. Я предвидел бурю и просил моего друга, наедине, отказаться от роли, но он умолял меня со слезами не лишить его возможности произвесть выгодное впечатление на сердце любимой особы, которую он ревновал именно к Балясникову. Он так разжалобил меня, что я дал ему клятву никому не отдавать роли генерала, кроме его. Я обещал даже, что в случае сильного восстания откажусь от роли Мейнау. На второй репетиции, несмотря на знание роли, Панаев читал ее так же неудачно. Пользуясь правом директора, я не позволил никому, кроме играющих актеров, присутствовать на этой репетиции, но в самое то время, когда Александр Панаев в роли генерала вел со мною сцену, я заметил, что двери отворились и Балясников, сопровождаемый Кузминским, Кинтером, Зыковым и другими, вошел с насмешливым и наглым видом и стал перед самою сценою. Едва я успел застрелить Панаева, как все мои товарищи-актеры окружили меня и решительно требовали, чтобы я передал роль генерала именно Балясникову. Панаев побледнел. Движимый горячею дружбою и оскорбленный в моем директорском достоинстве, я грозно отвечал: «что этого никогда не будет и что они вмешиваются не в свое дело, и что если они не хотят меня слушаться, то я отказываюсь

[1] В одном из параграфов устава было сказано: «Директор назначает роли, и все актеры должны беспрекословно повиноваться его назначению».

от роли Мейнау и не хочу участвовать в театре». Я думал поразить всех последними словами. Голова моя была сильно вскружена от похвал и высокого о себе мнения, и я считал, что театр без меня невозможен; но противники мои только того и ждали. Балясников выступил вперед и произнес дерзкую речь, в которой между прочим сказал, что я зазнался, считаю себя великим актером, употребляю во зло право директора и из дружбы к Александру Панаеву, который играет гадко, жертвую спектаклем и всеми актерами. «Наши похвалы дали тебе славу, — прибавил он, — мы же ее у тебя и отнимем, и уверим всех, что ты дрянной актер; мы лишаем тебя директорства и исключаем из числа актеров». Все единогласно подтвердили его слова. Хотя я ожидал восстания против моей власти, но не предвидел такого удара. Собрав все присутствие духа, с геройскою твердостию я взял моего друга Александра за руку и, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Воротясь домой, ошеломленный моим падением, чувствуя свою неправость, я утешал себя мыслию, что пожертвовал моим самолюбием и страстью к театру — спокойствию друга. Я думал, что пиеса без меня не может идти и что ненавистный его соперник не явится в блестящих эполетах и не похитит сердца красавицы. Но каково было поражение для меня и Панаева, когда, приехав на другой день в университет, мы узнали, что еще вчера труппа актеров выбрала Балясникова своим директором, что он играет роль генерала, а моя роль отдана Дмитриеву. Надобно сказать, что этот замечательный и даровитый своекоштный студент Дмитриев был везде постоянным моим соперником, над которым, однако, до сих пор я почти всегда торжествовал. В классах у Ибрагимова его сочинения на заданные предметы иногда не уступали моим, и, несмотря на некоторое пристрастие ко мне, два раза Ибрагимов публично сказал, что на этот раз он не знает, чьему сочинению отдать преимущество: моему или Дмитриева? Он славился также искусством декламации, и я видал, что иногда собиралась около него толпа слушателей, когда он читал какие-нибудь стихи. Говоря по совести, я должен сказать, что у Дмитриева, может быть, более было таланта к литературе и театру, чем

у меня; но у него не было такой любви ни к тому, ни к другому, какою я был проникнут исключительно, а потому его дарования оставались не развитыми, не обработанными; даже в наружности его, несколько грубой и суровой, во всех движениях видна была не только неловкость, но какая-то угловатость и неуклюжесть. К нему-то обратились мои товарищи и не без труда упросили его взять роль Мейнау. Мне никогда не входило в голову, чтоб этот дикарь согласился выйти на сцену. Сейчас дали ему пиесу, заставили читать вслух, и все без исключения пришли в восторг от его чтения. Нам рассказали, что многие были тронуты до слез и что друг Дмитриева студент Чесно́в (самый добрый хохотун и пошляк) и студент Д. Перевощиков плакали навзрыд [1]. Мы с Александром Панаевым были убиты, уничтожены: я — в моем самолюбии, в моей любви к театру, Панаев — в любви к университетской красавице. Если б я, поступя справедливо, отдал роль генерала другому, — не играть бы было Балясникову генерала, не являться в блестящих эполетах! — Драма «Мейнау, или Следствие примирения» была, наконец, сыграна, но не так удачно, что послужило некоторым утешением мне и Панаеву. Впрочем, мы оба не были на представлении, и я говорю об неудаче этого спектакля по общему отзыву не студентов, а учителей и посторонних зрителей; студенты же, напротив, особенно актеры, превозносили похвалами Дмитриева. Я сам убежден, что если не везде, то во многих сильных местах роли он был очень хорош, потому что я видел его на репетиции.

Оторванный от театра стечением обстоятельств, я бросился в другую сторону — в литературу, в натуральную историю, которую читал нам на французском языке профессор Фукс, и всего более пристрастился к собиранию бабочек, которым увлекался я до чрезвычайности.

---

[1] Вообще Дмитриев был существо загадочное; он занимался всеми предметами отлично, но ни с кем, кроме Чеснова, не говорил ни слова и всех дичился, а потому никто не знал его; с Чесновым же он был неразлучен, беспрестанно с ним хохотал, щипался, щекотался, толкался и дрался, как десятилетний школьник; часто получал за это выговоры и, как скоро переставал играть с Чесновым, делался угрюм и мрачен.

Александр Панаев был верным товарищем и сотрудником моим во всем. Все свободное время мы бродили с рампетками[1] по садам, лугам и рощам, гоняясь за попадающимися нам денными и сумеречными бабочками, а ночных отыскивали под древесными сучьями и листьями, в дуплах, в трещинах заборов и каменных стен.

Слушание некоторых университетских лекций и продолжение ученья в двух высших классах гимназии шло довольно удовлетворительно, но не отлично. Я начал было слушать с большим участием анатомию, и покуда резали живых и мертвых животных, ходил на лекции очень охотно. Я даже считался очень хорошим учеником. Но когда дело дошло до человеческих трупов, то я решительно бросил анатомию, потому что боялся мертвецов; но не так думали мои товарищи, горячо хлопотавшие по всему городу об отыскании трупа, и когда он нашелся и был принесен в анатомическую залу, — они встретили его с радостным торжеством; на некоторых из них я долго потом не мог смотреть без отвращения.

Рассказывая о моем театральном поприще, я забежал далеко вперед, и мне надобно воротиться назад, чтоб рассказать мою домашнюю жизнь у Григорья Иваныча, уже несколько изменившуюся. О первом данном спектакле в доме Панаевых Григорий Иваныч ничего не знал; но когда мы решились затеять театр в университете и я рассказал об этом моему воспитателю — он согласился на мое участие в этих спектаклях без всякого затруднения, даже очень охотно. Он видел потом комедию «Так и должно», был доволен моею игрою и очень смеялся над моим костюмом. Должно признаться, что театр слишком привлекал все мое внимание и участие, да и Григорий Иваныч начал уже не так пристально заниматься мной. Я не знаю, какая была тому первоначальная причина, и сам очень бы желал уяснить себе эту перемену; правда, несколько ничего не значущих неудовольствий поселяли на время некоторую холодность

---

[1] Рампетка — сачок из флера или дымки для ловли бабочек.

между нами, но без постороннего участия, без каких-нибудь посторонних влияний они никак не могли бы произвести таких важных последствий, каких никто не мог ожидать. Первое неудовольствие произошло между нами оттого, что Григорий Иваныч нашел у меня запрещенные им романы «Мальчик у ручья» Коцебу и «Природа и любовь» Августа Лафонтена. Я читал их по ночам или в пустых антресолях — читал с увлечением, с самозабвением!.. Смешно сказать, но и теперь слова: «Люби меня, я добр, Фанни!» или: «Месяцы, блаженные месяцы пролетали над этими счастливыми смертными» [1], слова, сами по себе ничтожные и пошлые, заставляют сердце мое биться скорее, по одному воспоминанию того восторга, того упоения, в которое приводили они пятнадцатилетнего юношу! Да, слова ничего не значат: все зависит от чувства, которое мы придаем им. — Без сомнения я был виноват, но наставник мой слишком строго порицал мою вину, и если б я поверил ему, то пришел бы в отчаяние; но я не мог признать себя таким преступником и получил право и возможность обвинять моего воспитателя в несправедливости и оскорблении меня. Впрочем, на этот раз все уладилось между нами довольно скоро. Второе неудовольствие состояло в следующем: накануне троицы Григорий Иваныч вздумал уехать со мной в Кощаково и прожить там дни три. На этот раз мне не хотелось уезжать, потому что у нас с Панаевым был устроен механический театр с чудесными декорациями, машинами, превращениями, с грозою, с громом и молнией. Александр Панаев был великий мастер на все такие штуки. Именно в духов день назначено было представление и приглашены зрители; больно мне было уезжать, но я покорился без ропота. В назначенный день для нашего отъезда в деревню я выпросился у моего воспитателя на несколько часов к Панаеву. Григорий Иваныч согласился, но сказал, что если я не ворочусь к семи часам, то он уедет один. Я обещал непременно воротиться. Мы с Панаевым занялись *генеральною пробою* нашего механического спектакля, а как некоторые явления не удавались,

[1] Это слова из романа «Природа и любовь» Августа Лафонтена.

то есть молния не попадала в то дерево, которое должна была разбить и зажечь, месяц не вылезал из облаков и падение водопада иногда внезапно прекращалось, то я так завлекся устройством явлений природы, что пропустил назначенный срок, и хотя, вспомнивши его, бежал бегом до самого дома, но опоздал четверть часа. Григорий Иваныч уехал ровно в семь часов один, в большом гневе, но не отдал никаких приказаний на мой счет. Здесь начинается моя уже настоящая вина. Ефрем Евсеич предлагал нанять лошадей и отправиться вместе со мной в Кощаково, но я, ссылаясь на то, что Григорий Иваныч мог бы подождать меня или приказать, чтоб я вслед за ним приехал один, — решительно отказался ехать и сейчас отправился к Александру Панаеву. Мы провозились с театром всю ночь. Евсеич, встревоженный моим долгим отсутствием, сам пришел за мной. Мы показали ему театр, и он немало дивился нашей хитрости. На солнечном всходе воротились мы домой. Дядька вновь уговаривал меня ехать к Григорью Иванычу, но я решительно отказался. В троицын день Панаев обедал у меня, а после обеда мы отправились гулять на Арское поле, возле которого я жил и на котором обыкновенно происходило на троицкой неделе самое многолюдное народное гулянье. В духов день был у Панаевых спектакль, сошедший великолепно: дуб был раздроблен и сожжен молнией, месяц беспрепятственно выходил из облаков, водопад шумел и пенился, не останавливаясь. Зрители и хозяева были в восхищении, но у меня на сердце скребли кошки, как говорится. На третий день рано поутру воротился Григорий Иваныч. Я еще спал, когда он имел грозное объяснение с Евсеичем, который рассказал ему все, что происходило, и не скрыл даже того, что два раза предлагал мне ехать в Кощаково. Григорий Иваныч не велел мне показываться ему на глаза и двое суток не видал меня и даже не обедал со мною. Я огорчился глубоко и в то же время оскорбился; мне уже был шестнадцатый год, и я решил, что так можно поступать только с мальчиком. Наконец, последовало объяснение; хотя я приготовился встретить его с твердостию и хладнокровием и точно, все жестокие упреки сначала переносил и отражал с наружным спо-

койствием, но когда Григорий Иваныч сказал: «А что будет с вашей матерью, когда я опишу ей ваш поступок и откажусь жить вместе с вами?..» — тогда растаяла, как воск, моя твердость, слезы хлынули из глаз, и я признал себя безусловно виноватым и чистосердечно просил простить мою вину. Григорий Иваныч сделал большую ошибку: он не воспользовался моим искренним раскаянием, встретил его холодно и не примирился со мною вполне. Может быть, он не совсем мне верил, но всего вероятнее, что он поступил так по расчету; он знал, что я, слишком живо принимая впечатления, слишком скоро и забывал их, а потому и хотел переменою своего обращения заставить меня глубже почувствовать мою вину. Следствия вышли совсем не те, каких он ожидал: сам он переменился ко мне, а от меня требовал, чтобы я был таким же, каким был прежде; а как по свойству моей натуры такие холодные отношения были для меня невыносимы, то я скоро стал во всем оправдывать себя и во всем обвинять его, и моя привязанность к нему поколебалась. Наконец, один случай, совершенно ничтожный, окончательно изменил наши прежние отношения. Университетский эконом Маркевич умер. Я уже говорил, что он всегда ласкал меня и что я его очень любил; но как я с издетства боялся покойников, то, несмотря на убеждения и приказания Григорья Иваныча, ни за что не согласился быть на похоронах Маркевича. Григорий Иваныч воротился с печальной церемонии вместе с рисовальным учителем Чекиевым. Надобно предварительно сказать, что я очень не любил этого господина, большого франта, надоедавшего мне самыми пошлыми шутками. Я всегда удивлялся, как мог Григорий Иваныч быть коротким приятелем с таким пустым человеком, хотя эта связь легко объяснялась тем, что они были товарищами в московской университетской гимназии. Чекиев в этот день особенно приставал ко мне: зачем я не был на похоронах, зачем не отдал последнего долга человеку, который меня так любил? утверждал, что мой поступок показывает жестокое сердце и проч. и проч. Одним словом, он раздразнил меня и когда спросил с насмешкой: «Признайтесь, пожалуйста, что вы совсем не боитесь покойников и что вы взвели на себя этот страх

из одного эгоизма?..» я рассердился и резко, с грубостью ему отвечал: «Вы совершенно правы. Я покойников не боюсь и притворяюсь...» Обсуживая эти слова хладнокровно, я и теперь не вижу в них той важности, какую придал им Григорий Иваныч. Гнев изменил его лицо, и он сказал мне тихим, но выразительным голосом: «После слов, которые вы осмелились сказать в моем присутствии моему товарищу и гостю, — вы можете сами судить, можем ли мы быть приятны один другому. Извольте идти в вашу комнату». Не чувствуя никакой своей вины, я, разумеется, рассердился еще более, но ушел, не сказав ни слова. Сцена происходила перед самым обедом, и кушанье уже стояло на столе. Вслед за мной Евсеич принес и мой прибор и объявил, что Григорий Иваныч приказал мне обедать в своей комнате. Бешенство мое удвоилось, и только мысль о матери удержала меня от намерения идти к моему воспитателю и наговорить ему грубостей. Я должен отдать справедливость Чекиеву: он, как Евсеич рассказал мне, очень долго просил Григорья Иваныча простить меня, но напрасно. После обеда Чекиев приходил ко мне, но я заперся на крючок и не пустил его в мою комнату. На другой день Григорий Иваныч призвал меня к себе и сказал холодно и решительно: «что нам уже не следует жить вместе, что он слагает с себя звание моего наставника и что мы оба должны теперь стараться о том, чтобы моя мать как можно легче перенесла наш разрыв; что мы должны это сделать, не оскорбляя друг друга». — Я отвечал, что он предупредил мое желание и что я точно то же хотел ему предложить. «Так и прекрасно», — сказал с усмешкою Григорий Иваныч и кивнул мне головой. Я ушел в свою комнату и на свободе предался волнению и гневу. Я считал себя кругом правым, а воспитателя моего — кругом виноватым. Здесь должен я признаться в поступке, который трудно извинить раздражением и вспыльчивостию. Следующий день, по несчастию, был почтовый, и я написал к отцу и к матери большое письмо, в котором не пощадил моего наставника и позволил себе такие оскорбительные выражения, от которых краснею и теперь. Конечно, если бы я отложил письмо до следующей почты, я непременно бы

одумался, но горячность увлекла меня... увлекала и во всю жизнь... На другой день после отправки письма совесть начала меня упрекать, и я беспрестанно вспоминал слова Григорья Иваныча: «Мы не должны оскорблять друг друга». Что же я должен был почувствовать, когда чрез несколько дней, в продолжение которых мы видались только за обедом и почти не говорили, Григорий Иваныч позвал меня к себе и прочел мне огромное письмо, заготовленное им для отсылки к моей матери. В этом письме, исполненном ума и чувства дружбы, он признавал себя совершенно неспособным оставаться долее наставником и руководителем молодого человека, с которым надобно поступать уже не так, как с мальчиком, не так, как поступал он со мною до тех пор; он уверял, что не знает, не умеет, как взяться за это трудное дело, и чувствует, что он действует не так, как должно; следовательно, может мне повредить. Он с подробностью описал мой ум, нрав, наклонности и предсказал будущее их развитие; описал также мои недостатки: хорошая сторона изображена была ярко, предвещала много доброго, а дурная — очень снисходительно и с уверенностию, что время и опытность не дадут ей укорениться. Он ручался за чистоту моих нравственных стремлений и уверял, что я могу безопасно жить один или с хорошим приятелем, как, например, Александр Панаев, или с кем-нибудь из профессоров, без всякой подчиненности, как младший товарищ; он уверял, что мне даже нужно пожить года полтора на полной свободе, перед вступлением в службу, для того, чтоб не прямо попасть из-под ферулы строгого воспитателя в самобытную жизнь, на поприще света и служебной деятельности. К этому он прибавлял, что не останется долго в университете и что скоро поедет в Петербург для предварительного приискания себе места по ученой, а может быть и по гражданской части. — Григорий Иваныч был испуган действием этого письма надо мною. Терзаемый совестью и раскаянием, я пришел в такое волнение, что долго не мог ничего говорить; наконец, слезы облегчили мою грудь. Я чистосердечно признался во всем, что писал к моим родителям, высказал все мои прежние к нему чувства, плакал, просил, молил

Григорья Иваныча позабыть мой поступок и не разлучаться со мною до своего отъезда в Петербург. Я обещал ему и, конечно, сдержал бы обещание, что как бы он ни поступал со мною строго, я не только не покажу неудовольствия, но даже не почувствую его. Искренность раскаяния и душевного страдания, казалось, поколебали моего воспитателя. Он долго и пристально смотрел на меня, потом начал ходить по комнате и, наконец, сказав: «Дайте мне подумать», отпустил меня. Оставалось два дня до следующей почты. Я написал другое письмо к моим родителям, в котором признавал себя непростительно и совершенно виноватым, восторженно хвалил моего наставника, описал подробно все происшествие и сказал между прочим: «Как бы Григорий Иваныч ни поступил со мной, оставит у себя или прогонит — я стану любить его, как второго отца». Перед отправлением письма на почту я принес мое письмо к Григорью Иванычу и спросил: не угодно ли ему прочесть, что я пишу. Он отвечал, что не нужно, что он уже отправил свое, то самое, которое я слышал, и что это дело окончательно решено. Это был для меня удар нельзя сказать вовсе неожиданный, но тем не менее тяжкий: я знал, что никакие батареи не заставят теперь моего наставника отступить, да и всякое отступление оказалось бы бесполезным, потому что письмо его уже было послано. Делать было нечего: я поспешил отправить мое второе письмо. Мое живое воображение рисовало мне такую картину отчаяния моей бедной матери, что эта картина преследовала меня день и ночь, и я даже захворал с горя. Григорий Иваныч хмурился и, не одобряя никаких страстных моих порывов, доказывал мне очевидный вред излишества всяких ощущений; в то же время он сожалел обо мне и успокаивал меня, говоря, что моя мать гораздо легче примет это происшествие, нежели я думаю; что наша разлука и без того была неизбежна и что мое второе письмо, содержание которого я ему рассказал, изгладит неприятное впечатление первого. Такие слова меня несколько успокоили. Я скоро выздоровел, и, наконец, мы получили письма из Аксакова. Григорий Иваныч оказался совершенно прав. Отец и мать оценили мое

раскаяние и простили мне *первое* письмо, написанное в припадке горячности. Мать вполне верила отзыву обо мне моего наставника, и ее материнское любящее сердце исполнилось отрадных и лестных упований. Она верила также скорому отъезду и необходимости этого отъезда, по собственным обстоятельствам Григорья Иваныча. Она была убеждена, что он останется навсегда нашим истинным другом и что, перестав быть моим воспитателем, гораздо ближе сойдется со мною и больше меня полюбит; что советы его, не отзываясь никакою властью, будут принимаемы мною с большею готовностью, с бóльшим чувством... Она не ошиблась. Будущее оправдало проницательность ее редкого ума.

Я должен был скоро отправиться на вакацию, а Григорий Иваныч через месяц сбирался ехать в Петербург. Мать моя поручила ему устроить мое будущее пребывание в Казани, и я, с согласия Григорья Иваныча (удивляюсь, как мог он согласиться), условился с адъюнкт-профессором философии и логики Львом Семенычем Левицким в том, что я буду жить у него, платя за стол и квартиру небольшую сумму и в то же время присматривая за его тремя воспитанниками, своекоштными гимназистами. Все три мальчика были мне родня и страшные шалуны, о чем я не имел понятия. Я простился с Григорьем Иванычем с большим чувством, даже со слезами, и он сам был очень растроган; но, по своему обыкновению, старался прикрыть свое волнение шутками и даже насмешками над моею чувствительностию.

Несмотря на смутные и тревожные обстоятельства моей домашней внутренней жизни, мы с Александром Панаевым продолжали заниматься литературой и собиранием бабочек, которых умел мастерски раскладывать мой товарищ, искусный и ловкий на всякие механические занятия. Я написал несколько стихотворений и статью в прозе, под названием «Дружба», и показал моему другу Александру, который их одобрил, но сделал несколько критических замечаний, показавшихся мне, однако, неосновательными. Помещаю здесь мои первые ребячьи стихи, которых, впрочем, не помню и половины, и

праздную тем мой пятидесятилетний юбилей на поприще бумагомаранья; считаю нужным прибавить, что у меня не было никакой жестокой красавицы, даже ни одной знакомой девушки.

К СОЛОВЬЮ

Друг весны, певец любезнейший,
Будь единой мне отрадою,
Уменьши тоску жестокую,
Что снедает сердце страстное.

*

Пой красы моей возлюбленной,
Пой любовь мою к ней пламенну,
Исчисляй мои страданья все,
Исчисляй моей дни горести.

*

Пусть услышит она голос твой,
Пусть узнает, кто учил тебя.
Может быть, тогда жестокая
Хоть из жалости вздохнет по мне.

*

Может быть, она узнает тут,
Что любовь для нас есть счастие;
Может быть, она почувствует,
Что нельзя век не любя прожить.

(Здесь недостает нескольких куплетов.)

Истощи свое уменье все,
Возбуди ее чувствительность;
Благодарен буду век тебе
За твое искусство дивное...

Вот какими виршами без рифм дебютировал я на литературной арене нашей гимназии в 1805 году! Впрочем, я скоро признал эти стихи *недостойными моего пера* и не поместил их в нашем журнале 1806 года. Все последующие стихи писал я уже с рифмами; все они не имеют никакого, даже относительного достоинства и не показывают ни малейшего признака стихотворного дарования.

Вакацию 1805 года, проведенную в Оренбургском Аксакове, я как-то мало помню. Знаю только, что ружье и бабочки так сильно меня занимали, что я редко удил рыбу, вероятно потому, что в это время года клёв всегда бывает незначительный; я разумею клёв крупной рыбы.

Я нашел здоровье моей матери очень расстроенным и узнал, что это была единственная причина, по которой она не приехала ко мне, получив известие о моем разрыве с Григорьем Иванычем. — Продолжая владеть моей беспредельной доверенностью и узнав все малейшие подробности моей жизни, даже все мои помышления, она успокоилась на мой счет и, несмотря на молодость, отпустила меня в университет на житье у неизвестного ей профессора с полною надеждою на чистоту моих стремлений и безукоризненность поведения.

Я приехал в Казань прямо к Левицкому, Незадолго до моего возвращения Григорий Иваныч уехал в Петербург, и меня очень удивило, что он целый месяц вакации прожил в Казани без всякого дела. После отъезда Григорья Иваныча класс высшей математики, впредь до поступления нового профессора, был поручен студенту А. Княжевичу, которого отличные способности обещали славного ученого по этой части. Я не мог долго оставаться у Левицкого: пагубная страсть к вину совершенно им овладела, и он уже предавался ей каждый вечер в одиночку; воспитанники его избаловались до последней крайности и ничему не учились. Мне скоро надоело возиться с этими шалунами, и я чрез два месяца, с разрешения моего отца и матери, расставшись с Левицким, нанял себе квартиру: особый флигелек, близехонько от театра, у какого-то немца Германа, поселился в нем и первый раз начал вести жизнь независимую и самобытную. Мы были почти неразлучны с Александром Панаевым и приняли в свое литературное товарищество студента Д. Перевощикова. Переводили повести Мармонтеля, не переведенные Карамзиным, сочиняли стихами и прозою и втроем читали друг другу свои переводы и сочинения. Намерение переводить повести Мармонтеля было еще у меня тогда, когда я жил у Левицкого. Один раз я сказал ему об этом, разумеется до обеда, покуда он был только с похмелья, и очень помню, как оскорбил

меня его ответ: «Ну как вам переводить Мармонтеля после Карамзина? Куда конь с копытом, туда и рак с клешней!» Но эти слова нас не остановили. — Наконец, мы с Александром Панаевым решились издавать письменный журнал в наступающем 1806 году под названием «Журнал наших занятий», но без имени издателя. Это было предприятие, уже более серьезное, чем «Аркадские пастушки», и я изгонял из этого журнала, сколько мог, идиллическое направление моего друга и слепое подражание Карамзину. Я в то время боролся из всех сил противу этого подражания, подкрепляемый книгою Шишкова: «Рассуждение о старом и новом слоге», которая увлекла меня в противоположную крайность. Я скажу об этом подробнее в другом месте. Из сохранившихся у меня трех книжек «Журнала наших занятий» я вижу, что он начался не с января, а с апреля и продолжался до декабря включительно. К сожалению, в этих трех книжках нет ни одной моей статьи, ни переводной, ни оригинальной; но я помню, что их находилось довольно. Теперь мне было бы очень любопытно узнать, как выражалось мое тогдашнее направление. Я помещаю в особом приложении оглавление статей и выписки из некоторых пьес.

Между тем в конце 1805 года и в январе 1806-го составились два спектакля в университете без моего участия. Тяжело, горько было мне это лишение; страдала моя любовь к театру, страдало мое самолюбие от успехов моего соперника Дмитриева; но делать было нечего. Актеры предлагали мне опять вступить в их труппу, но я не забыл еще сделанного мне оскорбления и отвечал: «Я вам не нужен, у вас есть Дмитриев, который прекрасно играет мои роли». — «Ну как хочешь, дуйся, пожалуй, обойдемся и без тебя», — отвечал мне директор Балясников; тем дело и кончилось. Впрочем, все шло дружелюбно; я ходил на репетиции и давал советы тем, кто у меня их спрашивал. В первом спектакле, в комедии Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», Дмитриев играл Неизвестного с большим успехом. Несмотря на совершенное неумение держать себя, на смешные позы и еще более смешные жесты одной правой рукой, тогда как левая точно была привязана у него за спиной, несмотря на положительно дурное исполнение обыкновен-

ных разговоров с своим слугою и бедным стариком,— Дмитриев в сцене с другом, которому рассказывает свои несчастия, и в примирении с женой выражал столько силы внутреннего чувства, что все зрители, в том числе и я, были совершенно увлечены, и общее восхищение выражалось неистовыми рукоплесканиями. Сначала я только восхищался и никакое чувство зависти не вкрадывалось в мое сердце, но потом слова некоторых студентов, особенно актеров, глубоко меня уязвили, и проклятая зависть поселилась в моей душе. Мне без церемонии говорили: «Ну что, обошлись мы и без тебя! Да где тебе сыграть так Неизвестного, как играет Дмитриев. Тебя хвалили только потому, что его не видали». В самом деле, успех Дмитриева в этой роли был гораздо блистательнее моего, хотя существовала небольшая партия, которая утверждала, что я играл Неизвестного лучше, что Дмитриев карикатурен и что только некоторые, сильные места были выражены им хорошо; что я настоящий актер, что я хорош на сцене во всем от начала до конца, от первого до последнего слова. Тут была часть правды, и у меня родилось непреодолимое желание обработать роль Неизвестного и так сыграть, чтобы совершенно затмить моего противника. В начале 1806 года студенты дали другой спектакль и разыграли пиесу того же Коцебу «Бедность и благородство души», в которой Дмитриев играл роль Генриха Блума также с большим успехом, уступавшим, однако, успеху в роли Неизвестного. Защитники мои утверждали, что в Генрихе Блуме я был бы несравненно лучше Дмитриева. Подстрекаемый завистью и самолюбием, я старательно обработал обе эти роли и при многих слушателях, даже не весьма ко мне расположенных, прочел, или, лучше сказать, разыграл сильные места обеих пиес. Все почувствовали разницу моей, конечно, более искусной и естественной, игры от дикого, хотя одушевленного силою чувства, исполнения этих ролей моим соперником. Между студентами возникли две равносильные партии: за меня и против меня; это уже был первый шаг к торжеству. Шумные споры доходили до ссор и чуть не до драки; самолюбие мое несколько утешилось. Потом судьба захотела побаловать меня. Дмитриеву, которому было уже с лишком за

двадцать лет, наскучило студентское ученье, правду сказать весьма неудовлетворительное; может быть, были и другие причины, — не знаю, только он решился вступить в военную службу; он внезапно оставил университет и, как хороший математик, определился в артиллерию. Труппа осиротела и поневоле обратилась ко мне. Я, пользуясь обстоятельствами, долго не соглашался, несмотря на предлагаемое мне вновь директорство. Наконец, довольно поломавшись, я согласился на следующих условиях: 1) звание и должность директора уничтожить, а для управления труппой выбрать трех старшин; 2) спектакли начать повторением «Ненависти к людям и раскаяния» и «Бедности и благородства души». — Разумеется, все согласились. «Ненависть к людям и раскаяние» шла на святой неделе. Не знаю, по какому случаю был приглашен на генеральную репетицию актер Грузинов[1], которого мы все очень любили и уважали. Пиеса давалась у нас уже в третий раз и общим старанием, особенно моим, была довольно хорошо слажена. Грузинов удивился, не верил своим глазам и ушам. Он нахвалил нас содержателю Казанского театра П. П. Есипову, который поспешил получить позволение директора Яковкина приехать в театр на настоящее представление, и не только приехал сам, но даже привез с собою, кроме Грузинова, еще троих актеров. — Наконец, сошел давно желанный, давно ожидаемый мною спектакль! Удовлетворилось мое молодое самолюбие. Весь университет говорил, что я *превзошел сам себя* и далеко оставил за собою Дмитриева. Чего же мне было больше желать! О, непостоянство мирской славы! Через два, три месяца после торжества Дмитриева осталось только два, три человека, которые негромко говорили, что Дмитриев играл не хуже, а местами и лучше Аксакова. Это была совершенная правда. — В театре было довольно посторонних зрителей, они превозносили меня до небес; но самый сильный блеск и прочность моей славе придавали похвалы П. П. Есипова и актеров, которых мнение, по справедливости, считалось сильным авторитетом. Я ожидал еще большего торжества в другой

---

[1] Грузинов был наемный актер на театре г-на Есипова; он с большим успехом занимал амплуа благородных отцов.

пиесе — «Бедность и благородство души», которая была уже сыграна в конце 1806 года. Читатели увидят, что я не ошибся.

Теперь надобно обратиться назад. Григорий Иваныч просрочил свой отпуск (потому что промешкал долго в Казани) и опоздал с лишком месяц. Он воротился без всякого свидетельства о болезни и не представил никаких уважительных причин если не к оправданию, то по крайней мере к извинению своей просрочки. Университетское начальство встретило его неприязненно: Григорью Иванычу был сделан в совете выговор. Его подвергли какому-то денежному штрафу и записали просрочку в формуляр. Григорий Иваныч обиделся и подал в отставку. Отставку ему дали, хотя не скоро; но в аттестате хотели прописать его просрочку, денежный штраф и выговор. Григорий Иваныч не захотел получить такого аттестата, уехал в Петербург и поступил на службу в Комиссию составления законов без аттестата. Уже по прошествии долгого времени выхлопотал он приказание у министра просвещения выдать ему аттестат из университета без упоминания о просрочке и о прочем. Я видался часто с моим бывшим наставником до его отъезда и потом простился с ним, как с добрым старшим другом, которому я был обязан чистотою моих нравственных убеждений и стремлений; предсказание матери моей начинало сбываться.

В 1806 году совершилось другое событие, важность последствий которого, изменивших все положение моего семейства, долго оставалась мне неизвестною: Надежда Ивановна Куроедова, которая уже около года была больна водяною болезнью, скончалась. Все это время мои родители, с остальным своим семейством, жили в Симбирском Аксакове: то есть дети жили в Аксакове, покуда больная находилась в Чуфарове, откуда отец и мать не отлучались; когда же ее перевезли в Симбирск, то и отец мой с семейством переехал туда же. Надежда Ивановна, эта замечательная женщина, переносила тяжкую свою болезнь с удивительным терпением, спокойствием и даже веселостью, а смерть встретила с такой твердостию духа, к какой немногие бывают способны. Когда, после двукратного выпуска воды из ног, совершили в третий раз ту же операцию и когда ее доктор Шиц, осматривая

раны, говорил: «Очень, очень хорошо», она сказала ему: «Полно врать, жид. Я вижу, что теперь начинается последняя история. Это совсем не то, что было прежде; это антонов огонь. Я не боюсь смерти, я давно к ней приготовилась. Говори, жидовское отродье, сколько мне осталось жить?» Шиц, привыкший к таким эпитетам, но всегда за них злившийся, неумолимым голосом ей отвечал: «Дня четыре проживете». — «Вот спасибо, Иван Карпыч, — отвечала больная, — что сказал правду. Теперь прощай; благодарю за хлопоты; больше ко мне прошу не ходить. Я сейчас прикажу с тобой расплатиться». Потом она собрала всех, объявила, что она умирает, что больше лечиться не хочет и требует, чтобы ее оставили в покое, чтоб в ее комнате не было ни одного человека, кроме того, который будет читать ей евангелие. «Все ли я исполнила, что должно? — спросила она, обратясь к моему отцу, — не нужно ли еще чего?» — «Ничего, тетушка, — отвечал мой отец, — вы давно все сделали». — «Так и прекрасно, — заключила больная, — прошу же обо мне не беспокоиться. Извольте выйти». Надежда Ивановна прожила пять дней. Во все время она или читала молитвы, или слушала евангелие, или пела священные славословия. Ни с кем не сказала она ни одного слова о делах мира сего. По ее приказанию все простились с нею молча, и она всякому говорила, даже своему дворнику, только три слова: «Прости меня, грешную». Обо всем этом уведомляли меня чрез письма, но ничего другого не сообщали. — Вскоре я получил известие, что у меня родилась третья сестра, что мать была отчаянно больна, но что, слава богу, теперь все идет благополучно. Я сначала испугался, потом обрадовался, и, наконец, дальнейшие письма совершенно успокоили меня насчет здоровья матери.

Мы с Александром Панаевым продолжали усердно заниматься своими литературными упражнениями и посещениями театра, а когда наступила весна, — собиранием бабочек. К стыду моему, должен я признаться, что, кроме любимых предметов, мое ученье шло довольно слабо и что я сильно и много развлекался.

К числу таких развлечений я причисляю и то, что мы составили маленькое литературное общество под предсе-

дательством Н. М. Ибрагимова. Основателями и первыми членами его были: Ибрагимов, студенты: В. Перевощиков, Д. Перевощиков, П. Кондырев (он же секретарь), И. Панаев, А. Панаев, я и гимназический учитель Богданов. Мы собирались каждую неделю по субботам и читали свои сочинения и переводы в стихах и прозе. Всякий имел право делать замечания, и статьи нередко тут же исправлялись, если сочинитель соглашался в справедливости замечаний; споров никогда не было. Принятое сочинение или перевод вписывался в заведенную для того книгу. Впоследствии, уже без меня, число членов умножилось, сочинили устав, и с высочайшего утверждения было открыто «Общество любителей русской словесности при Казанском университете». Оно и теперь не уничтожено, но пребывает в совершенном бездействии, как и все литературные общества. Я до сих пор имею честь считаться его почетным членом.

В это время случилось в Казани следующее замечательное происшествие, непосредственно касавшееся до меня. Там был частный, благородный пансион для особ обоего пола г-на и г-жи Вильфинг. Они не имели детей, но воспитали бедную сироту, Марью Христофоровну Кермик, которая достигла уже совершенных лет и была очень хороша собою. Григорий Иваныч иногда видался с Вильфингами и даже раза два брал меня к ним с собой; но я уже более полугода не бывал у них. В настоящее время я случайно, во время прогулки за городом, возобновил это знакомство, и вскоре красота Марьи Христофоровны оказала и на меня свое действие. Я, разумеется, открылся другу моему Александру; он очень обрадовался, бросился ко мне на шею и поздравлял меня, что *я начинаю жить*. Он употреблял все усилия раздуть искру, заронившуюся в мое молодое сердце. Марья Христофоровна была девица очень тихая и скромная, так что все ее обожатели, которых было немало, вздыхали по ней в почтительном отдалении; о моих же чувствах, разумеется, она не имела и понятия. Вдруг посреди мечтательных надежд и огорчений, выражаемых мною весьма плохими ребячьими стихами, является в Казани, проездом, какой-то путешественник, шведский граф, знакомится с Вильфингами, всех очаровывает, ездит к ним всякий

день и проводит с ними время от утра до вечера. Это был человек лет тридцати пяти, красивой наружности, умный, ловкий и бойкий, говоривший на всех европейских языках, владевший всеми искусствами и, сверх того, сочинитель и в стихах и в прозе. В три дня Вильфинги сошли от него с ума; через неделю влюбилась в него Марья Христофоровна, а еще чрез две недели он женился на ней и увез с собой в Сибирь, куда ехал для каких-то ученых исследований, по поручению правительства, в сопровождении чиновника, который служил ему переводчиком, потому что граф не понимал ни одного русского слова. Горько было Вильфингам расстаться с своей воспитанницей, которую они любили, как родную дочь, но счастие ее казалось так завидно, так неожиданно, так высоко, что они не смели горевать. Дочь булочника — а теперь жена графа, обожаемая мужем, человеком, осыпанным всеми дарами образованности и природы! От такого происшествия и не немцы сошли бы с ума. Но, увы! скоро загадка объяснилась. Мнимый граф был самозванец, отъявленный плут и негодяй, весьма известный своими похождениями в Германии, по фамилии Ашенбреннер, бежавший от полицейских преследований в Россию, принявший русское подданство, проживавший у нас в разных западных губерниях несколько лет, попавшийся во многих мошенничествах и сосланный на жительство в Сибирь; чиновник, сопровождавший его, был точно чиновник, но — полицейский, носивший какую-то немецкую фамилию, который вез его секретно в Иркутск, чтобы сдать с рук на руки под строжайший надзор губернатору. Все это было как-то скрыто от Вильфингов и от публики. В переводчике же путешественник не нуждался, потому что очень хорошо говорил по-русски, как узнали после. Он сам уведомил с дороги Вильфингов о своем обмане, к которому заставила его прибегнуть «всесильная любовь»; разумеется, называл себя жертвою клеветы врагов, надеялся, что будет оправдан и вознагражден за невинное страдание. Марья Христофоровна сама писала, что она все знает, но тем не менее благодарит бога за свое счастие. Наконец, кто-то прислал Вильфингам печатные похождения мнимого графа, в двух томах, написанные им самим на немецком языке. Это был

настоящий Видок того времени. Старики Вильфинги неутешно сокрушались. Что сделалось впоследствии с Марьей Христофоровной, я ничего узнать не мог. — Так печально кончилась первая моя сердечная склонность.

На летнюю вакацию я опять поехал в Симбирское Аксаково, где жило тогда мое семейство. Я приехал поздно вечером, все в доме уже спали; но мать, ожидавшая меня в этот день, услыхала шум, вышла ко мне на крыльцо и провела меня прямо в спальную. После радостных объятий с отцом и с матерью, после многих расспросов и рассказов я лег спать на софе у них в комнате. Проснувшись поутру довольно поздно, я услышал, что родители мои тихо разговаривают между собою о каких-то делах, мне не известных. Наконец, заметив, что я перестал храпеть, мать тихо сказала моему отцу: «Надобно рассказать обо всем Сереже; ведь он ничего не знает». — «Расскажи, матушка», — отвечал мой отец. «Ты не спишь, Сережа?» — «Нет, маменька», — отвечал я. «Так поди же к нам. Мы расскажем тебе, что случилось с нами. Мы теперь богаты». Я встал, сел к ним на постель, и мне, со всеми мельчайшими подробностями, пространно рассказали то, что я постараюсь рассказать в нескольких словах. Надежда Ивановна Куроедова, сделавшись вдруг тяжело больна водяною болезнью, немедленно укрепила моему отцу, судебным порядком, все свое движимое и недвижимое имение. Через несколько дней все дело было улажено; весь уездный суд и несколько свидетелей, из числа известных и почетных лиц в городе, приехали в Чуфарово. Надежда Ивановна в присутствии всех подписала нужные бумаги и подтвердила их особою сказкою и личным удостоверением. Когда все было кончено, она приказала подать шампанского, взяла бокал и первая весело поздравила нового владельца. Надобно сказать, что в это время она была так тяжело больна, что лучший тогда доктор, Шиц, привезенный немедленно из Симбирска, не имел надежды к ее выздоровлению. Он решился на выпуск воды из ног посредством операции, нисколько не ручаясь за выздоровление больной; но силы ее были еще так крепки, что неиспорченная натура скоро победила болезнь и больная в самое короткое время совершенно выздоровела. К сожалению, не веря простуде

и считая диету за выдумку докторов, Надежда Ивановна продолжала вести прежнюю жизнь, простудилась, испортила желудок и получила рецидив водяной болезни. Вторичная операция была уже не так удачна и только отдалила печальную развязку. Больную перевезли в Симбирск, где она после третьей операции скончалась, о чем я уже говорил.

Боже мой, что значит богатство! Как оно разодрало глаза всем добрым людям! Какою завистью закипели сердца близких приятелей и даже родных!

У Надежды Ивановны были бедные должники; об них докладывали при ее кончине, и она отвечала, «что у ней деньги не воровские, не нажитые скверным поведением, и что она дарить их не намерена». Мои родители простили таких долгов до двадцати тысяч, объявя должникам, что впоследствии Надежда Ивановна сама приказала денег с них не взыскивать. Этот поступок никого не обезоружил, не примирил с богатыми наследниками, и мой отец с матерью, очень огорченные, чрез несколько месяцев уехали на житье в свое Оренбургское Аксаково.

По совести скажу, что перемена состояния не произвела на меня ни малейшего впечатления. Всю вакацию занимался я то ружьем, то бабочками, то театральными пиесами. Я воротился в университет точно таким же молодым, очень, очень небогатым студентом и долго забывал даже сказать другу моему, Александру Панаеву, о счастливой перемене наших обстоятельств. Но в семействе своем я перемену заметил: поговаривали о переезде на зиму в Казань, написали в Москву к своему другу и комиссионеру, Андреяну Федорычу Аничкову, чтобы он приискал и нанял француженку в гувернантки и учительницы к моим сестрам; даже намеревались на будущий год сами ехать на зиму в Москву, а летом в Петербург, для определения меня на службу. Для исполнения этого последнего намерения было положено, чтоб в следующем, 1807 году я оставил университет [1]. Я слушал все

---

[1] Рановременный выход из университета и намерение определить меня на службу было следствием советов Григорья Иваныча, который даже обещал доставить мне место в Комиссии составления законов, что после и сделал.

это довольно равнодушно; к Петербургу и к службе никакого *призвания* я не чувствовал; я даже думал, что это только одни разговоры, одни предположения, но ошибся. Чрез месяц по приезде в Казань я получил письмо от отца с приказанием приискать и нанять большой поместительный дом, где не только могло бы удобно расположиться все наше семейство, но и нашлись бы особые комнаты для двух родных сестер моей матери по отце, которые жили до тех пор в доме В — х. Мать прибавляла, что она намерена для них выезжать в свет, и потому должна познакомиться с лучшею городскою публикою. Я очень этому обрадовался и за себя и за своих теток, которых искренно любил и с которыми нередко видался. Я немедленно нанял большой каменный дом купца Комарова и, в ожидании моего семейства, перебрался в него на антресоли и занял одну уютную комнатку.

Университетская жизнь текла прежним порядком; прибавилось еще два профессора немца, один русский адъюнкт по медицинской части, Каменский, с замечательным даром слова, и новый адъюнкт-профессор российской словесности, Городчанинов, человек бездарный и отсталый, точь-в-точь похожий на известного профессора Г — го или К — ва, некогда обучавших благородное российское юношество. Я забыл сказать, что бедный Левицкий получил от невоздержности водяную и умер. Все мы искренно о нем сожалели. — На первой лекции адъюнкт-профессор Городчанинов сказал нам пошлое, надутое приветствие и, для лучшего ознакомления с студентами, предложил нам, чтоб всякий из нас сказал, какого русского писателя он предпочитает другим и какое именно место в этом писателе нравится ему более прочих. На такой вопрос вдруг отвечать очень мудрено, и потому всякий отвечал то, что на ту пору приходило ему в голову. Многие называли Карамзина, но Городчанинов морщился и изъявлял сожаление, что университетское юношество заражено этим опасным писателем. Студент Фомин, сидевший подле меня, сказал мне на ухо: «Посмотри, Аксаков, как я потешу этого господина». В самом деле, когда дошла до него очередь, Фомин встал и громко сказал: «Я предпочитаю всем писателям —

Сумарокова и считаю самыми лучшими его стихами последние слова Дмитрия Самозванца в известной трагедии того же имени:

Ступай, душа, во ад и буди вечно пленна.

Фомин сделал движение рукою со свернутой тетрадью, как будто заколся кинжалом, и торжественно произнес:

Ах, если бы со мной погибла вся вселенна!

Студенты едва удерживались от смеха, но профессор пришел в такое восхищение, что сбежал с кафедры, вызвал Фомина к себе, протянул ему руку и сказал, что желает познакомиться с ним покороче. Тут сделал он нам объяснение, что сильнее этого последнего стиха нет ни в одной литературе. Дошла очередь до меня. Я сказал, что всем предпочитаю Ломоносова и считаю лучшим его произведением оду из Иова. Лицо Городчанинова сияло удовольствием. «Потрудитесь же что-нибудь прочесть из этой превосходной оды»,— сказал он. Я того только и ждал, надеясь поразить профессора моей декламацией. Но как жестоко наказала меня судьба за мое самолюбие и староверство в литературе! Вместо известных стихов Ломоносова:

О ты, что в горести напрасно
На бога ропщешь, человек! —

я прочел, по непостижимой рассеянности, следующие два стиха:

О ты, что в горести напрасно
На службу ропщешь, офицер!

«Помилуйте,— закричал профессор,— это гнусная пародия на превосходную оду Ломоносова». Я смешался, покраснел и поспешил начать:

О ты, что в горести напрасно
На службу...

Вся аудитория разразилась громким смехом. Я остолбенел от досады и смущения, сгорел от стыда и не пони-

мал, что со мною делается. Профессор презрительно велел мне сесть и продолжал допрашивать других студентов. Всю двухчасовую лекцию просидел я как на горячих угольях. Я потом объяснился с Городчаниновым и постарался уверить его, что это была несчастная ошибка и рассеянность, совершенно неожиданная для меня самого, что все это произошло оттого, что я пред самой лекцией два раза слышал и один раз сам прочел эту проклятую пародию; я доказал профессору, что коротко знаком с Ломоносовым, что я по личному моему убеждению назвал его первым писателем; узнав же, что я почитатель Шишкова, Городчанинов скоро со мной подружился: он сам был отчаянный *шишковист*. В глазах профессора я свои дела поправил, но от насмешек товарищей не было спасенья, покуда им не наскучило смеяться надо мной. Смеялись не столько над ошибкой моей, как над симпатией с Городчаниновым. Несколько дней сряду большая часть студентов встречала меня низкими поклонами и поздравлениями, что я нашел себе достойного единомышленника, то есть противника карамзинскому направлению и обожателя Шишкова; каждый спрашивал о здоровье Городчанинова, моего друга и покровителя, давно ли я с ним виделся, когда увижусь?.. и проч. и проч. Надоедали мне такие шутки, но, споры не помогали, и, кроме терпения, не было другого лекарства.

Между тем составился у нас спектакль, давно затеянный мною, в котором я надеялся окончательно восторжествовать над Дмитриевым. Я говорю о комедии «Бедность и благородство души». Мы два раза пригласили на репетицию актера Грузинова, который, нередко останавливая и поправляя игру моих товарищей, не сделал мне ни одного замечания, а говорил только: «Очень хорошо, прекрасно!» Надежды мои блистательно оправдались: комедия «Бедность и благородство души» была сыграна, и не осталось ни одного почитателя Дмитриева, который бы не признался, что роль Генриха Блума я сыграл несравненно лучше его. Содержатель публичного театра П. П. Есипов подарил мне кресло на всегдашний свободный вход в театр. Это был последний университетский спектакль, в котором я играл, последнее мое

сценическое торжество в Казани. Откровенно признаюсь, что воспоминание о нем и теперь приятно отзывается в моем сердце. Много есть неизъяснимо обаятельного в возбуждении общего восторга! Двигать толпою зрителей, овладеть их чувствами и заставить их слиться в одно чувство с выражаемым тобою, жить в это время одной жизнью с тобою — такое духовное наслаждение, которым долго остается полна душа, которое никогда не забывается! У нас был также давно затеян другой спектакль, и все актеры и студенты пламенно желали его исполнения; но дело длилось, потому что трудно, не по силам нашим было это исполнение. Речь идет о «Разбойниках» Шиллера. Я не слишком горячо хлопотал об этом спектакле, потому что всегда заботился о достоинстве, о цельности представления пиесы, а у нас не было хороших актеров для первых ролей, для ролей Карла и Франца Моора. Наконец, Карл нашелся. Это был молодой человек, не игравший до сих пор на театре, Александр Иваныч Васильев, находившийся тогда уже учителем гимназии. Все восхищались его чтением роли Карла Моора, кроме меня. Студенты очень любили Васильева, как бывшего милого товарища, и увлекались наружностью его, — особенно выразительным лицом, блестящими черными глазами и прекрасным ор̀ганом; но я чувствовал, что в его игре, кроме недостатка в искусстве, недоставало того огня, ничем не заменимого, того мечтательного, безумного одушевления, которое одно может придать смысл и характер этому лицу. Франц Моор был положительно дурен. Я играл старика, графа Моора. Наконец, мы срепетировали «Разбойников» как могли, и предполагали дать их на святках. Мое семейство давно уже было в Казани, и я очень радовался, что оно увидит меня на сцене; особенно хотелось мне, чтоб посмотрела на меня мой друг, моя красавица сестрица; но за неделю до представления получено было от высшего начальства запрещение играть «Разбойников».

Я сказал уже, что мое семейство давно приехало; это было по первому зимнему пути, в половине ноября. Я не стану распространяться о том, как устраивала свое городское житье моя мать, как она взяла к себе своих сестер, познакомилась с лучшим казанским обществом, де-

лала визиты, принимала их, вывозила своих сестер на вечера и на балы, давала у себя небольшие вечера и обеды; я мало обращал на них внимания, но помню, как во время одного из таких обедов приехала к нам из Москвы первая наша гувернантка, старуха француженка, мадам Фуасье, как влетела она прямо в залу с жалобою на извозчиков и всех нас переконфузила, потому что все мы не умели говорить по-французски, а старуха не знала по-русски.

Наступил 1807 год. Шла решительная война с Наполеоном. Впервые учредилась милиция по всей России; молодежь бросилась в военную службу, и некоторые из пансионеров, особенно из своекоштных студентов, подали просьбы об увольнении их из университета для поступления в действующую армию, в том числе и мой друг, Александр Панаев, с старшим братом своим, нашим лириком, Иваном Панаевым. Краснея, признаюсь, что мне тогда и в голову не приходило «лететь с мечом на поле брани», но старшие казенные студенты, все через год назначаемые в учители, рвались стать в ряды наших войск, и поприще ученой деятельности, на которое они охотно себя обрекали, вдруг им опротивело: обязанность прослужить шесть лет по ученой части вдруг показалась им несносным бременем. Сверх всякого ожидания, в непродолжительном времени исполнилось их горячее желание: казенным студентам позволено было вступать в военную службу. Это произошло уже после моего выхода из университета. Многих замечательных людей лишилась наука, и только некоторые остались верны своему призванию. Не один Перевощиков, Симонов и Лобачевский попали в артиллерийские офицеры, и почти все погибли рановременною смертью.

В генваре 1807 года подал я просьбу об увольнении из университета для определения к статским делам. Подав просьбу, я перестал ходить на лекции, но всякий день бывал в университете и проводил все свободное время в задушевных, живых беседах с товарищами. Иногда мы даже разыгрывали сцены из «Разбойников» Шиллера: привязывал себя Карл Моор (Васильев) к колонне вместо дерева; говорил он кипучую речь молодого Шиллера; отвязывал Карла от дерева Швейцер

(Балясников), и громко клялись разбойники умереть с своим атаманом...

В марте получил я аттестат, поистине не заслуженный мною. Мало вынес я научных сведений из университета не потому, что он был еще очень молод, не полон и не устроен, а потому, что я был слишком молод и детски увлекался в разные стороны страстностью моей природы. Во всю мою жизнь чувствовал я недостаточность этих научных сведений, особенно положительных знаний, и это много мешало мне и в служебных делах и в литературных занятиях.

Накануне дня, назначенного к отъезду, пришел я проститься в последний раз с университетом и товарищами. Обнявшись, длинной вереницей, исходили мы все комнаты, аудитории и залы. Потом крепко, долго обнимались и целовались. Прощаясь навсегда, толпа студентов и даже гимназистов высыпала проводить меня на крыльцо; медленно сходил я с его ступеней, тяжело, грустно было у меня на душе; я обернулся, еще раз взглянул на товарищей, на здание университета — и пустился почти бегом... За мною неслись знакомые голоса: «Прощай, Аксаков, прощай!»

Прощай, шумная, молодая, учебная жизнь! Прощайте, первые, невозвратные годы юности пылкой, ошибочной, неразумной, но чистой и благородной! Ни свет, ни домашняя жизнь со всеми их дрянностями еще не помрачали вашей ясности! Стены гимназии и университета, товарищи — вот что составляло полный мир для меня. Там разрешались молодые вопросы, там удовлетворялись стремления и чувства! Там был суд, осуждение, оправдание и торжество! Там царствовало полное презрение ко всему низкому и подлому, ко всем своекорыстным расчетам и выгодам, ко всей житейской мудрости — и глубокое уважение ко всему честному и высокому, хотя бы и безрассудному. Память таких годов неразлучно живет с человеком и, неприметно для него, освещает и направляет его шаги в продолжение целой жизни, и куда бы его ни затащили обстоятельства, как бы ни втоптали в грязь и тину, — она выводит его на честную, прямую дорогу. Я по крайней мере за все, что сохранилось во мне доброго, считаю себя обязанным гимназии, университету,

общественному учению и тому живому началу, которое вынес я оттуда. Я убежден, что у того, кто не воспитывался в публичном учебном заведении, остается пробел в жизни, что ему недостает некоторых, не испытанных в юности, ощущений, что жизнь его не полна...

По самому последнему зимнему пути поехали мы в Аксаково, где ждала меня весна, охота, природа, проснувшаяся к жизни, и прилет птицы; я не знал его прежде и только тогда увидел и почувствовал в первый раз — и вылетели из головы моей на ту пору война с Наполеоном и университет с товарищами.

СОБИРАНИЕ БАБОЧЕК

(Рассказ из студентской жизни)

Собирание бабочек было одним из тех увлечений моей ранней молодости, которое хотя недолго, но зато со всею силою страсти владело мною и оставило в моей памяти глубокое, свежее до сих пор впечатление. Я любил натуральную историю с детских лет; книжка на русском языке (которой названия не помню) с лубочными изображеньями зверей, птиц, рыб, попавшаяся мне в руки еще в гимназии, с благоговеньем, от доски до доски, была выучена мною наизусть. Увидев, что в книжке нет того, что при первом взгляде было замечаемо моим детским пытливым вниманием, я сам пробовал описывать зверков, птичек и рыбок, с которыми мне довелось покороче познакомиться. Это были ребячьи попытки мальчика, которому каждое приобретенное им самим знание казалось новостью, никому не известною, драгоценным и важным открытием, которое надобно записать и сообщить другим. С умилением смотрю я теперь на эти две тетрадки в четвертку из толстой синей бумаги, какой в настоящее время и отыскать нельзя. На страничках этих тетрадок детским почерком и слогом описаны: зайчик, белка, болотный кулик, куличок-зуек, *неизвестный* куличок, плотичка, пескарь и лошок; очевидно, что мальчик-наблюдатель познакомился с ними первыми. Вскоре я развлекся множеством других новых и еще более важ-

ных интересов, которыми так богата молодая жизнь; развлекся и перестал описывать своих зверков, птичек и рыбок. Но горячая любовь к природе и живым творениям, населяющим божий мир, не остывала в душе моей, и через пятьдесят лет, обогащенный опытами охотничьей жизни страстного стрелка и рыбака, я оглянулся с любовью на свое детство — и попытки мальчика осуществил шестидесятилетний старик: вышли в свет «Записки об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии».

Еще в ребячестве моем я получил из «Детского чтения» понятие о червячках, которые превращаются в куколок, или хризалид, и, наконец, в бабочек. Это, конечно, придавало бабочкам новый интерес в моих глазах; но и без того я очень любил их. Да и в самом деле, из всех насекомых, населяющих божий мир, из всех мелких тварей, ползающих, прыгающих и летающих, — бабочка лучше, изящнее всех. Это поистине «порхающий цветок», или расписанный чудными яркими красками, блестящими золотом, серебром и перламутром, или испещренный неопределенными цветами и узорами, не менее прекрасными и привлекательными; это милое, чистое создание, никому не делающее вреда, питающееся соком цветов, который сосет оно своим хоботком, у иных коротеньким и толстым, а у иных длинным и тоненьким, как волос, свивающимся в несколько колечек, когда нет надобности в его употреблении. Как радостно первое появление бабочек весною! Обыкновенно это бывают бабочки крапивные, белые, а потом и желтые. Какое одушевление придают они природе, только что просыпающейся к жизни после жестокой, продолжительной зимы, когда почти нет еще ни зеленой травы, ни листьев, когда вид голых деревьев и увядшей прошлогодней осенней растительности был бы очень печален, если б благодатное тепло и мысль, что скоро все зазеленеет, зацветет, что жизненные соки уже текут из корней вверх по стволам и ветвям древесным, что ростки молодых трав и растений уже пробиваются из согретой влажной земли,— не успокоивала, не веселила сердца человеческого.

В 1805 году, как известно, был утвержден устав Казанского университета, и через несколько месяцев

последовало его открытие; между немногими преподавателями, начавшими чтение университетских лекций, находился ординарный профессор натуральной истории Карл Федорович Фукс, читавший свой предмет на французском языке. Это было уже в начале 1806 года. Хотя я свободно читал и понимал французские книги даже отвлеченного содержания, но разговорный язык и вообще изустная речь профессора сначала затрудняли меня; скоро, однако, я привык к ним и с жадностью слушал лекции Фукса. Много способствовало к ясному пониманию то обстоятельство, что Фукс читал по Блуменбаху, печатные экземпляры которого на русском языке находились у нас в руках. Книга эта, в трех частях, называется «Руководство к естественной истории Д. Ион. Фридр. Блуменбаха, Геттингенского университета профессора и великобританского надворного советника, с немецкого на российский язык переведенное истории естественной и гражданской и географии учителями: Петром Наумовым и Андреем Теряевым, печатано в привилегированной типографии у Вильковского. В Санктпетербурге 1797 года».

Между слушателями Фукса был один студент, Василий Тимьянский, который и прежде охотнее всех нас занимался языками, не только французским и немецким, но и латинским, за что и был он всегда любимцем бывшего у нас в высших классах в гимназии преподавателя этих языков, учителя Эриха. Эрих был сделан адъюнкт-профессором и читал в университете латинскую и греческую литературу. Личность адъюнкта Эриха, который, как все говорили, имел глубокие познания в древних и новых языках, была в высшей степени карикатурна и забавна, а русский язык он так коверкал, что без смеха нельзя было его слушать. Впрочем, к русскому языку он обращался только в крайности, видя иногда, что ученик не понимает его, хотя он для лучшего уразумения прибегал уже ко всем ему известным языкам. Эрих даже и фамилии наши переиначивал по-своему. Студента Безобразова, напр., звал «гер Абразанцов», а меня то «гер Аксаев», то «гер Ачаков» и никогда Аксаков, хотя очень меня знал, потому что нередко бывал у адъюнкта Г. И. Карташевского, у которого я прежде жил. Тимьян-

ский передразнивал Эриха в совершенстве. Я также умел несколько передразнивать своего наставника, и мы с Тимьянским нередко потешали студентов, представляя встречу на улице и взаимные приветствия наших адъюнкт-профессоров. Но виноват! воспоминания юношества увлекли меня в сторону, возвращаюсь к предмету моего рассказа. Этот студент Тимьянский, считавшийся у нас первым латинистом и, вероятно, знавший тогда не очень много по-латыни, скоро обратил на себя внимание Фукса, понравился ему за свою латынь и стал ездить к нему на квартиру: Фукс нанимал прекрасный дом Жмакина на Арском поле. Однажды Тимьянский при мне рассказывал, что видел у профессора большое собрание многих насекомых, и в том числе бабочек, и что Фукс обещал выучить его, как их ловить, раскладывать и сушить. В эту самую минуту я только что воротился в университет с кулачного боя, который видел первый раз в моей жизни. Это было в январе или феврале 1806 года. Я сам в свою очередь горячо рассказывал товарищам о виденном мною и пропустил мимо ушей слова Тимьянского.

Тогда в Казани происходили по зимам, на льду большого озера Кабана, знаменитые кулачные бои между татарскими слободами и русскими суконными слободами, состоявшими из крепостных крестьян помещика Осокина; и татарские и русские слободы были поселены по противоположным берегам озера Кабана [1]. Бои эти доходили иногда до ожесточения, и, конечно, к обыкновенной горячности бойцов примешивалось чувство национальности. Бой, который видел я, происходил, однако, в должных границах и по правилам, которые нарушались только тогда, когда случалось одолевать татарам. Бойцы, выстроившись в две стены, одна против другой, на порядочном расстоянии, долго стояли в бездействии, и только одни мальчишки выскакивали с обеих сторон на нейтральную середину и бились между собою, подстрекаемые насмешками или похвалами взрослых; наконец,

[1] Татарские и суконные слободы существуют и поныне, но крепостные крестьяне уже откупились и записались в мещане.

вышел вперед известный боец Абдулка, и сейчас явился перед ним также известный боец Никита; татарин полетел с ног и вместо него вырос другой. Между тем в нескольких местах начали биться попарно разные бойцы. Удача была сначала равная: падали татары, падали и русские. Вставая, кто держался за бок, кто за скулу, а иных и уносили. Вдруг с страшным криком татары бросились стеной на стену — и завязалась ужасная, вполне рукопашная драка; но татары держались недолго, скоро попятили их назад, и они побежали. Русские преследовали их до берегов Кабана и с торжеством воротились. Мне сказывали, что когда случалось одолевать татарам, то они преследовали русских даже в их избах и что тут-то вновь восстановлялся ожесточенный бой, в котором принимали участие и старики, и женщины, и дети: дрались уже чем ни попало. Такая схватка всегда оканчивалась бегством татар.

Весною 1806 года я узнал, что Тимьянский вместе с студентом Кайсаровым уже начинают собирать насекомых и что способ собирания, то есть ловли, бабочек и доски для раскладывания их держат они в секрете. Тогда только вспомнил я, что уже слышал об этом. Вдруг загорелось во мне сильное желание самому собирать бабочек. Я сообщил об этом другу моему, студенту А. И. Панаеву, и возбудил в нем такую же охоту. Сначала я обратился к Тимьянскому с просьбой научить меня производству этого дела; но он не согласился открыть мне секрета, говоря, что тогда откроет его, когда сделает значительное собрание, а только показал мне несколько экземпляров высушенных бабочек и насекомых. Это воспламенило меня еще больше, и я решился сейчас ехать к профессору Фуксу, который был в то же время доктор медицины и начинал практиковать. Я приехал к нему под предлогом какого-то выдуманного нездоровья. В кабинете у профессора я увидел висящие по стенам ящики, в которых за стеклами торчали воткнутые на булавках, превосходно сохраненные и высушенные, такие прелестные бабочки, каких я и не видывал. Я пришел в совершенный восторг и поспешил объяснить кое-как Фуксу мою страстную любовь к естественной истории

и горячее желание собирать бабочек, прося его в то же время научить меня, как приступить к этому делу. Профессор был очень доволен и охотно рассказал мне все подробности этого искусства, не мудреного, но требующего осторожности, терпения и ловкости. Он тут же показал мне все нужные инструменты как для ловли бабочек, так и для раскладывания их. Я знал, что Панаев на все это будет гораздо искуснее меня: он был великий мастер на все механические мелкие ручные работы, — и потому выпросил позволение у Фукса привести к нему на другой же день Панаева с несколькими живыми бабочками, которых профессор обещал при нас же разложить для сушки. А как я хотел не только ловить бабочек, но и собирать гусениц для того, чтобы бабочки выводились у меня дома, то Фукс объяснил мне и снабдил меня наставлениями, как различать червяков, из которых должны выводиться бабочки, от тех червей, из которых выводятся другие разные насекомые, как их содержать, чем кормить и вообще как с ними обращаться. Мы с Панаевым также решились хранить в тайне наше предприятие не только от Тимьянского, но и от всех других студентов. На другой день, наловив кое-каких бабочек в саду, отправились мы к Фуксу, который при нас же разложил двух бабочек, а третью дал разложить Панаеву, желая, чтобы он первый опыт сделал у него на глазах. Дело происходило следующим образом: взяв бабочку снизу осторожно за грудь большим и указательным пальцами, Фукс сжал ее довольно крепко; это нужно для того, чтобы бабочка лишилась чувств, не билась крылушками и не сбивала с них цветную пыль. Для этого сжатия имелись особые стальные щипчики; но Фукс сказал и показал нам, что мы можем обойтись и без них. Потом он взял булавку, величина которой должна быть соразмерна величине бабочки, и проколол ей спинку сверху вниз, выпустив конец булавки настолько, насколько было нужно для втыканья его в дерево. Пропустив кончик булавки сквозь карточку, он слегка нагрел его на свечке: предосторожность, необходимая для того, чтобы тело насекомого присохло и не вертелось на булавке. Потом взял гладкую липовую дощечку (липовая мягче других) с вынутыми во всю

ее длину ложбинками:[1] пошире для бабочек, у которых брюшко потолще, и поуже для тех, у которых туловище тоньше. В одну из таких ложбинок Фукс опустил туловище бабочки и воткнул конец булавки настолько, чтобы крылушки пришлись как раз к поверхности дощечки. Наконец, он взял узенькие полоски почтовой бумаги, нарочно для того нарезанные, наложил одну из них на верхнее и нижнее крылья бабочки, прикрепил вверху булавкой и особым инструментом, похожим на длинную иглу или шило (большая длинная булавка может всегда заменить его), расправил им крылья бабочки, сначала одно, а потом другое, ровно и гладко, так, чтобы верхнее не закрывало нижнего, а только его касалось; в заключение прикрепил, то есть воткнул булавку в нижний конец бумажки и в дерево. Очевидно, что все уменье и ловкость заключались в расправлении крыльев бабочки: надобно было их не прорвать, не измять и не стереть с них пыль. Через несколько дней бабочка высохнет; тогда бережно снимаются с нее бумажки, и бабочка перемещается в ящик или шкап, в котором она должна храниться. Третью бабочку разложил Панаев, и с первого раза так искусно, что Фукс, повторяя беспрестанно: «Bien, très bien, parfaitement bien»[2], провозгласил, наконец, торжественно «Optime!»[3]

И вот закипела у нас с Панаевым молодая пылкая деятельность! Липовые сухие доски и дощечки гладко выструганы под личным присмотром моего товарища, а ложбинки искусно и ловко вынуты им самим; отысканы толстые, так называемые *фунтовые*, булавки для раскладки и прикрепления бабочкиных крыльев; нашли и плотную почтовую бумагу, которая не прорывалась, как это случалось у Фукса. Рампетки для ловли бабочек сделали двух сортов: одни с длинными флеровыми или кисейными мешочками, другие — натянутые, как рампетки, которыми играют в волан. Рампеткой первого вида надобно было подхватывать бабочку на лету и за-

---

[1] Теперь это делается иначе: дощечки прорезываются насквозь, и вместо дна вставляется пробка.

[2] Хорошо, очень хорошо, превосходно *(франц.)*.

[3] Замечательно *(лат.)*.

вертывать ее в мешочке, а рампеткой второго вида надобно было сбивать бабочку на землю, в траву, или накрывать ее, сидящую на каком-нибудь цветке или растении. Первый способ очевидно лучше: пыль с бабочки стирается меньше; но действовать рампеткою с мешочком требовалось больше ловкости и проворства. В два дня все было готово, и благодаря неусыпным, горячим хлопотам моим, а также стараньям и уменью моего товарища все было придумано и устроено гораздо лучше, чем у профессора Фукса.

Раскладывание бабочек Панаев решительно взял на себя: разложив их еще несколько экземпляров, он стал совершенным мастером в этом деле. Ловлю бабочек за городом мы положили производить вместе, кроме каких-нибудь особенных случаев, а воспитание червей, до превращения их в хризалиды, отыскивание готовых куколок и хранение и тех и других, до превращения их в бабочки, я принял уже на свое попечение. Кроме того, что я имел особенную охоту к наблюдению за жизнью и нравами всего живущего в природе, меня подстрекнули слова Фукса, который сказал, что бабочки, выводящиеся дома, будут самыми лучшими экземплярами, потому что сохранят всю первородную яркость и свежесть своих красок; что бабочки, начав летать по полям, подвергаясь дождям и ветрам, уже теряют несколько, то есть стирают или стряхивают с себя цветную пыль, которою, в виде крошечных чешуек, бывают покрыты их крылья, когда они только что выползут из скорлупы хризалиды, или куколки, и расправят свои сжатые члены и сморщенные крылушки.

Оставив адъюнкт-профессора Л. С. Левицкого, у которого я не в силах был прожить более двух месяцев, о чем сказано подробнее в моих «Воспоминаниях», я жил тогда, в первый раз в моей жизни, сам по себе, полным хозяином, на собственной квартире. Я нанимал флигель у какого-то обруселого немца Ег. Ив. Германа, сын которого, Александр, был некогда моим гимназическим товарищем, а теперь служил в казанском почтамте; он жил у меня во флигеле и часто бывал моим спутником, даже руководителем на всех общественных и народных гуляньях, до которых был большой охотник. В настоящее время, то есть весною, в Казани происходило

обыкновенное ежегодное и оригинальное гулянье, и вот по какому поводу: как только выступит из берегов Волга и затопит на несколько верст (иногда более десяти) свою луговую сторону, она сливается с озером Кабаном, лежащим от нее, кажется, верстах в трех, и, пополнив его неподвижные воды, устремит их в канал, или проток, называемый Булак (мелкий, тинистый и вонючий летом), который, проходя сквозь всю нижнюю часть Казани, соединяется с рекой Казанкой [1]. Целые стаи больших лодок, нагруженных разным мелким товаром, пользуясь водопольем, приходят с Волги через озеро Кабан и буквально покрывают Булак. Казанские жители всегда с нетерпением ожидают этого времени как единственной своей ярмарки, и весть: «Лодки пришли» мгновенно оживляет весь город [2]. По берегам Булака устроивается шумное гулянье; публика и народ толпятся по его грязным и гадким набережным, точно как в Москве под Новинским на святой неделе. Между множеством разного товара, между апельсинами и лимонами привозится огромное количество посуды фарфоровой, стеклянной и глиняной муравленой, то есть покрытой внутри и снаружи или только внутри зеленым лаком. В числе посуды привозят много глиняных и стеклянных ребячьих игрушек, как то: уточек, гуськов, дудочек и брызгалок. В это время по всем казанским улицам и особенно около Булака толпы мальчишек и девчонок, все вооруженные новыми игрушками, купленными на лодках, с радост-

---

[1] Водополье озера Кабана, по особенному положению его местности, очень замечательно. Кабан, в который стекается множество весенних ручьев со всего города и соседних окрестностей, очень рано оттаивает от берегов и спускает излишнюю воду по Булаку в реку Казанку, а потом, когда, вышед из берегов, разливается Казанка и становится выше его уровня, Булак принимает обратно мутные и быстрые волны этой реки; Волга же, разливаясь всегда позднее всех меньших рек, снова заставляет переполненные воды Кабана, опять по Булаку, устремляться в Казанку.

Этим любопытным наблюдением и вообще сведениями о настоящем состоянии Казани, а также новейшими сведениями по натуральной истории обязан я молодому ученому, недавно оставившему Казанский университет, Н. П. Вагнеру.

[2] Эта весенняя ярмарка продолжается и теперь, даже в бóльших размерах, как мне сказывали; вся же местность торга на водах и берегах Булака получила общее название «Биржи».

ными лицами и каким-то бешеным азартом бегают, свистят, пищат или пускают фонтанчики из брызгалок, обливая водою друг друга и даже гуляющих, и это продолжается с месяц. Вид такого, чисто народного, торга и гулянья, куда аристократия Казани приезжает только полюбоваться на толпу, смесь одежд татарских и русских, городских и деревенских — очень живописны. Мы с Германом часто посещали Булак, и Герман очень был огорчен, когда я вдруг объявил ему, что не намерен более шататься по Булаку, что у меня другое на уме, что все свободное время я буду посвящать собиранию бабочек, воспитанию гусениц и отыскиванию хризалид и что буду очень рад, если он станет помогать мне. Герману не нравилось мое намерение, ему приятнее и выгоднее было иметь меня своим товарищем на гуляньях, но делать было нечего, и он волею-неволею согласился быть моим помощником в новых моих занятиях. Комнат было у меня довольно, и я назначил одну из них, совершенно отдельную, исключительно для помещенья, на особых столах, стеклянных ящичков с картонными крышками, картонных коробок и даже больших стеклянных банок, в которых должны были сидеть разные черви или гусеницы, достаточно снабженные теми травами и растеньями, которые служили им обыкновенной пищей. Для того чтобы воздух мог проходить в ящики и коробочки, крышки их были все исколоты толстой булавкой. То же сделал я с бумагою, которою обвязывались стеклянные банки. В этих мелких и скучных хлопотливых приготовлениях Герман был, точно, моим помощником. Впоследствии, когда собрание гусениц сделалось довольно многочисленно, в комнате, где жили червяки, распространился сильный и противный запах, так что без растворенного окна в ней нельзя было долго оставаться, а я любил подолгу наблюдать за моими питомцами; Герман же перестал и ходить туда, уверял даже, что во всем флигеле воняет червями, что было совершенно несправедливо. Для денных, сумеречных и ночных хризалид были назначены особые ящики. Квартира моя имела еще то удобство, что находилась на каком-то пустыре, окруженном с двух сторон оврагами, идущими к реке Казанке и заросшими травою. Я немедленно осмотрел

их с большим вниманием и, к удовольствию моему, увидел, что там летают разные бабочки. У Панаева, который жил на Черном Озере, вместе с четырьмя братьями, в собственном доме, был под руками тоже довольно большой сад, превращенный частью в огород, совершенно запущенный, что, однако, не мешало залетать туда бабочкам. Благодаря таким благоприятным для нас обстоятельствам мы с Панаевым в первые два дня, не выходя еще за город, поймали с десяток таких бабочек, которые хотя были довольно обыкновенны, но могли уже с честью занять свое место в нашем собрании. Я сказал, что мы решились было вести наше дело по секрету от всех товарищей. Но, увы! какие тайны сохраняются строго! На другой же день знали в университете о нашем предприятии. (Вероятно, разболтали меньшие братья Панаева, Владимир и Петр, которые были тогда своекоштными гимназистами.) Мы решились более не скрываться, да и Тимьянский с Кайсаровым последовали нашему примеру; но тем не менее между нами установилось открытое соперничество. Собрание Тимьянского имело уже то преимущество, что было старее нашего и успело собрать до тридцати экземпляров тогда, когда у нас не было еще ни одного; но мы имели более свободного времени, более средств и скоро потом сравнялись с своими соперниками. Впоследствии студенты разделились на две стороны, из которых одна более хвалила собрание бабочек у казенных студентов, а другая — у своекоштных, то есть у меня и Панаева. — Как нарочно, несколько дней не удалось нам попасть за город, в рощи и сады за Арским полем. Мое нетерпение возрастало с каждым часом. Я, даже не испытав еще настоящим образом удовольствие ловить бабочек особенно редких или почему-нибудь замечательных, — я уже всею душою, страстно предался новому увлечению, и в это время, кроме отыскивания червяков, хризалид и ловли бабочек, ничего не было у меня в голове; Панаев разделял мою новую охоту, но всегда в границах спокойного благоразумия. Наконец, в один воскресный или праздничный день, рано поутру, для чего Панаев ночевал у меня, потому что я жил гораздо ближе к Арскому полю, вышли мы на свою охоту, каждый с двумя рампетками:

одна, крепко вставленная в деревянную палочку, была у каждого в руках, а другая, запасная, без ручки, висела на снурке через плечо. У каждого также висел картонный ящик, в который можно было класть пойманных бабочек. Едва ли когда-нибудь, сделавшись уже страстным ружейным охотником, после продолжительного ненастья, продержавшего меня несколько дней дома, выходил я в таком упоительном восторге, с ружьем и легавой собакой, в изобильное первоклассною, благородною дичью болото!.. Да и какой весенний день сиял над нашими молодыми головами! Солнце из-за рощи выходило к нам навстречу и потоками пылающего света обливало всю окрестность. Как будто земля горела под нашими ногами, так быстро пробежали мы Новую Горшечную улицу и Арское поле... [1] И вот он, наконец, перед нами, старый, заглохший сад, с темными, вековыми липовыми аллеями, с своими ветхими заборами, своими цветистыми полянами, сад, называвшийся тогда Болховским [2]. Хор птичьих голосов, заглушаемый соловьиными песнями, поразил сначала мой слух, но я скоро забыл о нем. Мы остановились с Панаевым, чтобы перевести дух и условиться в наших поисках. Мы решились пройти первую представившуюся нам широкую поляну вместе, то есть на расстоянии шагов ста один от другого. Только тронулся я с места по росистому лугу, в одну минуту промочившему мои ноги, как увидел, что Панаев побежал и начал что-то ловить своей рампеткой. Я забыл наше условие, чтобы не сходиться друг с другом, если другой не будет звать, и чтобы никогда обоим не гоняться за одной добычей. Я опрометью прибежал к Панаеву и увидел, что он, точно, ловит какую-то красивую бабочку, никогда мною не виданную. Я бросился ему помогать, несмотря на его крик, чтобы я ушел прочь, чтобы я не мешал ему. Но, увы, это было уже поздно.

---

[1] Арское поле теперь почти не существует: оно все застроено улицами и домами; даже бывшее на нем стародавнее трехдневное гулянье, начинавшееся с троицына дня и продолжавшееся всегда дней пять, перенесено на другое место.

[2] Сады Болховской и рядом с ним Нееловский существуют и теперь, но прежних их имен никто уже не знает: они составляют сад Родионовского института благородных девиц.

Бабочка, испуганная нашим преследованьем, особенно потому, что я забежал ей встречу, поднялась вверх столбом и, перепорхнув через аллею, скрылась от наших глаз. Панаев очень сердился и очень журил меня и положительно сказал, что если я в другой раз так поступлю, то он никогда вместе со мной ходить не будет. Он уверял, что бабочка была необыкновенно красива и что едва ли это не была Ириса или Глазчатая Нимфа. Я очень огорчился, очень раскаивался, очень досадовал на себя и дал искреннее обещание, даже побожился, что вперед этого никогда не будет. Я в точности сдержал обещание. — Мы разошлись опять, каждый на свою черту, в назначенном расстоянии, и я скоро увидел, что Панаев опять побежал. В самое то время, как товарищ мой, что-то поймав, остановился и стал вынимать из мешочка рампетки, когда мне стоило большого труда, чтобы не прибежать к нему, не узнать, не посмотреть, что он поймал, — мелькнула перед моими глазами, бросая от себя по траве и цветам дрожащую и порхающую тень, большая бабочка, темная, но блестящая на солнце, как эмаль. Я бросился ее преследовать и очень счастливо: очень скоро поймал; руки у меня дрожали от радости, и я не вдруг мог подавить слегка грудку моей пленницы, чтобы привесть ее в обморочное состояние; без этой печальной, необходимой предосторожности она стала бы биться в ящике и испортила бы свои бархатные крылушки. Эту денную бабочку я сейчас узнал: она находилась уже в собрании у Тимьянского и была в точности определена по Блуменбаху и утверждена Фуксом: она называлась Антиопа. Но каким жалким образом описывает ее Блуменбах: «Антиопа, бабочка Нимфа, полосатая, у коей крылья угольчатые, черные, с белесоватым краем». Вот и все. Ну какое понятие можно получить из этого описания? К тому же и полос на ней никаких нет. Тогда как Антиопа, несмотря на скромные свои краски, уже по величине своей принадлежит к числу замечательных русских бабочек; темнокофейные, блестящие, лаковые ее крылья, по изобилию цветной пыли, кажутся бархатными, а к самому брюшку или туловищу покрыты как будто мохом или тоненькими волосками рыжеватого цвета; края крыльев, и верхнего и нижнего, оторочены

бледножелтою, палевою, довольно широкою зубчатою каемкою, вырезанною фестончиками; такого же цвета две коротеньких полоски находятся на верхнем крае верхних крыльев, а вдоль палевой каймы, по обоим крыльям, размещены яркие синие пятнушки; глаза Антиопы и булавообразные усы, сравнительно с другими бабочками, очень велики; все тело покрыто темным пухом; испод крыльев не замечателен: по темному основанию он исчерчен белыми тонкими жилочками [1]. Я был очень доволен, что у нас есть Антиопа. Поймав еще несколько бабочек, не известных мне по имени, которых я или вовсе не видывал, или видел издалека, сошелся я, наконец, с Панаевым. Он также поймал Антиопу и таких же яркоголубых и красно-золотистых маленьких бабочек, какие были и у меня в ящичке; я, сверх того, нашел несколько червей, из которых один, очень мохнатый, известный под именем Поповой Собаки, обещал очень красивую сумеречную бабочку. Гусениц бабочки я узнавал по тому, что они имеют обыкновенно восемь пар ног. Очень довольные таким началом, мы сели отдохнуть под непроницаемой тенью старых лип и даже позавтракали, потому что имели предусмотрительность запастись хлебом и сыром. Позавтракав, мы разошлись в разные стороны, назначив место, где мы должны сойтись. Болховской сад был нам хорошо известен; мы хаживали в него гулять, а также и в другой, кажется рядом с ним лежащий, Нееловский сад.

Я не видал этих садов пятьдесят два года. Они представляются мне теперь огромными и таинственными и некоторые места совершенно глухими и непроходимыми. Легко быть может, что они совсем не таковы и даже не велики. Мне не раз случалось увидать в совершенных летах, после долгого промежутка, то место, где в

[1] Все описания бабочек составлены мною или с натуры, или с рисунков, или по Блуменбаху, поправленному и дополненному нами тогда же. В описаниях моих может встретиться разница с описаниями натуралистов. Она происходит оттого, что многие дённые бабочки имеют два вылета: весенний и осенний, чего мы тогда не знали. Краски весенних бабочек бледнее (ибо они перезимовали), а осенних гораздо ярче. Вообще я не поправляю наших тогдашних ошибочных понятий и взглядов на науку. В пятьдесят лет она ушла далеко.

ранней молодости часто гулял, или тот дом, в котором я долго жил; всегда я бывал поражен тем, что находил их миниатюрными в сравнении с теми образами, которые жили в моей памяти. Я боюсь, чтобы того же не случилось с садами Болховским и Нееловским, и потому предупреждаю моих читателей, что я пишу обо всех предметах так, как они казались мне за пятьдесят лет.

Побродив довольно долго по полянам и луговинам и поймав довольно бабочек, некоторых вовсе мне не известных, и предполагая, что иные из них, по оригинальности цветов и форм, должны быть замечательными, я занялся отыскиванием червяков, хризалид и ночных бабочек, которые привлекали меня к себе больше, чем денные. Находя червяка, я всегда срывал растение или ветку того куста или дерева, на котором находил его, для того чтобы знать, чем кормить. Червяков или гусениц я мог бы набрать много; но сажать их было некуда, ящичек был уже довольно полон, и я пустился отыскивать хризалид и ночных бабочек: я осматривал для этого испод листьев всякой высокой и широколиственной травы, осматривал старые деревья, их дупла и всякие трещины и углубления в коре; наконец, осматривал полусгнившие местами заборы, их щели и продолбленные столбы. Успех превзошел мои ожидания, и я должен был прекратить мои поиски за неимением места, куда класть добычу. Я поспешил на условленное место и нашел там Панаева, который уже давно меня дожидался. По его веселому лицу я угадал, что его ловля была удачна. Панаев ничего не хотел мне рассказать, да и меня не стал слушать, говоря: «Если мы еще промешкаем, то многие бабочки, у которых грудки слишком сильно сжаты, высохнут и раскладывать их будет невозможно». Хотя мне очень хотелось отдохнуть, но причины были так важны и убедительны, что я сейчас согласился, и мы отправились домой, то есть прямо к Панаеву, на Черное Озеро, чтобы немедленно воспользоваться плодами нашей ловли и, может быть, с первого раза затмить наших соперников. Эта мысль подкрепила наши силы, и мы шли бодро, рассказывая друг другу свои подвиги, удачи и неудачи и закусывая все это на ходу оставшимся у нас хлебом. Боже мой, как весело

было наше возвращение! Братья Панаева, двое старших и двое младших (старшие были также студенты), с нетерпением нас ожидали. Они все принимали живое участие в собирании бабочек. Напоив нас квасом, потому что мы умирали от жажды, посадили нас сейчас за работу. Панаев должен был раскладывать самых лучших бабочек или таких, каких у нас еще не было, а мне предоставлялись дубликаты, также бабочки обыкновенные и оборотные: оборотными у нас назывались те, которые раскладывались и сушились обороченные вверх исподом своих крыльев. В полных учебных собраниях всегда так делалось, по словам Фукса; но у нас это было исключение для тех бабочек, у которых испод довольно красив; есть такие, у которых нижняя сторона даже лучше верхней [1].

При разборе наловленных бабочек оказалось, что мы оба с Панаевым, особенно я, по моей торопливости и горячности, не всегда в надлежащей мере сдавливали им грудки: некоторые совершенно отдохнули, вероятно бились и, по тесноте помещения, потерлись, то есть сбили пыль с своих крылушек; по счастию, лучшие бабочки сохранились хорошо. Собрание наше увеличилось двадцатью новыми экземплярами, из которых половина была тогда же определена нами по Блуменбаху, выученному почти наизусть; остальных же мы никак отыскать не могли, потому что Блуменбах очень краток в своих описаниях и неточен, да к тому же многих родов бабочек в нем вовсе не находится. Например, у него ни слова не сказано о маленьких голубых и оранжево-золотистых бабочках, блестящих, совершенно как эмаль, серебристым и золотистым блеском. Бабочки эти положительно денные и появляются иногда во множестве. Точно такую голубую бабочку я видел один раз большую, но, к сожалению, поймать ее не мог.

Вот те бабочки, которых можно было определить с достоверностью. Денные: Капустная бабочка (Brassicae) [2], с черными кончиками и такими же двумя черными

---

[1] Теперь это делается иначе, как я узнал от Н. П. В.: ящик имеет стеклянное дно и, обернув его, можно видеть испод бабочкиных крыльев. Так устроены собрания насекомых, принадлежащие казанским ученым Эверсману и Бутлерову.

[2] Эти бабочки теперь не попадаются в Казани.

пятнушками; испод крыльев желтоватый; ее не надобно смешивать с обыкновенной капустной бабочкой, которая имеет несколько видов. Бабочка Ио или Глазчатая Нимфа, довольно большая, очень красивая и редкая; крылушки у ней угловато-зубчатые, цветом темновишневые; на каждом крыле находится по большому глазку голубовато-лилового цвета, по которому сбоку идут по пяти маленьких белых пятнушек. Глазки на верхних крыльях имеют неполный желтый ободочек, а глазки на нижних крыльях — темный. Испод крыльев темный. Оторочка крыльев черная. На верхних крыльях, возле глазков, после темного промежутка, ближе к туловищу, находится по желтоватому пятну или короткой полоске. Бабочка Галатея (Galathea), имеющая крылушки зубчатые, испещренная по бледнопалевому цвету черными пятнушками. На передних крыльях, с испода, находится по одному, а на нижних по пяти или более бесцветных очков или кружочков. Она также теперь в Казани не попадается. Бабочка С. (С. Album); ее поймал Панаев. Этой бабочке мы очень обрадовались, потому что, читая ее описание, нам казалось очень странным, даже невероятным, как это у бабочки на крыльях изображена белой краской буква С., да еще и с точкой? Эта бабочка средней величины, крылушки у ней по краям вырезаны уголками или городками; цветом желтовато-красная, с черными клетками и пятнушками, на нижних крыльях, по темному полю, с испода, очень ярко означена белым цветом буква С., и возле нее белая же точка. Бабочка Аглая (Aglaia), как называет ее Блуменбах, называлась у нас, со слов профессора Фукса, *перламутровою*. Крылья у ней кругловатые, желто-бурые, с черными пятнушками, правильно расположенными, как будто в графах; испод же крыльев, по Блуменбаху, «имеет на каждой стороне по 21 пятну серебряному», но в действительности цвет их похож не на серебро, а на перламутр. Их даже нельзя назвать пятнами, а гораздо будет точнее, если сказать, что испод крыльев этой бабочки весь перламутровый, расчерченный темными полосками на клеточки разной величины и фигуры, из коих некоторые кругловаты. Бабочка Проскурняковая (Malvoe), названная так по-

тому, что водится на полевых рожах, или проскурняке; она имеет темные крылья с белыми пятнами, зубчатые по краешкам. Сумеречных находилось три бабочки и одна ночная. Первая из них называется Олеандровая сумеречная бабочка (Nerii), и хотя сказано у Блуменбаха, что она водится на олеандре, следовательно, не должна жить в России, но ее зеленого цвета угловатые крылья с разными, то бледными, то темными, то желтоватыми, повязками, описанные верно у Блуменбаха, не оставляют сомнения, что это она и что она живет в Казанской губернии[1]. Молочайная сумеречная бабочка (Euphorbioe) имеет довольно большие бурые крылья; на передних лежит поперек бледнорозовая, а на задних — красная струя или повязка; очень красива. Бабочка Барашек (Filipenduloe), в двух видах. У Блуменбаха описан только первый вид, большей величины, и она названа *не настоящею сумеречною бабочкою*, вероятно, потому, что хотя у нее крылушки длинны и она складывает их, как сумеречная бабочка, в треугольник, но усы толстые, булавообразные[2] и летает она хотя мало, но днем, а в сумерки мне не случалось ее видеть. Она очень красива, и я, завидя ее перелетывающую перелетом изумрудных букашек, не счел бабочкой; когда же она села на траву, то я разглядел ее и пришел в восхищенье! Верхние крылушки у ней точно бархат, зеленоватые, отливают голубым глянцем, и каждое крыло имеет шесть яркопунцовых точек или пятнушек, а нижние крылушки гораздо меньше верхних, чисто пунцовые, с узкой черной каемкой; все тело зеленовато-голубое с отливом. Второй вид Барашка был пойман Панаевым; он несколько поменьше, верхние крылушки коричнево-зеленоватые, с такими же красивыми пятнушками, а нижние бледнорозовые или желтовато-розовые. Этими бабочками мы долго гордились, потому что наши соперники не могли долго достать их. Но я всего более радовался Хмелевой ночной бабочке (Humuli), которую нашел в дупле старой

---

[1] Род Сфинкса. Около Казани ее уже нет, и она встречается не ближе Сарепты.

[2] Вероятно, память обманывает меня: булавообразных усов у Барашка, по всем рисункам, нет, а есть обыкновенные усики сумеречных бабочек, широкие в средине и узенькие к концам.

липы. У нее была совершенно совиная головка, тело красно-желтое, а крылья белые как снег, с верхней стороны, а с испода темнобурые; вдобавок она была так свежа, как будто сейчас вывелась. По Блуменбаху, это был самец, самка же красновато-желтого цвета.

Разложивши бабочек, досыта налюбовавшись ими и пообедав на скорую руку с другом моим Панаевым (братья его давно уже отобедали, зная наперед, что мы вернемся поздно), я поспешил домой: мне нужно было разместить моих червячков и куколок; и тех и других нашлось до тридцати штук. Хризалид денных бабочек я старался развесить[1] на стенках или приклеить к верхней крышке ящика, который нарочно открывался сбоку; но это было очень трудно сделать, потому что клейкая материя, похожая на шелк-сырец, которою червячки приклеивают свой зад к исподу травяных и древесных листьев, а в дуплах и щелях — к дереву, уже высохла, и хотя я снимал хризалид очень бережно, отделяя ножичком приклейку, но, будучи намочена, она уже теряла клейкость, не приставала и не держалась даже и на стенках ящичка, не только на верхней крышке. Впоследствии Панаев придумал приклеивать их вишневым клеем, что вышло очень удобно. Куколок же сумеречных бабочек, закутанных в каком-то пухе или гнезде, и куколок ночных бабочек, которых было у меня всего две и которые лежали в кругловатых яичках, оболочка которых была очень крепка, — я положил в особый ящичек, прикрыл их расщипанной хлопчатой бумагой и защитил от влияния света, потому что ночных хризалид всегда находишь в густой тени.

На другой день поутру явились мы с Панаевым в университет за полчаса до начала лекций, чтобы успеть рассказать о своих приобретениях и чтобы узнать, удачна ли была ловля наших соперников: мы знали, что они также собирались идти за город. Признаться, мы думали похвастаться своей добычей и предполагали, что преимущество останется на нашей стороне. Но только мы вошли в дортуары, как несколько человек студентов, принимавших более живое участие в предприятии Тимьянского и

---

[1] Потому что они сами всегда устроивают себя в висячем положении.

Кайсарова, встретили нас громкими восклицаниями: «Ну, господа, каких бабочек поймал Тимьянский с Кайсаровым, так это чудо! Вам уж эдаких не достать; и какую пропасть наловили всяких редких насекомых! Они и теперь возятся с ними наверху, в аудитории Фукса; даже Кавалера Подалириуса достали!» [1] Мы с Панаевым были очень озадачены и смущены таким известием. Особенно Кавалер как громом поразил нас. Тут узнали мы от своих словоохотливых товарищей, что вчера Тимьянский и Кайсаров, вместе еще с тремя студентами, Поповым, Петровым и Кинтером, уходили на целый день за город к Хижицам и Зилантову монастырю (известное место, верстах в четырех или пяти от Казани), что они брали с собой особый большой ящик, в котором помещались доски для раскладывания бабочек и сушки других насекомых, что всего они набрали штук семьдесят. Мы поспешили наверх и там своими глазами убедились, что торжество было на стороне наших противников. Они поймали по нескольку экземпляров всех бабочек, пойманных вчера мною и Панаевым, кроме Барашков и Хмелевой ночной бабочки, да сверх того более десяти не известных нам видов, в том числе двух Кардамонных бабочек, бывающих не каждый год в окрестностях Казани; но что всего важнее: они поймали Кавалера Подалириуса. Когда я взглянул на него, во всей красе и величине разложенного на доске, со шпорами на задних крыльях, сердце у меня забилось от удовольствия и зависти! Надобно сказать, что во всем многочисленном царстве бабочек находится, по Блуменбаху, только четыре Кавалера; первый из них называется «Приам, бабочка Кавалер Троянский (так говорит Блуменбах), у коего крылья зубчатые, пушистые, сверху зеленые, с черными полосками, а задние с шестью черными пятнами. Водится в Амбоине. Он, так как и следующая порода, есть самое большое великолепное насекомое». Второй: «Улис, бабочка Кавалер Ахивский, у коего крылья бурые с хвостиками (то есть со шпорами), а верхняя их сторона синяя, блестящая и с зубчиками. Задние крылья имеют

[1] У Блуменбаха, в русском переводе, он назван *Подалирий*, но мы всегда произносили по-латыни: *Podalirius*.

по семи глазков. Водится также в Амбоине». Уже из этого краткого и скудного описания можно себе вообразить, что за красивые, прелестные создания эти два Кавалера. Фукс видел их и говорил, что они величиною с летучую мышь и так хороши, что трудно описать [1]. «Третий Кавалер, Махаон, и четвертый, Подалириус, водятся в Европе» — и одного-то из них удалось поймать нашим соперникам! Не зная тогда, что последние два вида Кавалеров водятся везде в России и что они не слишком редки, мы с Панаевым не могли не завидовать счастию Тимьянского, поймавшего чудного Подалириуса.

Тимьянский видел наше смущение и с торжествующей улыбкой сказал: «Вот, господа, я вам показываю всех наших бабочек, покажите же и вы нам своих». Панаев отвечал, что экземпляров у нас мало, следовательно показывать нечего, но что, пожалуй, мы привезем завтра или послезавтра, когда бабочки все высохнут, особенно одна, очень толстая, Хмелевая бабочка. «Разве у вас есть Ночная Хмелевая? — спросил Тимьянский с удивлением. — Ведь это редкость!» Я отвечал, что есть, что я нашел ее в дупле и совершенно свежею, то есть не потертою. Заметно было, что Тимьянский в свою очередь позавидовал Хмелевой бабочке; это нас утешило. Когда же мы вышли, то Панаев весело сказал мне: «А видел ли ты, как нечисто, неопрятно разложены у них все бабочки? Ведь они нашим в слуги не годятся!» Хотя я не обращал на это обстоятельство особенного внимания, но тут припомнил, что Панаев совершенно прав, — и мы оба, успокоенные, бодро отправились слушать профессорские лекции.

На другой же день нам удалось умножить наше собрание еще тремя сумеречными, необыкновенно красивыми, бабочками, которых и воткнуть иначе было нельзя, как на самые тоненькие кружевные булавочки, по миниатюрности их тела. При раскладке их Панаев вполне высказал свою ловкость и уменье. Я поймал их в оврагах около моей квартиры, куда заглянул случайно. Солнце было еще высоко, а в оврагах была уже тень, и сумеречные бабочки начали летать.

---

[1] Теперь считается до десяти видов Кавалеров, водящихся в Европе; китайские же бабочки (Aglia и Strex) превосходят их величиною вчетверо.

Через два дня повезли мы наш ящик, с тридцатью пятью экземплярами бабочек, в университет, на показ своим товарищам. В одну минуту все сошлись смотреть их, и, конечно, всякий видел превосходство нашего собрания относительно целости, свежести и правильности раскладки наших бабочек; особенно нельзя было не удивляться маленьким прелестным ночным бабочкам, казавшимся совершенно живыми, потому что крошечных булавочек, на которых они торчали, совсем было незаметно. К этому надо прибавить, что ящик, внутренняя его оклейка, стекло, петли и замок — все было прекрасно благодаря попечениям Панаева. Разумеется, наружность бросилась в глаза всем; но Тимьянский очень хорошо видел, понимал и ценил, так сказать, внутреннее достоинство нашего собрания. Не без досады и, может быть, зависти, он холодно хвалил наших бабочек, особенно Ночную Хмелевую и Барашков, но сделал замечание, что бабочки слишком вычурно разложены, как-то напоказ, и что им дано неестественное положение. Если в последнем обвинении была своя доля правды, то это не наша вина: этот способ был принят всеми натуралистами. Я поспешил сказать о том в наше оправдание и прибавил в оправдание натуралистов, что денные бабочки часто принимают точно такое положение, в каком раскладываются; что, конечно, сумеречные и особенно ночные бабочки, когда сидят, не расширяют своих крыльев, а складывают их повислым треугольником, так что нижних крыльев под верхними не видно; но если их так и высушивать, то они потеряют половину своей красоты, потому что нижние крылья бывают часто красивее верхних, и, что, глядя на такой экземпляр, не получить настоящего понятия о бабочке. «Да ты разве не так же раскладываешь? — сказал Панаев. — Верхние крылушки у тебя так же приподняты, а только нижние висят. Это разве естественное положение?» Но Тимьянский не соглашался и доказывал, что его способ раскладывания гораздо натуральнее; многие приняли его сторону, многие нашу, из этого вышел спор, и мы расстались с своими соперниками хотя без явного неудовольствия, но с холодностию. Впоследствии они прозвали нас «богачами-щеголями» и называли так даже в глаза, что, признаюсь,

было мне очень досадно, особенно потому, что было совершенно несправедливо; ящик наш, пожалуй, можно было назвать щеголеватым, но нисколько не богатым; все достоинство заключалось в чистоте отделки, до чего Панаев был большой охотник и за чем сам заботливо смотрел. Один из студентов, принадлежавший к противной партии, Михайло Пестяков, прозвал наше собрание бабочек «дворянским». Это прозвище также было в ходу, потому что, как нарочно, все наши противники были разночинцы, от которых мы с Панаевыми отличались в гимназии красными воротниками; это было очень прискорбно, потому что прежде у нас никогда не было слышно ни одного слова и даже намека на различие сословий. Благодаря бога все эти несколько неприятные отношения впоследствии исчезли, и мы уже соперничали дружески в общем деле, не завидуя друг другу. Кроме бабочек, которых у Тимьянского было более пятидесяти, он набрал уже около сотни разных насекомых: некоторые блистали яркими радужными красками, особенно из породы жуков, божьих коровок, шпанских мух и также из породы коромыслов; а некоторые отличались особенностью и странностью своего наружного вида; но все они мне не нравились и даже были противны. Бабочки, бабочки! — вот к чему я привязывался с каждым днем более.

При первой возможности мы с Панаевым отправлялись за город; посетили сад Нееловский, Госпитальный и даже сад Чемесова, который был, впрочем, не за городом, а на краю города; бабочек в последнем мы нашли мало, но зато долго любовались на сотни кроликов, которым был отведен во владение довольно высокий пригорок или холм (не умею сказать, натуральный или искусственный), обнесенный кругом крепким забором. Кроликов развелось там невероятное множество; вся гора была изрыта их норами; они бегали целыми стаями и очень забавно играли между собой; но при первом шуме или стуке, который мы от времени до времени нарочно производили, эти трусливые зверки, пугались и прятались в свои норы [1].

---

[1] Чемесов сад существует и теперь, но находится в большом запущении и кроликов уже давно нет.

Мы ходили с Панаевым также на пасеку, или посеку, и находящиеся по обеим ее сторонам гористые места, или, лучше сказать, глубокие овраги, обраставшие тогда молодым леском, за которыми впоследствии утвердилось название Казанской Швейцарии, данное нами, то есть казанскими студентами. До сих пор эти места служат любимым гуляньем для жителей Казани. Я слышал даже, что это место разделяется на две половины: одна называется Немецкою, другая Русскою Швейцариею; последняя ближе к городу. Поиски наши были более или менее удачны, и мы, мало-помалу, приобрели всех тех бабочек, которые находились в собрании Тимьянского, и которых нам недоставало, кроме, однако, Кавалера Подалириуса. Мы даже не имели надежды достать его, потому что появление Кавалера в окрестностях Казани считалось тогда редкостью. Кавалер Подалириус торчал, как заноза, в нашем сердце! Не скоро достали мы и Кардамонную бабочку, которая, не будучи особенно ярка, пестра и красива, как-то очень мила. Ее кругловатые, молочной белизны крылушки покрыты каким-то особенным, нежным пухом; на каждом верхнем углу верхнего крыла у ней находится по одному пятну яркого оранжевого цвета, а испод нижних крыльев — зеленовато-пестрый. Но самыми красивыми бабочками можно было назвать, во-первых, бабочку Ирису; крылья у ней несколько зубчатые, блестящего темнобурого цвета, с ярким синим яхонтовым отливом; верхние до половины перерезаны белою повязкою, а на нижних у верхнего края находится по белому очку; особенно замечательно, что испод ее крыльев есть совершенный отпечаток лицевой стороны, только несколько бледнее. Еще красивее бабочка Аталанта, или Адмирал (*Atalanta*). У ней крылья также зубчатые, черные с лоском, испещренные белыми пятнушками; во всю длину верхних крыльев лежит повязка яркопурпурового цвета, а на нижних крылушках такая же повязка, только с черными пятнушками, огибает их боковые края. Надобно признаться, что у нас и у Тимьянского было много бабочек безыменных, которых нельзя было определить по Блуменбаху и которых профессор Фукс не умел назвать по-русски.

Питомники мои были давно уже наполнены червяками или гусеницами, так что и сажать более было некуда. Многие превращались в куколок, а многие умирали, вероятно от недостатка свежего воздуха или пищи. Трудно было доставать именно то растение, которым они предпочтительно питались; по большей части мы не знали, какое это растение, потому что не знали названия гусеницы. Я обыкновенно набирал всяких трав и старался только чаще их переменять. Каждый день, по нескольку раз, наблюдал я за моими питомцами, и это доставляло мне большое наслаждение. Те червяки, которые попадались мне в периоде близкого превращения в куколок, почти никогда у меня не умирали; принадлежавшие к породам бабочек денных, всегда имевшие гладкую кожу, прикрепляли свой зад выпускаемою изо рта клейкой материей к стене или крышке ящика и казались умершими, что сначала меня очень огорчало; но по большей части в продолжение суток спадала с них сухая, съежившаяся кожица гусеницы, и висела уже хризалида с рожками, с очертанием будущих крылушек и с шипообразною грудкою и брюшком; многие из них были золотистого цвета. Можно себе представить мою радость, когда, вместо мнимо умиравшего жалкого червяка, вдруг находил я миловидную куколку. Гусеницы сумеречных бабочек, более или менее волосистые, где-нибудь в верхнем уголку ящика, или под листом растения, положенного для их пищи, заматывали себя вокруг тонкими нитями той же клейкой материи, с примесью волосков, покрывавших туловище, — нитями, иногда пушистыми, как хлопчатая бумага, иногда покрытыми сверху белым, несколько блестящим лаком, что давало им вид тонкой и прозрачной, но некрепкой пелены. Гусеницы ночных бабочек, почти всегда очень мохнатые, кроме немногих исключений, устраивали себе скорлупообразные яички, или коконы, ложились в них, закрывались наглухо и превращались в куколок; у обеих последних пород свалившаяся сухая кожица червяка всегда лежала вместе с хризалидой внутри гнезда. Сумеречные и ночные куколки имели гладкую овальную наружность без всяких угловатостей и выпуклостей, но также с очертанием головы, крыльев, усиков, ножек и брюшных колец. Цветом они бывают всегда тем-

ные, а некоторые породы ночных совершенно черные. Червяки молодые, которым должно было прожить до превращения в хризалиду определенный, весьма различный срок времени, если не погибали от голода и духоты, то раза два или три переменяли на себе кожу и всякий раз перед такой переменой впадали в сон или обморочное состояние, не прикрепляя, однако, своего тела ни к какому предмету. Вероятно, сначала я выкидывал некоторых, считая их уже умершими. Обновленный червяк, казавшийся сначала слабым или больным, выходил всегда цветнее, пушистее прежнего, с невероятною жадностью накидывался на пищу и скоро поправлялся. Из числа тех хризалид, которые превращались из червяков не у меня, а на воле, выводились иногда какие-то летучие тараканы, отвратительные по своей наружности. Из этого должно заключить, что куколки их похожи на бабочкины, потому что я не мог различить их [1]. Выводились также иногда бабочки-уродцы: с одним маленьким крылом, или совсем без одного крыла, или с таким, которое не расправлялось и оставалось навсегда свернутым в трубочку. Фукс не мог удовлетворительно объяснить мне причины таких явлений. Я предполагаю, что хризалиды бабочек-уродцев были как-нибудь помяты или зашибены и что оттого крылушко на больной стороне не достигало полного своего развития. Весьма часто случалось, что пойманная бабочка, по большей части в ту минуту, когда ее раскладывали почти умирающую, выпускала из себя множество яичек, из которых впоследствии образовывались крошечные червячки; это и не удивительно, потому что бабочка могла быть прежде оплодотворена; но вот что достойно замечания, что выведшаяся у меня ночная свечная бабочка, через несколько часов разложенная, также при этой операции выпустила из себя яички, из

---

[1] Вот как тот же почтенный молодой ученый, о котором я уже говорил, Н. П. В., объясняет это странное явление: «Существует четырекрылое насекомое, называемое *Наездник;* оно кладет свои яйца в гусеницы бабочек; вышедшие из этих яиц червячки живут в гусенице и питаются ее внутренностями, что не мешает ей превратиться в куколку. В ней совершается превращение червячков Наездника, которые потом и выходят из нее, так что вместо ожиданной бабочки является отвратительная оса, или Наездник».

которых впоследствии вылупились червячки[1]. Недавно открыто подобное изумительное явление не только в пчелиных матках, но и в рабочих пчелах[2], доказывающее глубокую экономическую предусмотрительность природы.

Когда наше собрание бабочек ни в чем уже не уступало собранию Кайсарова и Тимьянского (кроме, однако, Кавалера), а, напротив, в свежести красок и в изяществе раскладки имело большое преимущество, повезли мы с Панаевым уже два ящика бабочек на показ Фуксу. Профессор рассыпался в похвалах нашему искусству и особенно удивлялся маленьким сумеречным бабочкам, которые были так же хорошо разложены, как и большие. Он очень жалел, что мы не собирали и других насекомых.

Между тем лето вступало в права свои. Прошла весна. Соловей допел свои последние песни, да и другие певчие птички почти все перестали петь. Только варакушка еще передразнивала и перевирала голоса и крики всяких птиц, да и та скоро должна была умолкнуть. Одни жаворонки, вися где-то в небе, невидимые для глаз человеческих, рассыпали с высоты свои мелодические трели, оживляя сонную тишину знойного, молчаливого лета. Да, прошла голосистая весна, пора беззаботного веселья, песен, любви! Прошли «летние повороты», то есть 12 июня; поворотило солнышко на зиму, а лето на жары, как говорит русский народ; наступила и для птиц пора деловая, пора неусыпных забот, беспрестанных опасений, инстинктивного самозабвения, самопожертвования, пора родительской любви. Вывелись дети у певчих птичек, надобно их кормить, потом учить летать и ежеминутно беречь от опасных врагов, от

---

[1] Несение неоплодотворенных яиц, из которых развивались гусеницы, было давно известно и впервые подмечено у *тли* и очень маленькой породы бабочек *Psyché*. Но мы тогда ничего этого не знали. Одновременно с открытием подобного явления, о котором сейчас будет сказано, оно было замечено у шелковичной бабочки.

[2] Брошюра «Три открытия в естественной истории пчелы», написанная незабвенным, так рано погибшим, даровитым профессором Московского университета, К. Ф. Рулье, напечатанная в Москве 1857 года.

хищных птиц и зверей. Песен уже нет, а есть крик; это не песня, а речь: отец и мать беспрестанно окликают, зовут, манят своих глупых детенышей, которые отвечают им жалобным, однообразным писком, разевая голодные рты. Такая перемена, совершившаяся в какие-нибудь две недели, в продолжение которых я не выходил за город, сильно поразила и даже опечалила меня, когда я, во второй половине июня, вместе с неразлучным моим спутником Панаевым, рано утром вошел в тенистый Нееловский сад. — В прежние годы я не замечал такой перемены.

На сей раз добыча наша была незначительна. Вообще это посещение Нееловского сада осталось памятно для нас неудачами и обманутыми надеждами: Панаев видел Кавалера, но не мог поймать, а я совершенно испортил превосходную розовую ночную бабочку, названия которой не знаю, но которую очень помню особенно потому, что впоследствии имел ее в руках. Нееловская розовая бабочка была замечательной величины, втрое больше розовой свечной, тоже ночной бабочки, которая очень обыкновенна и часто налетает на горящую свечку и обжигает свои крылушки; а испорченная мною была редкая бабочка; яркого алого цвета, бархатная пыль покрывала все ее крылья, головку и туловище, но яркость эта уменьшалась тем, что вся бабочка была исчерчена тоненькими желтыми жилками. Я взял ее очень бережно, подавил грудку и как-то уронил в траву; отыскивая, я наступил на нее ногой — и уничтожил прелестное создание. Смешно вспомнить, как я был огорчен этой потерей и как долго я не мог утешиться. В 1810 году, гуляя в Петербурге, в Летнем саду, я увидел точно такую бабочку, сидящую под широким листом векового клена. По старой охоте, я поймал, разложил, высушил и подарил одному любителю натуральной истории.

Время лечит всякие язвы, и мы с Панаевым примирились с мыслию, что у нас нет Кавалера, а может быть, и не будет. Тимьянский также примирился с общим мнением, что наши бабочки лучше, и утешился тем, что он собирает всех насекомых, а мы только часть их, что целое гораздо важнее части.

У нас в университете шли экзамены, которые не имели и не могли иметь формы и условий настоящих университетских экзаменов. Это были семейные, дружеские испытания, или, лучше сказать, это было обозрение всего того, что профессоры успели прочесть, а студенты усвоить себе из выслушанного ими. Разделения предметов на факультеты не было, а следовательно, не было ни курсов, ни переходов на них. Конечно, это было детство возникающего университета, но тем не менее тут было много добрых, благотворных начал, прочно подвигавших на пути образованности искренно желавших учиться; немного было приобретено сведений научных, но зато они вошли в плоть и кровь учащихся, вполне были усвоены ими и способствовали самобытному развитию молодых умственных сил. Предметы преподавания до того были перепутаны, и совет испытателей смотрел на это так не строго, что, например, адъюнкт-профессор И. И. Запольский, читавший опытную физику (по Бриссону), показывал на экзамене наши сочинения, и заставил читать вслух, о предметах философских, а иногда чисто литературных, и это никому не казалось странным. И. И. Запольский любил пофилософствовать, он был последователь и поклонник Канта; на каждой лекции о физике он как-нибудь припутывал «критику чистого разума». Один раз разговорился он о действующей и конечной причине и потом предложил нам, чтобы каждый из нас, кто понял его слова и кому предмет нравится, написал о нем хоть что-нибудь и показал ему. Написали человек десять, в том числе и я; и каково же было мое удивление, когда в числе студентских сочинений, читанных на экзамене, попались и мои три странички о действующей и конечной причине! Вероятно, это было самое ребячье и поверхностное понимание предмета. Адъюнкт российского красноречия Л. С. Левицкий, читавший по программе философию и логику, уже давно не занимавшийся своими лекциями и почти переставший ездить в университет, притащился, однако, кое-как на экзамен и перепугал нас своим болезненным видом. Вместо российской словесности он произвел экзамен в логике, которую прежде проходил с нами по рукописной тетрадке, в самом сокращенном объеме; ра-

зумеется, он предуведомил нас, чтобы мы приготовились к экзамену из логики. Фукс торжествовал с своей натуральной историей, и наши бабочки, и гусеницы, и другие насекомые — все пошли в дело. Тимьянский отличился обширностью своих знаний и латинским языком, но и мне досталось рассказать о моих наблюдениях над воспитанием червей, превращением их в хризалиды и бабочки. Все меня похвалили, даже и те профессоры, которые не знали ни одного русского слова, а я говорил, разумеется, по-русски. Лучшим экзаменом, без сомнения, был математический, у Г. И. Карташевского, но я не повинен был в этом блеске и даже не являлся на экзамен. Этот предмет у нас шел блистательно.

По случаю экзаменов заботы о собирании бабочек были оставлены, да к тому же случилось и другое обстоятельство: я сильно поссорился с старшими братьями Панаева, с которыми прежде всегда был очень дружен; один из них, именно старший, так меня обидел каким-то грубым и дерзким словом, что я вспылил и в горячности дал торжественное обещание не быть у них в доме до тех пор, покуда виноватый предо мною товарищ не попросит у меня прощения. Панаев (Николай) и не думал просить у меня прощения, и я целую неделю к ним не ездил. Друг мой, Александр Панаев, бывал у меня почти каждый день и своими известиями о старших братьях только усиливал мое оскорбление. Мне было особенно досадно на Ивана Панаева, нашего первого лирика; он был прекрасный товарищ, добрый и правдивый, очень меня любил, в семье своей он считался главным — и он не заступился за меня, не заставил брата извиниться передо мною, а еще его оправдывал. Но великие события именно совершаются тогда, когда всего менее можно ожидать их, и мгновенно разрубают крепко затянутые узлы, которые без того не скоро, а может быть и никогда, не были бы распутаны.

В самых последних числах июня, когда наши экзамены приходили к окончанию, воротился я из университета на свою квартиру и по какому-то странному побуждению, еще не пообедав, взял рампетку и, несмотря на палящий зной, пошел в овраги, находившиеся неподалеку от моего флигеля. Мне захотелось обойти их

перед обедом; почему? для чего? — и теперь не понимаю. Лишь только дошел я до половины ближайшего левого оврага, задыхаясь от жару и духоты, потому что ветерок не попадал в это ущелье, как увидел в двух шагах от себя пересевшего с одного цветка на другой великолепного Кавалера... Я так был поражен неожиданностью, что не вдруг поверил своим глазам, но, опомнившись, с судорожным напряжением смахнул рампеткой бабочку с вершины еще цветущего репейника... Кавалер исчез; смотрю завернувшийся мешочек рампетки — и ничего в нем не нахожу: он пуст! Мысль, что я брежу наяву, что я видел сон, мелькнула у меня в голове — и вдруг вижу, в самом сгибе флерового мешка, бесценную свою добычу, желанного, прошенного и моленного Кавалера, лежащего со сложенными крыльями в самом удобном положении, чтобы взять его и пожать ему грудку. Я торопливо это исполнил и, не помня себя от восторга, не вынимая бабочки из рампетки, побежал домой. Как исступленный, закричал я еще издали своему дядьке Евсеичу, который ожидал меня у крыльца: «Дрожки, дрожки!» Добрый мой Евсеич, испуганный моим голосом и странным видом, побежал ко мне навстречу. Но я поспешил объяснить ему, в чем состояло дело, и просил, умолял, чтобы он велел поскорее заложить мне лошадь. Евсеич, успокоенный, покачал головой, улыбнулся, но пошел исполнить мое приказание. Я вошел в комнату, положил рампетку на стол, поглядел внимательно на свою добычу и, кажется, тут только поверил, что это не мечта, не призрак, что вот он, действительный Кавалер, пойман и лежит передо мною. Из предосторожности я в другой раз пожал грудку моему Подалириусу, бережно опустил его в картонный ящичек, накрыл бумажкой, а остальное пространство заложил хлопчатой бумагой, чтобы от езды бабочка не могла двигаться. Евсеич вернулся со словами: «Сейчас заложат» — и с прежней улыбкой. Тут-то высказал я свою радость моему доброму дядьке, обняв и расцеловав его предварительно. Хотя Евсеич знал меня вдоль и поперек, как говорится, но безумный мой восторг смутил его. Все мои уверения и доказательства в важности приобретения Кавалера, в необычайности события, что

он залетел в середину большого города, что я пошел без всякой причины гулять по жару в овраги, — дядька мой выслушал с совершенным равнодушием. Он уже не улыбался, а все качал головой и, наконец, сказал: «Нет, соколик, больно молодо, больно зелено, — надо долго еще учиться; ну куда тебе на службу!» Стук подкатившихся дрожек перервал поучительную речь Евсеича, и через минуту я уже скакал на Черное Озеро, прямо к Панаеву. Я живо представил себе его удивление и радость, особенно потому, что мы с полчаса как расстались. Долгим днем показалась мне четверть часа езды до Панаева. Вот он, наконец, белый, засаленный, хорошо знакомый дом. Взбегаю на крыльцо, на лестницу, отворяю дверь в залу и вижу друга моего Александра Панаева, выбегающего из гостиной с окровавленным лицом, зажавшего один глаз рукою... «Что с тобой?» — закричал я. «Я пропал, — с отчаянием отвечал Панаев, — брат Петя нечаянно попал мне в самый зрачок глаза фарфоровым верешком. Если я окривею — я застрелюсь. Я бегу к колодцу, чтобы обмыть мой глаз холодной водой». Мы побежали вместе. Панаев так боялся увериться, что глаз у него испорчен, что красота его погибла (он действительно был красавец), что не вдруг решился отнять руку и промыть раненый глаз; я упросил его это сделать, и к великой моей и еще большей его радости я увидел, что рассечена только нижняя века и слегка оцарапан глазной белок. В самую ту минуту, как я обнимал и поздравлял моего друга с благополучным окончанием такой беды, прибежали его испуганные братья, кроме виноватого; я поспешил их успокоить, что никакой важности нет, да они и сами в том сейчас убедились. Радость была общая; мы все обнялись дружески и послали за Петей, который с испугу и с горя залез в какой-то чулан. Вдруг Александр Панаев меня спросил: «Как это случилось, мой друг, что ты приехал в самую ту минуту, когда разразилась надо мной эта страшная гроза? Верно, сердце тебе сказало и ты, забыв все, прискакал на помощь к своему отчаянному другу?» Тут только я вспомнил, что я в ссоре с братьями Панаева, что я перестал к ним ездить и что я поймал Кавалера. «Нет, мой друг, — отвечал я, — на этот раз

сердце мне ничего не сказало; но случилось другое обстоятельство, которое заставило меня позабыть все неудовольствия: с полчаса как я поймал у себя в овраге чудеснейшего Кавалера. Вот он...» И я побежал в залу, где оставил свой картонный ящичек на столе. Все Панаевы с радостными восклицаниями последовали за мной, и когда я, открывши ящичек, показал им лежащего в том же положении в самом деле необыкновенно большого и великолепного Подалириуса, раздался новый залп радостных восклицаний. Само собою разумеется, что я не один раз рассказал, как совершилось это счастливое событие. Друг мой Александр, примочив глаз розовой водой и завязав его весьма щеголевато батистовым платочком, сейчас сел раскладывать Кавалера, который оказался совершенно целым и нигде не потертым. «Ну, теперь наше собрание бабочек несравненно выше Тимьянского», — сказал он с торжествующей улыбкой. Он аккуратно и внимательно принялся за свою работу, а мы все пятеро, тесно окружив его, не сводя глаз и не смея свободно дышать, следили за каждым движением его искусных рук. Напрасно Панаев кричал, что мы ему мешаем, что ему от нас тесно, жарко, чтоб мы отошли прочь, — никто не трогался с места. Наконец, раскладка совершилась благополучно, и я вспомнил, что еще не обедал. Панаевы уже успели пообедать. Не было и тени неудовольствия между нами, они упрашивали меня не ездить домой, желая угостить оставшимися блюдами, но я не мог исполнить их желания: я не видел сегодня еще своих червячков и хризалид! Может быть, там что-нибудь во что-нибудь превратилось или что-нибудь вывелось. Я помнил также, что для завтрашнего экзамена мне надобно прочесть одну тетрадку. Мне самому не хотелось расстаться в эту минуту с Панаевыми и (надобно признаться) с пойманным мною Кавалером. Я примирил все обстоятельства тем, что обещал в полчаса осмотреть своих червячков и хризалид, пообедать и, захватив тетрадку с собою, воротиться к ним. Не один раз дружеские голоса товарищей заставляли меня повторить обещание, что через час я буду с ними. Как весело сел я на дрожки и поехал в свой уединенный флигелек!

Пословица говорит: «Пришла беда — отворяй ворота», — что, к сожалению, нередко и случается; но зато часто бывает и наоборот: вслед за одной радостью скоро наступает другая. Воротясь домой, только что я раскрыл ящик с хризалидами, как представилась мне прелестная сумеречная бабочка, самой крупной породы, выведшаяся, вероятно, еще ночью, потому что крылушки ее были совершенно расправлены. По Блуменбаху, я мог признать ее Крушинною (ligustri) сумеречною бабочкою, названною им так потому, что водится на растении крушине, испанском бузняке, но я ее не определяю и не называю положительно; верхние ее крылушки у Блуменбаха вовсе не описаны. Впоследствии я убедился, что очень красивая гусеница этой прекрасной бабочки живет преимущественно на крыжовнике и барбарисе. Крылья у ней — верхние темносерого цвета, с белыми пятнами или матово-белые с темными пятнами: я потому говорю *или,* что обоих цветов находится поровну, и я не знаю, который из них признать основным; нижние крылья — красные, как будто кровяные, с тремя черными перевязками; туловище также красное, с черными ободочками по всему брюшку, — это довольно верно описано и у Блуменбаха. После мы всегда звали эту очень красивую сумеречную бабочку Барбарисовою. Она довольно обыкновенна; но я до тех пор ее не видывал, и она показалась мне чудом красоты. Да и как было не обрадоваться первой сумеречной бабочке, выведшейся у меня из найденных мною хризалид! По величине и темному цвету куколки я считал ее ночною. Поздно, но весело сел я обедать. Евсеич прислуживал мне, по обыкновению. Я заметил, что давешняя, не совсем обыкновенная, улыбка не сходила с его губ. Он от времени до времени подтрунивал над моей охотой ловить бабочек и возиться с червями, от которых гадко воняет, и я от души забавлялся его тонкими намеками и сарказмами. Пообедав, я повез свою новорожденную сумеречную красавицу, со всеми предосторожностями, чтобы не помрачить первородного блеска чудных ее красок, к другу моему Панаеву. Он принял ее почти с такой же радостью, как и знаменитого Кавалера, и немедленно разложил. Она должна была придать новый блеск нашему собранию.

На другой же день, поутру, весь университет знал о наших новых необыкновенных приобретениях, и хотя все были более или менее заняты и озабочены продолжающимися экзаменами, но приняли живое участие в наших новых бабочках. Тимьянский был даже озадачен и смущен, особенно когда увидел их. «Ну уж счастливцы! — говорил он нам. — Для вас Кавалер и в Казань прилетел. Вот, смеялись над тобой, Аксаков, что ты возишься по пустякам с червями, а пойди-ко достань такую сумеречную Крушинную бабочку, совершенно свежую и не потертую!.. так нигде не достанешь!»

Университетские экзамены кончились, а гимназические еще оканчивались. Семеро студентов, в том числе и я, продолжали ходить в высший русский класс к Ибрагимову (прежде в гимназии у него был средний, а высший занимал Л. С. Левицкий) и должны были явиться на гимназический экзамен, назначенный последним, заключительным. Товарищи мои обижались этим, а я, напротив, был очень доволен. Гимназические экзамены вообще шли полнее, стройнее и соответственнее своему назначению. У Ибрагимова же русский экзамен был его блестящим торжеством: мы читали свои сочинения, говорили о старой и новой литературе и критически оценивали лучших наших писателей. Мое декламаторство также было употреблено в дело. Все, волею или неволею, осыпали похвалами Ибрагимова, обиженного тем, что его не сделали адъюнктом, и поздравляли с блестящими успехами его учеников. Никогда не забуду светящихся удовольствием татарских глаз и раздвинутого улыбкою до ушей большого рта незабвенного для меня Николая Мисаиловича Ибрагимова, воспоминание о котором всегда сливается в моей памяти с самыми отрадными и чистыми воспоминаниями юношеских учебных годов. «Благодарствуйте, Аксаков! — говорил он. — Мне всегда было приятно заниматься с вами, вы отблагодарили меня достойным образом». Я обнимал его, уверяя, что очень чувствую и никогда не забуду, как много ему обязан.

Наконец, все экзамены кончились. Надобно было ехать на летнюю вакацию: мне в Симбирскую губернию, в Старое Аксаково, где жило этот год мое семейство,

а Панаевым — в Тетюшский уезд Казанской губернии, где жила их мать и сестры. В первый раз случилось, что радостное время поездки на вакацию в деревню, к семейству, было смущено в душе моей посторонней заботой. По совету Фукса, бабочек мы оставляли в гимназической библиотеке под надзором ее смотрителя. Но что же было делать с моими гусеницами и хризалидами? Семь ящиков и три стеклянные банки нельзя было везти с собою в простой ямской кибитке; в одни сутки червяков бы затрясло, а хризалид оторвало с места и вообще все бы расстроилось [1], да и просто некуда было поместить эти громоздкие вещи; оставить же без призора мое воспитательное заведение — также было невозможно. Да и на кого же мог я положиться? В Казани оставался только мой кучер с лошадью. Кто мог заменить меня? Признаюсь также, что жаль мне было оторваться от этого постоянного наблюдения, попечения, забот и ожиданий, которые я уже привык устремлять на жизнь моих питомцев, беспрестанно ожидая новых превращений и, наконец, последнего, полного превращения в какую-нибудь неизвестную мне чудную бабочку. Но делать было нечего, и с этою мыслию я уже примирился. Оставалось только решить, кому поручить их. Я готов уже был избрать в попечители о моих гусеницах и хризалидах оставшегося жить в моем флигеле Александра Германа, который невольным образом уже присмотрелся к этому делу и не отказывался от него; но он был очень ветрен и неблагонадежен. Вдруг пришел мне в голову Тимьянский: ему не к кому, некуда было ехать, и он оставался вакацию в университете, как и многие другие. Почему не попросить его? По моему мнению, наше соперничество не мешало ему заняться моими гусеницами и хризалидами, к которым он, как натуралист, не мог быть совершенно равнодушен. Я не ошибся. Лишь только я заговорил о моем затруднительном положении, Тимьянский сейчас, искренно и добродушно, вызвался сам присмотреть за моими

---

[1] Так мы думали тогда, но ошибались: червяков в траве и листьях, и особенно хризалид в хлопчатой бумаге, можно везти безопасно.

питомцами. Я сказал Тимьянскому, что хотел просить его об этом и был заранее уверен, что он не откажется одолжить и успокоить товарища и что я сердечно ему благодарен. Точно гора свалилась у меня с плеч! Я знал, что целая комната возле нашего физического кабинета, то есть кабинета с физическими инструментами, находилась в его распоряжении для сушки бабочек и насекомых и даже аудитория, в которой читал Фукс и от которой он имел ключ: следовательно, ему было где разместиться; свежих же листьев и трав для корма червей он мог ежедневно доставать в саду, который находился при соседственном доме, купленном в казну для университета. Итак, поблагодарив еще раз от всей души доброго товарища за его радушную готовность принять на себя мои хлопоты и заботы, я сейчас же отправился к Панаеву, чтобы сообщить ему это приятное известие. Друг мой принял его не так, как я ожидал. Он был немножко недоверчив и даже подозрителен и хотя не предполагал никакого дурного намерения у Тимьянского, но не ожидал слишком усердного попечения об умножении и украшении нашего собрания бабочек. Впрочем, он соглашался, что в настоящем нашем положении — это самое лучшее, чего можно было желать. В тот же день мы с Панаевым бережно перевезли бабочек в библиотеку, а моих гусениц и хризалид в особую комнату возле физического кабинета, назначенную для кабинета натуральной истории, где и сдали их с рук на руки Тимьянскому и Кайсарову. Я убедительно просил и Кайсарова присматривать за моими питомниками, и он обещал, но, по своему обыкновению и нраву, обещал очень холодно, так, что я не полагал на него никакой надежды, в чем, однако, к большому моему удовольствию, совершенно ошибся. Кайсаров был как-то сух и необщителен. Я не знаю, был ли у него в целом университете не только друг, но короткий приятель; с Тимьянским тоже у него не было никакой близости; я удивился, когда он сделался его помощником в собирании бабочек и насекомых. При прощании Тимьянский сказал нам: «Послушайте, господа, я стану усердно смотреть за вашими червями и хризалидами, но ведь я за успех не ручаюсь. Легко быть может, что гусеницы и

хризалиды поколеют до своего превращения, так, чур, за это на меня не сердиться. Всех бабочек, которые выведутся, я разложу, как умею, высушу и сохраню... Да, кстати: сухие бабочки часто пропадают от моли, — это сказал мне Фукс и советовал напоить их туловище камфарою, то есть помазать и покапать на них с кисточки камфарным спиртом. Не худо вам сделать это сейчас с вашими бабочками, которых вы оставляете в библиотеке. Вот вам и кисточка и камфарный спирт». Такая заботливость убедила и друга моего Панаева в совершенном доброжелательстве Тимьянского. Мы с благодарностью воспользовались его предложением и сейчас побежали в библиотеку. Еще раз взглянули и простились с нашими чудесными бабочками, помазали камфарным спиртом, заперли ящики и ключики отдали, на всякий случай, Тимьянскому. Мы простились с ним дружески, искренно уверяя, что во всем на него полагаемся и, что бы ни случилось, за все будем благодарны. Простились также со всеми товарищами, остававшимися в университете, и, напутствуемые их добрыми желаниями, отправились домой, сначала к Панаевым, где я простился с другом моим Александром и с его братьями. Лошади у них были давно запряжены; ждали только возвращения Александра и уж побранивали нас, особенно меня, за возню с червями и хризалидами, — так нетерпеливо хотелось им ехать в деревню! Да и как не хотеть, как не рваться после десятимесячной школьной жизни, летом, из города, пыльного, душного и всегда чем-нибудь вонючего, в чистое, душистое поле, в тенистые леса, в прохладу, к семейству, на родину или по крайней мере туда, где прошли детские, незабвенные года. Панаевы при мне же уехали, поместившись все пятеро в старинной линейке, на присланных за ними своих лошадях. Александр сел с порядочным ящиком в руках, в котором находилось десятка два бабочек, собранных им из дубликатов: он вез их подарить сестрам, но двое меньших братьев, сидевших с ним рядом, громко возопияли на него, утверждая, что от ящика им будет тесно... стук и дребезжанье старой линейки, тронувшейся с места, заглушили их детские голоса. Панаевы собирались и кормить и ночевать в поле; с ними были и удочки и даже

ружье, — мне стало грустно и завидно. На этот раз приказано мне было приехать на почтовых, в простой ямской повозке; а главное, я должен был ехать не в милое и дорогое мне, богатое водами, лугами, болотами и отдельными рощами Оренбургское Аксаково, а в скучное, безводное, кругом лесное, старое Симбирское Аксаково, где и дома порядочного не было.

Воротясь в свою квартиру, я нашел также все готовым к отъезду. Ямские лошади были запряжены, слабо подвязанный колокольчик позвякивал от каждого движения коренной, люди, одетые по-дорожному, с картузами в руках, ждали меня на крыльце... Покуда я переодевался также в дорожное легкое платье, мысль о близком свидании с семейством, особенно с другом моим сестрицей, которая ждала меня с живейшим нетерпением, мелькнула в моей голове и радостно взволновала мое сердце, а запах дегтя и рогожи, которым пахнуло на меня от кибитки, мгновенно перенес меня в деревню, и стало легко и весело у меня на душе. Евсеич сел со мной в повозку. Иван Малыш вскочил на козлы, ямщик тряхнул вожжами, свистнул, и тройка полетела.

Когда мы выбрались из Казани и длинной городской слободы, которая называлась Мокрою, было уже не жарко, и великолепный летний вечер повеял прохладой на раскаленную землю. Стояла засуха, давно не было дождя. Я еще не испытывал настоящим образом удовольствия скорой почтовой езды, и когда ямщик, чтоб потешить молодого барина и заслужить на водку, пустил во весь опор, во весь дух свою лихую тройку, я почувствовал неизъяснимое и не известное мне, какое-то раздражающее наслаждение... Евсеич мой тоже очень был доволен. «Что, соколик, каково закатывает? — говорил он, улыбаясь. — А ведь лошадки-то, поглядеть, — дрянь! Да ты не боишься ли?» — продолжал он, видя, что я тяжело дышу и ничего не отвечаю. Мне ужасно стало досадно, но я переломил себя и ласково старался уверить моего дядьку, что, напротив, мне очень весело, что у меня сердце бьется от радости и как будто дух замирает. Это было совершенно справедливо, я говорил прерывающимся от волнения голосом. Я чувствовал такое нервное, невыразимо сладкое раздражение, такое

внутреннее стремление вперед, что желал бы сам полететь, как птица! Между тем опускался вечер. Длиннее и длиннее становились тени от скачущей повозки, лошадей, кучера и Ивана Малыша, который заливался русскою песнею. Тени бледнели постепенно и, наконец, смешались с потемневшей землей. Все это вместе сильно подействовало на меня, я чувствовал какое-то волнение и не умел понять, что со мною делается. Мне не захотелось пить чаю на станции, хотя Евсеич проворно разложил погребец, а Иван Малыш наложил дорожный самоварчик. Мой отказ от чаю очень смутил доброго дядьку. Прежде этого никогда не случалось, а здесь была особенная приманка: на столе стоял горшок густых, сморщившихся холодных сливок, которые я очень любил. Евсеич подумал, что я нездоров, стал приставать с расспросами, и для его успокоения я съел целую тарелку сливок с казанскими кренделями. Лошади были готовы, и мы опять поскакали. Обидная для меня мысль, что я напугался от скорой езды, не выходила из головы Евсеича; он не велел шибко ехать, чтоб ночью как-нибудь не опрокинуться, и ужасно надоел мне своими докучными расспросами и рассуждениями. Я закрыл глаза, хотя этого было и не нужно, потому что становилось темно, притворился спящим, даже всхрапывал, покуда не заснул сам наблюдавший меня мой попечительный дядька. Я, напротив, не спал долго и после восхождения солнца, и много новых ощущений и наслаждений доставила мне эта бессонная ночь с своей вечерней и утренней зарею. Не скоро и как-то нечаянно сон овладел мною, но зато я заснул уже так крепко, что не слыхал, как переменили лошадей на станции, и проснулся часов в девять утра, разбуженный громовым ударом. Опомнившись и оглядевшись, я увидел, что над нашими головами быстро неслось небольшое грозовое облако прямо к туче, которая синела, чернела, росла ежеминутно и заволокла уже полнеба с правой стороны и у которой один край был белесоват. Там уже рубил дождевой ливень; глухой, какой-то зловещий шум и свежая влажность неслась оттуда. «Никак, град? — сказал Евсеич. — Господи, спаси и помилуй! Последний хлебец выбьет у мужичков». — Казалось, туча шла

стороною; но вдруг поворотила и стала нагибать прямо на нас; крупные капли дождя зашлепали по пыльной дороге и по моей рогожной, также пыльной, кибитке. Люди засуетились, чтобы прикрыть меня и самим прикрыться. Евсеич велел ехать шагом, говоря, что в грозу скакать опасно. Скоро накрыла нас туча. Засверкали змеистые, ослепительные молнии, и мгновенно вслед за ними раздавались оглушительные громовые удары. Всякий раз казалось, что гром ударил возле нашей повозки. Сначала Евсеич, Иван Малыш и ямщик снимали шапки и крестились при блеске каждой молнии, но когда она сделалась почти беспрерывною, то и креститься перестали... Вдруг налетела буря с крупным частым градом и проливным дождем, и воздух превратился в белую водяную пыль. Должно признаться, что я не без страха смотрел на эту величественную, но грозную картину. Гнев стихий ужасен. В ту минуту он так могущественно проявлял свои разрушительные силы и ничтожность, беззащитность человеческой природы так явно изобличалась и чувствовалась мною, что я не мог оставаться спокойным; притом я в детстве был напуган громом и тогда еще не освободился от этого тяжелого впечатления. Признаюсь, чувство невыразимо отрадного спокойствия и радости разлилось в душе моей, когда удары грома начали становиться реже и отдаленнее. Туча провалила с полудня на запад, и уже голубое небо засверкало с правой стороны. Мы с Евсеичем уцелели, а Иван Малыш и ямщик были до костей промочены дождем. Но яркое летнее солнце уже спешило выкатиться на очищенное от туч небо и принялось сушить мокрого ямщика и Малыша, которые весело подсмеивались друг над другом. Нам показалось, что туча самой серединой прошла над нашими головами; но, подвигаясь, уже рысью, вперед, мы увидели, что там и дождь и град были гораздо сильнее, а громовые удары ближе и разрушительнее: лужи воды стояли на дороге, скошенные луговины были затоплены, как весною; крупный град еще не растаял и во многих местах, особенно по долочкам, лежал белыми полосами. Мы проезжали мимо хлебов, которые все были более или менее побиты градом, а некоторые десятины так вытолочены, как будто бы

долго пасли на них стадо мелкого скота; не только колосья — солома, казалось, была втоптана в грязь. Вдобавок ко всему в одной окольной деревне виднелись два столба дыма, означавшие, без сомнения, пожары от молнии, а в ближнем лесу дымилось несколько расколотых деревьев, зажженных тоже молнией. Этот ужасный след быстро промчавшейся грозы был особенно поразителен при ясном небе, тишине освеженного воздуха и ярком солнечном освещении. «Ну, вот где была настоящая-то гроза, — говорил Евсеич, — а нас, видно, туча только крылушком задела». Выбитые десятины хлеба возбуждали особенное участие в моих спутниках; ямщик сам был из той деревни, куда мы ехали, и знал даже, кому принадлежали эти десятины; как нарочно, хозяева их были бедные люди, и такая потеря окончательно разоряла их. Несколько времени все трое толковали о печальном событии, и в словах моего дядьки слышалась его искренняя, неподдельная доброта. «Ах, господи! — говорил он, — кабы я был богатый, вот и пособил бы им; а то что? убытку тут на сотни, на тысячи рублев, так копейками не поможешь». Мы скоро приехали на станцию и привезли печальное известие о хлебных полях. Никто не чаял такой беды: в деревне и граду не было, а слышали только шум. Между старухами и бабами поднялся вой и плач, и некоторые сейчас пошли в поля, чтобы собственными глазами удостовериться в своем несчастье. Евсеич признался мне потом, что отдал свои копейки одному самобеднейшему семейству.

На следующей станции мы переменили лошадей в таком селении, которое своими жителями произвело на меня необыкновенное впечатление: это были татары, перекрещенные в православное вероисповедание, как мне сказали, еще при царе Иване Васильевиче; и мужчины и женщины одевались и говорили по-русски; но на всей их наружности лежал отпечаток чего-то печального и сурового, чего-то потерянного, бесприютного и беспорядочного; и платье на них сидело как-то не так, и какая-то робость была видна во всех движениях; они жили очень бедно, тогда как вокруг и татарские, и русские, и мордовские, и чувашские деревни жили зажиточно. Мой дядька Евсеич знал прежде эту деревню и знал таких

же перекрещенцев в других деревнях. Он говорил мне, что они все на один лад и все бедны: от своего отстали, а к нашему не пристали; «так и маются, как какие-то Каины», — прибавил он в заключение. Слова его заставили меня очень задуматься. Я промешкал на станции лишних полчаса, стараясь внимательно вглядеться и разговориться с хозяевами. Я говорил также и с соседями их, со стариками и старухами, а также с мальчиками. Впрочем, в детях менее было заметно той грустной и неприятной особенности, которая лежала на всех взрослых: дети были живее и веселее. Тип татарской физиономии еще не истребился, но уже повыродился; никто не брил головы, но и длинных волос никто не носил; все казались какими-то сейчас остриженными, взятыми из крестьян в рекруты или на господский двор. Они отчасти понимали свое положение и считали невозможностью из него выйти. Между ними ходило предание, что праотцы их за какую-то вину должны были подвергнуться наказанию кнутом и ссылке в Сибирь в каторжную работу; что их простили за то, что они приняли русскую веру, и переселили на другие места; что Магомет их проклял и что потому они живут бедно. Все это произвело на меня тогда живое впечатление; но потом мне уже никогда не случалось бывать в деревне, населенной перекрещенцами, и я мало-помалу совершенно забыл об этих бедных и жалких людях; а любопытно было бы узнать: продолжается ли эта ужасная казнь над потомками за вероотступничество предков, совершенное без всякого убеждения, а из цели корыстной? или, наконец, смешавшись с русскими, с которыми вместе были поселены, эти невинные бедняки смягчили строгость нравственного правосудия своим долготерпением?

Далее по дороге не было и слуху о дожде и граде. Мы ехали очень скоро, и ночь застала нас уже в тридцати пяти верстах от Старого Аксакова. Я крепко заснул, не слыхал, как мы приехали, и, вероятно, проспал бы очень долго, если бы не разбудили меня ласки и поцелуи моей милой сестры. Проснувшись часов в шесть утра и узнав, что я приехал на заре и сплю в кибитке, она прибежала и разбудила меня. В доме почти все еще спали; я пошел в комнату моей сестрицы, кото-

рая немедленно сообщила мне, что наловила и собрала для меня много бабочек и червячков. Она знала из писем моих все подробности моего нового увлечения. В самом деле, червяки (многие даже не гусеницы) жили у ней в ящиках, в стеклянных банках и под опрокинутыми стаканами. Бабочки помещались на окне, которое не растворялось и с внутренней стороны было обтянуто кисеей. Эта выдумка была недурна, хотя имела ту невыгоду, что бабочки бились на стеклах и теряли свою цветную пыль; но другая выдумка была не так удачна: сестрица моя подняла фортепьянную доску, и под ней тоже были насажены разные бабочки; большая часть из них от духоты перемерли. Груды свежих трав, цветов и листьев у червей показывали заботу, с которою ухаживала за ними моя милая сестрица, хотя червяков она терпеть не могла и никогда не брала в руки. Осмотрев внимательно не ожиданное мною приобретение, я нашел несколько видов бабочек и гусениц мне не известных; много было мертвых и даже высохших, много было потертых бабочек, но довольно нашлось и таких, которых я сейчас принялся раскладывать, потому что дощечки, булавки и бумажки привез с собой. Я просил мою добрую сестру не смотреть на раскладку, говоря, что ей будет жалко; но она не хотела со мной расстаться, да и любопытно ей было поглядеть, как это делается; прижиганье на свечке заставило ее убежать, и она долго не могла равнодушно смотреть и на высушенных бабочек.

Между тем в доме все проснулись. Я не стану говорить об общей семейной радости и об особенной радости моей матери, которая видела во мне теперь настоящего студента, уже не мальчика, а молодого человека, живущего самобытною жизнию. Видела в то же время мою полную искренность и прежнюю чистоту нравов. Добрый мой отец также был очень мною доволен, и хотя он мне ничего такого не говорил, но я видел, с каким удовольствием он смотрел на меня, когда я с жаром описывал свою университетскую жизнь. Первые дни были посвящены разговорам и взаимным рассказам. Я услыхал много нового и в житейском, существенном отношении очень много важного и приятного. С своей стороны, я рассказал о своих новых и старых профессорах,

о новых предметах учения, о наших студентских спектаклях, о литературных занятиях и затеях на будущее время и, наконец, о моей страсти к собиранию бабочек и о пользе, которая может произойти для науки от подобных собираний. Потом съездили мы к друзьям нашим Миницким, к двоюродной сестре моей А. И. Веригиной, бывшей воспитаннице Н. И. Куроедовой, жившей теперь уже своим домом, в своей деревеньке; съездили и к другим соседям.

Когда все разъезды были кончены, деревенская жизнь с возможными по тамошней местности удовольствиями пошла по своей обыкновенной колее. Что и говорить — не было никакого сравнения между Старым и Новым Аксаковом! Там была река, огромный пруд, купанье, уженье и самая разнообразная стрельба, а здесь воды совсем почти не было, даже воду для питья привозили за две версты из родников; охота с ружьем, правда, была чудесная, но лесная, для меня еще не доступная, да и легавой собаки не было. Впрочем, отец возил меня несколько раз на охоту за выводками глухих тетеревов, которых тамошний охотник, крестьянин Егор Филатов, умел находить и поднимать без собаки; но все это было в лесу, и я не успевал поднять ружья, как все тетеревята разлетались в разные стороны, а отец мой и охотник Егор всякий раз, однако, умудрялись как-то убивать по нескольку штук; я же только один раз убил глухого тетеревенка, имевшего глупость сесть на дерево. Вальдшнепов было великое множество, но для них еще не наступила пора. Впрочем, Егор приносил иногда старых и молодых вальдшнепов: молодых он ловил руками, с помощью своей зверовой собаки, а как он ухитрялся убивать старых — я и теперь не знаю, потому что он в лёт стрелять не умел. Около моховых болот, окруженных лесом, жило множество бекасов, старых и молодых; но я решительно не умел их стрелять, да и болотные берега озер под ногами так тряслись и опускались, «ходенем ходили», как говорили крестьяне, что я, по непривычке, и ходить там боялся. Езжали мы иногда в лес, целой семьей, за ягодами, за грибами, за орехами; но эти поездки мало меня привлекали. Итак, поневоле единственным моим наслаждением было собирание ба-

бочек; на него-то устремил я все свое внимание и деятельность. Бабочек, по счастию, в Старом Аксакове оказалось очень много, и самых разнообразных пород; особенно же было много бабочек ночных и сумеречных. Гусениц попадалось уже мало, да я и не занимался ими, потому что выводиться было им уже некогда или поздно: наступал август месяц. При первых моих поисках и в старом плодовитом саду, и на поникшей речке Майне, и около маленьких родничков, которые кое-где просачивались по старому руслу реки, и на полянах между лесами я встретил не только бабочек, водившихся в окрестностях Казани, но много таких, о которых я не имел понятия. Сумеречных бабочек я караулил всегда в сумерки или отыскивал в лесном сумраке, даже среди дня, где они, не чувствуя яркого солнечного света, перепархивали с места на место. Ночных же бабочек, кроме отыскивания их днем в дуплах дерев или в расщелинах заборов и старых строений, я добывал ночью, приманивая их на огонь. Я сделал себе маленький фонарь и привязывал его на вершину смородинного или барбарисового куста, или на синель, или невысокую яблонь. Привлеченные светом бабочки прилетали и кружились около моего фонаря, а я, стоя неподвижно возле него с готовой рампеткой, подхватывал их на лету. В непродолжительном времени я поймал около двадцати новых экземпляров; трудно было определить их названия по Блуменбаху, как мы ни хлопотали над ним вместе с сестрой. Не ручаюсь даже за точность имен, принятых мною по некоторым признакам и сходству в описании. Я заимствовал их из нашего немецкого руководителя, и они казались мне тогда верными. Расскажу о самых замечательных бабочках по порядку, как они мне доставались. Первая бабочка, пойманная мною, должна принадлежать к породе не настоящих сумеречных бабочек, потому что признаки в ней были смешанные. Мне казалось, что ее можно отнести к одному из многочисленных видов моли, принадлежащих к породе ночных бабочек; но в описанных у Блуменбаха ее нет, да она и крупна для пород моли. Это была бабочка несколько менее средних, но и не маленькая; крылушки у ней круглые, как снег белые, покрытые длинным пухом,

который на голове, спинке и брюшке еще длиннее; на этом белом пуху ярко выдаются черные, как уголь, глазки, такого же цвета длинный волосяной хоботок, толстые усики и ножки [1]. Когда я увидел ее в первый раз, тихо вьющуюся около какого-то дерева в лесу, то опускающуюся, то поднимающуюся, я подумал, что это летает пух в душном, недоступном продольному ветерку лесном воздухе. Но когда в другой раз увидел я эту точно косматую пушинку, прильнувшую к древесному листку, тогда, подойдя поближе, к великой моей радости, я разглядел, что это бабочка. Много предстояло мне хлопот. Много надо было ловкости, чтобы ее поймать и разложить, не помявши и не потерши ее пушистых крылушек. Вторую бабочку поймал я и назвал, по Блуменбаху, Иперант (Hyperanthus). Она принадлежала по величине к породе средних бабочек; на всех ее четырех темносизых, вырезных, угольчатых крыльях находятся беленькие точки, а на изнанке нижних крыльев по три светлых очка или кружочка; она была довольно красива, или, правильнее сказать, необыкновенна. Потом поймал я Атропу, или Мертвую Голову; в ее названии ошибиться нельзя — признак слишком очевиден: возле самой ее головки, на спинке, находится нечто похожее на человеческий череп и две кости, сложенные под ним крестообразно. Верхние крылья у нее светлобурые, а задние — желтые с двумя черными поперечными полосами; брюшко желтое с черными перевязками. Хотя она показана у Блуменбаха в числе сумеречных бабочек, но мы признавали ее за ночную, по величине ее крыльев и толщине туловища [2]. Очень была красива узором и замечательна относительной величиной своей Настоящая сумеречная бабочка, у которой крылушки верхние и нижние были совершенно клетчатые: кофейные клеточки лежали по белому полю. Маленькие в этом роде бабочки попадались часто, но такой величины я никогда уже не встречал. Она ночью залетела в комнату моей сестры

[1] Н. П. В. полагает вероятным, что это была Ивовая сумеречная бабочка (Liparis Salicis).

[2] Очевидно, что мы ошибались: в числе ночных бабочек находятся самые мелкие породы моли.

и уселась очень низко в углу. Я заметил ее поутру и подумал, что это лоскуточек клетчатого ситца или кисеи пристал как-нибудь к стене, — и боже мой, как обрадовался, когда разглядел, что это бабочка. У Блуменбаха ее вовсе нет. Была также у меня очень большая ночная бабочка, вся светлобурая, у которой на крыльях лежала диагональная полоса беловато-розового цвета, так что когда я разложил ее и поднял верх длинноватые и угловатые ее крылья, то конец перевязки на верхнем сошелся с началом перевязки на нижнем крыле и они составили бы треугольник, если бы продолжить их сходящиеся концы. У Блуменбаха есть некоторое сходство с нею в описании Огородной ночной бабочки. Впрочем, сходство это ограничивается только перевязкою, похожею на треугольник. Но самыми драгоценными приобретениями, из которых каждое в свою очередь привело меня в восторг, были две бабочки: Кавалер Махаон и Большой Павлин. Вот каким образом достались мне эти сокровища. Шел я однажды по иссохшему руслу речки Майны и увидел в небольшом углублении, вероятно высохшего от жаров родничка, дно которого было еще мокровато, целую кучу белых простых капустных бабочек. Многие из них лежали уже мертвые или умирали, другие сидели в кучке, сложив свои крылья, ползали, но уже не летали, остальные вились над ними. Подобные явления для меня были не новость. Я видел, как некоторые породы бабочек, как, например, белые маленькие, голубые и маленькие же светлокоричневые с точками на задних крыльях, собираются в кучи, чтобы вместе умирать[1]. Я подошел, однако, из любопытства, потому что подобные необъяснимые явления всегда любопытны. Вдруг вижу, что в числе сидящих и ползающих сидит одна большая

---

[1] Такая необъяснимая особенность замечается и в других породах животных: я читал, что слоны имеют общее кладбище. Во время же мора на зайцев, я сам нахаживал до десятка заячьих трупов, иногда на одной небольшой полянке. Вот как объясняет это явление г. Вагнер: «Бабочки собираются около лужиц, сырых мест по дорогам и пьют воду. Многие из них прилетают после акта оплодотворения, за которым у самцов непосредственно следует смерть. Эти-то самцы (а иногда и самки, уже положившие яйца), мучимые жаждою, слетаются к лужам и оканчивают здесь свою жизнь».

желтая бабочка. Я наклонился ее рассмотреть и пришел в такой восторг, который трудно передать моим читателям. Эта бабочка была Кавалер, и не Подалириус, потому что широкие сверху и узенькие внизу поперечные черные полосы ясно изображались и на исподней стороне ее верхних крыльев, чего совсем нет у Подалириуса, да и концы шпор были совершенно другие. Итак, это Кавалер Махаон!.. Необычайность такого счастия отуманила меня... Как бы для полного моего удостоверения, бабочка раскрыла свои крылья, проползла вершка два и опять плотно сложила их. По рисункам и по одному экземпляру у Фукса я знал хорошо отличительные особенности Махаона, и у меня не осталось сомнения, что это он. Я накрыл его поспешно рампеткой и, успокоившись от волнения, вздохнув свободнее, стал думать, как бы взять бережнее мою драгоценную добычу. Сначала я старался спугнуть бабочку, чтоб она взлетела и чтоб я мог завернуть ее в мешочке рампетки; но она не двигалась с места. Тут я догадался, что она находится в таком же полусонном или болезненном предсмертном состоянии, как и окружавшие ее белые бабочки; я подпустил правую руку под рампетку, преспокойно взял двумя пальцами Кавалера за грудку, сжал и, не выпуская из рук, поспешил домой. Раскладывая Махаона, я, к моему огорчению, увидел, что верхняя сторона левого нижнего крыла была потерта. Вообще при внимательном рассмотрении можно было заметить, что бабочка уже много жила и много потеряла цветной своей пыли, следовательно, потеряла яркость и свежесть своих красок, точно полиняла. Но, несмотря на эти недостатки, Кавалер Махаон мог назваться драгоценной добычей.

Здесь я считаю кстати объяснить недоразумение, в котором мы находились тогда относительно обоих Кавалеров, то есть Подалириуса и Махаона.

Имея в руках Блуменбаха, Озерецковского и Раффа (двое последних тогда были известны мне и другим студентам, охотникам до натуральной истории), имея в настоящую минуту перед глазами высушенных, нарисованных Кавалеров, рассмотрев все это с особенным вниманием, я увидел странную ошибку: Махаона мы называли Подалириусом, а Подалириуса — Махаоном. Правда,

что с первого взгляда они несколько похожи друг на друга; но не сходство этих бабочек, а профессор Фукс ввел нас в это заблуждение. Он назвал Махаона Подалириусом, а мы, положась на его слова, уже невнимательно прочли описание Блуменбаха, Озерецковского и Раффа. Итак, первые Кавалеры, пойманные Тимьянским и мною, были Махаоны. Вот описание последнего с натуры, по возможности подробное и точное. Махаон принадлежит к числу крупных наших бабочек; крылья имеет не круглые, а довольно длинные и остроконечные, по желтому основанию испещренные черными пятнами, жилками и клетками; передние крылья перевиты по верхнему краю тремя черными короткими перевязками, а по краю боковому, на черной широкой кайме, лежат отдельно, в виде оторочки, желтые полукружочки, числом восемь; к туловищу, в корнях крыльев, примыкают черные углы в полпальца шириною; везде по желтому полю рассыпаны черные жилки, и все черные места как будто посыпаны слегка желтоватою пылью. Нижние крылья овально-кругловаты, по краям вырезаны городками или фестончиками, отороченными черною каймою, с шестью желтыми полукружочками, более крупными, чем на верхних крыльях; непосредственно за ними следуют черные, широкие дугообразные полосы, также с шестью, но уже синими кружками, не ясно отделяющимися; седьмой кружок, самый нижний, красно-бурого цвета, с белым оттенком кверху; после второго желтого полукружочка снизу или как будто из него идут длинные черные хвостики, называемые шпорами, на которые они очень похожи. Подалириус же — цветом также желтый, но гораздо бледнее, с черными пестринами; на верхних своих крыльях имеет широкие, сначала черные перевязки, идущие с верхнего края до нижнего, но внизу оканчивающиеся уже узенькой ниточкой; на нижних крыльях у Подалириуса лежат кровавые небольшие ободочки с синей середкой; синею же каймою оторочены нижние крылья с наружного края; шпоры имеет такие же длинные и черные, с желтыми оконечностями. Вообще Подалириус в объеме у́же Махаона. Для меня он даже красивее.

Ночная бабочка Павлин, редкой величины и красоты, залетела ко мне сама. Недели за две до моего

отъезда были у нас гости. Часов в девять вечера все сидели в гостиной около самовара и пили чай; моя мать сама его разливала. Вечера становились уже прохладны, но окны были открыты; четыре свечи горели в комнате. Взглянув нечаянно вверх, я увидел на самом потолке мелькающую тень от чего-то летающего. Я сейчас подумал, что это летучая мышь: их водилось там очень много, и они часто по вечерам влетали на огонь в горницы. Мать моя имела к ним непреодолимое отвращение, и я хотел уже сказать, чтобы она вышла, покуда мы выгоним незванную гостью. Но, вглядевшись попристальнее, я заметил, что это была не летучая мышь, а бабочка, бабочка огромная и непременно ночная. Я поднял страшный крик и бросился затворять двери и окна. Все были испуганы, мать осердилась и начала бранить меня; но когда я, задыхаясь от волнения, указывая вверх рукою, умоляющим голосом выговорил: «Бабочка, огромнейшая, чудеснейшая бабочка! позвольте мне ее поймать»... — все расхохотались, и мать, знавшая мою безумную страсть, не могла не улыбнуться; она позволила мне поймать залетевшую к нам бабочку, *огромнейшую и чудеснейшую*, по моим словам. Но это было не так легко сделать. Она летала под самым потолком и садилась иногда отдыхать на карнизе. Я сбегал за самой длинной рампеткой, поставил на стол стул и вскарабкался на него. Мать ушла с гостями в залу, чтобы я мог возиться на просторе, а сестра и отец остались помогать мне. Отец придерживал стул, на котором я стоял, а сестрица влезла на стол и, держа в руках две горящие свечи (остальные две мы потушили), вытянув руки вверх и стоя на цыпочках, светила мне и приманивала бабочку на огонь. Распоряжения мои увенчались успехом: бабочка стала кружиться около меня, и я скоро поймал ее. Это была бабочка Большой Павлин, немного поменьше летучей мыши. Не берусь описывать, до какой степени я ей обрадовался и как я был счастлив тогда! Об огромном Павлине, как о великой редкости, наслышался я от Фукса; без всякого сомнения, это была та самая бабочка. У Блуменбаха описание ее совершенно недостаточно, а в отношении к образованию крыльев вовсе не верно. Вот его описание: «Ночная бабочка Павлин

(Pavonia) с гребенчатыми усиками, безъязычная, у коей крылья округленные, серовато-мутные, с некоторыми (?) повязками, а на них несколько прозрачный глазок». Пойманная же мною бабочка, признанная впоследствии за настоящего Большого Павлина [1] и профессором Фуксом, имела крылья не округленные, а несколько продолговатые и по краям с меленькими, чуть заметными вырезками. Пожалуй, можно их назвать серовато-мутными, но это не дает настоящего понятия о цвете ее крыльев; они были прекрасного пепельного цвета с темноватыми и беловатыми по краям полосками, или струями, с оттенками и переливами такого красивого узора, что можно было на них заглядеться. Нижние крылья были также хороши, но какого-то мутного, пепельного цвета, на всех четырех крыльях находилось по большому кружку, или глазку, блиставшему цветом павлиньих перьев, то есть глазков, находящихся на длинных перьях в хвосте самца павлина, отчего, вероятно, и бабочка названа Павлином. Испод крыльев просто серый, с белыми жилками, но глазки обозначались и там очень красиво, хотя не так ярко, с примесью бледнопунцового цвета, которого на верхней стороне совсем не видно. Хотя лучше было разложить прелестную бабочку при дневном свете, но я побоялся отложить эту операцию по двум причинам: если Павлин умрет от сжатия грудки, то может высохнуть к утру [2]; если же отдохнет, то станет биться и может стереть цветную пыль с своих крыльев. Итак, я решился разложить ее сейчас, зажег несколько свеч и в присутствии всех гостей и моего отца, смотревших с любопытством на мою работу, благополучно разложил чудесного Павлина.

Само собою разумеется, что у меня давно уже был сделан прекрасный ящик со стеклом, оклеенный внутри белою бумагою, с мягким липовым дном для удобного втыкания булавок с бабочками. Мало-помалу ящик наполнился поистине прекрасными и даже редкими экземплярами бабочек; но теперь предстоял вопрос: как его

---

[1] Бабочек Павлинов находится три рода: большой, средний и малый.

[2] Мы тогда не знали, что можно раскладывать и сухих бабочек, размачивая их над сырым песком в закрытом сосуде.

довезти до Казани на почтовых, в ямской кибитке? Булавки могут повыскакать от тряски, и тогда один вывалившийся экземпляр перепортит множество других. Оставалось одно средство: во всю дорогу держать ящик в руках; езды было всего сутки, можно ночку и не поспать!

Тридцатого августа утром я уже скакал по казанской дороге, именно с ящиком в руках. На каждой станции я пробовал, крепко ли держатся булавки. Бодро не спал всю ночь, и только на другой день поутру уступил просьбам моего Евсеича, который, вызвавшись подержать моих бабочек, уговорил меня «соснуть часок-другой». К обеду приехал я благополучно в Казань, на свою квартиру. Панаевы еще не приезжали. Я немедленно отправился в университет, разумеется с ящиком бабочек. Я нашел Тимьянского выздоравливающим от болезни. Он, бедный, прохворал почти все лето лихорадкой. Наши бабочки, хранившиеся в библиотеке, и хризалиды и гусеницы находились в совершенном порядке; во все это время неусыпно смотрел за ними Кайсаров, — я не знал, как и благодарить его! Почти все червяки превратились в хризалиды, а остальные померли; многие из прежних хризалид превратились в бабочек; замечательных не оказалось, но все до одной были разложены. Мое деревенское собрание бабочек привело в восхищение Тимьянского, Кайсарова и других студентов, принимавших более или менее участие в этом деле. Почти все студенты, уезжавшие на вакацию, воротились к 15 августа, потому что 16-го начинались лекции. Собрание насекомых Тимьянского мало приобрело нового со времени моего отъезда сколько от его болезни, столько и от того, что ближайшие окрестности Казани не представляли особенных удобств к добыванию новых, разнообразных и редких насекомых. Что же касается бабочек, то не оставалось никакого сомнения, что наше с Панаевым собрание, не принимая в расчет того, что привезет мой товарищ, было несравненно лучше собрания Тимьянского. С мучительным нетерпением ожидал я возвращения друга моего Александра. Что-то удалось поймать ему? И что скажет он, взглянув на моих бабочек? Я беспрестанно посылал узнавать, не приехали ли Панаевы, и сам не-

сколько раз ездил осведомляться о том же. Наконец, 15 августа, вечером, прислали сказать мне из дому Панаевых, что «молодые господа сейчас приехали», — и через несколько минут я был уже на Черном Озере. Ящик с бабочками, конечно, был со мною; но я завязал его платком, чтоб показать вдруг с большим эффектом тогда уже, когда общее внимание будет устремлено без помехи на мои драгоценные приобретения. После первых радостных объятий и восклицаний мы оба с Александром в один голос спросили друг друга: «Ну, что же ты привез?» Я отвечал многозначительно, что «привез кое-что, чем он будет доволен». Панаев отвечал в таком же роде с самодовольною улыбкой; но братья его не вытерпели, и все четверо вдруг начали рассказывать и хвалиться своими бабочками, прибавляя, что у меня, «конечно, ничего подобного нет». — «Ну, так показывайте», — сказал я. «Нет, покажи наперед ты!» — возразил Панаев. В таких перекорах прошло несколько минут. Наконец, я уступил и открыл свой ящик. Панаевы были поражены, уничтожены; Александр в радости бросился меня обнимать. Махаона, то есть Подалириуса, и Павлина никто не ожидал. «Ну, — сказал Александр Панаев, рассмотрев внимательнее моих бабочек, — после этого наших нечего и показывать! Да и как ты стал хорошо раскладывать, не хуже меня!» — прибавил он. Но это было несправедливо. Я стал лучше прежнего раскладывать — это правда; до Панаева же мне было далеко. После он разглядел, да я и сам указал ему многие мои грехи, происшедшие от неловкости и нетерпения. Наконец, Александр принес свой ящик. Цельность экземпляров, красота и чистота раскладки поистине были изумительны; но, конечно, таких редких бабочек, как Махаон и Павлин, у него не было. Он привез около двух десятков новых экземпляров и несколько дубликатов прежним нашим бабочкам в превосходнейшем виде. Лучшие бабочки его были следующие: денная бабочка, которую мы признали за Полихлора (Polichloros), по Блуменбаху, значительной величины; она имела крылья угловатые, желто-красные, с черными пятнами; на верхних крыльях сверху находились четыре черные крупные точки, идущие от конца крылушка к туловищу. Она имела некоторое сходство

с крапивной бабочкой. Другая денная бабочка, которую с грехом пополам мы назвали Пафия, тоже по Блуменбаху, была средней величины, крылья имела зубчатые, оранжево-желтые, с темносиними блестящими пятнами. Это была бабочка необыкновенной красоты, но «с исподи на крыльях серебряных поперек черт», как пишет Блуменбах, никаких не оказалось. Впрочем, это могло происходить от случайной причины. Из ночных замечательными можно было назвать двух бабочек: одна из них, Антиква, довольно большая, имевшая крылья очень плоские, *хорошего*, то есть яркого темнокрасного цвета; на передних или верхних ее крыльях, у заднего угла, находилось по белой лунке, или пятну. Другая ночная бабочка, признанная всеми за Смородинную Геометру (Grossulariata), имела крылья белесоватые, испещренные кругловатыми черными пятнушками; на передних крыльях были заметны желтые черточки или желтые оторочки черных крапинок. Особенно были хороши у Панаева средней величины сумеречные бабочки. Первую из них признали мы, по Блуменбаху, за Сфинкса (Celerio); у ней были верхние серые или дымчатые крылья с продольною чертою, или, лучше сказать, двумя чертами, вместе соединенными; одна половина черты была черная, а другая белая, задние крылушки к корню, или туловищу, были красные, каждое с шестью точками или пятнушками. Про нее сказано у Блуменбаха, что она водится на винограде; но там, где его нет, вероятно она водится по другим кустарникам или растениям [1]. Вторую же сумеречную бабочку можно назвать Собачья Голова (Stellatarum), по необыкновенно бородастой груди, мохнатому брюшку и задним красновато-желтым крылушкам; верхние же крылья не сходны с описанием Блуменбаха: они не белые и черные, как он говорит, а самого простого серого цвета, как у всех обыкновенных свечных, ночных бабочек. Остальных сумеречных, тоже очень красивых, не часто попадающихся бабочек, пойманных Панаевым, мы определить и назвать не могли.

---

[1] Бабочка эта, то есть Сфинкс, Celerio, не водится в России, по словам г. Вагнера. Итак, надобно предположить, что мы приняли за нее какого-нибудь другого Сфинкса.

Когда мы соединили наши четыре ящика и привели их в надлежащий порядок, то есть расположили бабочек по родам, выставили нумера, составили регистр с названиями и описаниями, то поистине наше собрание можно было назвать превосходным во многих отношениях, хотя, конечно, не полным. Все студенты соглашались беспрекословно, и уже не было никакого спора, чье собрание лучше, наше или Тимьянского. Можно сказать, что мы с Панаевым торжествовали.

Между тем начались лекции, и я, чувствуя себя несколько отставшим, потому что с самой весны слишком много занимался бабочками, принялся с жаром догонять моих товарищей. Панаев тоже. Через неделю, однако, мы решились с ним, по старой привычке и не остывшей еще охоте, выйти за город, чтобы посмотреть, не попадется ли нам какая-нибудь новая, неизвестная порода бабочек. Но не только не попалось нам новой, даже известных бабочек встретилось мало, потому что наступил уже конец августа и погода очень похолодела. С этого дня прекратились наши походы за бабочками, и прекратились навсегда! Пришла суровая осень, и все свободное время от учебных занятий мы посвятили литературе, с великим жаром издавая письменный журнал, под названием: «Журнал наших занятий». Я же, сверх того, сильно увлекся театром. У нас в университете составились спектакли, которые упрочили мою актерскую славу. Бабочки отошли сначала на второй план, но мы с Панаевым еще каждый день смотрели их, любовались ими, вспоминали с удовольствием, как доставались нам лучшие из них и как мы были тогда счастливы. Потом эти воспоминания день ото дня становились реже и бледнее. Бабочки забывались понемногу, и страсть ловить и собирать их начала казаться нам слишком молодым или детским увлечением. Так казалось особенно мне, который был привязан к этой охоте несравненно горячее и страстнее Панаева.

В непродолжительном времени судьба моя была решена моим отцом и матерью: через несколько месяцев, в начале 1807 года, я должен был выйти из университета для поступления в статскую службу в Петербурге.

В университете в это время царствовал воинственный дух. Большая часть казенных студентов желала, хотя безнадежно, вступить в военную службу, чтоб принять личное и деятельное участие в войне с Наполеоном. Друг мой Александр Панаев с братом своим Иваном, нашим университетским лириком, также воспламенились бранным жаром и решились выйти немедленно из университета и определиться в кавалерию. Они ожидали согласия матери. Воинственному настроению в Казанском университете была особенная причина, кроме любви к отчизне и любви к народной славе. Между казенными студентами была одна необыкновенная личность, Петр Семеныч Балясников. Он был отличный студент по математике; пылкий, неустрашимый, предприимчивый и в то же время человек с железной волей — он бы наделал много славного, если бы смерть не пресекла рановременно его жизни. При переправе Наполеона через Березину Балясников был уже полковником и командовал батареей конной артиллерии; он простудился и умер горячкой. Этот-то Балясников, всегда имевший сильное влияние на своих товарищей, воспламенял теперь всех воинским жаром. Он увлек даже и тех, которые, повидимому, не имели и, по своему слабому здоровью и мирному настроению духа, не могли иметь никакого расположения к военной службе. Никто, конечно, не думал, чтобы маленький, тщедушный Михайло Фомин, студент необыкновенно умный, дельный, тихий, преимущественно занимавшийся литературою, или дорогой мой товарищ по театру, необыкновенный комический талант, тоже худощавый и кроткий по своим наклонностям, Петр Зыков — пошли в военную службу! Но именно так случилось на деле. Тимьянский и Кайсаров остались, однако, верными своему ученому назначению.

Прежде поступления на службу в Петербурге мне предстояло еще встретить весну в деревне, в моем любимом Аксакове. Прилет птицы приводил меня в восторг при одном воспоминании о той весне, которую я провел там, будучи еще восьмилетним мальчиком; но теперь, когда я мог встретить весну с ружьем в руках, прилет птицы казался мне таким желанным и блаженным временем, что дай только бог терпенья дожить до

него и сил — пережить его. При таком настроении не было уже места бабочкам в мечтах и желаниях, кипевших в то время в моей голове и душе. Сначала я подарил свою половину бабочек Панаеву. Панаев же подарил мне прекрасные рисунки лучших из них, снятые им с натуры с большим искусством и точностью; а как потом Панаев задумал в военную службу, то мы отдали бабочек в вечное и потомственное владение Тимьянскому. Остались ли они его собственностью, или он пожертвовал их в университетский кабинет натуральной истории — ничего не знаю.

Быстро, но горячо прошла по душе моей страсть — иначе я не могу назвать ее — ловить и собирать бабочек. Она доходила до излишеств, до крайностей, до смешного; может быть, на несколько месяцев она помешала мне внимательно слушать лекции... но нужды нет! Я не жалею об этом. Всякое бескорыстное стремление, напряжение сил душевных нравственно полезно человеку. На всю жизнь осталось у меня отрадное воспоминание этого времени, многих счастливых, блаженных часов. Ловля бабочек происходила под открытым небом, она была обстановлена разнообразными явлениями, красотами, чудесами природы. Горы, леса и луга, по которым бродил я с рампеткою, вечера, когда я подкарауливал сумеречных бабочек, и ночи, когда на огонь приманивал я бабочек ночных, как будто не замечались мною: все внимание, казалось, было устремлено на драгоценную добычу; но природа, незаметно для меня самого, отражалась на душе моей вечными красотами своими, а такие впечатления, ярко и стройно возникающие впоследствии, — благодатны, и воспоминание о них вызывает отрадное чувство из глубины души человеческой.

Москва, Петровский парк,
1858 год, 21 июля

ВСТРЕЧА С МАРТИНИСТАМИ

(Воспоминание из петербургской жизни)

В 1808 году на Мойке, набережная которой тогда отделывалась, или, скорее, переделывалась и украшалась новой узорной чугунной решеткой, неподалеку от запасных хлебных магазинов и конногвардейских казарм, находился каменный дом старинной петербургской архитектуры. Дом этот принадлежал некогда, как я после узнал, Ломоносову и потом как-то приобретен был казною. В настоящее время в нем помещался с своим семейством начальник хлебных запасных магазинов, действительный статский советник и кавалер Владимира 3-й степени, Василий Васильич... назовем его: Рубановский. Это была его казенная квартира с отоплением и освещением, которая давала ему возможность, при небольшом жалованье, кое-как существовать в Петербурге. Конечно, место Рубановского было не безвыгодное, потому что хлеб отпускался *недостаточным людям* по такой цене, которая была вдвое и даже втрое ниже рыночной; и хотя для получения хлеба по дешевой цене надобно было представить свидетельство от полиции в *недостаточности* состояния, но кому не известно, что при добром расположении главного начальника хлебной конторы легко можно было приобресть и доброе расположение частного пристава. При таком мирном согласии властей добрые люди, получавшие дешевый хлеб, конечно,

не остались бы неблагодарными. Но статской Енерал (как его звал народ), или Генерал-Куль (как называло его одно высшее лицо), старик Рубановский, фанатик бескорыстия, сам почти нищий, был честности неподкупной, убеждений непреоборимых, и у него нельзя было спекулировать во имя недостаточности состояния. Рубановский, человек религиозный до мистицизма, злой мартинист, как его звали в обществе, во всю свою жизнь, с суровой строгостью и с тягостною для всех точностью, свято исполнял долг суда и правды на поприще своей разнообразной и долговременной служебной деятельности. Добившись до порядочного чина, он служил и у *города Архангельска* председателем казенной палаты, а впоследствии и в Оренбургском крае, тоже председателем какой-то палаты. В Уфе, как и везде, был он одним и тем же чиновником непреклонной, неумолимой честности. Именно в Уфе он познакомился с моим отцом и матерью, и это был единственный дом или семейство, с которым Рубановский постоянно находился в дружеских отношениях. Он был нелюбим в обществе, ненавидим своими подчиненными; да, признаться, мудрено было его и любить, но не уважать его было невозможно: будучи всегда чист в своих действиях, независим по своему бескорыстию и умеренности, он не стеснялся в своих речах законами лицемерного приличия, не держал на привязи своего языка и, когда считал это справедливым, не щадил никого. Его боялись как огня и никогда не заводили с ним ни ссор, ни споров; от него молча отходили прочь, но зато неутомимо действовали против него тайно, как против беспокойного чиновника и злонравного человека. Вследствие таких происков Рубановский никогда не засиживался долго на одном месте; через каждые два, три года его *переводили*, и вот, наконец, перевели из Уфы в Петербург, где уже он оставался довольно долго на службе, до выслуги пенсии, и то благодаря покровительству мартинистов.

Когда в 1808 году привезли меня в Петербург, для определения на службу, то на другой или на третий день нашего приезда меня послали с визитами: к бывшему наставнику моему, Г. И. Карташевскому, к крестному моему отцу, Д. Б. Мертваго, и к Рубановским. Последних

я вовсе не знал, или, лучше сказать, не помнил, потому что был слишком мал, когда они уехали из Уфы, но я наслышался об них как об самых добродетельных и честных людях. Семейство Рубановских произвело, однако, на меня неприятное впечатление. Старик был огромного роста, сухощав, но атлетического, мускулезного сложения; глаза его выражали суровую строгость; лицо он имел необыкновенно длинное и бледное, с выдавшимся вперед подбородком; передние зубы, точно клыки, высовывались, когда он говорил, особенно когда смеялся; но и в смехе его не было ничего веселого и добродушного. Он просто показался мне страшен. Жена его, Анна Ивановна, была совершенная ему противуположность: маленькая ростом и худенькая, как скелет; лицо же ее светилось какою-то восковою прозрачностью. У старика я заметил довольно большую косу, обвитую черною лентою. Я помнил, что во время моего детства носили косы, помнил, что у моего отца коса была с лишком в аршин длиною, и помнил, как он приказал ее отрезать, уступив духу времени и просьбам моей матери; но с тех пор я ничего подобного не встречал, — и коса Рубановского, которая беспрестанно шевелилась и двигалась, сообразно движению его головы, привлекала мое внимание, и я не мог отвести от нее глаз; старик это заметил и сурово посмотрел на меня. Анна Ивановна была одета, как мне показалось, в какое-то фантастическое платье. Особенно поразил меня убор ее головы: это был высокий, как тулья мужской шляпы, чепчик, посредине обвязанный шелковым платочком или широкой лентой, из-под которого висели кружевные крылушки. Узнав от меня, что я сын родителей, с которыми они некогда жили в дружбе, что я тот самый хворенький Сережа, которого они оставили двухлетним умирающим дитятей, хозяева приняли меня, по-своему, с радушием и ласкою. Мое превращение из ребенка в студента со шпагой и треугольной шляпой показалось им поразительным явлением, которому они долго и наивно удивлялись.

Когда я воротился домой и рассказал, какое впечатление произвели на меня Рубановские, рассказал, что я не мог у них долее оставаться, потому что в час они садились обедать, мне объяснили подробно, что за почтенные

оригиналы были эти люди. Мать смеялась и сама удивлялась, что не предупредила меня об этом; но она думала, что пятнадцатилетнее пребывание в Петербурге на таком важном, по ее мнению, месте заставило Рубановских, несмотря на природное упрямство, бросить свой странный костюм и свои архангелогородские обычаи. «Честь и слава характеру Анны Ивановны, — воскликнула мать. — Для женщины это великий подвиг». Тут рассказала мне она, что Анна Ивановна — архангельская уроженка, что в Уфе, да и везде она одевалась точно так, как одеваются женщины, живущие у города Архангельска, что она всегда заявляла намерение не изменять ни в чем своего костюма и никогда не обедать позже часа. Все это казалось в Петербурге невозможным, а теперь оказалось в точности исполненным. Тут я также узнал, что Рубановские испытали ужасную потерю: менее года, как они лишились старшей дочери, необыкновенной красавицы и умницы, которая была идолом своего семейства, как выражалась одна наша общая знакомая; она же рассказала нам, что родители перенесли эту потерю с необыкновенной твердостью, особенно отец, который, не выронив ни одной слезинки, с каким-то торжественным весельем хоронил свою любимицу, тогда как все присутствующие надрывались от слез.

На другой день поутру отец мой ездил к Рубановским, мать же по нездоровью оставалась дома. Старик Рубановский, особенно любивший мою мать и нетерпеливо желавший ее увидеть, в тот же вечер приехал к нам. После всего слышанного мною я смотрел уже на него с почтительным любопытством и вниманием, несмотря на неприятное впечатление первой встречи. Разговор немедленно обратился на понесенную стариками ужасную потерю. Мать с искренним и горячим участием просила рассказать ей все подробности этого несчастного события. Старик Рубановский как-то дико рассмеялся и сказал: «Я знал, сударыня, что вы по дружбе к нам захотите узнать все обстоятельства, сопровождавшие эту великую эпоху в нашей жизни; она во многом вразумила, во многом переменила нас. С первого дня болезни Александры Васильевны (так звали его умершую дочь и так всегда называл ее отец) я уже почувствовал волю божию,

понял, для чего нужно нам это испытание, — и покорился. Но в назидание другим, могущим впасть в подобное нашему, родительское, греховное ослепление, я стал записывать каждый день историю болезни моей дочери и ее христианскую кончину. Я привез прочесть вам эту записку: угодно выслушать?» Разумеется, мой отец и мать усердно об этом просили. Когда же хотели меня выслать, я попросил позволение также послушать, и старик Рубановский изъявил желание, чтобы я остался.

Ни один роман, ни одно стихотворение Державина, ни одна трагедия не производили на меня такого впечатления, какое произвело чтение этой записки. Я не думаю, чтобы она была написана хорошо в литературном отношении, но тут было не до красоты слога! Тут была правда, действительность, страстная родительская любовь, осужденная и пораженная гневом божиим, как выражался сам несчастный отец. Я не смею думать, чтобы я мог передать чувства, произведенные во мне этой запиской, чтение которой продолжалось часа полтора. Я даже думаю, что если б я мог привесть ее в подлиннике, то читатели не получили бы понятия о моем впечатлении: тут недоставало бы отца, читающего, самим им составленное, описание болезни и смерти обожаемой дочери. Сначала в записке старик исповедуется, что считал, вместе с женою, дочь свою совершенством человеческой природы, чудом, ниспосланным на землю для обращения заблудших грешников на путь истинный. По словам его, это было собранье всех добродетелей, всех талантов внешних и внутренних. Между прочим, она писала превосходные стихи духовного содержания, сама клала их на музыку и пела с неподражаемым совершенством. Пение этих стихов осталось навсегда лучшим украшением высоких бесед людей, избранных на прославление имени божия и проповедание христианской любви. Умнейшие и просвещеннейшие люди, как, например, А. Ф. Лабзин и какой-то архимандрит Иоанн, находили великое удовольствие и даже душевную пользу беседовать с этой девицей о самых высоких духовных предметах; но в то же время в ней не было никакого отшельничества: она являлась в свет, ездила на балы и в скромном своем наряде, одной любезностью и красотою

привлекала к себе толпу молодых людей, которые принимали каждое ее приветливое слово с радостию и благоговением. В самом начале болезни, не имевшей ничего в себе значительного, больная уже предчувствовала свою кончину, заранее приготовилась к ней и старалась приготовить свое семейство. Всякая медицинская помощь оказалась бесполезною. Больная слабела день от дня, стала впадать в беспамятство, в продолжение которого она или беседовала с незримыми для других посетителями, или пела божественные песни. Всегда чудный ее голос получил в это время необыкновенную силу, и торжественные его звуки разносились по целой улице, так что толпы народа собирались перед растворенными окнами их дома: окна были раскрыты от нестерпимого летнего зноя. Народ, зная, что поет умирающая, плакал от умиления и молился, а множество облагодетельствованных ею нищих стояли день и ночь на коленях, воссылая горячие мольбы к богу о восстановлении здравия болящей. Вся набережная была до такой степени полна народа, что полиция должна была разгонять его для проезда экипажей. Болезнь долго тянулась; отец подробно описал последние минуты своей дочери, ее прощанье с семейством и со всеми окружающими, ее кроткие желания и просьбы, ее мудрые наставления и радостное стремление к лучшей жизни. Отец сам одевал умершую свою дочь в приготовленное ею заранее платье, сам клал ее в гроб, выносил в церковь и отнес на кладбище; ни малейшего ропота не произнес его язык, и вся душа была исполнена благоговейной радости и покорности воле божией. — Мой отец, мать и я обливались слезами, слушая эту повесть, а старик Рубановский улыбался и говорил: «Вы можете плакать, а я должен радоваться и благодарить бога!»

Когда Рубановский уехал, мы долго сидели втроем и говорили о чудной кончине его дочери, необыкновенной твердости отца и преданности воле божией. Когда прошла живость первого впечатления и успокоились мои раздраженные нервы, я осмелился сказать, что мне не по душе такая нечеловеческая, ветхозаветная твердость, что можно покоряться воле божией без фанатизма, платя в то же время полную дань своей человеческой природе. Я прибавил, что Рубановский беспрестанно представлялся

мне Авраамом, готовым заклать Исаака по гласу Иеговы, и что я, слушая его, часто чувствовал невольный ужас. Со мной никто не спорил, и только мать сказала: «Мы не можем судить об этом деле, потому что мы плохие христиане!»

Когда семейство мое уехало и я остался служить в Петербурге, я продолжал посещать Рубановских и, согласно их требованию, обедал у них каждое воскресенье. Я познакомился с остальным семейством, которое состояло из двух сыновей и двух дочерей. Старший сын служил в лейб-гренадерском полку и был во всех отношениях совершенная противуположность своему суровому, но высоконравственному отцу; он был убит в 1812 году.

За первым же обедом я насмешил своих хозяев: узнав вовсе неожиданно, что они живут в доме Ломоносова, я вскрикнул от радостного изумления и едва не выскочил из-за стола. С юношеским увлечением принялся я ораторствовать, что жить в доме Ломоносова, этого великого русского гения, — истинное счастие; что дом его надобно бы сохранить как памятник, во всей его неприкосновенности; что всякий русский должен проходить мимо него с непокрытой головой (что я впоследствии всегда и делал). Все смеялись, говорили, что дом прескверный, и еще более подстрекнули мою восторженность, сказав, что некоторая мебель, принадлежавшая некогда Ломоносову, сохранилась и теперь, что в кабинете стоит письменный стол, забрызганный чернилами с пера Ломоносова... Этого было довольно. Я едва мог дождаться конца обеда, попросил позволение пойти в кабинет хозяина и принялся целовать чернильные пятна на довольно неуклюжем полукруглом дубовом столе. Хозяева последовали за мной, и общий смех усилился. Старик Рубановский, желая охладить мою горячность, сказал мне с насмешкою, что когда он занял этот дом, то ему точно сказали, что письменный стол принадлежал Ломоносову, что это, может быть, и правда, но что чернильные пятна, вероятно, новейшего происхождения; что после Ломоносова хозяев перебывало здесь много и что всякий, без сомнения, и мыл и скоблил, а потом пачкал этот стол. «Да и за что такое поклонение господину Ло-

моносову? Конечно, есть и у него достойные похвалы стихи, как, например: «Размышление о божием величии» и «Ода к Иову»; но поэма господина Хераскова «Владимир» содержит в себе несравненно более христианских истин, полезных и душеспасительных для человека». Оскорбленный за Ломоносова до глубины души, я имел неосторожность очень резко высказать свое мнение о Хераскове, где досталось и христианским истинам, так пошло и безжизненно вставленным в поэме Хераскова. Лицо моего хозяина исказилось от гнева; он злобно и с презрением посмотрел на меня и сказал: «Теперь я вижу, какие мысли и правила внушены вам вашими воспитателями». С этих пор старик невзлюбил меня и я никогда не пользовался его полным расположением, хотя впоследствии я был всегда осторожен и старался не говорить ему ничего неприятного.

В воскресенье у Рубановских садились обыкновенно за стол не в час, а в два часа, потому что, кроме меня, почти всегда бывало у них человека три из людей, коротко им знакомых; всего чаще бывали: Александр Григорьевич Черевин и Александр Петрович Мартынов, мой земляк. Я замечал иногда, что между ними и хозяином была какая-то особенная связь и что они часто из недоговоренных фраз хорошо понимали друг друга, но я не обращал на это большого внимания. Анна Ивановна приняла меня в свою особенную благосклонность, и один раз, когда я сидел, после обеда, в кабинете у старика, именно с Черевиным и Мартыновым, и, признаться, скучал, особенно потому, что не ясно понимал, о чем они говорили, хозяйка позвала меня в гостиную, где она обыкновенно сидела со старшей дочерью (меньшая была больная). Анна Ивановна вязала тонкий и со стрелками чулок, а дочь всегда делала восковые цветы. «Посидите со мной, — сказала Анна Ивановна, — поговоримте о вашем семействе, об Уфе, — и, махнув рукой, прибавила: — Пусть они на просторе толкуют о своем деле». Я заметил это выражение, но в чем состояло дело, не понимал, спросить же мне показалось неприличным. Вскоре, однако, все для меня объяснилось. Павел Петрович Мартынов, родной брат Мартынова, часто бывавшего у Рубановских, служивший в Измайловском полку, при первом

свидании открыл мне глаза: старик Рубановский и двое гостей, о которых я сейчас говорил, были масоны, или мартинисты, а А. Ф. Лабзин, о котором я часто слыхал, был великий брат и начальник этой секты. Мартынов с смехом рассказал мне об их собраниях, о пении непонятных стихов и о разных церемониях и испытаниях, с которыми принимают они новых членов. Сказал, что они и его хотели завербовать, но что ему, как человеку военному и неученому, некогда было заниматься пустяками.

Поговорив таким образом и посмеявшись над чудаками, мы отправились к родному дяде Мартынова и моему крестному отцу, Д. Б. Мертваго. Мартынов немедленно рассказал ему, что просветил мое недоуменье на счет Рубановских и прочей их братии, и прибавил, что он боится, «как бы они не завербовали земляка», то есть меня. Мертваго рассмеялся и сказал: «Чего доброго! Не поддавайся, брат. Все это пустяки! Рубановские — это честные пуритане; но нельзя этого сказать обо всех: есть такие, которые в мутной воде рыбу ловят. Они приберут тебя к рукам; будут ездить на тебе верхом». Я поспешил уверить своего крестного отца, что питаю непреодолимое отвращение ко всем тайным обществам, ко всему мистическому, темному и непонятному. Мертваго сказал, что он очень этому рад, — и мы расстались.

С этих пор я уже совсем другими глазами стал смотреть на старика Рубановского и на его посетителей, которые почти все принадлежали к масонскому братству, внимательнее стал прислушиваться к их разговорам и стал многое понимать, казавшееся мне прежде непонятным. Книги с мистическим направлением были мне давно известны, я знал даже и «Сионский вестник», издаваемый Лабзиным, который всегда подписывался двумя буквами У. М., то есть «Ученик Масонства», или Феопемпт Мисаилов [1]. Но я всегда был до них большой

[1] Известная комедия Бомарше «Женитьба Фигаро» была переведена Лабзиным и напечатана с большим предисловием от переводчика, подписанным буквами: У. М. Переводчик горячо защищается в нем против замечаний какого-то рецензента и превозносит похвалами игру двух московских актрис, сестер Синявских.

неохотник. Я любил все ясное, прозрачное, легко и свободно понимаемое; труд и сухость отвлеченной мысли были мне скучны и тяжелы, и я, по молодости и легкомыслию, все не понимаемое мною называл не имеющим смысла. Мне, однако, пришлось вновь заглянуть в эти темные книги: однажды старик Рубановский, разговаривая о них с другими гостями, вдруг обратился ко мне с вопросом: читал ли я «Путешествие Младшего Костиса от востока к полудню»? (Именно об этой книге шел разговор.) Я отвечал, что читал, но что она показалась мне темною. Обыкновенная в таких случаях саркастическая улыбка искривила рот старика, и он значительно посоветовал мне вновь прочесть темную книгу, а если для меня что-нибудь покажется непонятным, то он берется растолковать мне. Желая похвастаться, что мне не чуждо, а знакомо направление мистических сочинений, я сказал Рубановскому, что еще в первый год моего студентства я подписался на книгу «Приключения по смерти Юнга-Штиллинга», в трех частях, и что даже имя мое напечатано в числе подписавшихся. Рубановский очень удивился и как будто не совсем поверил мне. Я это почувствовал и попросил позволение принести книгу из его кабинета: я заметил ее лежащую на полке, устроенной во всю стену, где помещалась библиотека хозяина. Он поспешил сказать, что верит мне без справок, но что книгу я могу взять, если хочу. Я принес книгу «Приключения по смерти» и захватил «Путешествие Младшего Костиса». Я показал свое имя в числе весьма немногих подписчиков и, развернув «Младшего Костиса», остановился на первом попавшемся мне месте, и просил объяснения следующих строк: «Цель есть блаженство целого. Самодеятельность, или воля человеческая, должна состоять под непременными законами чистейшего ума. Сей же чистейший ум есть творец всех вещей. Натура есть *его уложение*, книга законов, в которой он идеи свои изобразил буквами, кои разум человеческий разуметь и знать должен». Хотя надобно признаться, что в этих словах можно добраться до некоторого смысла, но я притворился, что вовсе их не понимаю, и Рубановский принялся объяснять мне таинственное значение «идей, изображенных буквами, кои разум

человеческий разуметь должен». Старик совершенно запутался; Черевин с Мартыновым поспешили к нему на помощь; но как им нельзя было резко противоречить хозяину, то из этого вышла еще большая путаница, и мне нетрудно было, указав на противоречие в их объяснениях, сбить моих противников с поля. Я опять развернул «Костиса» и на странице 129 прочел следующее: «Любовь, истина и премудрость составляют корону царя. Закон, средство и цель — скипетр его. Одежда жрецов — добродетель, жертвенник — воля, жертва — победа над страстями, курения — деяния наши». Видя, что здесь победа будет для меня легче, Черевин и Мартынов предупредили старика Рубановского и пустились в объяснения еще более темные и непонятные, чем самый текст, который следовало объяснить. Я сейчас остановил и сконфузил их, сказав им, что во всех спорах первым условием должно быть ясное понимание языка, которым говорят говорящие, что их язык для меня китайский, и в доказательство повторил некоторые их выражения. Они сами чувствовали правду моих слов, и мне казалось, что Черевин сам был готов расхохотаться над собою. Пользуясь их замешательством, я предложил мое собственное объяснение, которое тут же пришло мне в голову и которое хотя имело только наружный смысл, но, право, было не хуже их объяснений, и, сверх того, было очень забавно. Я крепко озадачил и хозяина и гостей, что было мне очень приятно. Не умея настоящим образом опровергнуть меня, старый мартинист осердился и с досадою сказал, что если таким образом читать эти книги и позволять себе такие лжетолкования, то лучше их не читать. Я поспешил успокоить его, что не считаю моего объяснения удовлетворительным, что я сказал так, только то, что пришло мне в голову и что может прийти в голову другим. Я обещал внимательно прочесть эти обе книги и попросить у Рубановского объяснения на все, чего не пойму; на это Рубановский с радостию согласился. Я сейчас почувствовал, что увлекся и зашел слишком далеко, зашел именно туда, куда не хотел идти. Скука читать эти противные мне книги, скука добираться в них до какого-нибудь смысла и еще бо́льшая скука — не совсем искренно толковать об этом с Руба-

новским представилась живо моему воображению, и я дорого бы заплатил за то, чтоб воротить слова, сорвавшиеся с моего болтливого языка, но уже было поздно. Это не только огорчило, даже опечалило меня, и я поспешил проститься с хозяевами ранее обыкновенного, взяв, однако, с собой обе книги, то есть «Путешествие Младшего Костиса» и «Приключения по смерти», на которые я смотрел теперь даже с какою-то ненавистью. Вся сцена происходила в гостиной, в присутствии Анны Ивановны, которая посматривала на меня с улыбкой. Когда я, прощаясь, целовал ее руку, она шепнула мне на ухо: «Ну что, попались?» И мне стало еще досаднее на себя; старик же Рубановский и его гости, переглянувшись значительно между собой, простились со мной с бо́льшим вниманием против прежнего. Хозяин — с особенным благоволением, а гости — с особенной лаской и дружбой.

Какой я дурак, думал я, идя поспешно домой! Какой черт дернул меня зайти в этот безысходный лабиринт, всегда мне противный. Глупое самолюбие! Хотелось похвастаться, что мне знакомы мистические книги! Вот теперь и возись с ними. А что всего хуже: я поселил надежду в Рубановском с его братией — затащить и меня в их общество. Такие мысли роились у меня в голове и умножали мою досаду на самого себя, но, увы, позднее раскаяние ничему не помогало. Воротясь домой, я нашел записку, которая мгновенно выгнала у меня из головы всех мартинистов, со всем их мистицизмом. Записка была от университетского моего товарища, который некогда имел на всех нас сильное влияние смелостью своего духа и крепостью воли, о котором я не один раз говорил в моих «Воспоминаниях». «Любезный друг Аксаков, — писал он, — вчера привез меня раненого из Финляндии, в своей карете, также раненный вместе со мною, благодетельный генерал Сабанеев, при полку которого я состою с моими орудиями [1]. Алехин мне сказал, что ты здесь; покуда я остановился у Алехина.

Твой *Петр Балясников*».

---

[1] Генерал Сабанеев командовал тогда, после Барклая де Толли, 2-м егерским полком. Он блистательно отличился в эту кампанию.

Алехин был нашим товарищем в гимназии, но он не был студентом по весьма печальному обстоятельству, признанному за какой-то бунт против начальства, по милости глупого директора. Алехин находился в числе пятерых лучших воспитанников, исключенных из гимназии [1]. Это был человек с живым, острым умом, веселым характером и с самыми разнообразными и блистательными дарованиями: он был талантливый стихотворец и прозаик, математик и рисовальщик. Выключенный или выгнанный из гимназии, он определился в военную службу солдатом и в настоящее время служил артиллерийским поручиком и состоял адъютантом при генерале Капцевиче, директоре канцелярии Военного министерства и любимце всемогущего тогда военного министра Аракчеева; у него-то остановился наш раненый товарищ. Само собою разумеется, что через несколько минут я уже обнимал Балясникова. Он был не опасно, но тяжело ранен: шведская пуля засела у него в ноге пониже коленки, между костями, по счастью не раздробив их. Военные армейские доктора нашли невозможным вынуть пулю и отправили раненого для леченья в Петербург. С особенным чувством дружбы и уважения смотрел я на мужественное, исхудавшее и загоревшее лицо моего школьного товарища. Это было уже не слово, а дело! Это был уже не театральный герой, представлявший на нашей университетской сцене раненого офицера с подвязанной рукой, — это был в действительности храбрый воин, только что сошедший с поля битвы, страдавший от действительной раны, не дававшей ему покоя ни днем ни ночью. Почти до утра просидели мы втроем, то есть я, Балясников и Алехин. Не было конца задушевным разговорам, воспоминаниям и рассказам. Забывая боль от раны, всех более говорил и рассказывал Балясников, да ему и было что рассказывать. Он превозносил похвалами шведов и называл их благороднейшей нацией: офицеры были образованны и мужественны, солдаты храбры и честны; все дрались отчаянно и каждый клочок земли уступали после упорного боя. Надобно

---

[1] Это обстоятельство рассказано мною подробнее в моих «Воспоминаниях» во «Втором периоде гимназии».

сказать, что шведская война не возбуждала сочувствия в публике. Мы начали ее вследствие Тильзитского мира, по приказанию Наполеона, и это оскорбляло нашу народную гордость. По превосходству наших сил и по храбрости войск мы, конечно, должны были завоевать Финляндию, но и самая победа была бесславна. Кровное родство нашей царствующей императрицы, всеми искренно любимой, с королевой шведской еще более возбуждало нерасположение к этой войне. Я живо помню грустное и горькое впечатление, которое произвел на меня военный парад, устроенный около памятника Петра Великого по случаю какой-то победы. Каково было видеть это торжество и слушать благодарственное пенье «Тебе бога хвалим» нашей кроткой императрице, горячо любившей свою сестру, шведскую королеву! Я и теперь вижу ее, бледную, с покрасневшими от слез глазами, подавленную тягостью своего державного сана, стоящую у подножия исполинского монумента. Понятно, что после этого рассказы Балясникова о войне и храбрости шведов возбудили мое сочувствие к этому народу и возмутили меня до глубины души. На другой день, или, лучше сказать, в тот же день, потому что уж рассветало, Балясников намеревался явиться к военному министру и настоятельно просить, чтоб немедленно вынули пулю из его ноги и дали ему возможность скорее возвратиться к действующей армии. Алехин предупреждал его, что Аракчеев человек страшный, что с ним надо поступать осторожно, но Балясников рассмеялся и сказал нам: «А вот увидите, как я поступлю с ним! Да еще и денег возьму с него! Я не хочу стеснять товарища и не давать ему спать по ночам своими стонами: я хочу жить на своей собственной, хорошей, удобной квартире! Прощайте!» Он ушел за перегородку, где ему была приготовлена постель, и мы расстались.

Воротясь домой и уснув несколько часов, я отправился в Комиссию составления законов, где служил переводчиком. Я поспешил отделаться от директора Комиссии, Розенкампфа, и часу в первом был уже на квартире Алехина. Он и Балясников еще не возвращались из Военного министерства. Впрочем, я не долго ожидал их. С громом подкатила карета, запряженная

четверней отличных лошадей, остановилась у калитки квартиры Алехина; лакей в богатой военной ливрее отворил дверцы кареты, из которой выскочил Алехин, и, вместе с великолепным лакеем, высадил Балясникова. Поддерживая раненого под руки, они ввели его в скромную комнату, где я встретил их с вытаращенными от изумления глазами. Балясников сухо сказал: «Скажи, что я благодарю министра». Лакей поклонился, вышел — и карета ускакала. Балясников был совершенно спокоен. Сейчас лег на единственный диван, положил ногу на его боковую ручку (в этом положении боль от раны была сноснее) и сказал Алехину: «Ну, расскажи все Аксакову, а я устал». Лицо Алехина было очень весело, и прекрасные глаза его сверкали от удовольствия. «Ну, Аксаков, — начал он, — дорого бы я дал, чтоб ты был свидетелем всего, что происходило сейчас у Аракчеева! Мы приехали вместе; я оставил Балясникова в приемной, в толпе просителей, и побежал с бумагами к министру, потому что мой генерал болен, а в таких случаях я докладываю лично Аракчееву. Не успел я доложить и половины бумаг, как входит дежурный ординарец и говорит, что раненый гвардейский русский офицер, только что приехавший из действующей армии, просит позволение явиться к его высокопревосходительству. «Скажи, братец, господину раненому офицеру, — сердито сказал Аракчеев, — что я занят делом: пусть подождет». Я очень смутился. Начинаю вновь докладывать и слышу громкие разговоры в приемной и узнаю голос Балясникова. Через несколько минут входит опять тот же ординарец и говорит: «Извините, ваше высокопревосходительство, раненый офицер неотступно требует доложить вам, что он страдает от раны, и ждать не может, и не верит, чтоб русский военный министр заставил дожидаться русского раненого офицера». Я обмер от страха; Аракчеев побледнел, что всегда означало у него припадок злости. «Пусть войдет», — сказал он глухим, похожим на змеиное шипенье голосом. Двери растворились, и Балясников, на клюке, вошел медленно и спокойно. Слегка поклонясь министру, он прямо и пристально посмотрел ему в глаза. Аракчеев как будто смутился и уже не таким сердитым голосом спросил: «Что

вам угодно?» — «Прежде всего мне угодно сесть, ваше высокопревосходительство, потому что я страдаю от раны и не могу стоять, — равнодушно сказал Балясников. С этими словами он взял стул, сел и продолжал с невозмутимым спокойствием: — Потом мне нужна ваша помощь, господин министр; шведская пуля сидит у меня в ноге, ее надобно вынуть искусному доктору, чтобы я мог немедленно отправиться в армию. Наконец, мне нужен спокойный угол, мне надобно есть и пить, а у меня нет ни гроша». Все это было сказано тихо, но твердо и как-то удивительно благородно. Ну как ты думаешь, что сделал Аракчеев? Я думал, что он съест Балясникова; но он обратился ко мне и сказал: «Вели сейчас выдать триста рублей этому офицеру, вели послать записку к Штофрегену (придворный лейб-медик), чтоб он сегодня же осмотрел его рану и донес мне немедленно, в каком находится она положении. Я поручаю этого офицера твоему попечению: найми ему хорошую квартиру, прислугу и позаботься об его столе; как скоро деньги выдут, доложи мне; а теперь возьми мою карету и отвези господина офицера домой». — «Он остановился у меня, ваше высокопревосходительство, он мой товарищ, — осмелился я сказать, — я отвезу его и сию минуту ворочусь». — «Тем лучше; но возвращаться не нужно, я велю другому доложить глупые бумаги твоего генерала». Мы поклонились, вышли, взяли министерскую карету и прискакали сюда, как сам ты видел. Ну, брат, это было какое-то волшебство, какое-то чудо! Балясников — колдун! Велика важность, что есть люди, которые заговаривают ядовитых змей. Нет, поди-ка заговори Аракчеева! Ведь он страшнее всякого зверя». — Алехин не был студентом вместе с нами в университете и потому мало знал Балясникова, который был гораздо его моложе; но я знал Балясникова хорошо. Наша студентская жизнь воскресла передо мною. Прежде всего я принялся хвалить Аракчеева и доказывать, что совершенно дурной человек не способен к такому поступку, а потом рассказал Алехину, какую нравственную власть имел Балясников над студентами, и в доказательство привел следующее происшествие, пришедшее мне на память.

Случилось однажды, что казенный студент П-в был сильно заподозрен, но не уличен в поступке весьма неблаговидном; а как он упорно запирался, то подозрение падало на другого студента, совершенно невинного, по общему нашему убеждению. Балясникову это было досадно, и он сказал нам: «Пойдемте, господа, я при вас допрошу П-ва, он у меня признается во всем». И, сопровождаемый толпою товарищей, в числе которых был и я, он пришел в комнату виноватого, который сидел на своей кровати и занимался любимым своим делом: резьбою на кости, в чем был большой искусник. Балясников подошел к нему один, а мы стояли отдельною толпою вокруг них; Балясников принял величавое положение, сложил на груди руки и молча несколько времени смотрел на П-ва; взгляд голубых, устремленных глаз Балясникова поистине имел в себе что-то пронзительное. Я сам видел, что П-в и краснел и бледнел, хотя, не поднимая глаз, повидимому, пристально занимался своей работой. Наконец, Балясников грозно и повелительно сказал: «Господин П-в, извольте бросить ваше занятие, товарищи пришли судить вас». П-в оторопел, бросил свою кость и ножичек и встал с постели. «Посмотрите-ка мне в глаза, — продолжал Балясников тем же грозным голосом. — Погляжу я, как вы запретесь? Сейчас извольте признаваться: вы сделали поступок, который марает всех нас?..» И П-в едва взглянул на Балясникова, как в ту же минуту дрожащим голосом отвечал: «Я». Он сам после говорил, что дал клятву себе не признаваться, что он не понимает, какая неведомая сила заставила его признаться.

Покуда я рассказывал, Балясников, лежа на диване, с поднятой вверх ногою, с костылем под головой, за который держался он обеими руками, смеялся и удивлялся, что я так хорошо помню это происшествие. «Но ты забыл, — сказал он, когда я кончил, — что мы с общего согласия назначили наказание П-ву и что он смиренно ему покорился». Я отвечал, что очень хорошо помню. Алехин был изумлен: он также хорошо помнил непреклонное упрямство П-ва, которого знал в гимназии. Мои рассказы вразумили Алехина, что за человек был Балясников, и он уже не так дивился его успеху при встрече с Аракчеевым.

Поболтав еще несколько времени и порадовавшись счастливому исходу, не всегда сопровождающему смелые поступки, мы, по настоятельному желанию Балясникова, в тот же день наняли ему прекрасную квартиру в Итальянской слободке: три отдельные комнаты, хорошо меблированные, в нижнем этаже деревянного дома — за двадцать пять рублей ассигнациями в месяц. Хозяйка, почтенная старушка, с удовольствием вызвалась сама ухаживать за раненым, а один из ее лакеев нанялся ему служить, и Балясников в тот же день ночевал на новой своей квартире.

На другой же день поутру Штофреген приехал к Балясникову, внимательно осмотрел и ощупал его рану и сказал, что теперь пулю нельзя вынуть, а надобно подождать, когда она опустится и выйдет из соседства костей. Он прописал какую-то мазь или примочку, и это лекарство чудесно помогло Балясникову. Он почти перестал страдать от своей раны. Его хозяйка, потерявшая сына под Аустерлицем, с первого взгляда полюбила своего постояльца, как родного, и сейчас же принялась ухаживать за ним со всею нежностью и уменьем женской заботливости.

Прошла почти неделя, а я и не заглядывал ни в «Младшего Костиса», ни в «Приключения по смерти», даже забыл о них. Несмотря на то, по заведенному порядку, в воскресенье я отправился обедать к Рубановским. Старик сейчас спросил меня о книгах и очень наморщился, когда я отвечал, что не имел времени заглянуть в них. Все мои рассказы о раненом товарище, об его свиданье с Аракчеевым, о наших задушевных беседах про гимназию и университет не извиняли меня в глазах неумолимого хозяина. Он терпеть не мог Аракчеева, а Балясникова все-таки называл буяном, которого следовало бы лечить на гауптвахте. «Нет, милостивый государь мой, — сказал Рубановский с злобной иронией, — если б у вас было желание, то вы бы не только сами, но и товарищам своим прочли эти книги: как военные люди, они, верно, и не слыхивали о них». Я отвечал довольно резко, что мне было не до мистических книг, но сказал, что к будущему воскресенью прочту непременно обе книги. Старик был недоволен. Я заметил, что Анна

Ивановна уже в другой раз проходит мимо кабинета и как-то значительно в него заглядывает. Я поспешил поздороваться с нею и ушел из кабинета. Надобно предварительно сказать, что хозяйка с каждым посещением моим показывала мне более и более своего благорасположения и даже доверенности. Мы уселись на обыкновенных своих местах в гостиной, и она поспешила предуведомить меня, что сегодня после обеда будет у них Лабзин, что меня представят ему и что если я ему понравлюсь, то он пригласит меня к себе и на домашний спектакль, который скоро будет в доме Черевина, что она очень хорошо видит их намерение завлечь меня в общество, которого она терпеть не могла, и при этом случае откровенно и неблагосклонно выражалась обо всех его членах, называя одних сумасшедшими, а других дураками. Сквозь всю эту женскую болтовню я увидел настоящую причину ее гнева: Черевин был красивый, богатый жених и достойный человек во всех отношениях, и Анна Ивановна желала, чтоб он больше обращал вниманья на ее дочь, чем на масонские заседания и книги. Анна Ивановна даже выболтала мне, что Черевин сначала показывал большое расположение к ее Лизе, но что Лабзин, которому все они послушны, как дети, отвлекает его от этого намерения и хочет женить, и непременно женит на своей воспитаннице, Катерине Петровне, которую она ненавидела и всегда называла Катькой. Я, разумеется, очень искренно благодарил мою почтенную покровительницу за ее доверенность ко мне и предостережение. Я уверял ее, что не поддамся никаким обольщениям, чему, однако, она не очень верила. В самом деле, после обеда приехал Лабзин. Старик Рубановский, у которого сейчас просветлело лицо, немедленно представил меня великому брату и начальнику как сына старинных своих друзей, как молодого человека неиспорченных нравов, подающего добрые надежды. Лабзин был среднего роста и крепкого сложения: выразительные черты лица, орлиный взгляд темных, глубоко-знаменательных глаз и голос, в котором слышна была привычка повелевать, произвели на меня сильное впечатление. В обращении он был совершенно прост и любил употреблять резкие, так называемые тривиальные или про-

стонародные выражения, как, например: выцарапать глаза, заткнуть за пояс, разодрать глотку и т. п., от которых Анна Ивановна всегда морщилась и при употреблении которых всегда выразительно взглядывала на меня. Сейчас можно было заметить, что Александр Федорович Лабзин человек необыкновенно умный, властолюбивый, пылкий по природе, но умеющий владеть собою. В разговорах он ни одним словом не обнаружил своего исключительного, мистического направления, он не касался никаких духовных предметов, а очень весело, остроумно, не скупясь на эпиграммы, рассуждал о делах общественных и житейских; сейчас заговорил со мной о театре и очень искусно заставил меня высказать все мое увлечение и все мои задушевные убеждения в высоком значении истинного артиста и театрального искусства вообще. Я так бойко разговорился, как никогда не говаривал у Рубановских, и все они, а также и обыкновенные посетители их, Черевин и Мартынов, смотрели на меня с некоторым изумлением. Лабзин повернул разговор на литературу, и я не замедлил с такой же горячностью высказать мои понятия и взгляды и мое русское направление в словесности и вообще в образе мыслей. Лабзин, повидимому, был очень доволен мною, расхвалил, обласкал меня, звал к себе и пригласил на свой домашний спектакль к Черевину, а вместо билета дал мне печатную афишку. В обращении его с «братьями» слышен был тон господина, а «братья», не исключая и старика Рубановского, относились к нему почтительно, как будто к существу высшей природы. Наконец, Лабзин уехал, хозяин проводил его до лакейской и, как видно, что-то говорил с ним, потому что не вдруг воротился; когда же он вошел к нам в гостиную, лицо его светилось от удовольствия; он с необыкновенной благосклонностью обратился ко мне, часто улыбался своей странной улыбкой и старался мне внушить, что понравиться Александру Федоровичу Лабзину — большое счастие. Оба гостя сделались также ко мне необыкновенно внимательны и ласковы, и одна только Анна Ивановна чаще нюхала табак и чаще поправляла свой накрахмаленный архангелогородский чепчик. Она была в волнении и чем-то очень недовольна. Не имея возможности

остаться со мной наедине, она начала ходить из угла в угол по длинной своей гостиной. Я понял ее желание и стал ходить вместе с ней. Когда мы дошли до противуположного угла, она тихо сказала мне: «Ну что? растаяли? Ну где вам устоять! Александр Федорович такой хитрец, что проведет кого угодно. Уж если он чего захочет, то непременно поставит на своем. Я вижу, что вы еще очень молоды. Вот теперь будете с ними на театре играть, станете читать их книги, потом вступите в члены, в покорнейшие слуги Александра Федоровича, будете вместе с ними петь за ужином, а там, пожалуй, и в Катьку влюбитесь...» Все это было высказано не вдруг, а в несколько приемов, когда мы уходили в противуположный угол. И на все эти разорванные фразы, весьма гневно высказываемые, я едва успевал отвечать: «Сделайте милость, не беспокойтесь... ничего этого не будет... уверяю вас, что я никогда не буду мартинистом» — и пр. Давно прошел час, в который я обыкновенно уходил от Рубановских. Я взял шляпу и стал прощаться. Старик дружески пожал мне руку и напомнил о книгах; Черевин и Мартынов, против обыкновения, даже обняли меня; одна Анна Ивановна гневно сунула мне в губы свою костлявую руку и не поцеловала в щеку, как она, и очень ласково, делывала это прежде.

Воротясь домой, я прочел данную мне Лабзиным афишку; она была составлена, вероятно, им самим, с большой претензиею на остроумную замысловатость. К сожалению, я помню только одну курьезность: там было сказано, что такого-то года и числа будет представлена «притворными» актерами драма в 3 действиях г-на Ильина: «Лиза, или Торжество благодарности» [1]. Слово «притворными», вместо «придворными», как всегда печаталось в обыкновенных афишах публичных

---

[1] Эта пиеса, появившаяся на сцене в 1802 году, имела блистательный успех, хотя была составлена очень неискусно, не говоря уже о том, что действительная жизнь совершенно искажена в ней, весь ее успех зависел от множества сентенций, в которых были высказаны мысли, тогда еще новые и как будто либеральные. В 1808 году нередко давали эту драму, и она очень хорошо принималась публикой. Надобно заметить, что она была необыкновенно удачно разыграна.

императорских театров, конечно было довольно удачно. изменение одной буквы давало совершенно противуположный и приличный смысл одному и тому же слову. Мне особенно это понравилось потому, что на благородных домашних театрах, хорошо мне знакомых, почти все действующие лица, конечно, только притворяются, будто они актеры. Этот спектакль в доме Черевина на Васильевском острову шел через несколько дней.

Мы с Алехиным каждый день бывали у Балясникова, но в продолжение этой недели я не мог посвящать ему всего свободного времени от служебных моих занятий. Я непременно должен был прочесть «Путешествие Младшего Костиса» и «Приключения по смерти» да еще две, три книжки «Сионского вестника», которыми также снабдил меня Рубановский. Чтение это было для меня невыносимо скучной работой. Я читал уже не с той целью, чтобы добираться до таинственного смысла, я читал с целью чисто полемическою: я отыскивал места самые темные и запутанные и придавал им самое произвольное и даже превратное толкованье. Все это я записывал, чтобы выдержать схватку с стариком Рубановским.

Накануне спектакля притворных актеров получил я записку от П. П. Мартынова, который, узнав от своего брата, что я приглашен Лабзиным в спектакль, выхлопотал и для себя пригласительный билет, то есть афишку. Лабзин не мог отказать в этом просьбам родного брата его, А. П. Мартынова, лучшего актера в их труппе. П. П. Мартынов предлагал мне ехать вместе в его экипаже, обещая и обратно довезти меня до дому. Я очень охотно согласился, потому что своих лошадей у меня не было.

В назначенное время П. П. Мартынов приехал за мной, и мы отправились на Васильевский остров. Во всю дорогу мы говорили о мартинистах, смеялись и заранее обещали себе много забавных сцен, особенно потому, что мы были приглашены и на ужин, а за ужином всегда происходило у них общее пение, о котором Мартынов слышал от брата. Когда мы приехали, то нашли, что многие из приглашенных посетителей уже собрались. Впрочем, и все общество был невелико, потому что

большему числу посетителей поместиться было бы негде: собственный деревянный дом Черевина был очень хорош, но не так велик. В первой комнате встретил меня Рубановский; лицо его исказилось от гнева. Он грубо схватил меня за руку, отвел в угол и задыхающимся голосом спросил: «Как, вы не были с визитом у Александра Федоровича? Вы не уважили его приглашения и осмелились приехать к нему в спектакль? Неужели вы не понимаете, какая эта невежливость и какое это оскорбление мне, который рекомендовал вас, как благовоспитанного молодого человека?» Я в самом деле был виноват без всякого оправдания; но, собравшись с духом, отвечал, что по утрам я занят на службе, после обеда же приехать было бы неучтиво, а потому я отложил свое посещение до воскресенья, то есть до послезавтра; что я все это объясню Александру Федоровичу и надеюсь, что он уважит мои причины и извинит меня. Но Рубановский не хотел слушать моих оправданий. «Все это вздор, милостивый государь, — говорил он, сдерживая голос и подавляя свою досаду. — Вы могли не ездить один день в вашу Комиссию или могли попроситься у директора и уехать поранее. Я советую вам не показываться на глаза Александру Федоровичу и сейчас воротиться домой». Этот совет рассердил уже меня самого; я с твердостью отвечал, что ни за что в свете не уеду, и, оставя Рубановского, пошел в гостиную. Лабзин встретил меня с распростертыми объятиями, с самым веселым и ласковым видом. Я поспешил высказать мои извинения, но хозяин (Лабзин точно был хозяин в доме Черевина) не дал мне договорить их, обнял в другой раз и сказал: «Что за вздор! не пустым визитом выражается уважение и сердечное чувство: дело состоит в их искренности, а в вашей я не сомневаюсь». В это время Рубановский стоял уже подле нас. Я обратился к нему и сказал: «Не сердитесь на меня, Василий Васильевич, и извините меня так же благодушно, как извиняет меня Александр Федорович». Лабзин взглянул на искаженное лицо Рубановского, понял все дело и выразительно сказал: «Неужели вы рассердились на молодого человека за такую безделицу? В наши с вами года это уже неприлично. Да и вины-то тут никакой нет. Я даже хвалю его за точное

исполнение служебной обязанности. Помиритесь с ним». Мгновенно разгладились морщины на лбу Рубановского, искривившийся рот пришел в свое обыкновенное положение, и он протянул мне руку, сказав: «Для Александра Федоровича я вас извиняю». Вся эта сцена была довольно странна и не могла не обратить на себя внимания общества. Я говорил тихо, а Лабзин очень громко. Очевидно было, что он нисколько не церемонился и что все его окружающие были его почитатели и покорнейшие слуги.

Александр Федорович так занимался мной, как будто я был единственный его гость, а все прочие — его семья. Он заранее хвалил своих актеров, особенно Александра Петровича Мартынова, и очень жалел, что в этот вечер я увижу его в невыгодной роли. «Он превосходен в стариках, — говорил Лабзин, — он так играл Эдипа, что едва ли не превзошел Шушерина; роль же молодого человека и любовника совсем к нему не идет. Притом же он теперь в горе; сегодня он получил письмо, что у него умер отец; брат его, Павел Петрович, ваш гвардейский приятель, не знает об этом; мы положили объявить ему завтра». Говоря это, Лабзин был не только спокоен, но и весел. Меня поразили его слова. Как? Отец умер, а сын, получив о том известие, играет на театре? Не может быть, чтоб добрый Мартынов поступал по своей воле; итак, он исполняет приказание Лабзина; итак, он не смеет его ослушаться! Боже мой, откуда же происходит эта власть, эта деспотическая духовная сила, которою обладает Лабзин? Вот мысли, промелькнувшие у меня в голове, и я стал смотреть не только с неприятным, но даже с неприязненным чувством на великого брата и начальника. Жалко мне было глядеть и на Павла Петровича Мартынова, который, ничего не зная, беспрестанно шутил, смеялся и нашептывал мне на ухо всякий вздор. Спектакль скоро начался, и Лабзин посадил меня возле себя. Пиеса шла очень недурно: видно было, что она поставлена и слажена мастером; очень хорошо играла воспитанница Лабзиных, Катерина Петровна, воспитанницу добродетельной помещицы г-жи Добросердовой; Черевин же в роли старосты был удивительно хорош! Он мастерски схватил

выговор и манеры крестьян Орловской губернии (видно, коротко ему известных); этот местный колорит придавал его игре много живости и естественности. Я горячо хвалил его Лабзину, который отвечал, как-то не вполне соглашаясь со мною, что, конечно, эту роль Черевин играет очень хорошо, но это единственно потому, что он сам орловский помещик и что он удачно передразнивает провинциальный оттенок в выговоре и манерах своих крестьян. Не помню, кто играл Кремнева, отставного солдата; но и эта роль, впрочем очень выгодная и благодарная на сцене, была исполнена довольно удачно. Бедный Мартынов! Если б я и не знал об его горе, то непременно бы заметил, что у него лежит что-то тяжелое на душе. Впрочем, роль Лиодора, армейского капитана, совершенно не шла ему по своему характеру и по его физическим средствам.

Само собою разумеется, что я в разговорах с Лабзиным давно успел высказать ему и мою охоту играть на театре, и мои успехи, и мои упражнения в сценическом искусстве под руководством Шушерина. Лабзин захотел послушать мою декламацию, и я охотно согласился. После спектакля, когда актеры, переодевшись, пришли в гостиную, Александр Федорович, пригласив двух Мартыновых и Черевина, увел нас на другой конец дома, в кабинет хозяина. Предполагая, что мне будет ловчее и легче начать не первому, что, конечно, показывало тонкую разборчивость его, Александр Федорович обратился к Александру Петровичу Мартынову и сказал: «Прочти-ка нам монолог из «Эдипа», в котором он отвергает кающегося Полиника; да прочти на славу!» — Мартынов, на печальное лицо которого жалко было смотреть, отвечал почтительно: «Извините меня, Александр Федорович, я не в состоянии теперь читать». — «Отчего это?» — сказал Лабзин, возвысив голос и наморщив брови. «Я сегодня не в духе», — робко отвечал смущенный Мартынов. «Ну что тут за духи! Прочтите!..» — и Мартынов начал читать. Разумеется, он не в состоянии был прочесть так сильно, как читывал прежде, но чувства и естественности было много в его чтении. Лабзин был, однако, недоволен и назвал Мартынова мокрой курицей. Я с негодованием выразительно посмо-

трел на Лабзина, и, кажется он понял мой взгляд, потому что сказал: «Мужчине стыдно поддаваться грустному чувству». Пришла моя очередь, я не заставил себя долго просить и прочел рассказ Мейнау, или Неизвестного, из комедии Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», в котором он описывает измену и побег своей жены, а потом продекламировал с большим жаром монолог Ярба из трагедии Княжнина «Дидона». Когда я кончил, Лабзин сказал: «Куда же нам с ним играть, он всех нас за пояс заткнет, это уж не *притворный* актер!» Тогда эти слова показались мне великою похвалою; но едва ли в них не было насмешки над моею слишком громкою и напыщенною декламацией, от которой я тогда еще не освободился. Остальные слушатели, как следует, осыпали меня похвалами. Я заметил, что были слушатели и позади дверей, которые разбежались при нашем выходе. Мы воротились в гостиную, и Лабзин занялся другими посетителями, освободив, наконец, меня от своего постоянного внимания. Я подошел к старику Рубановскому и старался изгладить его неудовольствие против меня, в чем, кажется, сначала и успел, но ненадолго. Между прочим, я имел неосторожность сказать, что меня удивляет странный выбор пиесы для сегодняшнего спектакля и что, кажется, нетрудно было бы найти другую, с содержанием более серьезным, написанную человеческим языком, в которой образованный и храбрый капитан не влюблялся бы с первого взгляда в дочь старосты, не бросался бы перед ней на колени и не объяснялся в любви языком аркадского пастушка. Старик посмотрел на меня с неприятным изумлением и выразительно сказал: «Вы очень смелы на осуждение людей, старших вас годами и умом. Уж если Александр Федорович выбрал эту драму, то, конечно, имел на то свои причины». Он с неудовольствием отвернулся от меня и ушел прочь. В числе немногих дам была жена Лабзина с своей воспитанницей, которая мне очень понравилась, несмотря на дурную рекомендацию Анны Ивановны Рубановской. К удивлению моему, Лабзин не познакомил меня с своей женой и воспитанницей. Может быть, он хотел это сделать у себя дома. Когда ужин был готов, все дамы уехали. Нас позвали в залу, в которой прекрасно

поставленный театр уже был снят и вместо него стоял богато убранный стол с кушаньями. Лабзин, поручив угощать и занимать меня Черевину, сел на главном хозяйском месте, окруженный старшею братией. Подле него с правой стороны сидел Рубановский, очень довольный своим почетным местом, а с левой — какой-то отставной адмирал с георгиевским крестом. Я сел на другом конце стола, между Черевиным и Павлом Петровичем Мартыновым, а брат его жаловался на головную боль и хотел уйти спать, даже простился с нами, но, подошед к Лабзину и пошептавшись с ним, воротился к нам и сел подле Черевина за стол. Мы с Павлом Петровичем все это видели, и мне очень было больно слушать, как он смеялся над покорностью своего брата и шептал мне на ухо: «Ведь не осмелился уйти! Лабзин не позволил. Посмотри, будет давиться и станет есть». Но бедный Александр Петрович Мартынов печально просидел весь ужин, не дотронувшись до своего прибора. Всего возмутительнее для меня было то, что Павел Петрович не оставлял в покое своего брата и беспрестанно, разными экивоками, насмехался над ним, сколько я ни уговаривал его, чтоб он не тревожил Александра Петровича, который, очевидно, болен и чем-то очень огорчен. По окончании ужина прислуга вышла, двери затворили, и все присутствующие, по знаку Лабзина, довольно складно запели какой-то гимн. Не пели только Павел Петрович Мартынов и его брат. Всех смешнее казался мне старик Рубановский, так усердно разевавший рот, что его передние зубы, похожие на клыки, выставлялись на показ всему собранию.

После первого куплета наступило общее молчанье, и Лабзин, постучав рукояткой своего столового ножа по столу, громко и грозно сказал: «Александр Петрович!..» Начался второй куплет, и несчастный Александр Петрович также запел или по крайней мере разевал рот, вполголоса подтягивая общему хору. Брат его беспрестанно толкал меня ногой и смеялся, а мне было грустно, тяжело и даже страшно.

После ужина, поблагодарив Лабзина за приглашение в спектакль, а Черевина за угощение, потому что ужин и все расходы спектакля происходили на его счет, мы

с Мартыновым отправились домой. Всю дорогу приставал он ко мне с своими шутками и смехом и удивлялся, отчего я не смеюсь. Я отвечал ему, что все виденное мною не смешно, а страшно, что я вижу тут какой-то католический фанатизм, напоминающий мне тайные инквизиторские судилища средних веков. Слова мои были тарабарской грамотой для моего товарища, и он замолчал. Бедный! Как он был жалок на другой день, поутру, когда при мне брат сказал ему о смерти их отца, и как сегодня горька ему была вчерашняя веселость! Он жестоко нападал на брата за его ребячью покорность приказаньям Лабзина, исполняя волю которого, он сам играл и пел и брата заставил веселиться и хохотать в то время, когда им обоим следовало бы плакать, молиться и служить панихиду по отце! Добрый и простосердечный по природе, Александр Петрович старался уверить нас, что он сам не захотел расстроить вчерашнего спектакля, а потому и скрыл от брата их несчастье; но мы оба ему не поверили. Целый день провел я вместе с Мартыновыми, которые, помолясь усердно богу и выплакав свое горе обильными, теплыми слезами, поуспокоились и покорились воле божией.

Наконец, наступило воскресенье, и я, вооружась по возможности к бою, заготовив множество замечаний, выписок и возражений против мистических книг, явился к Рубановскому гораздо ранее обыковенного: «Ну что, прочитали?» — спросил меня, с неожиданною для меня ласковостью, строгий мартинист. «Прочел, Василий Васильевич», — и я положил на стол принесенные мною книги. «Ну что, многого не поняли?» — «Многого не понял, да думаю, что и никто понять не может, если не позволит себе произвольного толкованья. Я отметил карандашом и выписал в особую тетрадь некоторые темные места, на которые я надеюсь получить от вас истолкованье, отметил также и такие, которых растолковать никто не может. Я написал также мой взгляд на книгу «Приключение по смерти», которую нахожу не душеспасительною, а вредною». Я сейчас увидел, что опять поступил неосторожно: я раздражил моего хозяина преждевременно, мне надо бы было кончить этим ударом, а я начал. Я пощажу моих читателей от скуки выслушать

весь мой спор с Рубановским. Но для образчика расскажу только некоторые мои вопросы, недоуменья и объяснения старого мартиниста. Я начал с «Путешествия Младшего Костиса» и, развернув книгу, прочел на странице 169-й: «Человек зрит мыслию силы, действия, следствия и произведения: в сем заключается основание всех его понятий. Почему чистейший разум есть токмо чистейший образ созерцания». — «Помилуйте, — говорил я, — человек, конечно, зрит, то есть видит и понимает мыслию, но отчего же мыслию силы, действия, следствия и произведения? Как можно зреть следствием и произведением? И может ли в этом заключаться основание всех его понятий? Чистейший разум *не потому* и *не токмо*, а всегда есть чистейший образ созерцания». Рубановский, подумав, отвечал мне: «Под словом сила надобно разуметь божественную силу, то есть самого бога, а как в божественной силе заключаются действия, следствия и произведения, то человек и может зреть их только посредством божественной силы. Неужели вам теперь непонятно, что в этом заключается основание всех человеческих понятий: и вот *почему* чистейший разум есть *токмо* чистейший образ созерцания». — «Позвольте,—сказал я торжествующему Рубановскому,— мне кажется, мы не так читаем эти строки; может быть, тому причиною неясная расстановка слов. Может быть, надобно читать: человек мыслию зрит силы, действия, следствия и произведения, — тогда это будет понятно». Рубановский был озадачен; немного подумав, однако, он сказал: «Но значение мною вам объясненного несравненно выше». Забавляясь внутренно ловушкой, в которую попал Рубановский, я продолжал читать на той же странице следующее: «Когда мысль наша в гармоническом порядке представляет мысль божию в боге *силою*, а в натуре *явлением* силы, тогда мы мыслим благо, истинно, изящно — поелику добро, истина и изящность, или красота, составляют чертеж, по которому вселенная создана». Предчувствуя, какое будет толкование этих слов, я спросил, однако: «Что такое значит: представлять мысль божию в боге силою? Мысль божия есть в то же время и сила, это так, и что мысль божия выражается в натуре явлением — это понятно; но почему

же, думая так, мы уже мыслим благо, истинно, изящно? Понимая и признавая одну истину, можно ошибиться во множестве других, можно мыслить *не* благо, *не* истинно и *не* изящно?» Старик Рубановский не задумался и торжественно и в то же время иронически отвечал мне: «А потому, милостивый государь, что, признав главное, то есть, что мысль божия в боге сила, а в натуре явление силы, мы уже мыслим благо, истинно, изящно». Я продолжал читать: «В сем состоят преимущества духа над духом».

«Но в том положении, в каком мир некогда находиться будет, большая часть людей совратится:

В мыслях заблуждениями,
В хотении страстями,
В действовании пороками.

Заблуждения суть *число*, страсти — *мера*, пороки — *вес*» (стр. 185). — «Конечно, — продолжал говорить я, — вы, Василий Васильевич, первые строки растолкуете посвоему — что темно, то можно толковать как угодно; но говоря по совести, я считаю, что вы так же, как и я, не можете понимать, что это такое за преимущество «духа над духом». В каком смысле понимать тут слово дух? Значения его весьма различны. Значение запаха сюда не идет, значение сущности, содержания какого-нибудь предмета или эпохи — также не идет. Смысл духа человеческого приложить сюда невозможно: остается принять иносказательное значение доброго или злого духа». Рубановский не нашелся, что отвечать. Я, разумеется, принял его молчание за уступку и, не дав ему опомниться, с большой уверенностью и жаром продолжал: «Неужели вы станете мне объяснять, что значат слова: заблуждения суть *число*, страсти — *мера*, пороки — *вес*? Здесь я просто не вижу смысла, можно, пожалуй, постараться придать хоть какой-нибудь наружный смысл; но и он будет несправедлив. Во-первых, заблуждения человеческие бесчисленны, и потому назвать их *числом*, то есть определенным количеством, невозможно. Точно так же страсти не могут назваться *мерою;* страсти — противуположность мере, они разрушают меру, они безмерны; пороки — *вес*... Тут уж я и придумать не могу никакого смысла». — «Нет, сударь, —

подхватил Рубановский, — пороки, точно, *вес*, тяжесть, которая давит, гнетет дух человеческий, не дает ему возноситься к богу, придавливает его к земле, к земным помыслам...» Тут Рубановский долго говорил и, конечно, говорил то, чего сам не понимал.

Не пускаясь в дальнейшие бесполезные возражения, я продолжал читать: «Молоток есть образ внешнего действования. Ум должен искать, воля желать, деяния стучать. Ибо когда ум, воля и действия составят единицу, то раздаятель премудрости дарует уму свет, воле и действиям — благословение». «Отвес есть эмблема продолжения действий наших, которые тогда токмо останавливаются, когда придут в перпендикулярную линию с вечным порядком отца светов» (стр. 302). Здесь я дал себе волю и потешался над *«стукотнею* наших деяний, которые тогда токмо восстановляются, когда придут в перпендикулярную линию с вечным порядком отца светов». Рубановский молчал и только злобно улыбался. Оставив «Младшего Костиса», я перешел к «Сионскому вестнику». «Премудрость божия обрела единственный способ к разрешению трудности в поднятии падшего (вероятно, человека). Явилась существовавшая всегда умственно между сими двумя линиями ипотенуза, произвела свой квадрат и заключила в оном полное действие и правосудия и любви божеской». «Эти строки живо напоминают, — говорил я, — подобные выражения в «Младшем Костисе»; но мне кажется, что подражание превзошло оригинал в темноте, чтоб сказать поучтивее, а попросту — в бессмыслице». Хозяин мой, уже не отвечавший на мои предыдущие возражения и насмешки, а только злобно улыбавшийся, здесь не вытерпел. Он крепко обиделся не столько словом *бессмыслица*, как словом *подражание* «Младшему Костису». Вероятно, статья была написана самим Лабзиным. Можно себе представить, как горячо старый мартинист защищал ее, с каким усилием объяснял и как путался оттого в своих объяснениях. Мне нетрудно было ловить его во многих противоречиях.

Между тем человек уже два раза докладывал, что кушанье поставлено на стол. Надобно было прекратить наши споры, и я поспешил в коротких словах высказать

мое мнение о книге «Приключения по смерти». «Эта книга, — сказал я, — есть самая нелепая и детская фантазия о самом великом и таинственном предмете, о жизни загробной. Придавать ей образы, взятые из нашей земной жизни, по-моему, не только дерзко, но и грешно. Это, по-моему, святотатство. Покуда дух человеческий заключен в теле, он не может представить себе будущей, вечной жизни. Он может только ее предчувствовать. Это не православная книга, это католические мудрования с их чистилищами. Она может быть вредною, если читатели поверят ей и примут бред Юнга-Штиллинга за истину, за прозрение в таинство судеб божиих». Я говорил с убеждением и жаром. Рубановский не возражал, а опять слушал меня с улыбкою, выражающею и жалость и презрение. Он даже не дал мне кончить и сказал: «Пойдемте-ка лучше обедать». В самую эту минуту дверь отворилась, показался архангелогородский чепчик Анны Ивановны. «Идем, идем, сударыня», — сказал старик таким голосом, которым выражалось отчаяние о погибающем слепце. Мы отправились обедать. Как нарочно, в этот день обедал я один у Рубановских, и разговор у нас очень не клеился. Я начинал говорить о спектакле у Черевина и хвалить игру некоторых актеров, но хозяйка явно не хотела поддержать этого разговора. По ее взглядам и ужимкам я догадывался, что она нетерпеливо желает поговорить со мной глаз на глаз. Сейчас после обеда Василий Васильевич ушел в свой кабинет, и мы остались одни с Анной Ивановной. «Ну, рассказывайте, — сказала она торопливо и нетерпеливо, — что там у вас происходило? Василий Васильевич очень недоволен и только из угождения Лабзину не ссорится с вами». Я рассказал подробно все происходившее в доме Черевина. По выражению лица моей слушательницы можно было отгадать, что многое ей не нравилось, особенно мои похвалы воспитаннице Лабзиных, Катерине Петровне, и что, напротив, она была очень довольна, во-первых, тем, что я строго осуждал Лабзина за его деспотизм и бесчеловечную жестокость с Мартыновым, а во-вторых, тем, что «Гог и Магог», так она называла иногда Лабзина, не познакомил меня с своей женой и воспитанницей и не повторил приглашения приехать к

нему. «Вам нечего и ездить к ним», — подхватила Анна Ивановна; но я поспешил ей сказать, что я сегодня рано поутру уже был у Александра Федоровича, не застал его дома и оставил визитную карточку. «Ну и прекрасно, — проговорила моя хозяйка, — он визита не отдает, а вам в другой раз не для чего ехать». — «Если Александр Федорович не отдаст мне визита, — отвечал я, — то я и не поеду». Анна Ивановна запальчиво опровергала мои похвалы, впрочем весьма умеренные, Катерине Петровне, уверяла, что она показалась мне недурною, потому что была подбелена, подрумянена и подрисована на театре. Напрасно я уверял ее, что зрители сидели так близко от сцены, что не было возможности подрисовываться, и что я видел Катерину Петровну после спектакля в гостиной: моих доказательств не хотели и слушать. Анна Ивановна всего более желала узнать, что делал Черевин? с кем из дам говорил? Я видел, к чему клонились эти вопросы, но не хотел отвечать на них. Наконец, моя хозяйка не вытерпела и прямо спросила: «подходил ли к Катьке Черевин и говорил ли с ней?» Я отвечал, что не заметил. «Но заметили ли вы по крайней мере, — спросила Анна Ивановна еще с большею горячностью, — что жена Лабзина казачка? Что вы так смотрите на меня? Да, она из казачек!» — «И этого не заметил», — отвечал я. «Ну, так, верно, вы так были заняты красотою Катьки, что ничего не заметили», — сердито проговорила моя собеседница. Я, признаться, сначала немножко поддразнивал ее, но потом постарался успокоить, что было и нетрудно. Прощаясь, она вдруг спросила меня с особенным выражением: «Хотите ли вы на деле доказать мне свою дружбу?» Я отвечал, что очень хочу. «Дайте же мне честное слово, что исполните мою просьбу!» Я немного смутился. Анне Ивановне могло прийти в голову такое желание, какого я не мог исполнить по моим убеждениям. Подумавши немного, я отвечал, что готов исполнить, если ее желание не будет противно моей совести, то есть моим понятиям и моим убеждениям. Анна Ивановна протянула мне руку и сказала: «Когда придет время, я потребую исполнения вашего обещания; противного же вашей совести тут ничего нет». И мы расстались друзьями.

Сбросив с плеч спор о мистических книгах, к которому я решительно приготовлялся, как будто к ученому диспуту, я стал свободнее располагать своим временем, чаще бывал и дольше сидел у Балясникова, где каждый раз находил Алехина, а иногда встречал и других наших казанцев. Все мы были большие любители театра, и у нас сейчас начались чтения разных драматических пиес и даже разыгрыванье их, разумеется без костюмов и декораций. Таким образом, в числе других разыграли мы трагедию Княжнина: «Вадим Новгородский». Она пользовалась большою славою не только потому, что была запрещена, но и потому, что заключала в себе, по общему мнению, много смелых, глубоких мыслей, резких истин и сильных стихов, — так думало тогда старшее поколение литераторов и любителей литературы. Надобно признаться, что и мы, молодые люди, были увлечены таким мнением, а в самом же деле вся эта трагедия — пустой набор громких фраз и натянутых чувств, часто не имеющих логического смысла.

Рана Балясникова находилась все в одном положении, нельзя было заметить, чтобы пуля спускалась книзу. Между тем деньги вышли; Алехин доложил о том Аракчееву, и вновь были выданы триста рублей. Балясников жил так привольно, как никогда не живал. Прежде, живя одним жалованьем, он должен был во многом себе отказывать; теперь же, напротив, у него была спокойная, прекрасно меблированная квартира, отличный стол, потому что хозяйка и слышать не хотела, чтобы он посылал за кушаньем в трактир; он мог обедать или с нею, или в своих комнатах, пригласив к себе даже несколько человек гостей; он ездил в театр, до которого был страстный охотник, уже не в партер, часа за два до представления, в давку и тесноту, а в кресло; покупал разные книги, в особенности относящиеся к военным наукам, имел общество любимых и любящих его товарищей, — казалось, чего бы ему недоставало?.. Ему недоставало дела, ночных переходов, бивачных огней, холода и голода, порохового дыма, свиста пуль и грома пушек; ему недоставало опасностей боевой жизни. Туда рвалась его душа. Не имея возможности убедить докторов вынуть пулю из его ноги и не имея терпенья дожидаться

времени, когда она выдет из костей, Балясников через два месяца воротился в армию. С тех пор я уже более не видал Балясникова. Он умер, как известно моим читателям, в двенадцатом году. Конечно, не все предсказания сбываются; но кого ни встречал я из знавших коротко Балясникова, и статские и военные, все единогласно говорили, что, будь Балясников жив, он был бы фельдмаршалом. — В нескольких словах я доскажу его историю. Когда кончилась Шведская кампания, Балясников перешел из гвардии в армию, командиром конноартиллерийской роты. В два года с половиной он довел ее до такого совершенства, что многие военные люди, охотники и мастера своего дела, приезжали полюбоваться ею. Перед началом турецкой войны Балясникову дали другую артиллерийскую батарею и перевели его, по собственному его желанию, в действующую армию. Тяжело было ему расставаться с ротой, и еще тяжеле было расставаться с ним его подчиненным. Не говорю уже о товарищах его, которые все смотрели на Балясникова как на будущего, славного полководца и горячо его любили, — каждый рядовой артиллерист так был предан, так любил его, что прощанье ротного командира с ротою походило на расставанье самых близких и горячо любящих друг друга родных. Только что успел Балясников сдать роту, приехал какой-то генерал для произведения инспекторского смотра, который и был назначен на другой же день; когда роту вывели на плац, Балясников приехал уже как посторонний зритель. Будучи приятельски знаком с новым командиром, он вместе с ним внимательно осмотрел людей, лошадей, орудия и всю амуницию. Он сделал какое-то замечание старому фейерверкеру, который почти со слезами сказал ему: «Эх, ваше высокоблагородие! Покажите сами роту генералу. Прокомандуйте нами еще в последний раз!» Балясников с минуту подумал и отвечал: «Хорошо, старый товарищ». Он переговорил с новым командиром, который охотно на это согласился, и, когда приехал инспектирующий генерал, Балясников подъехал к нему вместе с новым командиром роты и сказал ему: «Генерал! Я командовал этой ротой два с половиною года и вчера только сдал ее другому командиру. Я прошу позволения у вашего пре-

восходительства, с согласия нового начальника, командовать бывшею моею ротою на инспекторском смотру. Рота привыкла ко мне, и не только люди, лошади знают мой голос!» Генерал отвечал, что он согласен, если новый командир роты этим не оскорбляется. Новый командир подтвердил, что он желает этого, что не хочет пользоваться славою за чужие труды и что только при прежнем командире рота может быть показана во всем ее блеске. Генерал согласился, и Балясников вылетел перед роту на своем бешеном коне, которого он сам выездил и на которого, кроме него, никто сесть не смел, скомандовал своим громозвучным голосом: «Смирно!» — и вся рота, люди и лошади вздрогнули и окаменели. Мне рассказывал достоверный самовидец, опытный артиллерист, что он во всю свою жизнь не видывал, да и не увидит, того, что делали на этом смотру люди и лошади. В таком же духе, в самых похвальных выражениях, был отдан приказ инспектирующим генералом. Когда Балясников, кончив военное построение, подъехал к роте и сказал: «Спасибо, ребята! Утешили вы меня, прощайте...» — то в ответ ему раздался не крик: «Рады стараться», — а всхлипыванье и рыданье. Балясников сам не мог удержаться от слез и ускакал как сумасшедший. — Боже мой! Чего нельзя сделать с таким народом, который способен так любить и быть благодарным!

Балясников и в Турецкой армии заслужил себе такое же уважение в начальниках, дружбу в товарищах и любовь в подчиненных. Он отличался везде, где только был к тому случай. Война кончилась. Славный мир был торжеством воинского искусства князя Кутузова, будущего Смоленского. Известно, что наша Турецкая армия, под начальством Чичагова, встретила бегущего Наполеона с остатками его армии на берегах реки Березины. Балясников был убежден, что можно было не допустить переправы неприятеля, он приходил в отчаянье от распоряжений главнокомандующего, которые давали возможность спастись Наполеону. Когда же опасения его оправдались и Наполеон, переправясь через реку, ушел, Балясников, в исступлении от гнева, по колени в грязи и в воде, целый день и даже вечер громил из своих орудий остатки великой армии. Он простудился и через

несколько дней умер от горячки. Так рановременно погиб этот замечательный человек, память которого живет во всех переживших его товарищах.

Анна Ивановна была права: Лабзин мне не отдал визита, и я более к нему не поехал. По моим соображениям и по некоторым словам Анны Ивановны я догадывался, что старик Рубановский так много наговорил обо мне Лабзину дурного в смысле моей безнадежности для их братства, что великий брат и начальник охладел в своем желании сделать меня своим прозелитом. Тем не менее, однако, я получил от него приглашение, через Мартынова и Черевина, участвовать в спектакле, который они намеревались составить. Я, по моей смертной охоте играть на театре, согласился. Но как скоро узнала об этом Анна Ивановна, то поспешила напомнить мне мое обещание — исполнить ее просьбу: она просила меня отказаться от участия в спектакле у Лабзина. Меня очень удивило ее желание. Дав слово, я должен был его держать; да, правду сказать, это и не было для меня большим пожертвованием. Деспотизм всегда был для меня ненавистен, а попав в *притворные* актеры, я неминуемо был бы его свидетелем если не над собой, то над другими. Отказ мой произвел, однакож, большой эффект, и Рубановский с Черевиным и Мартыновым изломали головы, отыскивая причину моего, как они называли, каприза. Они так и остались в неведении; но мое недоуменье, для чего Анна Ивановна потребовала от меня этой жертвы, как она сама говорила, скоро разрешилось: в пиесе, которую хотели играть, Черевин занимал роль любовника Катерины Петровны; Анна Ивановна боялась, чтобы театральная любовь не превратилась в настоящую, и, предполагая, что мой отказ от главной роли помешает представлению пиесы, заставила меня отказаться. Но увы, так хитро придуманное ею средство не имело успеха — мою роль отдали другому, и пиеса была сыграна, но я уже не был приглашен в спектакль *притворных* актеров. Надобно сказать, что все подозрения и опасения Анны Ивановны были неосновательны: Черевин и не думал об Катерине Петровне, да, может быть, и Лабзин не думал женить его на своей воспитаннице. Впоследствии Черевин, поехав в Москву

для свидания с родными, увидел там девушку, которая ему понравилась, и женился на ней.

Я продолжал постоянно посещать семейство Рубановских и каждое воскресенье обедал у них. Старик, потеряв надежду обратить меня на истинный путь, стал смотреть на меня снисходительнее, как на доброго молодого человека, сына старых друзей его, увлеченного вихрем мирской суеты. Моя горячая любовь к литературе, к театру, к изящным искусствам, как выражались тогда, была в его глазах такою же мирскою суетою, как балы, щегольство, карты и даже разгульная жизнь. Во время случившейся со мной довольно сильной болезни Рубановский несколько времени навещал меня ежедневно и с этих пор как-то стал со мною гораздо ласковее. Если в разговорах, как-нибудь нечаянно, речь доходила до мартинистских книг или до масонских лож и я высказывал мое нерасположение к ним, старик Рубановский обыкновенно прекращал разговор такими словами: «Ну, да это не ваше дело, тут вы ничего не понимаете: это не при вас писано». Признаюсь, что это было мне всегда досадно слушать, и эта досада была причиною моего легкомысленного и дерзкого поступка, к чему в свойствах моего нрава не было никакого расположения. В Комиссии составления законов, где я служил переводчиком, был один чиновник, русский немец, по фамилии Вольф. Это был человек тихий и работящий, но постоянно задумчивый и больной. Директор Комиссии Розенкампф ему покровительствовал, и он имел маленькую квартирку в доме Комиссии. Вдруг узнаем мы, что Вольфа нашли мертвым в его квартире. Такая страшная новость, разумеется, всех заняла и встревожила. Из записки, найденной на столе умершего Вольфа, было очевидно, что он помешался и уморил себя голодом. Он исполнил это довольно затейливо: он не ел несколько дней сряду и, чувствуя, что начинает слабеть, рассчитал и отпустил своего наемного слугу, сказал своим соседям, что на три дня уезжает, запер снаружи свою комнату и, точно, ушел перед вечером; но в ту же ночь воротился и заперся изнутри. Сторож, ничего этого не знавший, сказывал после, что на другой день мнимого отъезда Вольфа видел в окошко, как он беспрестанно ходил по своей комнате,

около стен, и в каждом углу кланялся, как будто молился. Когда по прошествии нескольких дней хватились Вольфа и разломали дверь его квартиры, то нашли труп несчастного самоубийцы, лежащий посреди комнаты. Замечательно, что во всех четырех углах, на столах и стульях нашли по нескольку нетронутых белых хлебов. Очевидно, что жалкий страдалец подвергал себя ужасному испытанию голода и выдержал его. Он был безродный сирота; все его имущество, книги и бумаги были опечатаны, но говорили, что Розенкампф, прежде опечатанья, взял себе его письменные сочинения. В первое же воскресенье после этого печального происшествия, обедая у Рубановских, я рассказывал как ужасную новость все, что знал о смерти Вольфа. Мне в голову не приходило, чтоб он был мартинист или знаком с мартинистами; но старик Рубановский, выслушав мой рассказ, с горестным увлечением сказал: «Боже мой! Можно ли было этого ожидать! Иван Федорович Вольф был хотя лютеранин, но шел по истинному пути: он был человек добродетельный, кроткий и тихий; где мог он почерпнуть силы для совершения такого страшного, мученического подвига? Без сомнения, эти силы были дарованы ему свыше». Я с удивлением слушал дикие суждения моего хозяина. Старик с живостью обратился ко мне и убедительно стал меня просить, чтоб я достал у Розенкампфа посмертные сочинения Вольфа, говоря, что это дело очень важное. Я отвечал, что это очень трудно сделать, что я не так близок к директору, чтоб мог заговорить с ним о таком щекотливом предмете и тем менее мог просить себе бумаг покойного Вольфа, взятых Розенкампфом тайно и незаконным образом. Я прибавил, что даже сомневаюсь, правда ли это? Но старик Рубановский так убедительно стал просить меня, что я не мог отказаться и обещал употребить все старания достать бумаги. Правду сказать, я дал это обещание только для того, чтоб отвязаться от докучливых просьб Рубановского, в полной уверенности в невозможности их исполнить.

На другой день, однако, я спросил одного из наших чиновников, бывшего моим товарищем в казанской гимназии, А. С. Скуридина, которого Розенкампф очень любил: «Правда ли, что у нашего директора есть какие-то

сочинения умершего Вольфа?» Скуридин сначала запирался, говорил, что ничего не знает, а потом под великим секретом открылся мне, что это правда, что он видел эти бумаги, писанные по-русски и самым неразборчивым почерком, что сам Розенкампф ни прочесть, ни понять их не может, что Скуридин кое-что переводил ему на немецкий язык, что это совершенная галиматья, но что Розенкампф очень дорожит бреднями сумасшедшего Вольфа и ни за что на свете никому не дает их. В следующее воскресенье я передал Рубановскому все, что узнал о бумагах Вольфа, и всю безуспешность моих стараний, не называя, однако, по фамилии Скуридина. Против моего ожидания, мой рассказ не охолодил, а еще более воспламенил старого мартиниста. Он до того пристал ко мне, что не было другого средства отвязаться от него, как вновь обещать похлопотать о сочинениях Вольфа. Несколько воскресений сряду Рубановский, час от часу с большею неотвязчивостью, приставал ко мне с одними и теми же просьбами. Это ужасно надоело мне. Ломая голову, как бы мне отбиться от докук старика, я напал на мысль: сочинить какой-нибудь вздор, разумеется в темных, мистических выражениях, и выдать этот вздор за сочинение Вольфа. К этому присоединилось желание испытать, как Рубановский будет находить смысл и объяснять то, в чем нет никакого смысла. Мне захотелось самому вполне, так сказать наглядно, убедиться в совершенном произволе и ложности его толкований, к которым прибегал он во время наших споров, при нашем общем чтении мистических книг, — и я решился на поступок, совершенно мне не свойственный. Смутно понимая, что это все-таки поступок нехороший, я никому не открылся в своем намерении. Я написал девять отрывков. Все они состояли из пустого набора слов и великолепных фраз без всякого смысла; но в то же время я постарался придать написанному мною некоторую внешнюю связь и мистическое значение. Приемы же я заимствовал из сочинений Эккартсгаузена, Штиллинга и самого Лабзина. Сначала я сказал Рубановскому, что есть надежда списать кое-что, и, наконец, принес так давно желанные им отрывки из мнимых сочинений Вольфа. Я приехал часа за два до обеда, мы заперлись

с стариком в его кабинете, и я, не без внутреннего волнения и упреков совести, прочел ему листов шесть написанного мною вздора. Во время чтения я несколько раз останавливался, говоря: «Какая дичь, какая бессмыслица, какая галиматья!» Но старик с сожалением улыбался, повторяя любимые свои выражения, что «это не при вас и не для вас писано». — Я попросил его растолковать мне — и он толковал целый час. Мне стало так совестно, что я едва не признался ему в обмане. Наконец, кончилась эта тяжелая для меня пытка: нас позвали обедать. Я предложил Рубановскому, чтоб он оставил мой список с мнимых бумаг Вольфа у себя, говоря, что он мне не нужен. Но старик на это не согласился и попросил только позволения снять собственноручно копию. За обедом хозяин был очень весел, а я, напротив, смущен, как будто сделал дурное дело. Анна Ивановна очень это заметила, и после обеда я выдержал строгий допрос: она хотела знать, что происходило в кабинете между мной и ее супругом. Я отвечал, что мы читали одно мистическое сочинение, которое Василий Васильевич старался мне растолковать, а я, к досаде моей, ничего не понял. Мне показалось, что хозяйка как-то недоверчиво и лукаво на меня посмотрела, и я подумал, что уж не знает ли она как-нибудь настоящей сущности дела, хотя муж ничего ей не хотел говорить и мне запретил.

Через неделю Рубановский возвратил мне мою рукопись, которую я при первой возможности бросил в пылающий камин. Он сказал, что она была читана людьми, понимающими это дело, которые ее достойно оценили. Я покраснел до ушей: я хорошо знал, кто это — эти достойные люди; мне стало совестно дурачить целое общество, члены которого, при всем своем одностороннем ослеплении или увлечении, были люди умные, образованные и почтенные. Я не мог попрежнему спокойно смотреть в глаза Черевину и Мартынову, которые в тот день обедали вместе со мною; мне казалось, что они все знают и что некоторые их слова были намеком на мой бессовестный поступок; я был так смущен, так странен, что они необходимо должны были спросить меня, что со мною сделалось, здоров ли я? А такие естественные во-

просы казались мне неопровержимым доказательством, что старик Рубановский сказал, от кого получил список с мнимого сочинения Вольфа, и что они отгадали, кто настоящий сочинитель: одним словом, я был мученик, — я был достойно наказан за мою дерзость. В самом же деле все мои опасения и все мои подозрения были совершенно несправедливы: старик Рубановский хранил строжайшую тайну, и никто ни в чем не подозревал меня. Насилу дождался я времени, когда можно было, не нарушая принятого порядка, уйти от Рубановских. На улице я вздохнул свободнее, но долго не мог совершенно успокоиться. Я дал себе честное слово никогда ничего подобного не делать и, конечно, сдержал его.

В следующее воскресенье я по какой-то законной причине не поехал обедать к Рубановским. Я заехал к ним в субботу поутру, чтобы сказать заранее, что завтра не буду. Я знал, что старика нет дома и что он до самого обеда сидит в своей конторе. Мне хотелось удостовериться, не слыхала ли чего-нибудь Анна Ивановна? Не знает ли она, что происходило в тот вечер у Лабзина, когда читали мою несчастную пародию? Я и прежде с удивлением замечал, что Анна Ивановна знала все, что делалось в доме у Лабзина и у Черевина. Какие она имела для этого средства, я не знаю, только и в этот раз она знала все, кроме имен сочинителя и того человека, который доставил Василию Васильевичу это драгоценное сочинение. Анна Ивановна знала, что Василий Васильевич сам читал его вслух, в присутствии многих членов, и что все очень его хвалили и даже положено было напечатать его в «Сионском вестнике», если он опять будет позволен. Анна Ивановна знала даже и то, что между Лабзиным и Н. Н. Новосильцевым шла секретная переписка об этом журнале и что эту переписку читает государь. Довольный полученными мною сведениями, я поспешил уйти, покуда не воротился Василий Васильевич. Мне надобно было еще несколько времени не встречаться с ним, чтобы взглянуть на него с меньшим смущением.

Пришло опять воскресенье. Я нашел у Рубановских Черевина и обоих Мартыновых. Мартынов военный, то есть Павел Петрович, никогда еще при мне не обедал

у Рубановских, и я очень удивился и обрадовался ему, потому что в его присутствии легче было не допускать разговора до предметов отвлеченных. Все обстояло благополучно. Я убедился, что никто не смотрел на меня особенным образом, что никто не думал о посмертном сочинении Вольфа и что никто не подозревал моего участия в этом деле. Я совершенно успокоился и был необыкновенно весел. Анна Ивановна заметила это и сказала мне, что она всегда бы желала видеть меня в таком расположении духа. Вовсе неожиданно для всех, по крайней мере так говорила «братья», приехал после обеда Лабзин. Он был так же умен, любезен и разговорчив, как и в первый раз, когда я познакомился с ним у Рубановских, но со мной он обошелся, как с человеком вовсе ему незнакомым. Все обратили на это внимание и с любопытством смотрели на меня. Вероятно, все думали, что такая перемена неприятно озадачит и смутит меня; но я внутренно так был ею доволен, что сделался еще веселее и болтливее. Когда гости разъехались, Анна Ивановна дала мне секретную аудиенцию и, глядя на меня с улыбкою, сказала: «Каков актер наш игумен? — так называла она иногда Лабзина. — Ухаживал, ухаживал за вами, да вдруг и перевернулся, как будто знать не знает вас, как будто никогда не видывал! Ну, да и вы хороши! Умели скрыть свою досаду и даже виду не показали». Я постарался уверить Анну Ивановну, что я не досадовал, а радовался такой перемене. Анна Ивановна была очень довольна, что не допустила меня попасть в западню и сделаться лакеем Лабзина, какими, по ее мнению, были ее муж, Черевин, Мартынов и множество других. Я благодарил ее, оставляя в приятном заблуждении, что ей одной обязан своим спасением.

Успокоенный в моих опасениях, уверенный, что моя насмешка над мартинистами не может открыться, я решился доверить мою тайну одному из моих друзей, человеку уже пожилому и необыкновенно скромному. Тайна тяготила меня, и, по природной моей откровенности, мне необходимо было кому-нибудь ее доверить. И. И. Р-га называли могилою секретов, и ему-то я открылся во всем. Я думал, он посмеется; но, к удивлению моему, он пришел в ужас. «Не сказывал ли ты кому-нибудь об

этом?» — спросил он меня. Я отвечал, что никому не сказывал. «Ну, так и не сказывай. Сохрани тебя бог, если ты проболтаешься! Я сам в молодости моей был масоном. Мартинисты — те же масоны. Если они узнают твой обман — ты пропал. Даже мы с тобой никогда уже говорить об этом не будем». Признаюсь, я был порядочно испуган и, точно, долго об этом никому не рассказывал, кроме задушевного друга моего, А. И. Казначеева; мы оба молчали до тех пор, пока время сделало открытие моей тайны уже безопасным.

Скоро я уехал в Оренбургскую губернию, и, воротясь через год, нашел почти всех уже в другом положении.

1858 год, Декабрь, Москва

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ СЕМЕНОВИЧЕ ШИШКОВЕ

Сей старец дорог нам; он блещет средь народа
Священной памятью двенадцатого года.

Пушкин [1]

Я хочу рассказать все, что помню об Александре Семеновиче Шишкове. Но я должен начать издалека.

В 1806 году я был своекоштным студентом Казанского университета. Мне только что исполнилось пятнадцать лет. Несмотря на такую раннюю молодость, у меня были самостоятельные и, надо признаться, довольно дикие убеждения; например: я не любил Карамзина и с дерзостью самонадеянного мальчика смеялся над слогом и содержанием его мелких прозаических сочинений! Это так неестественно, что и теперь осталось для меня загадкой. Я не мог понимать сознательно недостатков Карамзина, но, вероятно, я угадывал их по какому-то инстинкту и, разумеется, впадал в крайность. Понятия мои путались, и я, браня прозу Карамзина, был в восторге от его плохих стихов, от «Прощания Гектора с Андромахой» и от «Опытной Соломоновой мудрости».

[1] Эти два стиха написаны золотыми буквами под бюстом Александра Семеновича Шишкова, поставленным в Российской академии.

Я терпел жестокие гонения от товарищей, которые все были безусловными поклонниками и обожателями Карамзина. В одно прекрасное утро, перед началом лекции (то есть до восьми часов), входил я в спальные комнаты казенных студентов. Вдруг поднялся шум и крик: «Вот он, вот он!» — и толпа студентов окружила меня. Все в один голос осыпали меня насмешливыми поздравлениями, что «нашелся еще такой же урод, как я и профессор Городчанинов [1], лишенный от природы вкуса и чувства к прекрасному, который ненавидит Карамзина и ругает эпоху, произведенную им в литературе; закоснелый славянофил, старовер и гасильник, который осмелился напечатать свои старозаветные остроты и насмешки, и над кем же? Над Карамзиным, над этим гением, который пробудил к жизни нашу тяжелую, сонную словесность!»... Народ был молодой, горячий, и почти каждый выше и старше меня: один обвинял, другой упрекал, третий возражал как будто на мои слова, прибавляя: «А, ты теперь думаешь, что уж твоя взяла!» или: «А, ты теперь, пожалуй, скажешь: вот вам доказательство!» — и проч. и проч. Изумленный и даже почти испуганный, я не говорил ни слова, и, несмотря на то, чуть-чуть не побили меня за дерзкие речи. Я не скоро мог добиться, в чем состояло дело. Наконец, загадка объяснилась: накануне вечером один из студентов получил книгу Александра Семеныча Шишкова: [2] «Рассуждение о старом и новом слоге», которую читали вслух напролет всю ночь и только что кончили и которая привела молодежь в бешенство. Вспомнили сейчас обо мне, вообразили, как я этому обрадуюсь, как подниму нос — и весь гнев с Шишкова упал на меня. Среди крика и шума, по счастию, раздался звонок, и все поспешили на лекции, откуда я ушел домой обедать. После обеда я прошел прямо в аудиторию, а в шесть часов вечера, не заходя к студентам, что прежде всегда делал, отправился домой. В продолжение суток буря утихла, и на другой день никто не нападал на меня серьезно. Я выпросил

---

[1] Профессор русской словесности.

[2] Напечатанную еще в 1803 году, но которая только через два года дошла до Казанского университета.

почитать книгу Шишкова у счастливого ее обладателя, а через месяц выписал ее из Москвы и также «Прибавления к Рассуждению о старом и новом слоге». Эти книги совершенно свели меня с ума. И всякому человеку, и не пятнадцатилетнему юноше, приятно увидеть подтверждение собственных мнений, которые до тех пор никем не уважались, над которыми смеялись все и которые часто поддерживал он сам уже из одного упрямства. Точно в таком положении находился я. Можно себе представить, как я обрадовался книге Шишкова, человека уже немолодого, достопочтенного адмирала, известного писателя по ученой морской части, сочинителя и переводчика «Детской библиотеки», которую я еще в ребячестве вытвердил наизусть! Разумеется, я признал его неопровержимым авторитетом, мудрейшим и ученейшим из людей! Я уверовал в каждое слово его книги, как в святыню!.. Русское мое направление и враждебность ко всему иностранному укрепились сознательно, и темное чувство национальности выросло до исключительности. Я не смел обнаруживать их вполне, встречая во всех товарищах упорное противодействие, и должен был хранить мои убеждения в глубине души, отчего они, в тишине и покое, достигли огромных и неправильных размеров. Так шло все время до моего отъезда из Казани.

В 1807 году вышел я из университета, а в 1808-м уже служил переводчиком в «Комиссии составления законов».

Я оставил университет в таких годах, в которых надлежало бы поступить в него, следовательно вынес очень мало знаний. В этом виноват был я сам, а не младенчество университета, в котором многие, учась вместе со мной, получили прочное, даже ученое образование. Особенно процветала у нас чистая математика, которую увлекательно и блистательно преподавал адъюнкт Г. И. Карташевский и которую я ненавидел, несмотря на то, что жил у него и очень его любил. Математика была так сильна у нас, что когда по выходе Карташевского (это случилось уже без меня) приехал в Казань знаменитый тогда европейский математик Бартельс и, пришед на первую лекцию, попросил кого-нибудь из

студентов показать ему на доске степень их знания, то Александр Максимыч Княжевич разрешил ему из дифференциалов и конических сечений такую чертовщину, что Бартельс, как истинный ученый, пришел в восторг и, сказав, что для таких студентов надобно профессору готовиться к лекции, поклонился и ушел. Через несколько лет, встретясь как-то на дороге с Г. И. Карташевским, он остановил его, вышел из экипажа, заставил, разумеется, и Карташевского сделать то же и изъявил ему, как собрату по науке, свое глубокое уважение.

Не имея никакой протекции и даже почти никого знакомых в Петербурге, я попал в переводчики «Комиссии составления законов» единственно потому, что Г. И. Карташевский, еще прежде меня оставивший Казанский университет, служил помощником редактора в одном из отделений Комиссии, которые назывались *Редакторствами*. Карташевский пользовался там, как и везде, где он служил, полным уважением. Я жил в Петербурге уединенно, также мало встречая сочувствия к моим убеждениям и обнаруживая их еще менее. Я видался только с Шушериным; но в наших беседах преимущественно дело шло о театре и сценическом искусстве. Я служил уже около полугода. Главным действующим лицом «Комиссии составления законов» был неутомимый немец Розенкампф: он писал и день и ночь, то по-немецки, то по-французски; с последнего я переводил на русский. Не могу утвердительно сказать, был ли какой-нибудь толк в неусыпных трудах Розенкампфа, но я часто слыхал, как подсмеивались над его немецкими теориями. В составе государственных учреждений «Комиссия составления законов» была совершенно забыта. Вдруг директором Комиссии был определен М. М. Сперанский, и ход дел оживился: директорскую канцелярию, названную по-новому: *Письмоводством*, значительно усилили; Вронченко назначили письмоводителем; взяли двух чиновников от Розенкампфа, меня и Бачманова, и причислили к письмоводству. Это передвижение было для меня счастливым событием: в письмоводстве встретился я с Александром Иванычем Казначеевым. Я живо помню этот первый день, когда он обратил на себя мое внимание. Как теперь

гляжу на его молодую, стройную, худощавую фигуру и свежее лицо, наклоненное над бумагой; длинные волосы закрывали сбоку даже его большой нос, и красивые жемчужные строки выводила его рука. Я сидел возле него, занимаясь своим делом. Вдруг слышу тоненький голосок моего соседа, которым он очень резко бранил школу карамзинских последователей и критиковал переписываемую им бумагу Сперанского за иностранные слова и обороты... Меня так и обдало чем-то родным, так и повеяло духом Шишкова! Я сейчас встал, отвел в сторону старшего чиновника письмоводства, Н. С. Скуридина, бывшего некогда моим товарищем по казанской гимназии, и спросил: «Кто этот молодой человек, который сидит подле меня?» Скуридин улыбнулся и отвечал: «Как кто? Племянник Александра Семеныча Шишкова, такой же отчаянный славянофил (тогда это слово было уже в употреблении) и чуть не молится своему дяде». Этого было довольно. Через несколько часов я заключил с Казначеевым вечный союз братской дружбы, который мы оба свято храним и теперь. В тот же вечер Казначеев обо всем рассказал своему дяде Шишкову, и на другой день, в десять часов утра, положено было представить меня главе славянофилов.

Но что ж это такое было за славянофильство? Здесь кстати поговорить о нем и определить его значение. Надобно начать с того, что тогда, равно как и теперь, слово это не выражало дела. И тогдашнее и теперешнее так называемое славянофильство было и есть не что иное, как русское направление, откуда уже естественно вытекает любовь к славянам и участие к их несчастному положению. Впрочем, к Шишкову отчасти шло это имя, потому что он очень любил славянский, или церковный, язык и, сочувствуя немного западным славянам, много толковал и писал о славянских наречиях; но его последователи вовсе и об этом не думали. Русское направление заключалось тогда в восстании против введения нашими писателями иностранных, или, лучше французских, слов и оборотов речи, против предпочтения всего чужого своему, против подражания французским модам и обычаям и против всеобщего употребления в общест-

венных разговорах французского языка. Этими, так сказать, литературными и внешними условиями ограничивалось все направление. Шишков и его последователи горячо восставали против нововведений тогдашнего времени, а все введенное прежде, от реформы Петра I до появления Карамзина, признавали русским и самих себя считали русскими людьми, нисколько не чувствуя и не понимая, что они сами были иностранцы, чужие народу, ничего не понимающие в его русской жизни. Даже не было мысли оглянуться на самих себя. Век Екатерины, перед которым они благоговели, считался у них не только русским, но даже русскою стариною. Они вопили против иностранного направления — и не подозревали, что охвачены им с ног до головы, что они не умеют даже думать по-русски. Сам Шишков любил и уважал русский народ по-своему, как-то отвлеченно; в действительности же отказывал ему в просвещении и напечатал впоследствии, что мужику не нужно знать грамоте. Так бывают иногда перепутаны человеческие понятия, что истина, лежащая в их основе, принимает ложное и ошибочное развитие. Само собою разумеется, что никакое сомнение не входило в мою осьмнадцатилетнюю голову и что я был готов безусловно благоговеть перед Шишковым.

Напрасный будет труд, если я захочу дать понятие о том, что происходило в моей голове и моем сердце, когда я воротился домой, расставшись с моим внезапным другом Казначеевым. Какую ночь провел я в ожидании утра, в ожидании свидания, знакомства с Александром Семенычем Шишковым! Я представлял себе его каким-то высшим существом, к которому все приближаются с благоговением. Живя в Петербурге, я постоянно желал и надеялся со временем как-нибудь его увидеть, но возможность личного и близкого знакомства никогда не входила мне в голову. Не могу сказать, чтоб я от неожиданного осуществления того, о чем не смел мечтать, пришел в восхищение, в восторг, которому весьма легко предавался. Конечно, я чувствовал радость, но подавляемую изумлением и какою-то неопределенною боязнию. Тогда я не умел объяснить себе странного моего чувства; но, может быть, это было безотчетное опасение найти в

действительности не то, что создало и украсило мое горячее воображение и так искренно, давно полюбило молодое сердце. Я был чистый сангвиник: живой, вспыльчивый и в то же время застенчивый, или, вернее сказать, конфузливый до того, что мог совсем потеряться, мог лишиться на ту минуту употребления языка или заплакать. Хотя я конфузился преимущественно в женском обществе или незнакомом и многочисленном, но кабинет Шишкова представлялся мне страшнее всякой аристократической гостиной — и опасность сконфузиться, показаться дураком бросала меня в озноб и жар. Будучи всегда скромного о себе самом мнения, я добросовестно спрашивал себя: «Что же есть во мне замечательного, достойного обратить внимание такого человека, как Шишков? Не совестно ли заставить его перервать свои важные труды и заниматься мною? Что я стану отвечать, когда он спросит о моих литературных занятиях? Не отвечать же ему, что в университете я издавал письменный литературный журнал вместе с Александром Панаевым? Что я написал стихи к «Зиме» и «Соловью» или перевел «Пигмалиона и Галатею»? Вот если б как-нибудь заставили меня читать, то, может быть, мое чтение понравилось бы Шишкову; в Казани все были в восхищении от моей декламации и игры на театре... Но как же это сделать?..» Подобные детские мысли осаждали всю ночь мою горячую голову. Я уснул уже к утру и целым получасом опоздал приехать к Казначееву.

В переулке с Литейной, называемом Форштатским, против лютеранской кирки, стоял небольшой каменный двухэтажный домик (вероятно, стоит и теперь), окон в восемь, какого-то зеленоватого цвета, весьма скромной наружности: это был собственный дом Александра Семеныча Шишкова. Мы въехали под него в ворота и поднялись во второй этаж, по темной, узкой и нечистой лестнице. Не спрашивая о хозяине, Казначеев ввел меня из прихожей в столовую и остановился у дверей кабинета, поглядел в замочную скважину и сказал: «Дядя тут; не пишет, а что-то читает; верно, ждет нас». Он хотел отворить дверь, но я удержал его, чтоб перевесть дух. Сердце билось у меня, как голубь в клетке, и ды-

хание стеснялось. Через минуту мы вошли. Кабинет был маленький, голубой, с двумя окошками в переулок; между ними помещался большой письменный стол, загроможденный книгами и бумагами; на окошках стояли банки с сухим киевским вареньем и конфектами, а на столе — большая стеклянная банка, почти наполненная доверху восковыми шарами и шариками [1]. Вокруг на горках и на полу лежало много книг и тетрадей. Все было в пыли и *беспорядке*, как называют и теперь *порядок* в кабинете ученого, серьезно занятого делом человека.

Александр Семеныч был в шелковом полосатом шлафроке с поясом, с голой шеей и грудью; на ногах у него были кожаные истасканные ичиги (спальные сапоги); он имел средний рост, сухощавое сложение, волосы седые с желтиной; лицо у него было поразительно бледно; темнокарие небольшие глаза, очень живые, проницательные, воспламеняющиеся мгновенно, выглядывали из-под нависших бровей; общее выражение физиономии казалось сухо, холодно и серьезно, когда не было одушевлено улыбкой, — самой приятной и добродушной. Он не вдруг увидел нас, но увидев, положил книгу, встал и сказал мне: «Я рад, что вы встретились и подружились с Казначеевым. Вы оба русские люди, будете вместе служить и ходить ко мне, я стану толковать с вами и что-нибудь читать, и хорошее и худое; худого больше, но есть и хорошее. Вот я сейчас читал поэму «Петр Великий»; ее все журналы будут бранить, я наперед знаю; а в ней есть такие красоты, каких немного у Державина, да и у Ломоносова». Он сел на свои кресла перед столом, и мы сели без приглашения на ближайшие стулья. Он взял книгу и принялся читать с самого начала, с посвящения, в котором особенно нравились ему стихи:

Из чащи лавровой, цветущей при Полтаве,
Гордящейся Петром, восходит к небесам
Бессмертный памятник его бессмертной славе.
Кто чтит достоинства, достопочтен и сам.

---

[1] Шишков имел привычку, занимаясь чтением и размышлением, скатывать восковые шарики, обирая и общипывая воск со свечей. Он очень любил разные лакомства, особенно плоды и ягоды.

Чтение его было тихо, однообразно, но естественно, произношение чисто и явственно, но в то же время с каким-то стариковским бормотаньем и процеживаньем слов сквозь зубы; он читал с большим одушевлением и небольшими жестами правой рукой. Сначала мне не понравилось чтение; но скоро я прислушался, привык к его недостаткам или особенностям, и оно так увлекло меня внутренней силою и теплотою, что князь Шихматов показался мне великим поэтом, а Шишков таким чтецом, при котором мне не должно и читать. Читая, Шишков нередко останавливался и восклицал: «Какое великолепие! Какая красота! Какое знание языка славянского, то есть русского! Вот что значит, когда стихотворец начитался книг священного писания! А между тем при следующих стихах, — продолжал он: —

Не сломят веки, ни стихии,
Ни ковы всех наземных бед, —

сейчас остановятся и скажут: что это за *наземные беды?* Уж не навозные ли? Подумают, что это слово выдумано Шихматовым; неправда, оно точно в этом смысле употреблено в священном писании. Ну что может быть лучше этих выражений:

Не терпит сердце немоты;
Приди, витийство простоты,
И смелость мне вдохни, природа!

Или, например:

Как зимний дым белеют мраки,
И утро с розовым лицом,
Гоня зловидные призраки,
Блистая златом, багрецом,
Дыша живительной прохладой,
Белит и горы и поля.
Сребром усыпана земля,
Всеместной полнится отрадой;
Настал приятный первый шум,
Преторглась цепь нощного плена,
И путник, преклонив колена,
Вперил к востоку взор и ум. —
Се солнце, искра славы бога,
Из бездн исходит, как жених
Младый от брачного чертога.

Это все красоты первоклассные, или заимствованные из книг священного писания, или составленные по их духу. Да покажите мне, много ли таких красот найдется у наших знаменитых писателей. А вот попадется слово, которого значение не поймут, в стихе:

Богатств *дражайшие* дары —

и станут смеяться: *дражайший дар*, как уморительно смешно! а ничего смешного нет. Дражайший значит драгоценнейший, это превосходная степень, а потому стих:

Богатств дражайшие дары —

значит дары, которые драгоценнее богатств. Наперед знаю, что наши безграмотные журналисты подымут на смех следующие превосходные стихи, красоты выражения которых все почерпнуты из священного писания:

Течет *исполнь* красы и мира,

или:

Так зависть, *поучась в крамоле*,

или:

И к смерти *прилагают* смерть,

или:

От скал сложенные громады.

Пожалуй, иной литератор подумает, что *от* поставлено ошибкой вместо *из*. Или:

Трясется он *от* оснований,

или:

Пасутся сочностию трав —

и неисчетное множество тому подобных превосходных выражений. И немудрено: они не смыслят корня русского языка, то есть славянского. Далее:

Утеха взору и гортани,
Висят *червленные* плоды.

Как хороши эти два стиха! Это прелесть, а пожалуй, не поймут слово *червленные* и подумают, что это *червивые*. Шихматов говорит, что весенние ветерки:

На воздух рассыпают сладость,
Окрав душистые *шипки* —

и это превосходно, но большая часть читателей не поймут слов: *окрав* и *шипки*, а между тем какое живописное изображение, что ветерки, пролетая по цветам, похищают, окрадывают их душистые, распускающиеся шипки, то есть цветочные распукольки, и таким образом наполняют сладостным благовонием воздух. Ну, послушайте, какое великолепное описание кораблестроения:

Туда, по воле человека,
Корнисты севера сыны,
Надменны долготою века,
Стеклись с кремнистой вышины
И там, искусством искривленны,
Да с бурями воюют вновь...

Последний стих так многозначителен, что я не знаю ему равного. Я также ничего не знаю лучше во всех мне известных литературах следующего описания спуска корабля:

При звуках радостных, громовых,
На брань от пристани спеша,
Вступает в царство волн суровых;
Дуб — тело, ветр — его душа,
Хребет его — в утробе бездны,
Высоки щоглы — в небесах,
Летит на легких парусах,
Отвергнув весла бесполезны;
Как жилы напрягает снасть,
Вмещает силу с быстротою,
И горд своею красотою,
Над морем восприемлет власть.

Тут есть такие три стиха (4, 5 и 6), которым должны позавидовать и древние и новые стихотворцы»[1].

Чтение в таком роде, замечания и рассуждения Шишкова продолжались часа два. Казначеев и я слу-

---

[1] Шишков читал многим поэму Шихматова, переплетенную с белыми листами, исписанными множеством его собственноручных отметок, замечаний и объяснений. Он наблюдал такой порядок: сначала прочитывал целый куплет, а потом возвращался к замеченному слову или выражению. Я, познакомясь короче, списал себе в особый экземпляр все замечания Шишкова, но потерял его и теперь пишу на память. Я мог бы припомнить гораздо больше, но считаю достаточным этого образчика. По совести должен я сказать, что Александр Семеныч употреблял хитрость, читая Шихматова: он выбирал или лучшие места, или такие выражения, которые, будучи им объяснены, переставали, как он думал, казаться читателю странными.

шали и молчали, изъявляя только по временам наше полное согласие с мнениями и выводами хозяина, хотя некоторые похвалы и казались нам преувеличенными. Вдруг дверь в кабинет из столовой несколько отворилась, и резкий женский голос сказал: «Александр Семеныч! Тебе давно пора в Адмиралтейство! Тебя там сегодня ждут. Ты обещал быть в двенадцать часов, а теперь половина второго». — «Сейчас, сейчас! — отвечал он просительным тоном, — вот только прочту несколько куплетов». Тот же женский голос тоном неумолимой гувернантки возразил: «Этому чтению и конца не будет. Федор! подавай одеваться Александру Семенычу...» И Федор вошел с платьем. Шишков дочитал только куплет, положил книгу и сказал: «Вы у нас обедаете. Я скоро ворочусь; мне хочется показать вам в этой поэме одно славное место и объяснить, откуда Шихматов заимствовал его красоты. Ступайте теперь к жене». Мы вышли. Я был озадачен. Хотя я увлекался чтением и горячими чувствами Шишкова, хотя многие стихи, на которых он останавливался, точно были хороши и я восхищался ими, но не все объяснения красот «Петра Великого» показались мне удовлетворительными; притом мне было как-то больно, что он не обратил собственно на меня ни малейшего внимания: я забыл, что накануне признавал себя совершенно его недостойным. Странно мне показалось и то, что Казначеев, говоривший о дяде заочно с благоговением, обращался с его личностью как-то слишком запросто; голос же жены Шишкова (как я догадался), в котором не было заметно никакого уважения, а, напротив, слышалась привычка повелевать, поселил во мне сильное предубеждение против этой женщины, несмотря на то, что Казначеев уже успел сказать мне, что она добрейшее существо в мире. Под таким впечатлением вошел я в гостиную, где Дарья Алексевна (так звали жену Шишкова) [1] сидела за

[1] Урожденная Шельтинг. Она была голландка и лютеранка. Дед ее был приглашен из Голландии в русскую службу и дослужился до адмиральского чина. По-французски она говорила очень плохо, за что и страдала впоследствии в большом свете, куда судьба неожиданно ее затащила. Она вышла за Шишкова вдовою; но я забыл фамилию первого ее мужа.

рабочим столиком у окошка; она приняла меня очень просто и ласково, хотя вообще обращение ее было сухо; попросила сесть возле себя и, не переставая усердно что-то шить, расспросила обо всем до меня и моего семейства касающемся, со всеми мельчайшими подробностями. Узнав, что со мною живет брат, двенадцатилетний мальчик, она настоятельно потребовала, чтоб я на другой же день привез его к ней, прибавя: «Из ваших слов я вижу, что вы хороший брат и неохотно оставляете его одного дома, а потому всегда привозите его к нам с собой; у нас воспитываются двое родных племянников Александра Семеныча, а потому вашему брату будет не скучно. Я сама занимаюсь воспитанием племянников и строго смотрю за их нравственностью. Я уверена, что ваш брат мальчик неиспорченный. Мы обедаем в половине четвертого. Милости прошу обедать хоть всякий день или хоть вместе с Казначеевым, который с двумя своими родственниками [1] обедает у нас три раза в неделю. Сегодня же непременно прошу обедать с нами. Итак, прощайте покуда».

Мы вышли. Уже был третий час. Мы предполагали часу в первом уехать от Шишкова и отправиться в «Комиссию составления законов»; но теперь было уже поздно, и мы решились совсем не являться туда, а пошли гулять по Литейной, в ожидании времени обеда. Тут Казначеев многое объяснил мне и много рассказал такого, что мне нужно было знать предварительно. Между прочим, он поздравил меня с тем, что я понравился его дяде и тетке (впоследствии мы всегда их так звали). Я захохотал: «Да помилуй, — возразил я, — он не сказал со мною ни одного слова». Но Казначеев уверял, что это ничего не значит, что он хорошо знает своего дядю, что если б я ему не полюбился, то он не продержал бы нас с лишком два часа; что, говоря и читая, он все относился ко мне и смотрел на меня, и что он из выражения глаз его заметил, что я пришел ему по сердцу. «Что же касается до тетки, — прибавил он, — то я не виды-

[1] Они вовсе не были родня Казначееву, но он назвал их родственниками, чтобы иметь более права познакомить своих приятелей с домом дяди.

вал, чтобы она к кому-нибудь была так с первого разу благосклонна, как к тебе». Хотя, по-моему, очевидность тому противоречила, но я не мог не поверить Казначееву, в искренности которого невозможно было сомневаться. Тут узнал я, что дядя его, этот разумный и многоученый муж, ревнитель целости языка и русской самобытности, твердый и смелый обличитель торжествующей новизны и почитатель благочестивой старины, этот открытый враг слепого подражанья иностранному — был совершенное дитя в житейском быту; жил самым невзыскательным гостем в собственном доме, предоставя все управлению жены и не обращая ни малейшего внимания на то, что вокруг него происходило; что он знал только ученый совет в Адмиралтействе да свой кабинет, в котором коптел над словарями разных славянских наречий, над старинными рукописями и церковными книгами, занимаясь корнесловием и сравнительным словопроизводством; что, не имея детей и взяв на воспитание двух родных племянников, отдал их в полное распоряжение Дарье Алексевне, которая, считая все убеждения супруга патриотическими треднями, наняла к мальчикам француза-гувернера[1] и поместила его возле самого кабинета своего мужа; что родные его жены (Хвостовы), часто у ней гостившие, сама Дарья Алексевна и племянники говорили при дяде всегда по-французски... Я разинул рот от удивления! Такое несходство слова с делом казалось мне непостижимо. Что должен был я подумать о Шишкове? В истинности его убеждений сомневаться было невозможно; итак, это жалкая слабость характера?.. но мне не хотелось допустить такой мысли — и крепко смутилась моя молодая голова! Признаюсь, смущало меня и то, что у православного Шишкова — жена лютеранка!.. В половине четвертого мы были в гостиной, где нашли тетку, двух ее племянниц, девиц Хвостовых, и двух молодых людей, приятелей Казначеева, Хвощинского и Татаринова, с которыми я уже познакомился поутру, потому что они жили на одной квартире с Казначеевым. Племянники Александра

[1] Этот француз умел подделаться впоследствии к Шишкову похвалами России и русскому языку.

Семеныча, также гулявшие перед обедом с гувернером, воротились в одно время с нами; через несколько минут приехал дядя. Не дожидаясь, пока он переоденется, хозяйка велела подавать кушанье и повела гостей за стол. Возле места, на котором обыкновенно садился Шишков, она пригласила сесть меня. Казначеев сел по другую его сторону. Дядя, переменив только мундир на халат и сапоги на ичиги, шаркая ногами по полу, или как-то таская их по-стариковски, торопливо вышел из кабинета, сел между мною и Казначеевым и молча занялся сначала своей стынувшей тарелкой супа. Потом обратился ко мне и принялся рассказывать свой спор в адмиралтейском совете за какого-то русского морского офицера, которому, совершенно несправедливо, предпочитали немца. Дядя, без всякой, впрочем, ласковости, говорил со мною так просто, так по-домашнему, как будто я век был его семьянином, и скоро мне самому показалось, что я давно и коротко знаком с хозяином и со всеми его интересами. Я заметил, что Дарья Алексевна улыбалась, смотря на нас, и говорила что-то с другими. В продолжение всего обеда, чрезвычайно умеренного, дядя ни с кем, кроме меня, не сказал ни одного слова. Встав из-за стола, он сейчас увел нас с Казначеевым в кабинет и около часа читал поэму Шихматова и объяснял то место, которое хотел указать нам. Наконец, сказал: «Ну, бог с вами. Ступайте к молодежи». В гостиной тетка и другие встретили меня улыбками и поздравлениями, что я буду любимцем Александра Семеныча, чему, впрочем, никто не завидовал, ибо всем казались беседы с ним наедине и бесконечные толкования о славянских корнях смертельною скукою. Я, полагаясь более на слова других, чем на свое впечатление, радовался от всего сердца такому неожиданному и скорому обороту дела — но поспешил домой: в первый раз случилось, что брат должен был обедать один и даже не знал, где я. Воротясь, я нашел его в беспокойстве обо мне; он даже еще не обедал, а как я сам был голоден после диетного немецкого стола у Шишковых, то и пообедали мы очень плотно своими тремя сытными русскими блюдами. Я рассказал брату все малейшие подробности нового знакомства и назначил ехать послезавтра вместе с ним к

Шишкову. Первое мое с ним свидание так врезалось в моей памяти, что я мог рассказать его с изумительною (для меня самого) точностью: дальнейшие мои рассказы не могут быть так подробны.

Брата моего приняла тетка очень ласково и радушно; дядя, по своему обыкновению, не обратил на него ни малейшего внимания. С молодыми племянниками Шишкова, или, лучше сказать, со старшим, с Сашей (иначе называть его не позволяли), брат мой скоро подружился; меньшой же, Митя, был слишком молод, да и как-то странен. Саша, известный впоследствии в русской литературе под именем «Шишкова 2-го», был тогда блистательным и очаровательным мальчиком. Много возбуждал он великих надежд своим ранновременным умом и яркими признаками литературного таланта. Тетка обожала его, как говорится, и, несмотря на свою практическую рассудительность, совершенно испортила своего любимца. Исключительно женское воспитание редко удается. Через несколько лет не могла она сладить с Сашей, и он поступил в военную службу, прямо в офицеры молодой гвардии и прямо в адъютанты, кажется к генералу Каблукову. Саша немедленно сделался отчаянным повесой, был сослан на Кавказ, ушел из-под караула и, будучи арестантом, увез молодую девушку и женился на ней, жил в крайней бедности, погубил свой замечательный талант, работая для денег, и, наконец, погиб трагическою, всем известною смертью.

Наши посещения дома Шишковых устроились правильным образом: три раза в неделю мы с братом у них обедали и проводили иногда вечера, вместе с Казначеевым и его мнимыми родственниками и нередко с семейством Хвостовых. По вечерам дядя уезжал в гости или в клуб, где он вел крупную игру. Он был отличный мастер играть во все коммерческие игры и особенно в *рокомболь* и всегда много выигрывал. Я после узнал, что он в молодости был сильный банковый игрок. Хотя я приезжал или приходил из «Комиссии составления законов» довольно поздно, иногда перед самым обедом, но всегда проходил прямо в кабинет дяди и вместе уже с ним садился за стол, постоянно подле него. После обеда почти всегда он приглашал меня в кабинет, иногда

без Казначеева, и толковал со мною о любимых своих предметах: о тождестве языка русского и славянского, о красотах священного писания, о русских народных песнях, о порче языка по милости карамзинской школы и проч. и проч. Я постепенно перешел из безмолвного слушателя в собеседника. Иногда я возражал Александру Семенычу, и он, оспоривая меня, признавал нередко, хотя одностороннюю, правду и значительность возражения; в таком случае он обыкновенно отмечал в тетради: «Такое-то возражение нужно хорошенько объяснить и опровергнуть». Все наши разговоры вошли в состав «Разговоров о словесности» между двумя лицами: Аз и Буки, напечатанных года через два. Я не мог не смеяться, читая их, потому что нередко узнавал себя под буквою Аз, и весьма часто с невыгодной стороны.

Между тем время шло. Я привязался всею душою к Шишкову и хотя никогда не слыхивал от него ласкового слова, но видел из выражения его глаз, слышал по голосу, как он был доволен, когда я входил к нему в кабинет. Нечего и говорить, что с первой минуты нашего знакомства я стал искать благосклонности старика с таким жаром и напряженным вниманием, с каким не искал во всю мою жизнь ни в одной женщине. Это делалось бессознательно с моей стороны, но все окружающие замечали мои поступки и нередко смеялись мне в глаза; сама тетка говаривала, что я влюблен в ее мужа и волочусь за ним изо всех сил. Я конфузился, но продолжал держать себя попрежнему. — Сначала нередко случалось, что отворишь дверь в кабинет Шишкова, и он, если занят серьезно, то кивнет головою и скажет: «А, здравствуй», но не отодвинет книги или тетради и не прибавит: «Ну, садись, потолкуем». (Я забыл сказать, что через неделю после первого свидания, или, лучше сказать, при первом употреблении второго лица, дядя начал говорить мне: *ты.*) В настоящее же время тетрадь или книга уже постоянно отодвигалась при моем появлении, так что я сам, зная, чем хозяин занят, не входил иногда к нему в кабинет или, поздоровавшись, сейчас уходил под каким-нибудь предлогом.

Наконец, вышло из-под спуда мое уменье читать или декламировать. Казначеев с родственниками, Хвощинским и Татариновым, которые так и остались навсегда его родней, наговорили о моем чтении тетке и Хвостовым, и меня стали просить *прочитать что-нибудь*. Я стал читать: чтение всем понравилось, и тетка один раз за обедом вдруг обратилась к мужу и сказала: «А ты, Александр Семеныч, и не знаешь, что Сергей Тимофеич большой мастер читать?» Шишков, конечно, не знал, то есть слышал, да забыл, как меня зовут, и я приметил, что он старался вспомнить: кто это такой Сергей Тимофеич? Я поспешил вывесть его из недоумения и сказал, что очень желаю прочесть ему что-нибудь, и, обратясь к Дарье Алексевне, прибавил, что Александр Семеныч сам превосходно читает и что я боюсь его суда. Дядя промолчал, но после обеда, не уходя из гостиной, он сказал: «Ну, прочти же что-нибудь». Я сейчас сбегал в его кабинет, принес Ломоносова и прочел «Размышление о божием величии». Дядя был так доволен, что заставил меня прочесть другую пьесу, потом третью, четвертую и, наконец, приметя или подумав, что для других это скучно, увел меня в кабинет, где я читал ему на просторе из Державина, Капниста и даже из князя Шихматова по крайней мере часа полтора. Я должен признаться, что чтение из Шихматова было с моей стороны волокитство! Дядя, очевидно, был очень доволен чтением, иначе он не заставил бы меня читать так долго; но не похвалил ни одним словом и потом уже никогда не поминал об этом, чем я немало огорчался. Но зато чтение в гостиной продолжалось с возрастающим успехом. Кроме всегдашнего мужского общества, слушательницами были: Катерина Алексевна Хвостова, родная сестра хозяйки (женщина замечательная по уму и прекрасным качествам), две ее незамужние дочери, девица Турсукова, сочинительница Анна Петровна Бунина и другие. Я перешел к чтению драматических пиес; между прочим, я прочел Озерова: «Эдипа», «Фингала» и, наконец, чью-то комедию. Чтение последней родило мысль, что как было бы хорошо устроить домашний спектакль. Надобно сказать, что тетку все считали очень скупою; в самом же деле она была только расчетлива, да и

поступать иначе не могла, ибо доходы Шишкова, довольно ограниченные, состояли в одном жалованье. Мысль о театре понравилась Дарье Алексевне по многим отношениям, но расходы ужаснули, и сначала эта мысль была совершенно отвергнута ею, как невозможная в исполнении. Конечно, я более всех желал, чтобы у Шишковых устроились благородные спектакли. Самолюбие мое было очень уже обольщено и даже избаловано еще в Казани, где на университетском театре, посещаемом лучшею публикой, я играл очень много, всегда с блистательным успехом. Гром рукоплесканий сладок, и дым похвал упоителен: я отведал этой сладости и дыма — и чад не выходил из моей головы. Кроме причин, мною высказанных, у меня была своя, особенная, секретная причина: я с приезда моего в Петербург, всякий свободный вечер проводил у Шушерина, с которым мы постоянно занимались сценическим искусством, то есть читали, разыгрывали пиесы и рассуждали об их исполнении. Мои понятия расширились, уяснились; я узнал много нового, сделал, как умел, под руководством Шушерина, много перемен в своей игре на театре — и мне очень хотелось посмотреть самому на себя, сравнить свою настоящую игру с прежнею. Впрочем, надо сказать правду, что и кроме удовлетворения собственного самолюбия я имел настоящее призвание и любовь к театру. Это доказывалось тем, что я с равным жаром занимался успехом тех пиес, в которых сам не играл. Решительный отказ тетки был для меня очень тяжел. Но скоро новый опыт моего дарования, при чтении какой-то слезной драмы Коцебу, вновь увлек наше общество, и все решились вновь атаковать Дарью Алексевну. Для вернейшего успеха пригласили на чтение Петра Андреевича Кикина [1], которого

---

[1] Петр Андреевич Кикин был одним из самых горячих и резких тогдашних славянофилов; он сделался таким вдруг, по выходе книги Шишкова: «Рассуждение о старом и новом слоге». До того времени он считался блестящим остряком, французолюбцем и светским модным человеком, как он сам рассказывал мне и Казначееву. Книга Шишкова образумила и обратила его, и он написал на ней: «Mon Evangile» ‹мое евангелие›. Я видел сам эту надпись, и хотя был очень молод, но мне показалось это смешно. В свете называли Кикина новообращенным, новокрещенным, рене-

хозяева очень любили и уважали: он остался весьма доволен и принял живое участие в нашем предприятии. Напали на самую слабую сторону тетки: представили, как полезна будет игра на сцене для образования наружности ее племянников, то есть старшего, обожаемого Саши, который прекрасно читал и грезил день и ночь желанием играть на театре. Без сомнения, он был сильнейшим нашим орудием. Главное затруднение — расходы устранялись отчасти тем, что мы вызвались сами написать занавес и декорации, наклеить их на рамы и, без всякого машиниста, с одним простым плотником, взялись устроить сцену, к чему Хвощинский, необыкновенный мастер на все ремесла и даже женские рукоделья, оказался вполне способным. Наконец, обольстили тетку: она согласилась и уже горячо взялась за дело. Для начала выбрали две детские пиески из театра для детей М. Невзорова; одна называлась «Старорусин», или «Семейство Старорусиных», не ручаюсь за точность названия, но я сам играл отца семейства, отставного служаку, господина Старорусина, которого слова были отражением русского направления Александра Семеныча Шишкова. Как называлась другая пиеска — решительно не помню. Племянники Шишкова и мой брат играли женские лица. Положено было сделать сюрприз дяде нашим спектаклем; ему сказали, что в зале надобно произвести переделки, затворили ее и заперли двери; обед перенесли в маленькую столовую, что и прежде случалось, когда не было никого посторонних. Впрочем, для дяди не нужны были такие предосторожности: раз как-то нечаянно он заглянул в залу прямо из лакейской, увидел нас без фраков, в фартуках, запачканных красками — и даже не спросил, что это значит. Денег у тетки на устройство театра взяли только сто рублей

гатом, и, точно, как человек перешедший быстро от одного убеждения к другому, он слишком горячился и впадал в крайности, которые никогда не ведут к убеждению других. Он беспощадно и грубо, прямо в глаза, казнил своих прежних знакомых мужчин, дам и девиц, недавно знавших его совсем другим человеком. Он продолжал считаться остряком, и язык его называли бритвой. С глубоким уважением предался он Шишкову, который сам очень его любил и уважал.

ассигнациями, приложили столько же своих и обманули ее, ставя в расход все цены вдвое меньше. Короткие знакомые Шишкова, как то: Бакунины, Мордвиновы, Кутузовы, Турсуковы и другие, скоро узнали секрет; но дядя не знал ничего. Костюмы собрали кое-как без всяких расходов. Я помню, что играл Старорусина, отставленного с екатерининским мундиром, в военном сюртуке Кикина, бывшего тогда флигель-адъютантом, и что я в первый раз и без всякой надобности явился на сцене в шпорах. Как бы то ни было, решительный вечер наступил (кажется, в чьи-то именины); приглашенные гости, все коротко знакомые хозяевам, съехались. Отперли, растворили двери в освещенную залу, и Шишков, ничего не подозревая, думая, что все идут смотреть обыкновенные детские танцы, вел под руку жену Кутузова. Дядя не вдруг увидел занавес: он был не верхогляд и всегда смотрел себе под ноги, потому что был ими слаб; но зала, тесно заставленная стульями, его поразила. «Что это? — сказал он, остановясь и оглядываясь, — скажите, пожалуйста, театр! ведь я ничего не знал!» Общий веселый смех и рукоплескания раздались между гостями... Я не помнил себя от радости и дрожал, как в лихорадке, смотря на публику в отверстие, прорезанное на занавесе. Спектакль прошел благополучно, осыпаемый рукоплесканиями зрителей и зрительниц, разумеется, из одного желания сделать удовольствие хозяевам. Надо признаться в непростительной и нелепой дерзости, на которую подбили меня советы других и на которую решился я чуть ли не с согласия Дарьи Алексевны: играя свою роль, я подражал несколько выговору, походке и вообще манерам Александра Семеныча — одним словом, я передразнивал его. Это было замечено многими гостями и заставило их смеяться; но, разумеется, дядя ничего не заметил. Тетка сказала, однако, после спектакля в услышание всем: «Сергей Тимофеич так любит моего мужа, что даже походил на него в роли Старорусина». Без всякого самолюбия я скажу, что моя игра на театре слишком резко отличалась от игры других. Несмотря на молодость, я уже был опытный актер: я с пятнадцати лет постоянно изучал и разыгрывал разные роли если не на сцене, не

перед зрителями, то у себя в комнате, перед самим собою; в настоящее же время в этом страстно любимом занятии руководствовал мною, как я уже сказал, знаменитый тогда актер Яков Емельяныч Шушерин. Я имел решительный сценический талант и теперь даже думаю, что театр был моим настоящим призванием. Старики-посетители, почетные гости Шишковых, заметили меня, и Н. С. Мордвинов (будущий граф), М. И. Кутузов (будущий светлейший князь Смоленский), М. М. Бакунин, а более всех жена Кутузова, знаменитая своей особенной славой, женщина чрезвычайно умная, образованная и страстная любительница театра (известный друг актрисы Жорж), приветствовали меня уже не казенными похвалами, которыми обыкновенно осыпают с ног до головы всех без исключения благородных артистов. Кутузова изъявила мне искреннее сожаление, что я дворянин, что такой талант, уже много обработанный, не получит дальнейшего развития на сцене публичной, — и самолюбие мое было утешено. Дядя был совершенно доволен; Дарья Алексевна уверяла меня, что никогда не видала его таким светлым и веселым. Но никому из нас отдельно он не сказал благодарного или ласкового слова; бормотал только про себя: «Хорошо, очень хорошо, как будто целый век были актерами». На другой же день родилась у него мысль составить еще спектакль и устроить в нем сюрприз для всех, особенно для его друга Н. С. Мордвинова; сюрприз состоял в том, чтобы разыграть на итальянском языке две сцены из трагедии Метастазия (кажется, из «Александра Македонского»), состоящие из двух лиц: Александра Македонского и пастуха. Жена Мордвинова была англичанка [1], воспитанная в Италии, и не знала по-русски; сам Мордвинов и все его семейство долго жили в Италии и говорили по-итальянски, как на своем языке. Племянник Александра Семеныча, Саша Шишков, говорил на этом языке также очень хорошо; ему назначили играть главную роль «пастуха», а брат мой, не знавший по-итальянски, должен был играть «Алек-

---

[1] Родная сестра бывшего некогда одесским комендантом генерал-майора Кобле.

сандра»; его роль умещалась на четырех страничках. Дядя написал ее своей рукой, в двух экземплярах, французскими и русскими буквами, с означением всех тончайших словоударений; он сам учил моего брата произношению с удивительным терпением и, говорят, довел его выговор, во всех певучих интонациях языка, до изумительного совершенства. Секрет был сохранен строжайшим образом; репетиции делались в кабинете у дяди, и никто из знакомых не знал о приготовляемом сюрпризе. Чтоб не затрудняться постановкой новой пиесы, положили повторить «Старорусина». Должно сказать, что дяде было очень приятно слышать свои мысли с театральных подмостков даже в своей небольшой зале, и мы с его племянником, Казначеевым, заметя это, приготовили сюрприз ему самому: мы вставили в роль Старорусина много славянофильских задушевных мыслей и убеждений Шишкова, выбрав их из его печатных и рукописных сочинений и даже из разговоров. Через две недели дядя поехал сам приглашать гостей и пригласил столько, что половина их должна была поместиться в другой боковой комнате, из которой сцены не было видно. Тетка сердилась, ибо, кроме тесноты, надобно было приготовить ужин не только вдвое больше, но и вчетверо дороже, потому что в числе гостей находились люди уже не коротко знакомые. Дядя, впрочем, дал на ужин какие-то особенные свои деньги. Наконец, спектакль был сыгран. Первая пиеса шла «Старорусин»... Увы, дядя не заметил вставок! Только говорил, что «Аксаков играет несравненно лучше прежнего». Итак, наш сюрприз не удался; но зато сюрприз Мордвиновым удался вполне: и Николай Семеныч, и его жена, и дочери были поражены звуками итальянского языка. Несколько мгновений не могли опомниться от изумления, а потом плакали от удовольствия, как дети. Никогда я не забуду этой минуты, когда, по окончании сцен из Метастазия, Мордвинов подошел к Шишкову. Прекрасное лицо этого чудного старика сияло радостью, а глаза блистали благодарностью за нежное внимание к его семейству. Молча, но красноречиво обнял он своего, на море и на суше испытанного, друга. Если б не было между гостями лишних бревен, как говорится, то есть

лишних людей, то, без сомнения, общее удовольствие было бы гораздо теплее, живее и выразилось бы с большей искренностью.

Никого так не любил и не уважал Шишков, как Николая Семеныча Мордвинова. Его справедливые и очень смело высказываемые мнения, подаваемые им иногда в Государственном совете против единогласных решений всех членов, — в богатом переплете с золотым обрезом, с собственноручною надписью Шишкова: «Золотые голоса Мордвинова», — постоянно лежали на письменном столе у дяди в кабинете. Оба были моряки, и тесная дружба соединяла их издавна. Всем известно, что Николай Семеныч Мордвинов был замечательным и достойным уважения сановником. Некоторые из сослуживцев его не любили и даже распускали на его счет разные нелепые клеветы; но в обществе, где он был необыкновенно любезен, его любили и глубоко уважали все. Его старческая красота и благодушная ласковость в обращении имели в себе что-то обаятельное. У каждого, с кем говорил Мордвинов, выражалось на лице удовольствие. При всяком случае, особенно после спектаклей, он говорил мне несколько любезных слов, и они долго и приятно отзывались у меня в сердце. Он имел привилегию целовать в губы знакомых дам и девиц, и я помню, что они весьма дорожили его поцелуями.

Этот спектакль оставил надолго приятное воспоминание в небольшом круге добрых знакомых и друзей хозяина; недоброжелатели Шишкова, разумеется, смеялись над всем. Вообще Александр Семеныч и его добрая, достопочтенная, но не аристократичная супруга служили предметом насмешек для всех зубоскалов, которые потешали публику нелепыми о них рассказами. Исключительный образ мыслей Шишкова, его резкие и грубые выходки против настоящей жизни общества, а главное против французского направления — очень не нравились большинству высшей публики, и всякий, кто осмеивал этого старовера и славянофила, имел верный успех в модном свете. Впрочем, надо признаться, что Шишков был находка, клад для насмешников: его крайняя рассеянность, невероятная забывчивость и неузнавание людей самых коротких, несмотря на хорошее

зрение, его постоянное устремление мысли на любимые свои предметы служили неиссякаемым источником для разных анекдотов, истинных и выдуманных. Рассказывали, будто он на серьезный вопрос одного государственного сановника отвечал текстом из священного писания и цитатами из какой-то старинной рукописи, которая тогда исключительно его занимала; будто он не узнавал своей жены и говорил с нею иногда, как с посторонней женщиной, а чужих жен принимал за свою Дарью Алексевну. Я не считаю, впрочем, этого невозможным, потому что сам был свидетелем вот какого случая.

Наступил день, или, лучше сказать, ночь, назначенная для сожжения великолепного фейерверка, какого давно не видали в Петербурге, а многие говорили, что никогда такого и не бывало. Его устроили на судах, расположенных на якорях вдоль по Неве, против Зимнего дворца. Шишков имел небольшую, человек на двадцать, галерею, или балкон, в Адмиралтействе, откуда почти так же хорошо было смотреть, как из дворца. Хотя тетка посердилась, что дядя не умел себе вытребовать лучшего помещения, но делать было нечего; она взяла свои меры и пригласила гостей столько, сколько могло поместиться. Племянник Саша с большим нетерпением ожидал этого праздника и написал даже стихи: «Ожидание фейерверка». Всех стихов не помню, но помню, что ловкий мальчик умел приноровиться ко вкусу дяди. Вот уцелевшие у меня в памяти первые четыре стиха:

Настал, настал желанный день!
Спеши скорее ночи тень,
Чтоб огненные чудеса
Мои узрели очеса.

Стихи очень понравились старику. Племянник не скрывал от нас, что написал такие вирши только для того, чтоб угодить дяде. Подраставший Саша начинал понимать Александра Семеныча и, когда хотел, умел подделываться к нему. Вся наша компания, которую бог знает почему Кикин называл Цизальпинской республикой, то есть я с братом и Казначеев с мнимыми родственниками, обедали в день фейерверка у Шишковых; вечером, вместе с ними, отправились в Адмиралтейство и

заняли благополучно свою галерею. Но увы! все предосторожности тетки не послужили ни к чему; званые гости съехались, но вслед за ними стали являться незваные; Шишков не умел отказывать, и скоро стало так тесно, что мы едва лепились на лестнице, нарочно приделанной с наружной стороны здания. Фейерверк уже начался, как приехала одна дама, очень уважаемая Шишковыми, заранее ими приглашенная, но опоздавшая. Пробиться сквозь толпу, стоявшую даже около лестницы, а потом взойти на лестницу — не было никакой возможности. Узнав об этом, Шишков сошел вниз, чтоб провести гостью; кое-как он сошел с лестницы, но не только провесть даму — он сам уже не мог воротиться назад. Шишков успокоился невозможностью и пустился в разговоры с своей гостьей... о чем бы вы думали? о том, что весьма смешно толкаться и лезть в тесноту, чтоб посмотреть на огненные потехи, и что нелепо подражать французским модам и одеваться легко, когда на дворе стужа (а дама была очень легко одета). Собеседница бесилась, посылала мысленно к черту старого дурака славянофила (как она после сама рассказывала), но должна была из учтивости слушать его неуместные рассуждения; наконец, терпение ее лопнуло, и она уехала домой. Шишков, оставшись один, попытался взойти на галерею, но на второй ступеньке стоял широкоплечий полковник Карбонье, который на все просьбы и убеждения старика посторониться не обращал никакого внимания, как будто ничего не слыхал, хотя очень хорошо слышал и знал Шишкова. Наконец, мы услыхали его голос и все четверо, пустив в авангард десятивершкового Хвощинского, бросились на выручку дяди, успели пробиться и взвели его на лестницу. Он не видал половины фейерверка; но всего забавнее было то, что он не узнал нас и нам же рассказывал на другой день, что «спасибо каким-то добрым людям, которые протащили его наверх» и что «без них он бы иззяб и ничего бы не видал». Эти добрые люди были Казначеев и я.

Дядя вообще был не ласков в обращении, и я не слыхивал, чтоб он сказал кому-нибудь из домашних любезное, приветливое слово; но с попугаем своим, из породы какаду, с своим Попинькой, он был так нежен,

так детски болтлив, называл его такими ласкательными именами, дразнил, целовал, играл с ним, что окружающие иногда не могли удержаться от смеха, особенно потому, что Шишков с попугаем и Шишков во всякое другое время — были совершенно непохожи один на другого. Случалось, что, уезжая куда-нибудь по самонужнейшему делу и проходя мимо клетки попугая, которая стояла в маленькой столовой, он останавливался, начинал его ласкать и говорить с ним; забывал самонужнейшее дело и пропускал назначенное для него время, а потому в экстренных случаях тетка провожала его от кабинета до выхода из передней. Впрочем, Шишков был всегда страстный охотник кормить птиц, и, где бы он ни жил, стаи голубей всегда собирались к его окнам. Всякое утро он кормил их сам, для чего по зимам у него была сделана форточка в нижнем стекле. Эта забава не покидала его и в чужих краях. В 1813 и 1814 годах, таскаясь по Германии вслед за главной квартирой государя и очень часто боясь попасться в руки французам, Шишков нередко живал, иногда очень подолгу, в немецких городках. С первого дня он начинал прикармливать голубей и приманивал их со всего города к окнам своей квартиры. Впоследствии, даже слепой, он выставлял корм в назначенное время ощупью на дощечку, прикрепленную к форточке, и наслаждался шумом от крыльев налетающих со всех сторон голубей и стуком их носов, клюющих хлебные зерна. Я сам бывал свидетелем этого поистине умилительного зрелища.

Здесь кстати рассказать забавный анекдот и пример рассеянности Александра Семеныча, который случился, впрочем, несколько позднее. Я пришел один раз обедать к Шишковым, когда уже все сидели за столом. Мне сказали, что дядя обедает в гостях и что он одевается. Я сел за стол, и через несколько минут Александр Семеныч вышел из кабинета во всем параде, то есть в мундире и в ленте; увидев меня, он сказал: «Кабы знал, что ты придешь, — отказался бы сегодня обедать у Бакуниных» [1]. Я просиял от радости, а тетка поучительно и строго возразила: «Все пустое; Сергей Тимофеич

[1] М. М. Бакунин был губернатором в Петербурге.

обедает у нас три раза в неделю, а тебя насилу дозвались Бакунины; я думаю, ты уже с год у них не обедал, сегодня же старший сын у них именинник...» и дядя смиренно побрел в переднюю. Минут через двадцать, только что мы хотели встать из-за стола, как вдруг является дядя. Все удивились. «Что с тобой?» — спросила тетка. «Вообразите, — отвечал Александр Семеныч, — приезжаю, а они уже почти отобедали и назвали таких гостей, с которыми я даже не кланяюсь: господ N.N. и N.N. Дайте мне чего-нибудь поесть». Он сейчас очень проворно переоделся и сел за стол. Тетка с дамами, племянниками и молодыми людьми встали, а мы с Казначеевым остались: есть дяде решительно было нечего. Между тем тетка сейчас воротилась из гостиной и, сказав мимоходом своему супругу: «Это какой-нибудь вздор; никогда у Бакуниных не бывают N.N. и N.N; и могут ли Бакунины позвать вместе с тобой людей, которые тебя терпеть не могут», — отправилась в переднюю и начала свои розыски. По следствию оказалось, что дядя, садясь в карету, вместо Бакуниных приказал ехать к Воронцовым, у которых он никогда не бывал. Ничего не замечая, он вошел в переднюю, где официант доложил ему, что господа почти откушали и скоро встанут из-за стола. Шишков удивился и, проворчав: «Да как же это, звали меня, да не подождали», спросил: «Кто здесь?» Официант назвал ему N.N. и N.N. Дядя еще больше удивился и уехал домой. Тетка раскричалась, хотела было опять одеть своего супруга и отправить к Бакуниным; но дядя на этот раз уперся и, встав из-за стола, разумеется, совершенно голодный, сказал, «что он уже пообедал» — и пригласил нас с Казначеевым в кабинет, обещая прочесть что-то новое. Тетка еще больше расшумелась... тут досталось и славянским наречиям, которыми всегда набита голова Александра Семеныча, и нам с Казначеевым, которые из угождения толкуют с ним об этих пустяках, для чтения которых он не хочет ехать к Бакуниным, где, наверное, не обедают и ждут дорогого гостя. В заключение она прибавила, что теперь бог знает что подумают все их друзья и враги, узнав об этом самом неприличном посещении. «Да как в голову пришли тебе Воронцовы?» —

«Да черт знает как: я об них и не думал», — отвечал дядя и увел нас в кабинет, где и прочел нам мысли о русском правописании, против которых мы отчасти возражали. Все это напечатано в 1811 году в числе «Разговоров о словесности». Тетка принуждена была написать к Бакуниным, что по таким-то причинам муж ее к ним сегодня не будет. В самом деле, посещение Шишкова, как нарочно сделанное не во-время и некстати, произвело много недоумений и толков, потому что он приезжал к своему первому ожесточенному противнику, известному по своей особенной дружбе с французским посланником, а посланник недавно жаловался государю на печатные враждебные и оскорбительные выходки Шишкова против французов. Итак, посещение Александра Семеныча получило особое значение. Воронцов, подумав, что Шишков приезжал для каких-нибудь объяснений, счел за долг на другой день отдать ему визит: свидание было презабавное. Скоро дело объяснилось и, украшенное добрыми людьми, долго занимало и потешало городскую публику.

Не знаю за что, но император Павел I любил Шишкова; он сделал его генерал-адъютантом, что весьма не шло к его фигуре и над чем все тогда смеялись, особенно потому, что Шишков во всю свою жизнь не езжал верхом и боялся даже лошадей; при первом случае, когда Шишкову как дежурному генерал-адъютанту пришлось сопровождать государя верхом, он объявил, что не умеет и боится сесть на лошадь. Это не помешало, однако, императору Павлу I подарить Шишкову триста душ в Тверской губернии. Александр Семеныч, владея ими уже более десяти лет, не брал с них ни копейки оброка. Многие из крестьян жили в Петербурге на заработках; они знали, что барин получал жалованье небольшое и жил слишком небогато. Разумеется, возвращаясь на побывку в деревню, они рассказывали про барина в своих семействах. Год случился неурожайный, и в Петербурге сделалась во всем большая дороговизна. В один день, поутру, докладывают Александру Семенычу, что к нему пришли его крестьяне и желают с ним переговорить. Он не хотел отрываться от своего дела и велел им идти к барыне; но крестьяне непременно хотели видеть его

самого, и он нашелся принужденным выйти в переднюю. Это были выборные от всего села; поклонясь в ноги, несмотря на запрещение барина, один из них сказал, что «на мирской сходке положили и приказали им ехать к барину в Питер и сказать: что не берешь-де ты с нас, вот уже десять лет, никакого оброку и живешь одним царским жалованьем, что теперь в Питере дороговизна и жить тебе с семейством трудно; а потому не угодно ли тебе положить на нас за прежние льготные годы хоть по тысяче рублей, а впредь будем мы платить оброк какой ты сам положишь; что мы, по твоей милости, слава богу, живем не бедно, и от оброка не разоримся». Услыхав такие речи, дядя пришел в неописанное восхищение, или, лучше сказать, умиление, не столько от честного, добросовестного поступка своих крестьян, как от того, что речи их, которые он немедленно записал, были очень похожи на язык старинных грамот. Дядя сейчас послал за Казначеевым и за мною. Нас не застали дома, и мы явились к нему уже после обеда. Старик еще не простыл и с несвойственным ему даже наружным жаром и волнением рассказал нам все происшествие и прочел записанные речи. «Вы, пожалуй, подумаете, что я пораскрасил их слова, — прибавил он, — ну так слушайте сами». Крестьян позвали, и дядя заставил их рассказать вновь все, сказанное ему поутру. Крестьяне повиновались, и речи их (они говорили оба) оказались очень сходными с теми словами, которые записал Шишков. Он расспросил их кой о чем, подтвердил, чтоб их хорошенько угощали, и обещал на другой день написать письмо и отпустить домой. Он показывал своих крестьян Мордвинову и Кикину и заставлял повторять те же речи; но мне и Казначееву это не нравилось, и мы уговорили дядю никому более своих крестьян не показывать и отпустить поскорее домой. На третий день Шишков написал письмо, которого я не читал, но содержание которого состояло в том, что помещик благодарил весь мир за усердие, объявил, что надобности в деньгах, по милости царской, не имеет и обещал, что когда ему понадобятся деньги, то ни у кого, кроме своих крестьян, денег не попросит. Выборных и дядя и тетка угощали по горло, чем-то подарили, облобызали и отпустили. Мы с

Казначеевым были в восторге, но многие, в том числе и Дарья Алексевна, даже Мордвинов, находили такое бессребренничество излишним и неуместным. «Почему бы не положить, — говорили они, — легкий оброк, ничего не значущий для крестьян, когда сам помещик нередко нуждается в деньгах и часто не имеет свободного рубля, чтоб помочь бедному человеку? Да и за что же все другие крестьяне или работают на господина, или дают ему оброк, или платят двойные подушные, как казенные крестьяне, а эти ничего не делают? Это несправедливо, это должно производить ропот между соседними крестьянами» и проч. и проч. Без сомнения, все это правда; но я полюбил Шишкова еще больше[1].

Все, что я говорил и буду говорить о Шишкове, обнимает пространство времени с конца 1808 до половины 1811 года; все происходило точно тогда, но я не ручаюсь за хронологическую верность и последовательность рассказываемого мною. Мне потому именно вздумалось теперь оговориться, что я никак не могу отыскать настоящего времени, когда приезжала крестьянская депутация, сейчас описанная мною.

Шишков обыкновенно вставал поутру часов в семь зимою и в шесть — летом. Он прямо из спальни отправлялся в кабинет и не выходил из него (кроме двух присутственных дней в адмиралтейском совете) до половины четвертого, если обедал дома, и до четырех часов, если обедал в гостях. После обеда немного дремал, сидя в креслах в своем кабинете, и потом что-нибудь читал до отъезда в клуб или в гости. Работая постоянно часов по восьми в сутки, он исписал громадные кипы бумаги. Я помню, что и та книга, в которую он вписывал слова малоизвестные и вышедшие из употребления, попадавшиеся ему в книгах священного писания, вообще в книгах духовного содержания, в летописях и рукописях, — что эта, так сказать, записная книга была ужасающей величины и толщины. Без преувеличенья можно сказать,

[1] Впоследствии крестьяне упросили положить на них какой-нибудь оброк, говоря, что им совестно против других крестьян. Оброк был положен, разумеется небольшой, да и тот собирался и употреблялся на их же собственные нужды. Вот как Шишков понимал помещичье право.

что исписанных им книг и бумаг, находившихся в его кабинете, нельзя было увезти на одном возу; но, кажется, многие его ученые труды после его кончины, а может быть, еще и при жизни, которая долго тлелась в его уже недвижимом теле, погибли без следа. Толстая книга и две тетради, писанные рукою Шишкова, через месяц после его смерти были случайно куплены сыном моим на Апраксинском рынке, где продают книги и рукописи на рогожках: это был «Корнеслов» и «Сравнительный словарь» славянских наречий. Продавец знал, что продает, и сам сказал моему сыну, что рукописи принадлежат Александру Семенычу Шишкову, писаны им самим и что он купил в его доме все книги и бумаги, оставшиеся после покойного. Я не знаю, соблюдалась ли правильная система в работах Шишкова, и не умею определить, до какой степени были важны его труды; но что он трудился много, добросовестно и благонамеренно — в этом не может быть никакого сомнения. Важность его ученых заслуг по морской части признавалась тогда всеми, и я слыхал, что недоброжелатели Шишкова отдавали ему в этом случае полную справедливость. Кроме ученых занятий и русской литературы, Александр Семеныч любил итальянских поэтов. Он перевел «Тассовы ночи» и назвал их «Бдениями». Перевод тяжел, но не лишен чувства и силы. Александр Семеныч сам превосходно читал его, одушевленно и драматично, и не раз приводил меня в изумление. Я, будучи страстным охотником читать, то есть выражать внешним образом чувства другого, перечувствованные собственной душою, и находивший в этом неизъяснимое наслаждение, — я сам много трудился над «Бдениями Тасса». Я знал эту тяжелую прозу почти наизусть, и хотя все хвалили меня, но мне казалось, что дядя лучше, проще, вернее моего выражает тоскливый бред полупомешанного поэта. Я помню также небольшую книжку мелких стихотворений и переводов в стихах Александра Семеныча, которую знали только самые короткие и домашние люди. Там находилась, даже не совсем приличная и грубая эпиграмма на французов. Легкостью и остроумием грех было поклепать дядю; это было не его дело. Я помню одно сатирическое послание к Александру Семенычу

Хвостову, где в каждом куплете осмеивался кто-нибудь из знакомых людей противного образа мыслей и жизни. Вот один уцелевший как-то в моей памяти куплет:

Реши, Хвостов, задачу:
Я шел гулять на дачу,
Туда же и Глупон;
Весь в блестках, в злате он,
С лорнетом при зенице,
С массю д'Еркюль[1] в деснице...
Жеманится, кривится,
Зовет меня с собой.
Не лучше ль воротиться
Отселе мне домой?

Между тем на следующую зиму состоялись у нас еще два спектакля. Были сыграны пиесы: комедия «Береговое право» Коцебу и «Театральное предприятие», комедия в стихах Ефимьева; названий других двух небольших пиес не помню. Комедия Ефимьева состояла из двух лиц: одного, пожилого господина, затевающего устроить театр, а другого, молодого человека, который, чтоб отвратить первого — своего хорошего приятеля — от этого предприятия, является, для определения в актеры, в разных видах и костюмах: дразнит и дурачит бедного антрепренера и, наконец, поселяет в нем отвращение к театру. Я играл любителя театра, а роль переодевающегося семь раз приятеля играл П. Н. Семенов, бывший тогда подпрапорщиком в Измайловском полку, которого я нарочно для этого спектакля познакомил с домом Шишковых. Он был большой мастер передразнивать всякие карикатурные личности, и вся наша публика много смеялась от его игры. Моя роль была самая бесцветная, однообразная, нужная только для того, чтоб мог выказываться талант моего товарища; но нашлись ценители, которые говорили, что я в этой роли показал больше искусства, чем в прежних ролях. В одной сцене, где Семенов представлял толстяка, желающего определиться в актеры, нижние пуговки камзола у него расстегнулись, и угол подушки, из которой со-

---

[1] Тогда была мода ходить с толстыми сучковатыми палками ‹la massue — палка, дубина›.

стояло брюхо, высунулся. Семенов смутился, но я взял его за руку, повернул к зрителям боком, закрыл собою, импровизировал какой-то вздор стихами, застегнул камзол Семенову, даже сказал ему следующую, забытую им реплику, потому что имел привычку знать наизусть пиесу, в которой играю, — и пиеса сошла благополучно. Зрители наградили меня за присутствие духа громким и продолжительным рукоплесканием. Дядя очень смеялся и после спектакля сказал мне: «Ну, брат, ты точно родился на сцене: это твой дом».

Кажется, в этот же вечер случилось происшествие, за которое долго бранили дядю; да и нам с Казначеевым досталось от тетки, ибо мы были признаны соучастниками и пособниками Александра Семеныча. Происшествие состояло вот в чем: я уже упоминал о девице Марье Ардальоновне Турсуковой, которая с прекрасной наружностью соединяла светскую любезность, в хорошем значении этого слова, и образованность. Старик Шишков очень ее любил, но в настоящее время он был несколько сердит на нее за то, что она отказала Петру Андреичу Кикину, за которого, впрочем, чрез несколько лет вышла замуж. У Турсуковой был великолепный рисовальный альбом, в котором находилось множество рисунков, замечательных по собственному достоинству и по именам европейских и петербургских знаменитостей и дилетантов живописи. Не знаю, попадался ли прежде на глаза дяде этот альбом, только я и Казначеев, рассматривая его в первый раз на столе в гостиной, увидели, что под всеми рисунками, рисованными русскими художниками и любителями, имена подписаны по-французски, равно как имя и фамилия самой Турсуковой. Нам показалось досадно, и мы навели дядю на то, чтоб он стал рассматривать альбом; а чтоб он не проглядел подписей, я указал ему имя известного русского живописца, подписанное по-французски, и сказал Казначееву вполголоса, но так, чтоб дядя слышал: «Какой позор! русский художник рисует для русской девушки и не смеет или стыдится подписать свою фамилию русскими буквами, да и как исковеркал бедное свое имя!» Казначеев отвечал мне в том же тоне, и дядя воспламенился гневом: начал бранить Турсукову, рисовальщиков,

общество и пробормотал: «Жаль, что нет чернильницы и пера; я переправил бы их имена по-русски». В одну минуту я принес чернильницу с пером, и дядя широкою, густою чертою вымарал французскую подпись и крупными русскими буквами, полууставом подписал под ней имя и фамилию рисовавшего живописца: кажется, первый попался Кипренский. Дело было начато. Дядя расходился и, сказав: «Да их надо все переправить», взял альбом и унес к себе в кабинет. Гости, из мужчин постарше, все уже разъехались, остальные были заняты между собой, никто не обращал на нас внимания и никто не заметил наших проделок. Через полчаса дядя кончил свою работу и отделал альбом на славу: все имена и фамилии русских были зачеркнуты старательно, широко, крепко, неопрятно — и написаны по-русски, а сверх того на первой белой странице явились следующие стихи:

М. А. ТУРСУКОВОЙ

Без белил ты, девка, бела,
Без румян ты, девка, ала,
Ты честь-хвала отцу, матери,
Сухота сердцу молодецкому.

Александр Шишков.

Внизу поставил год и число. Альбом вложили в футляр, завернули и положили на стол, на прежнее место; никто ничего не заметил, и Турсукова увезла альбом домой. Подвиг дяди открылся не вдруг. Мы все трое, разумеется, молчали; но через несколько дней, пришедши, по обыкновению, к Шишковым обедать, мы нашли тетку в страшном гневе. Она получила поутру отчаянную записку от Турсуковой. Дяди не было дома, и Дарья Алексеевна, очень любившая Турсукову (а она умела любить горячо, несмотря на наружную холодность), сейчас к ней поехала, и что же она там нашла? — Великолепнейший альбом, объехавший всю Европу и лично собравший на свои страницы искусные черты и славные имена артистов с их почерками, чтимый и хранимый благоговейно, которым гордилась владетельница, как будто заслугой, — испачкан, измаран, исписан варварскими и неуклюжими буквами, потому что почерк дяди

был вовсе не каллиграфический! Турсукову она нашла в слезах, почти больною; отца, нежно любившего единственную дочь, — огорченным и расстроенным. Можно себе представить, как встретила Дарья Алексевна своего супруга, когда он воротился из Адмиралтейства! Но что с ним станешь делать? На все упреки и обвинения он спокойно и даже с улыбкою отвечал, что «ему так следовало поступить, что стыдно русской барышне подписывать свое имя по-французски и тем заставлять других подписывать так же, что это срам и позор, что он очень рад, если Марья Ардальоновна плачет: пускай чувствует наказание за вину, пускай исправится...» и проч., а затем ушел в кабинет, занялся славянским корнесловием и скоро забыл Турсукову, альбом и раздраженную свою супругу. В самый разгар грозы попался я с Казначеевым: гнев тетки, отскочив от невозмутимого спокойствия дяди, как мячик от стены, разразился на нас. Тетка еще до нашего прихода выспросила искусно все у старика и поняла, что это наше дело. Она так отделала нас с Казначеевым, что мы ушли от обеда и не приходили ровно десять дней. Первые дни Шишкову как будто недоставало нас; каждый раз за обедом он спрашивал: «Да где же Аксаков с Казначеевым?» Может быть, ему отвечали что-нибудь, а может быть, и ничего не отвечали — это было все равно; через неделю он привык к нашему отсутствию и даже перестал об нас спрашивать. Но тетка в глубине души была предобрая женщина. Она любила нас обоих, как родных: ей грустно было не видеться с нами и, может быть, даже совестно, что она слишком нас оскорбила. Она написала записку к Казначееву, звала его и меня и прибавила, что все прошедшее забыто. Мы пришли, и Дарья Алексевна искренно, со слезами, помирилась с нами и даже обняла нас обоих; тут я только увидел, что она и меня очень любит. Обращаюсь к альбому: в Петербурге не нашлось тогда искусника, который взялся бы вывесть все черты, полосы и пятна, сделанные Шишковым, но нашелся француз, который взялся поправить дело в Париже. Альбом отправили туда к какому-то химику, и чрез несколько месяцев измаранные листы

воротились чистыми и подписи были восстановлены по возможности в прежнем виде. Лист со стихами, написанными Шишковым, остался неприкосновенным, и его в Париж не посылали.

Спектаклей у Шишковых более при мне не было. Раз в неделю, не помню именно в какой день, собирались у Александра Семеныча тогдашние литераторы и кое-что читали. Сначала эти собрания были малочисленны. Постоянными посетителями были: Гаврила Романыч Державин, Иван Иваныч Дмитриев (тогдашний министр юстиции), князь С. Шихматов, граф Дмитрий Иваныч Хвостов, Александр Семеныч Хвостов и князь Александр Александрович Шаховской. Приезжали иногда, как простые посетители и дилетанты, Николай Семеныч Мордвинов, Михаил Михайлыч Бакунин, граф Строганов и А. Н. Оленин. Видел я также раза два сидевшего в уголку с подобострастием семеновского полковника А. А. Писарева. Впоследствии стали ездить П. А. Кикин, князь Платон Шихматов, Николай Иваныч Гнедич, сенатор Захаров, Висковатов, Стурдза, князь Горчаков, Станевич, П. Ю. Львов (сочинитель Храма славы русских героев) и Гераков. В первую половину зимы 1811 года родилась и образовалась мысль составить «Беседу русского слова», которая и была приведена в исполнение. Я, так же как и Писарев, смиренно сиживал иногда в углу большой гостиной безмолвным слушателем того, что читалось и говорилось в этих собраниях. По совести должен я сказать, что ничего замечательного не происходило и даже тогдашним моим понятиям не удовлетворяло. Что бы кто ни прочел — все остальные говорили одни пошлые комплименты; критические замечания были еще пошлее. Только иногда горячился и бормотал князь Шаховской да отпускал злые эпиграммы в виде похвал Алекс. Сем. Хвостов на своего однофамильца графа Хвостова, который принимал их за наличную монету. Помню я одну его наивную выходку, которая заставила всех долго смеяться. Читал какую-то свою пиесу в прозе Станевич; по окончании чтения Шишков и кто-то другой стали его хвалить; вдруг граф Хвостов встал с кресел, подошел к Державину, потрепал его по плечу и сказал: «Нет, Гаврила

Романыч, он не наш брат, а их брат» — и указал на Александра Семеныча Шишкова и П. Ю. Львова. Все захохотали, хотя не вдруг поняли. Граф Хвостов хотел сказать, что Станевич не лирик, а прозаик и критик.

Шишков не был увлечен и обольщен блистательным успехом трагедии Озерова «Дмитрий Донской». Он превозносил преувеличенными похвалами «Эдипа в Афинах» и даже «Фингала», но ожесточенно нападал на «Дмитрия Донского». Шишков принимал за личную обиду искажение характера славного героя Куликовской битвы, искажение старинных нравов, русской истории и *высокого слога.* Всего более сердили его слова Донского, которыми он описывает, как увидел в первый раз Ксению в церкви:

Исчезли в мыслях храм, останки те нетленны,
Пред коими и дочь и матерь преклоненны
Молили пременить на милость гнев небес.

«Хорош великий князь Московский! — говорил Шишков. — Увидав красивую девицу в Успенском соборе, невзвидел святых мощей и забыл о них. Можно ли написать такую дичь о русском великом князе, жившем за четыреста лет до нас?» Не менее сердили его слова Дмитрия, который в оправдание своей любви говорит Брянскому:

Не осуждай ее; она счастливый дар;
Она произвела сей доблественный жар,
С которым я стремлюсь отечество избавить,
Свободу возвратить и мой народ прославить.

Александр Семеныч выходил из себя от гнева и говорил: «Спасибо хоть Брянскому, который возражает Дмитрию: ах, какой же ты подлец!» Шишков очень глумился над словами Ксении, которая говорит Тверскому:

Обещана тебе еще в такие годы,
Как выходила я едва из рук природы, —

и требовал от сочинителя, чтоб он назначил то время, когда человек выходит из рук природы. Справедливость,

однако, требует сказать, что некоторые стихи Шишков называл достойными Корнеля и Расина, например:

Мой долг: в день мира суд и мужество в день брани,

или:

В сраженье смерть найду, но смерть завидну, славну
И предпочтительну той жизни, коей стыд
Побега вашего по гроб обременит.

Само собою разумеется, что Шишков не мог примириться с влюбленностью Дмитрия и с приездом Ксении в воинский стан, как будто для бракосочетания с Тверским, а в самом деле для того, чтобы сказать ему в присутствии всех русских князей, что она за него идти не хочет, но идет в монастырь. Шишков не удовольствовался словесною критикою: он велел переплесть трагедию с белыми листами и все исписал их собственною рукою, самым мелким почерком, каким только мог писать. Он читал один раз при мне свои замечания Мордвинову, А. С. Хвостову, Кикину и другим. Все слушатели очень смеялись. В самом деле, многие полемические выходки дяди, даже не совсем приличные, были очень забавны. Разумеется, Шишков заходил слишком далеко и утверждал, что, кроме некоторых блестящих стихов, язык у Озерова хуже, чем у Сумарокова, и в доказательство приводил, разумеется, весьма плохие стихи из «Дмитрия Донского», как, например, следующие:

Пускай все воинство и вся Россия пусть
Познают, коль хотят, любовь мою и грусть!
Лишь Ксения признать любви сей не хотела,
Всей горести моей она не пожалела,

или когда Ксения говорит:

Когда Димитрия сие мне сердце страстно
Не престает являть повсюду и всечасно.

Или:

Ах, нет: до днесь еще толь мрачные печали, *и проч.*

Для большего эффекта, после таких стихов, Александр Семеныч щеголял стихами Сумарокова из трагедии «Семира».

Иду отечества к преславной обороне:
Ты будешь зреть меня иль мертва, иль в короне.

Относительно языка у Шишкова много было натяжек и пустых придирок к мелочам. Я этому не удивлялся, потому что Александр Семеныч бывал пристрастен как в похвалах, так и в порицаниях; но вот что всегда меня удивляло: разобрав весьма справедливо, и даже иногда очень тонко, неправильность, неприличность выражения, несогласие его с духом языка, он вдруг приводил в пример стихи из Сумарокова, которые были гораздо хуже тех, на которые он нападал. Что же касается до исторической драмы, до характеров действующих лиц, то все его замечания были совершенно справедливы. Я сделал себе точно такую же книжку с белыми листами и, с позволения Александра Семеныча, списал все его заметки. К сожалению, уезжая из Петербурга, я оставил эту книжку у Шушерина, который желал списать ее для себя, а Шушерин, во время переезда из Петербурга в Москву, как-то потерял ее. К этому должно прибавить, что в конце 1815 года или в начале 1816-го я слышал в Москве, как профессор Мерзляков разбирал «Дмитрия Донского» с кафедры на публичной лекции — и был поражен изумлением: Мерзляков почти во всех своих критических замечаниях совершенно сходился с Шишковым. Я немедленно сказал об этом знаменитому тогда критику и даже сообщил ему некоторые полемические заметки Шишкова, тогда еще хранившиеся в моей памяти. Мерзляков очень забавлялся и заинтересовался ими и убедительно просил меня как-нибудь отыскать этот любопытный разбор; но я вскоре уехал на десять лет в деревню, и книжка была забыта.

Летом 1811 года я уехал из Петербурга в Оренбургскую губернию, и с этого времени прекратились мои частые и близкие сношения с домом Шишковых. Я приезжал в Петербург уже, так сказать, на побывку. Наступила вечно памятная эпоха 1812 года, и с удивлением узнал я, что Александр Семеныч был сделан государственным секретарем на место Михайла Михайловича Сперанского. Нисколько не позволяя себе судить, на своем ли он был месте, я скажу только, что в Москве и в других внутренних губерниях России, в которых мне случилось в то время быть, все были обрадованы назначением Шишкова и что писанные им манифесты действовали

электрически на целую Русь. Несмотря на книжные, иногда несколько напыщенные выражения, русское чувство, которым они были проникнуты, сильно отзывалось в сердцах русских людей.

В 1814 году я приехал в Петербург. Александр Семеныч только что воротился из чужих краев. Он жил уже не в прежнем своем скромном домике на Форштатской улице, а в великолепной казенной квартире против дворца. Образ жизни его изменился; ученые филологические труды прекратились; другие люди стали посещать его; другие мысли и заботы наполняли его ум и душу, и живое воспоминание только что разыгранной исполинской драмы, в которой сам он был важным действующим лицом и двигателем народного духа святой Руси, подавило его прежние интересы; но он встретил меня и брата с прежним радушием и с видимым удовольствием; Дарья Алексевна — также. Перемена в общественном положении не произвела в них никакой перемены. Много наслушался я рассказов любопытных и поучительных, но рассказам этим здесь не место. Впрочем, некоторая часть слышанного мною напечатана в собственных записках Шишкова. Мы бывали у Шишковых не так часто, как прежде, но непременно всякую неделю.

В это время ходила по Петербургу пародия известного стихотворения Жуковского «Певец в стане русских воинов», написанная на Шишкова и на всю вообще «Беседу русского слова». Один раз племянник Александра Семеныча, Саша Шишков, быв со мной в кабинете у дяди, сказал мне на ухо: «Если б дядя знал, что у меня в кармане!» — «Что же у тебя такое?» — спросил я. «Пародия на дядю и на всю Беседу, написанная Батюшковым»[1]. Старик Шишков был занят чем-то другим. Я пробежал пародию и положил в карман, сказав Саше, что я прочту ее дяде, который выслушает ее с удовольствием. Саша умолял меня не делать этого, но я не послушал и, обратившись к Александру Семенычу, сказал: «Знаете ли вы, что по Петербургу ходит пародия

---

[1] Я не поверил тогда, что она написана Батюшковым, но М. А. Дмитриев недавно доказал, что эта пародия точно принадлежит Батюшкову.

«Певца в стане русских воинов» на вас и на всех членов Беседы?» — «Нет, не знаю. Да хороша ли?» — «Все хвалят, — сказал я, — хотите, я вам прочту?» — «Прочти, пожалуйста». И я при всех, кто были в кабинете, торжественно прочел пародию. Александр Семеныч был очень доволен, улыбался и, когда я кончил, сказал: «Это забавно. Дайте мне, пожалуйста, список». Саша очень струсил, что я отдам тот, по которому читал, написанный его рукою, но я вывел его из затруднения, отдав ему список и сказав: «Саша вам спишет». Из этой баллады уцелели в моей памяти следующие стихи:

Да здравствует Беседы царь!
Цвети твоя держава!
Бумажный трон твой — наш алтарь,
Пред ним обет наш — слава!
Не изменим, мы от отцов
Прияли глупость с кровью.
Сумбур! Здесь сонм твоих сынов,
К тебе горим любовью.
Наш каждый писарь — славянин,
Галиматьею дышит;
Бежит предатель их дружин
И галицизмы пишет.

Вот конец куплета, непосредственно относившегося к Александру Семенычу, а начала не помню:

Ошую пусть сидит с тобой
Осьмое чудо света,
Твой сын, наперсник и клеврет
Шихматов безглагольный. [1]
Как ты, славян краса и цвет,
Как ты, собой довольный.

В начале 1815 года семейные обстоятельства внезапно вызвали меня из Петербурга. Оставя брата жить у полковника Мартынова и поручив его вниманию и участию Шишковых, я поскакал сломя голову в Вятскую, а потом в Оренбургскую губернию. С 1807 года я не расставался с братом, и это была первая разлука.

В 1816 году я приезжал из Москвы, где тогда жило все наше семейство, на три месяца в Петербург

---

[1] У Шихматова почти не было рифм на глаголы.

собственно затем, чтоб взглянуть на брата: я нашел его любимцем обоих Шишковых. Эти три месяца я был совершенно поглощен неожиданным знакомством с Державиным, знакомством, в несколько дней сделавшимся близким и задушевным, навсегда сохранившим для меня великое значение. С Александром Семенычем я видался редко, за что он мне даже пенял.

Здесь следует огромный промежуток времени: я женился и уехал на десять лет в Оренбургскую деревню. Я переехал на житье в Москву в 1826 году, во время коронации, и нашел в Москве Шишкова уже министром народного просвещения. Много совершилось перемен в это десятилетие! Доброй, истинно доброй и достойной уважения Дарьи Алексевны Шишковой — уже не было на свете. Бог послал ей страдальческую кончину. Александр Семеныч, имея нужду в няньке, как сам говорил мне, женился, несмотря на свои преклонные лета и хворость, на полячке и католичке, Ю. О. Лобаршевской, к общему удивлению и огорчению всех близких к нему людей. В Москве, так же как и прежде, Шишков встретил меня с неизменным радушием и ласкою. Не видавши меня десять лет, он очень мне обрадовался, расспрашивал меня обо всех подробностях деревенской жизни, обо всем, что я делал; удивлялся, как я мог прожить в такой глуши десять лет, и, выслушав внимательно мои причины, мою цель, простодушно мне сказал: «Ну, брат, я тебя еще больше уважаю и скажу тебе правду, что ты в деревне не одичал и не поглупел». Рассказывая откровенно Шишкову мои обстоятельства, я говорил ему, что мне нужно место в Москве, с порядочным жалованьем. Я говорил в то же время о новом, особом цензурном комитете в Москве, о хорошем цензорском жалованье и спрашивал, кого он имеет в виду для занятия этих мест? Недогадливость Шишкова осталась прежняя. Он отвечал мне, что охотников и просьб об них много, но сам он еще не выбрал никого; так мы и расстались. Делать было нечего. Дня через два я опять приехал к нему и спросил его прямо: «Не могу ли я занять место цензора?» Шишков был очень рад и отвечал мне: «Почему же нет? Лучшего цензора я желать не могу. В твоих правилах я уверен, как в моих собственных...» и очень

удивлялся, как это ему самому не пришло в голову. Он немедленно назначил меня цензором и уехал в Петербург.

Что касается до управления Министерством народного просвещения, то я не беру на себя судить об этом. Шишков, может быть, слишком односторонне смотрел на предметы и везде проводил свои убеждения, благие и честные в основании, но уже устаревшие, или, лучше сказать, потерявшие свою важность. Время шло быстро. Шишков не всегда это замечал и, живя в прошедшем, иногда не видел потребностей настоящего. Шишков боролся упорно, но, наконец, убедившись, что он как министр не может быть полезен, вышел в отставку.

В 1829 году я приезжал в Петербург на короткое время и виделся с Шишковым несколько раз. Здоровье его начинало слабеть. Он жаловался мне на свои глаза, говоря, что уже не может так много читать и писать, как прежде. Он оставался членом Государственного совета, президентом Российской академии и получал все прежние свои оклады, следовательно мог жить в довольстве. Общество его совершенно переменилось. Шишков, заклятый враг католиков и поляков, был окружен ими. Новая супруга наводнила его дом людьми совсем другого рода, чем прежде, и я не мог равнодушно видеть достопочтенного Шишкова посреди разных усачей, самонадеянных и заносчивых, болтавших всякий вздор и обращавшихся с ним слишком запросто. Хотя Шишков, повидимому, спокойно примирялся с новым своим положением, но смотреть на него было мне слишком тяжело. Я приезжал к нему всего раза три, да и все прежние знакомые стали редко к нему ездить.

В 1832 или 1833 году приезжал Александр Семеныч со своей молодой супругой в Москву, чтоб лечиться искусственными минеральными водами, которых в Петербурге еще не было. Он жил у старинных своих друзей, Бакуниных. Я нередко приходил к нему; он всегда был мне очень рад и охотно говорил о русской словесности. Я представил тогда ему моего старшего сына, который был воспитан в чувствах уважения к Шишкову. Александр Семеныч очень его полюбил и даже обласкал,

вопреки своей обыкновенной неласковости. Воды не помогли больному, уже дряхлому старику: напротив, были вредны, и он скоро уехал в Петербург. Памятником этого последнего пребывания Шишкова в Москве остался у меня одиннадцатый том Русской истории Карамзина, изданный после его смерти Д. Н. Блудовым. Шишков брал его у меня, чтоб прочесть, и сделал на полях много заметок. В это же время представил я Александру Семенычу, как президенту Русской академии, Ю. И. Венелина, книгу которого «Древние и нынешние болгаре» он знал и очень уважал. Следствием этого знакомства было путешествие Венелина в Болгарию. По предложению Шишкова Российская академия назначила Венелину три тысячи рублей ассигнациями на путевые издержки.

В 1836 году я опять ездил в Петербург. Здоровье Александра Семеныча Шишкова и особенно зрение очень ослабели, но я нашел его бодрым духовно и даже иногда веселым. Он почти ощупью отыскивал в шкафе нужную ему книгу, доставал ее и заставлял меня кое-что прочесть вслух. В одной рукописной его книге (не помню, как она называлась) читал я, признаюсь, с предубеждением и недоверчивостью, предсказание Шишкова о будущей судьбе Европы, о всех ее революциях и безвыходных неустройствах. Увы! все исполнилось и исполняется с поразительною верностью. Шишков говорил мне, что он одиннадцать лет тому назад письменно предсказал за год одно важное событие, но что тогда только смеялись над ним; да и после, когда предсказание исполнилось, никто не обратил на это внимания. Один раз вдруг вошла к нам в кабинет молодая дама или девушка, которая была необыкновенно хороша собою; Шишков был так любезен и весел с нею, что я во всю мою жизнь никогда его таким не видывал. Когда красавица ушла, Александр Семеныч со вздохом сказал мне: «Скверное, брат, положение, не могу различить прекрасной женщины от урода». Подивился я таким словам, каких никогда прежде от него не слыхивал. Не знаю почему, только вторая супруга не показывалась в кабинете Александра Семеныча: за ним ходили внимательно и нежно его родные племянницы.

В 1839 году, в ноябре, я приезжал в Петербург вместе с Гоголем. Шишков был уже совершенно слеп. Я навещал довольно часто Александра Семеныча: он был еще на ногах, но становился час от часу слабее, и жизнь видимо угасала в нем. Я никогда не говорил с Шишковым о Гоголе: я был совершенно убежден, что он не мог, не должен был понимать Гоголя. В это-то время бывал я свидетелем, как Александр Семеныч кормил целую стаю голубей, ощупью отворяя форточку и выставляя корм на тарелке.

Наконец, в исходе 1840 года одно печальное происшествие неожиданно вызвало меня в Петербург, и я видел в последний раз Александра Семеныча Шишкова. Это был уже труп человеческий, недвижимый и безгласный. Только близко наклонясь к нему, можно было заметить, что слабое дыхание еще не прекратилось. Мне рассказывали, что он и прежде бывал иногда в таком положении по нескольку недель, что его жизнь поддерживали, вливая ему в рот раза четыре в день по нескольку ложек бульона, что иногда вдруг это состояние проходило, он как будто просыпался, начинал сидеть на постели, вставать и ходить по комнате с помощию других и выезжал прокатываться. Академические заседания собирались у него в комнате. Рассказывали мне также, что один раз, во время подобного летаргического сна, когда уже никто не церемонился около него, говорили громко, шумели и ходили, как около покойника, к которому все равнодушны, вдруг вбежал камердинер и сказал довольно тихо, что государь остановился у ворот и прислал спросить о здоровье Александра Семеныча. К общему изумлению, почти испугу, в ту же минуту Шишков открыл глаза и довольно твердым голосом сказал: «Благодарю государя! Скажи ему, что мне лучше», — и впал в прежнее бесчувствие, продолжавшееся еще две недели. Вскоре по возвращении в Москву получил я известие, что отлетело последнее дыхание жизни, так долго боровшееся со смертию, что Александр Семеныч скончался.

Много несправедливого, неверного, смешного и нелепого говорило об этом человеке злоязычие человеческое. Но, откинув в сторону все тонкие рассуждения о

недостатках и слабостях почившего брата, нельзя не сознаться, что, проходя обширное, многозначительное поприще службы в самых трудных обстоятельствах государства, начав с Морского кадетского корпуса, где Шишков был при Екатерине учителем, дойдя до высокого места государственного секретаря, с которого он двигал духом России писанными им манифестами в 1812 году, — Шишков имел одну цель: общую пользу; но и для достижения этой святой цели никаких уступок он не делал. Никогда Шишков для себя ничего не искал, ни одному царю лично не льстил; он искренно верил, что цари от бога, и был предан всею душою царскому сану, благоговел пред ним. Шишков без всякого унижения мог поклониться в ноги своему природному царю; но стоя на коленях, он говорил: «Не делай этого, государь, это не хорошо». Убеждения Шишкова были часто ошибочны, но всегда честны. Он не выходил из круга умственных понятий своего времени, круга нередко тесного и ограниченного, но не изменял своим правилам никогда. Эту твердость называли упрямством, изуверством; но боже мой, как бы я желал многим добрым людям настоящего времени поболее этого упрямства, этой горячей ревности! На литературном поприще, которое предшествовало государственному, Шишков действовал точно так же. Он восстал против победоносного могущества новизны и таланта, всех пленившего, всех увлекшего за собою, восстал, потому что считал это увлечение вредным, восстал один против несметного полчища поклонников торжествующей новизны, сильных и раздражительных; он был осмеян, унижен, ненавидим, гоним общественным мнением большинства... но он сделал свое дело. Старовер, гасильник, славянофил Шишков — открыл глаза Карамзину на вредные последствия его нововведений в русское слово. Сам благородный и добрый Карамзин говорил мне (в 1816 году), что у Александра Семеныча много гнева, много желчи, много личной к нему враждебности, а потому много и несправедливого, но есть много и правды. В деле суда и осуждения общественной нравственности, связанном неразрывно у Шишкова с делом литературы, он был еще справедливее и заслуживает еще более уважения, хотя

мало имел влияния и оказал, может быть, менее пользы. Собственно же за русское направление, за славянофильство, как бы Шишков ни понимал его криво, которое он исповедовал и проповедовал с юных лет до гробовой доски, которого был мучеником, — он имеет полное право на безусловную, сердечную нашу благодарность. История будет беспристрастнее, справедливее нас. Имя Шишкова как литератора, как общественного и нравственного писателя, как государственного человека, как двигателя своей эпохи — займет почетное место на ее страницах, и потомство с бо́льшим сочувствием, чем мы, станет повторять стихи Пушкина:

Сей старец дорог нам: он блещет средь народа
Священной памятью двенадцатого года.

ЗНАКОМСТВО С ДЕРЖАВИНЫМ

В половине декабря 1815 года приехал я в Петербург на короткое время, чтобы взглянуть на брата, которого я в 1814 году определил подпрапорщиком в Измайловский полк. Брат жил у полковника Павла Петровича Мартынова, моего земляка и короткого приятеля, который, как и все офицеры, квартировал в известном Гарновском доме; я поместился также у Мартынова. Гарновский дом, огромное здание без всякой архитектуры, как и все почти дома в Петербурге, — казармы Измайловского и Лейб-егерского полков, одолжен своей известностью стихам Державина ко «Второму соседу». История богача Гарновского, построившего свой огромный дом рядом с домом Державина выше законной меры и затемнившего свет своему соседу, — в свое время была известна всем. Державин жаловался полиции и написал стихи. Вот некоторые пророческие строфы из этого стихотворения:

Почто же, мой вторый сосед,
Столь зданьем пышным, столь отличным
Мне солнца застеняя свет,
Двором межуешь безграничным
Ты дома моего забор?
Ужель полей, прудов и речек,
Тьмы скупленных тобой местечек
    Твой не насытят взор?

Кто весть, что Рок готовит нам?
Быть может, что сии чертоги,

Назначенны тобой царям,
Жестоки времена и строги
Во стойлы махо обратят.
За счастие поруки нету,
И чтоб твой Феб светил век свету,
Не бейся об заклад.

Так, так! Но примечай, как день,
Увы! Ночь темна затмевает;
Луну скрывает облак тень;
Она растет иль убывает:
С сумой не ссорься и тюрьмой, и проч.

Пышное здание обратилось в казармы, а богач-строитель, как говорят, умер в тюрьме.

Я приехал в Петербург вечером. Хозяина моего, Мартынова, не было дома, брата также; брат был у товарищей своих, измайловских же подпрапорщиков Капнистов, родных племянников Державина, живших в доме у дяди и коротко познакомивших моего брата с гостеприимным хозяином. За братом послали. Между тем, узнав о моем приезде, пришли ко мне измайловские офицеры: Кавелин, Годеин, Лопухин и Квашнин-Самарин. Я был особенно дружен с Кавелиным, который в последнее время сделался очень коротким знакомым в доме Державина и бывал у него очень часто. После первых дружеских приветствий Кавелин спросил меня: знаю ли я, что Державин нетерпеливо меня ожидает? Что уже с неделю, как он всякий день спрашивает, не приехал ли я? — Такие слова сильно меня озадачили. Я был самым горячим, самым страстным поклонником Державина и знал наизусть все его лучшие стихи; я много раз видал его в публике, особенно до 1812 года, у А. С. Шишкова, но никогда не был ему представлен, не был с ним знаком. На двадцать четвертом году жизни, при моей пылкой природе, слова: «Державин тебя нетерпеливо ожидает» — имели для меня такое волшебное значение, которое в теперешнее положительное время едва ли будет многими понято. Не успел я очнуться от изумления и радости, как прибежал мой брат, и первые слова его были: «Гаврила Романыч просит тебя прийти к нему сейчас...» Я совершенно обезумел. Наконец, опомнившись, спрашиваю: «Что же все это значит?» — и узнаю, что брат мой, бывший тогда восьмнадцатилетним юношей,

Кавелин и другие до того нахвалили Державину мое чтение, называемое тогда *декламацией*, что он, по своему горячему нраву, нетерпеливо желал меня послушать, или, как он сам впоследствии выражался, «послушать себя». Я не мог идти сейчас: я был красен с дороги, как вареный рак, и голос у меня *сел*, то есть не был чист, а я, разумеется, хотел показаться Державину *во всем блеске*. Кстати сказать здесь несколько слов о чтении, об искусстве читать, ибо уменье и дарованье чтения могут быть возведены на степень искусства. Чтение было моей страстью с самых детских лет; оно доставило мне много сердечных наслаждений в семье, в кругу друзей, в уединении, много доставило лестных самолюбию успехов в обществе и на сцене так называемых благородных театров. Не один раз давал я себе и другим обещание написать нечто вроде рассуждения об уменье читать, рассуждения, которое могло бы служить не руководством, а некоторым объяснением этого дела для людей, имеющих охоту к чтению и талант, потому что без природного дарования нечего за это дело и браться. Не один раз принимался я за исполнение моего обещания, но всегда был совершенно недоволен написанным: так все казалось неудовлетворительно, непонятно, не выражало мысли, что я никогда не имел терпенья кончить и уничтожал черновые листы, а мне помнится, в них находилось кое-что удачно схваченное и хорошо выраженное. Чтение в обширном, высоком его значении — не только основание сценического искусства, но почти то же, что игра на театре. Надобно вполне почувствовать, вполне усвоить себе то, что читаешь; вполне овладеть своими средствами, как то: чистотою произношения, управлением выработанного предварительно голоса и, что всего важнее, управлением собственными чувствами, мерою теплоты и одушевления... но я не хочу вдаваться в рассуждение об искусстве читать. Я хотел только определить его сущность и значение, что считаю нужным для моего рассказа о первом свидании и знакомстве с Державиным.

На другой день, в десять часов утра, явился за мной посланный от Гаврилы Романыча, и в одиннадцать часов я пошел к нему вместе с братом, несмотря на то, что

еще не прошли на моем лице следы безобразия от русской зимней дороги. Сердце билось у меня сильно, и врожденная мне необыкновенная застенчивость, от которой я тогда еще не совсем освободился, вдруг овладела мною в высшей степени. Если б дорога не состояла только из нескольких десятков шагов, вероятно я воротился бы назад; но вошед в дом Державина и вступив в залу, я переродился. Робость моя улетела мгновенно, когда глазам моим представилась картина Тончи, изображающая Державина посреди снегов, сидящего у водопада в медвежьей шубе и бобровой шапке...[1] Гений поэзии Державина овладел всеми способностями моей души, и в эту минуту уже ничто не могло привесть меня в замешательство. — Со мною случилось точно то, что всегда случалось пред выходом на сцену в какой-нибудь хотя несколько значительной роли. Бывало, лишь только раздастся музыка увертюры, я начинаю дрожать, как в лихорадке, от внутреннего волнения; часто я приводил в страх моих товарищей-актеров, не знавших еще за мной этих проделок; но с первым шагом на сцену я был уже другой человек, помнил только представляемое мною лицо, и многочисленная публика для меня не существовала: я играл точно так, как репетировал роль накануне, запершись в своей комнате... Виноват, я увлекся в сторону и опять занялся исключительно собой; даю слово, что больше этого не будет. — Из залы налево была дверь в кабинет Державина; я благоговейно, но смело вошел в это святилище русской поэзии. Гаврила Романыч сидел на огромном диване, в котором находилось множество ящиков; перед ним на столе лежали бумаги, в руках у него была аспидная доска и грифель, привязанный ниткой к рамке доски; он быстро отбросил ее на диван, встал с живостью, протянул мне руку и сказал: «Добро пожаловать, я давно вас жду. Я читал ваши прекрасные стихи[2] (Державин был плохой судья и чужих и своих стихов), наслышался, что вы мастерски декламируете, и нетерпеливо хотел с вами познакомиться».

---

[1] Эта картина впоследствии была в Москве у родного племянника Державина, А. Н. Львова, скончавшегося в 1849 году.

[2] Перевод Филоктета.

Державин был довольно высокого роста, довольно широкого, но сухощавого сложения; на нем был колпак, остатки седых волос небрежно из-под него висели; он был без галстуха, в шелковом зеленом шлафроке, подпоясан такого же цвета шнурком с большими кистями, на ногах у него были туфли; портрет Тончи походил на оригинал, как две капли воды. Я отвечал Державину искренно, что «считаю настоящую минуту счастливейшею минутою моей жизни, и если чтение мое ему понравится...» Он перервал меня, сказавши: «О, я уверен, что понравится; садитесь вот здесь, поближе ко мне», — и он посадил меня на кресло возле самого дивана. «Вы чем-то занимались, не помешал ли я вам?» — «О, нет, я всегда что-нибудь мараю, перебираю старое, чищу и глажу, а нового не пишу ничего. Мое время прошло. Теперь ваше время. Теперь многие пишут славные стихи, такие гладкие, что относительно версификации уже ничего не остается желать. Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который уже в лицее перещеголял всех писателей. Но позвольте: ведь мы с вами с одной стороны? Вы оренбурец и казанец, и я тоже; вы учились в казанской гимназии сначала и потом перешли в университет, и я тоже учился в казанской гимназии, а об университете тогда никто и не помышлял. Да мы с вами и соседи по оренбургским деревням; я обо всем расспросил братца вашего. Мое село, Державино, ведь не с большим сто верст от имения вашего батюшки (сто верст считалось тогда соседством в Оренбургской губернии)...» Гаврила Романыч подозвал к себе моего брата, приласкал его, потрепав по плечу, и сказал, что он прекрасный молодой человек, что очень рад его дружбе с своими Капнистами, и прибавил: «Да тебе не пора ли на ученье? приятели твои, я видел, ушли». — «Пора, Гаврила Романыч, — отвечал мой брат, — и я сейчас пойду». — «Ступай с богом, а с братцем твоим мы уже познакомимся». И мы остались одни. Державин был так деликатен, что не заставил меня сейчас читать, хотя ему очень этого хотелось, как он впоследствии, смеясь, мне признавался. Он завел со мной довольно длинный разговор об Оренбургском крае, о тамошней природе, о Казани, о гимназии, университете

и на этот раз заставлял уже больше говорить меня, а сам внимательно слушал. Я говорил без запинки, с одушевлением, и несколько раз наводил разговор на стихи, и, наконец, как-то кстати, прочел несколько его стихов из стихотворения «Арфа», где он обращается к Казани:

О колыбель моих первоначальных дней,
Невинности моей и юности обитель.
Когда я освещусь опять твоей зарей
И твой попрежнему всегдашний буду житель?
Когда наследственны стада я буду зреть,
Вас, дубы камские, от времени почтенны,
По Волге между сел на парусах лететь
И гробы обнимать родителей священны?

Лицо Державина оживилось, глаза вспыхнули. «Вы хотите мне что-нибудь прочесть», — воскликнул он, и в глазах его засветился тот святой огонь, который внушил ему многие бессмертные строфы. «Всею душой хочу, — отвечал я, — только боюсь, чтобы счастие читать Державину его стихи не захватило у меня дыханья». Державин взглянул на меня и, видя, что это не комплимент, а чистая правда, схватил меня за руку и ласково промолвил: «Так успокойтесь». Наступило молчание. Державин встал и начал выдвигать ящики, которых находилось множество по бокам его большого дивана и как-то над спинкой дивана. На ящиках бронзовыми буквами были написаны названия месяцев, а на некоторых — года. Гаврила Романыч долго чего-то искал в них и, наконец, вытащил две огромные тетради, или книги, переплетенные в зеленый сафьянный корешок. «В одной книге мои мелочи, — сказал он, — а об другой поговорим после. Вы что хотите мне читать? верно, оды: Бога, Фелицу или Видение Мурзы?» — «Нет, — отвечал я, — их читали вам многие, особенно актер Яковлев. Я желаю прочесть вам оду на смерть князя Мещерского и Водопад». — «А я хотел вам предложить прочесть мою трагедию». — «Сердечно рад, но позвольте мне начать этими двумя стихотворениями». — «Извольте». — «Я знаю наизусть почти все ваши стихи; но на всякий случай я желал бы иметь в руках ваши сочинения; верно, они есть у вас». — «Как не быть, — улыбнувшись, сказал Державин, — как сапожнику не иметь

шильев» (сравнение довольно странное), — и он достал, также из ящика, свои стихотворения, богато переплетенные в красный сафьян с золотом. Я знал, что читать, сидя очень близко от человека, которому читаешь, неудобно и невыгодно, и потому пересел на кресло, стоявшее довольно далеко от Державина; он хотел удержать меня, говоря, что не так будет слышно, но я уверил его, что он услышит все. Наружное мое волнение затихло и сосредоточилось в душе. Я прочел оду к Перфильеву на смерть князя Мещерского. С первыми стихами:

Глагол времен, металла звон,
Твой страшный глас меня смущает,
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает, —

Державин превратился в слух, лицо его сделалось лучезарным, руки пришли в движение. Когда я прочел:

Глядит на всех — и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и сребре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны —
И точит лезвие косы, —

Державин содрогнулся. Едва я произнес последние стихи:

Жизнь есть небес мгновенный дар,
Устрой ее себе к покою
И чистою твоей душою
Благословляй судеб удар, —

Державин уже обнимал меня со слезами на глазах. Он не вдруг стал меня хвалить. Он молча сел опять на свое место, посадил и меня на прежнее кресло и, держа за руку, сказал тихим, растроганным голосом: «Я услышал себя в первый раз...» — и вдруг прибавил громко, с каким-то пошлым выражением (что меня очень неприятно поразило): «Мастер, первый мастер! Куда Яковлеву! вы его, батюшка, за пояс заткнете», и в то же время я приметил, что Державин вдруг сделался чем-то озабочен, что у него было что-то другое на уме. Он опять встал,

вынул другую рукописную книгу; несколько раз брал в руки то ту, то другую и, наконец, одну спрятал, а другую оставил на столе. Я видел ясно, что сильное впечатление, произведенное чтением оды к Перфильеву, у Державина быстро прошло и что ему ужасно хочется, чтоб я читал трагедию. Скрепя сердце я пожертвовал на этот раз «Водопадом» и хорошо сделал: Державин стал бы слушать меня рассеянно. Впоследствии я нашел минуту, когда он свободно мог устремить все свое внимание на это чудное стихотворение, дико составленное, но богатое первоклассными красотами: выражение этих красот было им тогда почувствовано вполне. — Итак, я обратился к Державину, державшему в руках большой том в зеленом корешке и рассеянно смотревшему в сторону: «Позвольте мне теперь прочесть вам трагедию». — «Знаете ли, о чем я думаю? — с живостью сказал он. — Вам трудно будет читать в первый раз рукописное сочинение». Я отвечал, что это правда, что даже печатную драматическую пиесу нельзя в первый раз прочесть хорошо, что надобно предварительно понять, вникнуть в характеры лиц, изучить ход сильных сцен; что я не читаю никогда никакой большой пиесы другим, не прочитав ее вслух предварительно самому себе. — С живостью и удовольствием подал Державин мне обеими руками зеленый том и сказал: «Так возьмите, прочтите, изучите, и когда будете готовы, тогда прочтите мне. Но вот что: вы, верно, читали или слышали на театре «Ирода и Мариамну»; прочтите мне из нее некоторые сцены», — и, не дождавшись ответа, он позвонил и приказал вошедшему человеку собрать экземпляр этой трагедии из печатных листов, лежавших большим тюком в нижнем ящике того же дивана. Разумеется, я сказал, что пиесу знаю и прочту с большим удовольствием, и это была правда. Я был в таком лирическом настроении, что рад был читать Державину что угодно, хоть по-арабски. В какие бы то ни было звуки хотела вылиться вскипевшая душа! В такие минуты всякие стихи, всякие слова, пожалуй неизвестного языка, — будут полны чувства и произведут сочувствие. Этим, по-моему, объясняется удивительный и нередкий факт, что на сцене истинные артисты приводили в

восхищение слушателей, не знающих языка представляемой пиесы. — Между тем Гаврила Романыч послал за своей женой, племянницей (П. Н. Львовой) и племянником, служившим в статской службе, Капнистом. Пришли первая и последний; племянница была еще не готова и явилась к концу чтения. Нетерпение Державина было очевидно: он едва познакомил меня с своей женой, а с Капнистом даже и не познакомил. Я начал читать и без всяких выпусков прочел трагедию до конца, отдыхая не более двух-трех минут между действиями. Меня уговаривали отдыхать побольше, но я не соглашался: трагедия была небольшая, и притом я чувствовал, что моя восторженность может охладеть, а тогда все бы погибло. Это чтение было единственным явлением в продолжение тридцатипятилетнего моего поприща в качестве чтеца, — явлением психологическим и весьма замечательным. Чтобы понять вполне мои слова, надобно взять «Ирода и Мариамну» и попробовать прочесть ее вслух. Я сам впоследствии, достигнув несравненно большего искусства в чтении, не один раз пробовал исполнить этот подвиг — и не находил возможности не только чем-нибудь воспламениться, но даже сносно прочесть и еще менее заставить других прослушать с участием хоть две страницы... а тогда я читал около полутора часа, и каждое слово было полно какого-то огня, какого-то чувства! Чтение было в то же время — мало сказать не верно, не сообразно с характерами и словами действующих лиц, но даже нелепо и бессмысленно. Я чувствовал это, хотя не ясно, в самое то время, как читал. С полным сознанием и искренностью повторяю теперь, что чтение происходило на неизвестном мне языке; но тем не менее и на других и на меня произвело оно магическое действие. Можно себе представить, что было с Державиным! Он решительно был похож на человека, одержимого корчами. Все мои сердечные ноты, каждый переход из тона в тон, каждый одушевленный звук перечувствовала его восприимчивая, страстная душа! Он не мог сидеть, часто вскакивал, руки его делали беспрестанные жесты, голова, все тело было в движении. Восхищениям, восторженным похвалам, объятиям — не было конца, а моему счастью — не было меры. Державин через несколько минут

схватился за аспидную доску и стал писать грифелем. Все присутствовавшие, кроме меня, вышли. Разумеется, я догадался, что Державин пишет стихи на мое чтение, и не ошибся. Торопливо писала его дрожащая рука и беспрестанно стирала написанное. Мне показалось, что писание продолжалось с полчаса. Наконец, Гаврила Романыч взял читанную мною трагедию и на первом мягком листе, вверху названия трагедии, написал четыре стиха. Мне самому труднее, чем всякому другому, поверить, что я не помню этих стихов. Я тогда имел такую память, что с одного раза мог запомнить несколько куплетов, если только стихи мне нравились. Что книжка, подаренная Державиным, с его стихами, собственноручно написанными, у меня пропала — это не диковинка; я растерял в жизнь мою немалое число книг с надписями их авторов, иногда глубоко мною уважаемых, но не запомнить четырех стихов Державина, мне написанных, при моем благоговении к Державину, при моей памяти — это просто невероятно! Впрочем, дело объясняется несколько тем, что книга пропала у меня в первые два-три дня. Только и помню, что стихи, весьма не гладкие, оканчивались словами: «Себя услышал в первый раз», словами, вырвавшимися у него после чтения оды на смерть Мещерского. Несказанно счастливый мыслию, что я мог привесть в восхищение величайшего из поэтов (так я думал тогда), опьянелый от восторга и удовлетворенного самолюбия, я поспешил уйти от Державина, чтоб поделиться моими чувствами с моими друзьями.

Само собою разумеется, что я сделался частым и любимым гостем «Певца Фелицы», как выражались тогда литераторы и дилетанты русской словесности. Хозяин готов был слушать с утра до вечера, а гость — читать и день и ночь. Чего не перечитал я Державину! И переведенную им «Федру» Расина и собственные его трагедии: «Св. Евпраксию», «Аталибу, или покорение Перу», «Сумбеку (кажется, так), или Покорение Казани» и проч. и сверх того два огромные тома в лист разных мелких его сочинений в стихах и прозе, состоявшие из басен, картин, нравственных изречений, всякого рода надписей, эпитафий, эпиграмм и мадригалов: все

это перечитал я по нескольку раз. Я не говорю здесь о собственных записках Державина, имеющих большой интерес; я их видел, перелистывал, но не читал. При наших же стихотворных чтениях нередко с грустью думал я: умрет Державин, этот великий лирический талант, и все читаемое теперь мною, иногда при нескольких слушателях, восхищающихся из уважения к прежним произведениям писателя или из чувств родственных и дружеских, — все будет напечатано для удовлетворения праздного любопытства публики, между тем как не следует печатать ни одной строчки. Но благодарение разумной разборчивости его наследников: из рукописных сочинений, о которых я говорю, — именно не было напечатано ни одной строчки, сколько мне известно [1]. Между тем, надобно сказать правду, кроме выгод чисто материальных, можно было соблазниться исполнением желания горячих поклонников Державина: ибо в этой громаде стихов, лишенных иногда всякого достоинства, изредка встречались стихи очень сильные и блестящие лиризмом, впрочем по большей части не свойственные лицу, их произносившему. В мелких стихотворениях также изредка мелькал, может быть, не строго верный, но оригинальный взгляд и если не цельный, то односторонне-живой и поэтический образ. Волкан потухал; но между грудами камней, угля и пепла мелькали иногда светлые искры прежнего огня. — Дарования драматического Державин решительно не имел; у него не было разговора — все была песнь; но, увы, он думал, что его имеет; часто он говорил мне с неуважением о своих одах и жалел, что в самом начале литературного своего поприща не посвятил себя исключительно трагедии и вообще драме. «Аталиба», трагедия в пяти действиях, с хорами и великолепным, не исполнимым на сцене, спектаклем, была любимым его произведением. В ней главный эффект основывался на солнечном затмении: Пизарро, захваченный в плен мексиканцами со всей свитою и в оковах ожидающий казни, предсказывает потемнение солнца как знамение гнева небесного;

---

[1] Недавно узнал я, что напечатана трагедия «Василий Темный».

солнце в предписанную минуту помрачается (все это происходит на сцене), и победители упадают к ногам побежденных, освобождают их и признают своими повелителями. Помню я из этой трагедии один стих, который ценился Державиным выше всего. Аталиба, упрекая Пизарро в жадности к золоту, говорит длинный монолог, который оканчивается так:

Вы преплыли моря, расторгнув крови связь,
Чтоб из-под наших ног увезть блестящу грязь.

Может быть, я что-нибудь и перепутал в первом стихе, но второй верен буквально. Из мелких своих сочинений Державин особенно любил одно осьмистишие, которым, по его мнению, вполне обрисовывались трое знаменитых наших баснописцев: Хемницер, Дмитриев и Крылов, из которых первого он предпочитал остальным за простоту и естественность рассказа. Стихов не помню, но содержание их состоит в том, что три поэта являются к Аполлону, который говорит Дмитриеву: ты ловок, образован и ввел басню в гостиную; Крылову — ты колок, народен и умен; а Хемницеру Аполлон протягивает руку, жмет ее, «и ни слова». Этими словами заключается стихотворение.

Почти всякий раз, как я бывал у Державина, я упрашивал его выслушать что-нибудь из его прежних стихов, на что он не всегда охотно соглашался. Я прибегал к разным хитростям: предлагал какое-нибудь сомнение, притворялся не понимающим некоторых намеков, лгал на себя или на других, будто бы считающих такие-то стихотворения самыми лучшими, или, напротив, самыми слабыми, иногда читал его стихи наизусть в подтверждение собственных мыслей, нравственных убеждений или сочувствия к красотам природы. Гаврила Романыч легко поддавался такому невинному обману и вступал иногда в горячий спор, но редко удавалось мне возбудить в нем такое сильное чувство чтением прежних его стихов, какое обнаружил он в первое наше свидание, слушая оду к Перфильеву. По большей части по окончании чтения он с улыбкой говаривал: «Ну да, это недурно, есть огонь, да ведь все пустяки; все это так, около себя, и важного значения для потомства не имеет;

все это скоро забудут; но мои трагедии, но мои антологические пиесы будут оценены и будут жить». Безгранично предаваясь пылу молодого восторга при чтении его прежних пустяков, я уже не мог воспламеняться до самозабвения, читая его новейшие сочинения, как это случилось со мной при чтении «Ирода и Мариамны». Державин это чувствовал, хотя я старался по возможности обмануть его поддельным жаром и громом пышной декламации; он досадовал и огорчался. «У вас все оды в голове, — говорил он, — вы способны только чувствовать лирические порывы, а драматическую поэзию вы не всегда и не всю понимаете». Иногда, впрочем, он бывал доволен мною. — Державин любил также так называемую тогда *«эротическую поэзию»* и щеголял в ней мягкостью языка и исключением слов с буквою *р*. Он написал в этом роде много стихотворений, вероятно втрое более, чем их напечатано; все они, лишенные прежнего огня, замененного иногда нескромностью картин, производили неприятное впечатление. Но Державин любил слушать их и любил, чтоб слушали другие, особенно дамы. В первый раз я очень смутился, когда он приказал мне прочесть, в присутствии молодых девиц, любимую свою пиесу «Аристиппова баня», которая была впоследствии напечатана, но с исключениями. Я остановился и сказал: «не угодно ли ему назначить что-нибудь другое?» — «Ничего, — возразил, смеясь, Гаврила Романыч, — у девушек уши золотом завешаны».

Так продолжалась моя жизнь около месяца; все время, свободное от необходимых дел и свиданий в Петербурге, проводил я в доме Державина, который в последние дни казался не так здоровым. Наконец, один раз пришел я к нему обедать, что бывало довольно часто. Швейцар встретил меня с обыкновенной ласковой улыбкой, но сказал мне, чтоб я вызвал камердинера Гаврилы Романыча, который имеет до меня какую-то надобность. Я несколько удивился и, взошед наверх, встретил этого самого камердинера; он сказал мне, что Дарья Алексевна (жена Державина) просит меня, не входя в кабинет к Гавриле Романычу, повидаться с ней и для того зайти наперед в гостиную; я удивился еще

более и поспешил к разгадке. Дарья Алексевна[1], несколько встревоженная, весьма учтиво и ласково сказала мне, что муж ее нездоров, что он провел дурно ночь, что у него сильное раздражение нерв и что доктор приписывает это тому волнению, с которым Гаврила Романыч слушает мое чтение, что она просит, умоляет меня несколько времени не ходить к больному или ходить, но не читать под каким-нибудь предлогом; «а всего лучше скажитесь больным, — прибавила она, — если он вас увидит, то начнет так приставать, что трудно будет отказать ему». Я сейчас почувствовал, что все это совершенно справедливо. Я уже говорил, как Державин слушал мое чтение в первое наше свидание; точно то же продолжалось до сих пор, если не всегда при слушании прежних од, то всегда при слушании трагедий. Я вспомнил, какое изнеможение выражалось на лице Державина после наших, иногда долгих, дообеденных или вечерних чтений. Мне стало совестно, и я покраснел до ушей. Я сказал Дарье Алексевне, что мне больно, и грустно, и досадно на себя, для чего я сам давно этого не приметил. Она призналась мне, что уже с неделю всякий день сбирается поговорить со мной об этом, что она боялась оскорбить меня и что боже сохрани, если узнает об этом Гаврила Романыч. Я поспешил ее успокоить и прибавил, что я сам болен, что доктор давно требует, чтоб я сидел дома, и что я выезжал единственно для Гаврилы Романыча. Все это была совершенная правда, только я был болен не от чтения, а от петербургского климата, от которого уже поотвык. Хозяйка благодарила меня искренно и упрашивала, чтоб я в доказательство, что не сержусь на нее, остался у них обедать. «Гаврила Романыч не выходит из кабинета и не узнает, что вы были здесь», — прибавила она очень приветливо. Я не остался под предлогом, что должен держать строгую диету; мне показалось как-то странно оставаться в доме контрабандой от хозяина. Я приехал, однако, вечером к Державину, сказал ему, что я давно нездоров, что должен лечиться и, может быть, недели две не выйду из комнаты. Гаврила Романыч чуть не заплакал

[1] Урожденная Дьякова, вторая супруга Державина.

и так огорчился, что я испугался вредных последствий. Он сам был, очевидно, нездоров. Глаза у него были мутные и пульс бился, как в лихорадочном жару, но сам он и слышать не хотел, что он болен, и жаловался мне, что с некоторого времени хотят уверить его, что он хворает, а он, напротив, давно не чувствовал себя так бодрым и крепким. Наконец, он отпустил меня в *лазарет* (как он выразился) и обнял на прощанье несколько раз, прибавив, что кстати исполнит просьбу жены и, хотя без надобности, сам полечится в это время.

Много было шуток и смеха в Гарновском доме, где я был хорошо знаком почти со всеми офицерами, а также и в близком, родственном кругу Державина. Говорили, что я *зачитал* старика и сам *зачитался* и что мы оба принуждены были не шутя лечиться. Молва подхватила это простое событие и распустила по городу — с обычными украшениями. Я сам после слышал, как рассказывал один господин, что «какой-то приезжий, сумасшедший декламатор и сочинитель, едва не уморил старика Державина чтением *своих* сочинений и что, наконец, принуждены были чрез полицию вывести этого чтеца-сочинителя из дома Державина и отдать на излечение частному лекарю».

Ровно через две недели явился я к Державину, хотя дни за два до срока Дарья Алексевна уже присылала звать меня. Гаврила Романыч очень мне обрадовался, но не так, как я ожидал. Может быть, ему успели внушить, что в обществе смеются над ним, будто бы с утра до вечера заставляющим читать себе свои сочинения; может быть, сказали, что мне это в тягость, что я скучаю и жалуюсь на такое принуждение, а может быть, что всего вероятнее, успели его убедить, что такое неравнодушное слушание точно ему вредно. Как бы то ни было, только Державин был со мною как-то принужденен и не сказал ни слова о своих стихах. На другой день то же, и я уже подумал, что мои отношения к Гавриле Романычу должны измениться, как вдруг последовало неожиданное возвращение к прежнему порядку вещей. Один из его племянников, А. Н. Львов, спросил меня при своем дяде: «Каково идет «Мизантроп»?» Эти слова

обратили на себя внимание Державина, и я должен был рассказать ему, в чем состояло дело; оно состояло в следующем: Ф. Ф. Кокошкин перевел Мольерова «Мизантропа»; перевод его пользовался тогда большою славою; петербургская актриса, М. И. Валберхова, выпросила у Кокошкина эту пиесу, еще не игранную на петербургской сцене, себе в бенефис. Я отправлялся в самое то время из Москвы в Петербург; Кокошкин прислал со мною г-же Валберховой «Мизантропа» и взял с меня обещание, что я прочту сам его перевод всем актерам на «считке» [1] и даже посмотрю за репетициями, на что дал мне письменное полномочие. Я принялся было за это дело с обычною мне горячностью, но скоро увидел, что играю тут смешную роль: никто из актеров не хотел меня слушать и не обращал внимания на мои права, потому что заведовавший тогда репертуарною частью кн. А. А. Шаховской, с которым я был впоследствии очень дружен, не благоволил к Кокошкину и оскорбился, что такой молодой человек, как я, имел право ставить на петербургскую сцену такую знаменитую пиесу, как «Мизантроп» Мольера. Считку, разумеется, произвели без меня, и только по необходимости, очень сухо приглашен я был на репетиции. Я, увидя явное от всех нерасположение, отстранился и был только из приличия раза два на репетициях. Родные Державина знали эту забавную историю, и Львов (с которым мы были потом друзьями) сделал этот вопрос с намерением надо мной посмеяться. Я рассказал откровенно все. Державин по добродушию принял живейшее участие в моем неприятном положении; он знал только отрывки из перевода Кокошкина, когда-то прочтенные мастерски (по общему мнению) самим Кокошкиным в «Беседе русского слова». Гавриле Романычу очень захотелось послушать, как я читаю комедию, и он стал меня убедительно просить, чтобы я

---

[1] Может быть, не всем известен этот технический термин. На «считке» автор или доверенное от него лицо читает вслух всем актерам пиесу, приготовляемую к представлению. Этим чтением дается смысл и тон, который автор желает сообщить своей пиесе; актеры и актрисы обязаны соображаться с ним. Так по крайней мере бывало прежде.

прочел ему всего «Мизантропа». У меня был особый экземпляр, окончательно исправленный переводчиком, и на другой день вечером, при довольно многочисленной публике, я прочел «Мизантропа», Гаврила Романыч был совершенно доволен. Опять расшевелилось горячее сердце Державина, и с следующего дня начались опять наши чтения попрежнему, хотя не так уже часто [1].

Кроме собственных сочинений, Державин охотно слушал чтение и других стихотворцев: И. И. Дмитриева, Батюшкова, Гнедича и проч. Крылова я не читал никогда, потому что Гаврила Романыч был недоволен мною при чтении собственных его басен, и это было совершенно справедливо. Басни навсегда остались для меня камнем преткновения; я много напряженно работал над чтением их, но никогда не был доволен собою, потому что слыхал, как читает, или, лучше, рассказывает басни свои Крылов: это неподражаемая простота и естественность. Помню также, что я два раза читал при

---

[1] «Мизантроп» вскоре был дан в бенефис г-жи Валберховой. Державин поручил мне взять для него бенуар, но, кажется, сама бенефициантка отвезла билет и атласную афишу знаменитому нашему барду. «Мизантроп» был разыгран весьма посредственно и даже нетвердо. Я говорил об этом Шаховскому на предпоследней репетиции; он отвечал мне, что теперь нет времени хорошенько поставить пиесу, но что впоследствии она пойдет отлично. Брянский был положительно нехорош в роли Крутона (Альсеста), но, правду сказать, я не знаю, почему влюбленный Альсест у Мольера называется мизантропом? Скорее можно назвать его филантропом, потому что он, с начала до конца пиесы, горячится, выходит из себя от гнева на людей за их дурные поступки. Где же тут ненависть? Это скорее любовь. Мизантропа, в настоящем смысле, Брянский играл недурно: то есть был холоден и груб; но характер Альсеста, ярко нарисованный Мольером, требовал совсем другого исполнения. М. И. Валберх, или Валберхова, играла Прелестину (Селимену, grande coquette) также без одушевления. Кн. Шаховской это чувствовал и на репетиции беспрестанно бормотал: «Марья Ивановна, montez la scène, montez la scène» <больше подъема>. Скажут, может быть, что кокетка и должна быть холодна, но в сценическом исполнении речь идет не о холодности в душе, а об одушевлении, об оживлении, так сказать, целой роли. Притом есть огонь внешний, искусственный, огонь кокетства, без которого никакая красота не увлекла бы Альсеста. Сосницкий, не помню в какой роли, был просто карикатурен.

многих слушателях какое-то большое дидактическое стихотворение А. П. Буниной, которое принималось всеми с большим одобрением; но, кажется, кроме гладких, для того времени, стихов и цветистости языка, не имело оно других достоинств.

Благородный и прямой характер Державина был так открыт, так определенен, так известен, что в нем никто не ошибался; все, кто писали о нем, — писали очень верно. Можно себе представить, что в молодости его горячность и вспыльчивость были еще сильнее и что живость вовлекала его часто в опрометчивые речи и неосторожные поступки. Сколько я мог заметить, он не научился еще, несмотря на семидесятитрехлетнюю опытность, владеть своими чувствами и скрывать от других сердечное волнение. Нетерпеливость, как мне кажется, была главным свойством его нрава; и я думаю, что она много наделала ему неприятных хлопот в житейском быту и даже мешала вырабатывать гладкость и правильность языка в стихах. Как скоро его оставляло вдохновение — он приходил в нетерпение и управлялся уже с языком без всякого уважения: гнул на колено синтаксис, словоударение и самое словоупотребление. Он показывал мне, как исправил негладкие, шероховатые выражения в прежних своих сочинениях, приготовляемых им для будущего издания. Положительно могу сказать, что исправляемое было несравненно хуже неисправленного, а неправильности заменялись еще бóльшими неправильностями. Я приписываю такую неудачу в поправках единственно нетерпеливому нраву Державина. Я осмелился слегка сказать ему мое мнение, и он весьма благодушно согласился. Впрочем, такое сознание ни к чему не вело, и я вскоре увидел довольно красноречивый опыт нетерпения, вспыльчивости и неуменья владеть собою престарелого поэта. Однажды Карамзин уведомил его запиской, что в такой-то день, в семь часов вечера, приедет и прочтет отрывок из «Истории Российского государства»[1]. Державин пригласил многих знакомых, большею частью людей почтенных уже по одним своим

---

[1] Карамзин жил тогда в Петербурге, на Фонтанке, в доме Муравьевой.

летам; не знаю почему, меня прислал он звать не более как за полчаса до условленного начала чтения. Я был дома и поспешил явиться: интерес мой особенно возбуждался тем, что дни за три Н. М. Карамзин сказал мне[1], что обещал Державину прочесть что-нибудь из «Истории» и прочтет такое место, которым он сам доволен, но сомневается, чтоб оно понравилось другим. Я нашел у Державина: А. С. Шишкова, известного стихотворца гр. Д. И. Хвостова, также А. С. Хвостова, известного едкостью критических замечаний и в общественных беседах и в рукописных стихах, Ф. П. Львова, П. А. Кикина, Н. И. Гнедича и многих других. Бьет семь часов — Карамзина нет; в Державине сейчас обнаружилось нетерпенье, которое возрастало кресчендо с каждой минутой. Проходит полчаса, и нетерпенье его перешло в беспокойство и волнение: он не мог сидеть на одном месте и беспрестанно ходил взад и вперед по своему длинному кабинету между сидящими по обеим сторонам гостями. Несколько раз хотел он послать к Карамзину и спросить: будет он или нет; но Дарья Алексевна его удерживала. Наконец, бьет восемь часов, и Державин в досаде садится писать записку; я стоял недалеко от него и видел, как он перемарывал слова, вычеркивал целые строки, рвал бумагу и начинал писать снова. К счастию, в самое это время принесли письмо от Карамзина. Он извинялся, что его задержали, писал, что он все надеялся как-нибудь приехать, и потому промешкал, и что просит Гаврилу Романыча назначить день и час для чтения, когда ему угодно, хоть послезавтра. Очень жалею, что я не списал этой записки или не оставил ее у себя. Державин, показав ее многим из гостей, отдал потом мне; я прочел, положил в карман и забыл; я возвратил ее через несколько дней. В семи или осьми строчках этой записки Карамзина дышала такая простота, такое кроткое спокойствие, такое искреннее сожаление, что он не мог исполнить своего обещания! Казалось, не было возможности, прочтя эти строки, сохранить какое-нибудь неудовольствие в сердце; но не

---

[1] Я бывал у Карамзина не как любитель словесности или словесник, а как его земляк, сосед и дальний родственник.

то было с Державиным: он никак не мог так скоро совладеть с своей досадой, ни с кем не говорил, беспрестанно ходил, и все гости в несколько минут нашлись принужденными разъехаться. Тут Дарья Алексевна уже сама пожелала и попросила меня, чтоб я прочел что-нибудь. Надобно сказать, что в последнее время она постоянно показывала мне какую-то холодность, и я не вдруг согласился исполнить ее желание и предложить чтение. Гаврила Романыч также не вдруг принял мое предложение, наконец сказал: «Пожалуй, прочтите что-нибудь», и я начал читать. Державин долго слушал без участия, то есть без всяких движений в руках и лице; но мало-помалу пришел в свое обыкновенное положение и даже развеселился. В этот раз я просидел у него целым часом долее положенного срока, уже не читал, а слушал его рассказы о прошедшем, невозвратно прошедшем.

Между тем приближалось время одного из заседаний, или собраний, «Беседы русского слова», которая состояла из нескольких отделений, кажется из четырех, и каждое имело своего председателя. В одном отделении был председателем Ал. Сем. Хвостов, и я слышал от многих членов ропот против такого незаслуженного председательства; особенно обижался граф Хвостов, который не имел отделения, на что, как старейший и многоплоднейший писатель, имел он, по его убеждению, неотъемлемое право. Вообще находили странным, что А. С. Хвостов, человек почти ничего не напечатавший, известный только остроумно-шутливыми посланиями и эпиграммами, председательствует между заслуженными литераторами. Шишков, уважавший и любивший А. С. Хвостова, был причиною назначения его в председатели еще при первоначальном основании «Беседы». Особенно было забавно неудовольствие членов Хвостовского отделения (как его называли), над которым другие подтрунивали и в числе которых быть никому не хотелось. Крылов и Гнедич, для успокоения оскорбленных авторских самолюбий, добровольно вызвались быть членами отделения под председательством А. С. Хвостова; их примеру последовали другие, и спокойствие водворилось в великом семействе жрецов Аполлона. Это обстоятельство

случилось, впрочем, уже давно, и я рассказываю слышанное мною. Предстоящее собрание долженствовало происходить под председательством самого Державина, и он последнее время был сильно тем озабочен. Ему хотелось, чтобы я прочел что-нибудь в «Беседе». Чтение пиес посторонними лицами допускалось иногда в виде исключений; так, например, Кокошкин читал свой перевод. Для Державина, разумеется, все согласились, чтобы я прочел его пиесу. Он назначил мне рассказ в несколько страниц из «Аталибы» и стихотворение «Развалины Греции» Аркадия Родзянки, молодого человека, дальнего родственника Державина, служившего тогда подпрапорщиком в Лейб-егерском полку. Стихи Родзянки признавались написанными превосходно, сильными, гладкими, звучными. Я очень радовался, что по крайней мере в них могу показать свое уменье читать. Стихи же Державина приводили меня в ужас. Я выучил наизусть обе пиесы и приготовился к чтению... Но судьба устроила иначе: в день предварительного, или приготовительного, собрания «Беседы» и за три дня до настоящего собрания — я скакал уже с Кавелиным в Москву. Гаврила Романыч весьма огорчился, узнав о моем внезапном намерении уехать; сначала не верил, а потом досадовал, что я не хочу остаться трех дней, чтобы *продекламировать* его пиесу, успех которой он основывал отчасти на моем чтении. Мне самому это было очень больно; но особенные обстоятельства не позволили мне остаться, тем более, что зимний путь разрушался (тогда о шоссе еще не было и помину). Мы с Кавелиным уехали из Петербурга 18-го марта, накануне славного дня взятия Парижа. После примерпарада множество офицеров шумно проводили нас, напутствуя добрыми желаниями и хором: «Веди меня, о провиденье!» [1]

В начале июля Державина уже не было на свете.

Сколько простосердечия, теплоты, живости и благодушия сохранялось еще в этом семидесятитрехлетнем старце, в этом гениальном таланте! Вечер накануне моего отъезда, как нарочно, мы провели вдвоем. Много

[1] Из оперы «Водовоз».

добрых желаний и советов сказал он мне на прощанье, искренно благодарил за удовольствие, доставленное моим чтением; много предсказывал мне в будущем и даже благословил меня на литературные стихотворные труды. Он ошибался во мне, и потому предсказания не исполнились и благословение не пошло впрок. Самый последний совет состоял в следующем: «Не переводите, а пишите свое, что в голову войдет; в молодости переводить вредно: сейчас заразишься подражательностью; в старости переводите сколько угодно».

С глубоко растроганным сердцем вышел я из кабинета Державина, благодаря бога, что он послал мне такое неожиданное счастье — приблизиться к великому поэту, узнать его так коротко и получить право любить его, как знакомого человека! Каким-то волшебным сном казалось мне все это быстро промелькнувшее время! Державин знает, любит меня; он восхищался моим чтением, он так много говорил со мной, так много занимался мною; он считает, что я имею дарование, он говорил это всем, он сохранит воспоминание обо мне... Радостно билось мое сердце, и самолюбие плавало в упоении невыразимого восторга.

В исходе июля, собираясь уехать на десять лет из Москвы в Оренбургскую губернию, я узнал о смерти Державина. Еще живее почувствовал я цену моего с ним очень кратковременного, но полного, искреннего, свободного, кабинетного знакомства. Итак, скромный путь моей жизни озарился последними лучами заходящего светила, последними днями великого поэта! Тридцать пять лет [1] прошло с тех пор, но воспоминанье об этих светлых минутах моей молодости постоянно, даже и теперь, разливает какое-то отрадное, успокоительное, необъяснимое словами чувство на все духовное существо мое. И чему я обязан за все это? — единственно моему чтению. Да будет же благословенно искусство, которое звуками даже чужих слов, проникнутых собственным чувством человека, может так могуче переливать их в сердце другого!

---

[1] Статья эта написана прежде всех других моих статей, а именно в мае 1852 года.

Вскоре прочел я в «Благонамеренном» большое стихотворение того самого господина Родзянки, которого пиесу назначено мне было читать в «Беседе»; оно называлось: «Державин». Это были пламенные, замечательные стихи особенно потому, что в составе их слышались иногда смелые, размашистые приемы, а в выражениях недостатки и даже красоты большею частью внешние, поистине державинские. Вот одна строфа этого стихотворения:

Прочь ход плачевный похорон,
В прах смерти мрачны одеянья,
Плач, слезы — слейтесь в восклицанья,
В глас трубный — погребальный звон!
Рассыпься лавром ельник скорбный,
Встань жертвенником мрамор гробный!

ЯКОВ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ ШУШЕРИН

И СОВРЕМЕННЫЕ ЕМУ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

В начале 1807 года оставил я Казанский университет и получил аттестат с прописанием таких наук, какие я знал только понаслышке и каких в университете еще не преподавали. Этого мало: в аттестате было сказано, что в некоторых «оказал я значительные успехи», а некоторыми «занимался с похвальным прилежанием». Вместе с моим семейством отправился я по последнему зимнему пути в Оренбургскую губернию, в мое любимое Аксаково, которое тогда не называлось еще селом Знаменским. В первый раз встретил я весну в деревне уже не мальчиком, в первый раз предался вполне моей страсти к ружью, которым до тех пор я занимался урывками во время летних вакаций. Весна, лето и осень пролетели, как приятный сон, и с наступлением зимы отправились мы в Москву с тем, чтоб весною ехать в Петербург, где хотели определить меня в службу. В Москве прожили мы около семи месяцев. Я любил театр не менее ружья и сделался его постоянным посетителем. Вдруг дошла до меня весть, что бывшая казанская актриса Феклуша [1], от которой я был всегда в восхищении (вместе со всей

---

[1] Крепостная девушка содержателя казанского театра П. П. Есипова, который, по страсти своей к театру, посвятил всю свою жизнь на устройство его в Казани, что, разумеется, стоило ему

казанской публикой), бежала от своего господина, вышла за знакомого мне, очень хорошего молодого человека, г-на Пети, служившего в казанском почтамте, и едет в Москву, чтоб дебютировать на московском театре. Мне сказали, что известный и уважаемый тогда актер Плавильщиков, за несколько лет приезжавший в Казань, много раз игравший с Феклушей и всегда замечавший ее талант, сам пригласил ее на московскую сцену. Я часто видался в Москве с бывшим товарищем моим по гимназии, но гораздо старшим меня годами П. М. Алехиным, служившим в артиллерии и стоявшим с своей батареей в Москве. Я поспешил сообщить ему неожиданную и радостную новость; он был таким же горячим поклонником таланта Феклуши, как и я, и мы оба были твердо уверены, что появление ее на московской сцене произведет общий восторг. Постоянно справляясь у Плавильщикова, не приехала ли наша гениальная дебютантка, мы, наконец, узнали, что она в Москве, и достали ее адрес. В тот же день я и Алехин отыскали Феклушу. В Старой Конюшенной, в приходе Иоанна Предтечи, в полуразвалившемся домишке дьякона нанимала две комнатки г-жа Пети со своим мужем и новорожденной дочерью: присутствие бедности было видно во всем. С юношеским жаром высказали мы все, что было у нас на душе: и наши казанские восторги и наши московские надежды. С живым удовольствием вспоми-

---

очень дорого; но Казань обязана П. П. Есипову полною благодарностью: Казань имела замечательный театр тогда, когда губернских театров, и то весьма плохих, в целой России было очень мало. Главные актеры и актрисы казанского театра были следующие: г. Волков, режиссер и театральный utilité, на всякие роли; г. Грузинов на роли благородных отцов; г. Расторгуев на роли молодых любовников, повес и весельчаков; г. Прытков на роли слуг. Это были актеры наемные. Все остальные принадлежали г. Есипову: Федор Львов — герой и первый любовник; Михайла Калмыков — главный комик; Николай Комяков — буф-арлекин; Анисья Комякова — любовница в драмах и комедиях; Фекла Аникиева — первый талант на роли первых любовниц в трагедиях, драмах, комедиях и операх; Марфа Аникиева — молодая любовница, предпочтительно в операх. Впрочем, в случае надобности — все играли в операх. Других актеров и актрис не помню.

наю теперь, какое благотворное впечатление произвели мы на бедного Пети и жену его, которые были очень смущены холодным приемом начальства московской театральной конторы и некоторых актеров. Плавильщиков усердно хлопотал, чтобы г-же Пети позволили дебютировать и чтобы скорее назначили ей время дебютов; он ручался за ее успехи, не примечая того, что это ручательство никому не нравилось. Отказать Плавильщикову и дебютантке не было возможности; но в назначении дебюта нашлось множество препятствий. Пети хотела начать трагедией: предлагала более десяти пиес, которые все игрались на московском театре, и все эти пиесы, по каким-то особенным причинам, не могли быть скоро даны; наконец, Плавильщиков вытащил из старого репертуара давно забытую трагедию Княжнина «Софонисбу», и начальство согласилось. В этой трагедии так мало было интереса и для тогдашней публики, что дебютантке надобно было иметь не только большой трагический талант, но и громкую известность, чтоб явиться с успехом в роли несчастной Софонисбы. Надобно к этому прибавить, что тогдашней любимицею Москвы была актриса Воробьева, в самом деле имевшая много неподдельного чувства [1]. Ее многочисленные почитатели, а может быть и она сама, подумали, что Плавильщиков, находившийся не в ладах с Воробьевой, хочет ее скабалировать, как тогда выражались, и выписал для этого какую-то провинциальную актрису. Они поспешили распустить невыгодные слухи о новой дебютантке и приготовили ей холодный прием. Я был зрителем этого несчастного спектакля. Казалось, все было соединено, чтоб произвесть на публику неприятное впечатление. Трагедия состояла из трех главных действующих лиц: Сифакса, царя Нумидского, супруги его Софонисбы и Массиниссы, князя Нумидского, разумеется с неизбежными наперсниками. Сифакса играл нестерпимейший актер г. Прусаков, а Массиниссу — Плавильщиков. Я пришел в ужас, когда появилась на сцену Софонисба:

---

[1] Торжеством г-жи Воробьевой была роль Берты в «Гуситах под Наумбургом». Я сам бывал свидетелем, как все плакали *навзрыд*, слушая страданья матери, и сам плакал вместе с другими зрителями.

маленького роста, черненькая, худенькая, одетая в нелепый костюм, очень плохо прилаженный к ее росту... Смех встретил несчастную дебютантку; от природы слабый ее голос почти прерывался и едва был слышен от сильного смущения. Плавильщиков, заметя, что дело идет плохо, вздумал поддержать пиесу и ободрить дебютантку усилением собственной игры: он поднял на целую октаву свой и без того громкий голос и недостаток внутреннего огня вознаграждал беспощадными криками и жестами; в порыве усердия он задел пальцем за свой парик, который взвился очень высоко вверх, был подхвачен им на лету и проворно надет на голову. Несмотря на уважение к Плавильщикову, зрители расхохотались. Мы с Алехиным, особенно я, находились в страдательном положении. Невзирая на всю эту ужасную обстановку, было несколько выражений, сказанных Феклушею с таким чувством, что они произвели впечатление на публику, а слова Софонисбы: «Прости в последний раз!», говоря которые, она бросилась в объятия Массиниссы, второго своего супруга, — были проникнуты такою силою внутреннего чувства, такою выразительностью одушевленной мимики, что зрители увлеклись; взрыв громкого рукоплескания потряс театр, и многие закричали «браво»; но это не поправило дела: трагедия надоела до смерти зрителям, и когда, по окончании пиесы, мы с Алехиным и несколькими приятелями Плавильщикова вздумали вызывать дебютантку, — общее шиканье и смех заглушили наши вызовы. Жалко было смотреть нам на бедную г-жу Пети, которая, под именем Феклуши, привыкла в Казани десять лет сряду приводить зрителей в восторг своей игрой и которую рукоплескания постоянно встречали на сцене и провожали со сцены. Не менее был жалок и смущен муж ее, страстно любивший свою жену и считавший ее гениальным талантом. Но дебютантка не совсем потеряла присутствие духа и надеялась на свой второй дебют, который был назначен через неделю, в комедии «Ошибки, или Утро вечера мудренее». Пети должна была играть Софью, дочь Старомыслова. Я видел не один раз в Казани Феклушу в этой роли и хотя восхищался ею тогда, но теперь начинал смутно понимать, что второй дебют

будет неудачнее первого и что та половина роли, в которой Софья является светской петербургской девушкой, будет сыграна дебютанткой дурно. Предчувствия мои оправдались, хотя я не был зрителем второго дебюта, потому что через три дня отправился вместе с своим семейством в Петербург, где и получил скоро от Алехина горестное описание второго дебюта г-жи Пети [1].

В продолжение моего трехмесячного личного знакомства с этими двумя, поистине жалкими, существами я бывал у них почти ежедневно. Я назвал их жалкими не потому, что они были несчастны: они, пожалуй, даже были счастливы в настоящем, потому что искренно, горячо любили друг друга; но их будущность казалась мне и Алехину, несмотря на нашу молодость, весьма неблагонадежною и даже зловещею. Впрочем, кажется, Алехин, который был старее и разумнее меня, внушил мне такие мысли. Вот краткая история обоих Пети: Феклуша, крепостная актриса г-на Есипова, была нехороша собою, но со сцены казалась красавицей; она имела черные, выразительные глаза, а вечернее освещение, белилы и румяны доканчивали остальное. В ее игре, которая не успела сформироваться по образцам петербургских артистов, хотя помещик два года водил в театр и учил своих главных актеров и актрис, было много естественности и неподдельного внутреннего чувства. Живя в Петербурге, г-н Есипов возил иногда Феклушу и другого актера, Федора, даже к Дмитревскому, который *прошел* с ними несколько ролей. Феклуша сказывала мне, что Иван Афанасьич очень ее хвалил, очень ласкал и называл «mon petit démon» [2]. Все это потом подтвердил мне сам Дмитревский. Феклуша на сцене восхищала всех без исключения, а многих молодых людей сводила с ума. Надобно заметить, что она была скромная девушка. В числе ее обожателей был юноша очень приятной наружности, тихий и застенчивый, m-r Pétit, француз по фамилии, не умевший и говорить

---

[1] Г-жа Пети, не принятая на московскую сцену, определилась на какой-то губернский театр и вскоре, как я слышал, умерла. Что сделалось с ее мужем, — не знаю.

[2] Мой бесенок *(франц.)*.

по-французски. Как он попал в Казань и почему служил при почтамте — не знаю. Я, бывая иногда с Г. И. Карташевским у Г. К. Воскресенского (сын которого был моим товарищем в гимназии), также почтамтского чиновника, видел у него несколько раз г-на Пети. Этот тихий юноша влюбился в Феклушу, будучи еще семнадцати лет. Долго любил он безмолвно, не замечаемый предметом своей любви; но постоянство восторжествовало. Через несколько лет Пети возмужал, Феклуша его заметила и полюбила; эта, уже взаимная, любовь тянулась еще два года. Наконец, целый город принял в ней участие и хлопотал о соединении влюбленных, но г. Есипов ни за что на это не соглашался. Причина была очевидна. Он предчувствовал, что театр лишится Феклуши. Общество рассердилось, и несколько известных молодых людей помогли Пети увезть Феклушу и обвенчаться с нею. Делать было нечего: г. Есипов принужденным нашелся простить свою беглянку, потому что за нее вступилась аристократия Казани и сам губернатор. Феклуша точно недолго осталась при казанском театре. У m-r Petit не было никакого состояния, кроме маленького жалованья, которого он лишился, оставя службу при почтамте; но у Феклуши было накоплено около двух тысяч рублей ассигнациями; эта сумма составилась из подарков казанской публики. Там существовало обыкновение, чему я сам бывал свидетелем не один раз, — бросать деньги актеру или актрисе прямо на сцену во время самого представления, для изъявления своего удовольствия. Иногда делали складчину заранее, иногда импровизировали ее тут же, в креслах: чей-нибудь кошелек наполнялся серебром и золотом или ассигнации завертывались в бумагу, и подарок бросался к ногам действующего лица, иногда в самой патетической сцене. Я видел, как сумасшедшая Нина (в известной опере «Нина, или Сумасшедшая от любви») приходила в себя, поднимала кошелек, клала его в карман, раскланивалась с зрителями и — делалась опять сумасшедшею Ниною. Такие знаки одобрения состояли не менее как из ста рублей, а в экстренных случаях доходили и до двухсот рублей, разумеется, ассигнациями. Чаще всех получала их Феклуша, и она говорила мне, что если бы умела

беречь деньги, то могла бы скопить и пять тысяч рублей. Весьма было простительно бедной Феклуше поверить общим восторженным похвалам казанских театралов и вообразить, что стоит ей только показаться на московской сцене, чтобы заслужить благосклонность публики, получить хорошее жалованье и со временем — громкую славу. Нечего говорить, что влюбленному мужу своему она казалась чудом совершенства... И вот они отправились в Москву. Дорога и несколько месяцев, проведенных в ожидании дебютов, истощили их маленький капитал, и я нашел их уже в крайности, но полных надежд на счастливое будущее. Я старался ободрять их и должен сказать, что мое теплое участие было принимаемо ими с горячей благодарностью. Один раз встретил я у них страстного любителя театра, московского купца Какуева, имя которого я забыл; он был уже старик, очень приветливый и почтенной наружности; он был большой приятель с Плавильщиковым и через него познакомился с Пети. Разумеется, меня также с ним познакомили; нахвалили ему мое чтение и мои сценические способности [1]. Старик очень меня полюбил, обласкал, слушал мое чтение и даже целую сцену из «Ненависти к людям и раскаяния», которую мы с Феклушей ему продекламировали; я играл Мейнау, а г-жа Пети — Эйлалию. Какуев сказал мне, что он вполне ценит мое дарованье, но в то же время видит, что я стою на ложной дороге. Зная, что через несколько дней я должен отправиться в Петербург, Какуев предложил мне познакомить меня с его другом в Петербурге, с одним из умнейших актеров, Яковом Емельяновичем Шушериным. Я принял с восхищением и благодарностью такое предложение. За день до моего отъезда оба Пети и я провели вечер у почтенного любителя театра Какуева, и он написал и отдал мне обещанное письмо к Шушерину.

Как настоящие низовые дворяне, зажившиеся в деревне, которым не столько по скупости, сколько по непривычке кажутся дикими всякие расходы, мы и в Петербург отправились на своих лошадях. Там ожидала

[1] Я много игрывал в Казани на университетском театре, что известно уже моим читателям.

нас уже нанятая недорогая квартира в Коломне, приготовленная Григорьем Иванычем Карташевским. Кроме него, у нас было в Петербурге только два дома знакомых: Д. Б. Мертваго и В. В. Романовский, да двое молодых людей Мартыновых. Давши один день отдохнуть лошадям, запрягли четверку в дорожную карету, одели меня в студентский мундир, вооружили шпагою, треугольной шляпой и послали с визитами в оба вышеупомянутые дома. Я отправился и не забыл положить в карман письмо Какуева к Шушерину. Мертваго, мой крестный отец, служил тогда генерал-провиантмейстером. Это был один из самых честнейших и любезнейших людей. Романовский тоже был честнейший человек, но сурово строгий и неблагосклонный старик; он был другом и помощником известного А. Ф. Лабзина, главы тогдашних мартинистов. Вся братия даже считала Романовского фанатиком. Посидев не подолгу в обоих этих домах, я поспешил отыскать квартиру Шушерина, который жил на Сенной площади. Сидя в карете, я сочинил великолепные фразы, которые собирался продекламировать, отдавая письмо, — что и исполнил. Впоследствии Шушерин много смеялся, вспоминая эту *рацею* (как он называл). Шушерину было тогда шестьдесят лет, но его физические и умственные силы находились в полной крепости мужества, и он сам говаривал мне, что не намерен прожить менее ста лет. Черты лица Шушерина были не хороши: нос небольшой, несколько вздернутый кверху, широкие скулы и маленькие серые глаза, но зато выразительные, умные, даже хитрые. Все лицо для сцены было невыгодно, потому что не имело резких черт, лишено было подвижности физиономии. Много слыхал я жалоб Шушерина на эти недостатки, которые мешали его сценическим успехам и которые надобно было преодолеть, переливая все внутреннее чувство в выражение глаз и одушевленный голос. — Шушерин, одетый как больной, в туфлях, халате и колпаке, принял меня в гостиной; выслушал, не улыбнувшись, мою торжественную речь, сказал несколько самых вежливых слов, усадил на креслах возле себя и попросил позволения прочесть письмо Какуева. Прочитав его, он посмотрел на меня проницательными глазами и сказал: «Послушайте,

молодой человек, будемте говорить попросту. Если все то, что пишет мне об вас старинный мой приятель Какуев, совершенно справедливо, то мы придем друг другу по сердцу. В настоящее время ваш приезд в Петербург случился для меня очень кстати. Я стар и болен (я посмотрел на него вопросительно); службы моей при театре продолжать не могу. Я лечусь (и он указал мне на столик, уставленный стклянками с лекарствами) и не выхожу из комнаты. Ваше общество будет для меня очень приятно. Вы человек образованный, учились в университете, занимаетесь литературой, страстно любите, как мне пишут, театр и желаете иметь доброго руководителя в игре на сцене; я учился, правда, на медные деньги, но бог не обидел меня дарованием. Я много видел и слышал на своем веку, много вытерпел, до всего дошел сам и горжусь тем. Я всегда любил знакомство с умными, просвещенными людьми, и оно лучше книг заменило мне недостаток воспитания. Я всегда буду вам рад, особенно по вечерам. Вечер мой начинается в шесть часов и оканчивается в десять. Мы будем читать и разговаривать. Мне приятно будет вспомнить историю моего актерского образования, а вам будет интересно и небесполезно ее выслушать...» Эти слова привели меня в восхищение. Мне представилась такая приятная будущность, такое неожиданное исполнение моих мечтательных желаний и несбыточных надежд, что я мгновенно соскочил с декламаторских ходуль, бросился на шею к Шушерину и дал полную свободу моей живой и горячей природе. Перестав корчить степенного молодого человека и даже педанта, — явился я восемнадцатилетним, откровенным, простым юношей, который в один час выболтал все, что шевелилось у него на сердце и роилось в молодой голове. Впоследствии Шушерин часто с удовольствием вспоминал об этой быстрой перемене и признавался, что именно за эту перемену полюбил меня. Напившись кофею у Шушерина и даже позавтракав, я воротился домой, где несколько удивились моему долгому отсутствию. Я нашел у нас Григорья Иваныча Карташевского. Я обрадовался ему вдвойне, как истинному другу нашего семейства и как моему бескорыстному воспитателю. Карташевский

хорошо знал мою безумную страсть к театру и поспешил сообщить мне, что в этот вечер знаменитая m-lle George в первый раз дебютирует на петербургской сцене. Дебютантка являлась в самой блистательной своей роли — в Расиновой Федре. Разумеется, у меня загорелось сильное желание ее видеть. Карташевский меня уверил, что кресел достать теперь уже нельзя, но что можно найти место в партере, если отправиться туда часа в четыре. Меня не устрашала скука дожидаться более двух часов начала представления; но я боялся, что мы сядем поздно обедать, а без обеда матушка ни за что меня не отпустит, ибо у нас обедали двое Мартыновых: первый из них, П. П., служил тогда штабс-капитаном в Измайловском полку, а другой, А. П., служил в банке и был ревностным поклонником Лабзина. Досадуя на такое препятствие, я хлопотал из всех сил, чтобы дали поскорее обедать, и как мы не имели еще привычки обедать слишком поздно, то в половине четвертого сели за стол. Но, увы, обед тянулся нестерпимо долго. Наш деревенский повар и наши деревенские лакеи заставляли нас дожидаться каждого блюда добрых четверть часа, а блюд было много. Мое волнение и нетерпение становились заметными для всех. Карташевский вздумал меня успокоить и обратился ко мне с улыбкой, которая сейчас меня рассердила. «Послушайте, — сказал он, — если вы не попадете сегодня в театр, не увидите первого дебюта m-lle George, то я доставлю вам такое утешение, какого вы не ожидаете». — «Покорно вас благодарю, — отвечал я громко, — на этот раз я желал бы только одного, чтобы мне позволили встать из-за стола и отправиться в театр». — «Но вы не знаете, — продолжал он, — что утешение, которое я вам хочу предложить, также касается до театра». — «Это как-то странно, — сказал я голосом, в котором слышно было сильное огорчение и раздражение, — но если так, то говорите: теперь уже пятый час, и я теряю надежду увидеть первый дебют m-lle George. Я довольно огорчен, утешайте». — «Я познакомлю вас с замечательным талантом и очень умным человеком, с Шушериным». — «Еще раз покорно благодарю, — возразил я, — но вы опоздали; сегодня я два часа сидел у него, и мы с ним друзья». В коротких словах расска-

зал я Карташевскому, как это случилось. Между тем нетерпение мое возросло до крайней степени. Я не мог владеть собою, и в то же время мне было так совестно посторонних людей, которые смотрели на меня с удивлением, что я готов был заплакать. Мать моя сжалилась надо мною и, чтобы избавить меня от каких-нибудь глупостей, решилась отпустить в театр. «Встань, — сказала она, — я попрошу извинения у наших любезных гостей за твою неучтивость». Не нужно было повторять этого позволения. Большой каменный театр находился очень близко, и через десять минут я стоял уже в партере, который был так полон, что только двое зрителей решились втиснуться после меня. В середине партера кому-то сделалось дурно; я воспользовался движением толпы и, когда выводили больного, подвинулся значительно вперед. Наконец, началась «Федра», которую никто не слушал до появления дебютантки. Хотя я ничего подобного m-lle George не видывал, но внутреннее чувство сказало мне истину, и я не разделял общего восторга зрителей, которые так хлопали и кричали, что, казалось, дрожали стены театра. Я осмелился сказать своим соседям, что дебютантка слишком поет стихи и что игра ее холодна. Дорого стоила мне моя откровенность: около меня стояли и сидели по большей части французы, и я был осмеян и обруган без пощады. Впоследствии я прислушался к пению m-lle George и оно меня уже не поражало, но первое впечатление мое насчет холодности ее игры утвердилось еще более, и, несмотря на европейскую знаменитость этого таланта, я осмелюсь сказать и теперь, что истинного чувства, сердечного огня у ней не было: была блестящая наружность, искусная, великолепная, но совершенно неестественная декламация — и только.

Семейство мое пробыло в Петербурге полтора месяца. Меня определили переводчиком в Комиссию составления законов, где Карташевский уже служил помощником редактора, или начальника отделения. Я остался в Петербурге с меньшим братом, которому было тогда двенадцать лет. Мы наняли довольно хорошую квартиру в Троицком переулке, недалеко от Аничковского моста, и вот началась моя тихая, однообразная жизнь. До обеда я работал в Комиссии, а брат учился. Мы обедали обыкно-

венно дома (покуда не познакомились с Шишковыми), кроме воскресенья, которое проводили у Романовских. После же обеда, сначала через день, а потом ежедневно, кроме вечеров, проводимых в театре, в шесть часов я всегда, вместе с братом, уже звонил у дверей Шушерина. Несколько первых вечеров посвящены были единственно разговорам. Я рассказал все, что касалось до меня и до моего воспитания. Шушерин сообщил мне свое настоящее положение при театре сперва с некоторой осторожностью, а потом довольно откровенно. Впоследствии, полюбив меня и получив полную доверенность к моей скромности, он рассказал мне подробно свое прошедшее, не всегда безукоризненное, свое настоящее и свои надежды на будущее. О прошедшем я поговорю после; настоящее же его положение состояло в следующем. Уже одиннадцать лет, как он перешел из Москвы на петербургский театр, перешел с тою целью и надеждой, что прежняя его театральная служба, при частном театре у Медокса в Москве, будет зачтена впоследствии за службу при императорском театре, в чем он уже успел, с помощью каких-то покровителей, которых приобретать он был большой мастер. Теперь представление к пенсии было разрешено; следовало ему прослужить при петербургском театре только два года так называемой *благодарности*. Пенсия состояла тогда из двух тысяч рублей ассигнациями для артистов, занимающих первое emploi; но Шушерину не хотелось оставаться долее на петербургской сцене, потому что репертуар изменился и ему приходилось играть невыгодные для себя роли; для *любовников* он уже устарел, а в *героях* его совершенно затмил актер Алексей Семеныч Яковлев; к тому же он не любил Петербурга и только о том и думал, как бы ему перебраться в Москву. Чтобы достигнуть и того и другого, то есть пенсии и Москвы, он, предварительно условившись с одним из своих милостивцев (Си.....м), притворился больным, охал и стонал при тех посетителях, к которым не имел доверенности, соблюдал при них строгую диету и даже принимал лекарства, которые щедро прописывал ему благосклонный театральный доктор. Зато наедине, и даже при мне, при С.....ве или при Д. И. Языкове, он сбрасывал скучную маску,

был жив, весел, бодр, как молодой человек, и ел необыкновенно аппетитно и жирно. В продолжение первых двух недель устроились правильно наши вечера, и вот началась для меня настоящая театральная школа.

На одной квартире с Шушериным, в особых комнатах, жила Надежда Федоровна, вдова его приятеля, замечательного московского актера И. И. Калиграфа. Она была красавицей смолоду и в свое время также известною актрисою на роли *злодеек.* В одно время с Шушериным она перешла на петербургскую сцену и также по болезни выходила на пенсию, на шестьсот рублей ассигнациями в год, которую и получила прежде Шушерина, что было устроено им самим, с намерением облегчить получение своей пенсии, гораздо значительнейшей, ибо давать их актерам с московского театра Медокса, считая частную службу за казенную, — было тогда делом новым и могло встретить затруднения. Надежда Федоровна была постоянной нашей собеседницей, присутствовала и при чтениях; но когда Яков Емельянович рассказывал про свою забубенную молодость или ставил меня на какие-нибудь роли, она уходила в свою комнату, уводила с собою моего брата, разговаривала с ним или заставляла читать вслух.

Не могу вспомнить без восхищения об этом блаженном времени! С каким нетерпением, бывало, ждал я половины шестого, чтоб идти на Сенную площадь! Как весело и гостеприимно светился огонек в окошках Шушерина! Я примечал его издалека и ускорял нетерпеливые шаги! Поспешно отворялась дверь при первом звоне колокольчика, и ласково приветствовал нас Степан [1], говоря: «Пожалуйте, Яков Емельянович и Надежда Федоровна вас дожидаются чай кушать». В самом деле, нас встречали с таким радушием, с таким искренним удовольствием, что и теперь приятно об этом вспомнить. Редко мешали нам посторонние посетители [2].

---

[1] Степан, еще будучи мальчиком, был куплен Шушериным, кажется, на имя Я...ва и воспитан в неге и баловстве. В настоящее время он уже был вольноотпущенным и служил Шушерину по найму; и господин и слуга очень любили друг друга.

[2] Посторонними посетителями бывали: Д. И. Языков, В. Н. Берг, Н. И. Гнедич, Н. И. Ильин, С.....в и некоторые актеры.

Шушерин начал с того, что выслушал все сколько-нибудь значительные роли, которые я игрывал, но предварительно я прочитывал вслух всю пиесу: тогда он определял характер лица, которое мне следовало сыграть, со всеми его подробностями; определялись даже отношения его к другим действующим лицам и ко времени, когда происходило действие. Я выучивал роли наизусть с величайшею точностью, гораздо тверже, чем знал тогда, когда играл их на театре в Казани. Потом Шушерин читал за те действующие лица, с которыми у меня шла сцена, а я играл свою роль, в полном смысле этого слова. Нередко случалось, что я повторял по нескольку раз одну и ту же сцену. Таким образом, в продолжение двух с половиною лет прошел он со мною более двадцати значительных ролей [1], кроме мелких, и я теперь не могу надивиться его терпению и любви к искусству. С самого моего детства я никогда не играл молодых людей, *любовников*, как говорится на театральном языке. Судя по большому запасу огня, которым я был наделен от природы, по моему росту и наружности, Шушерин думал, что я должен непременно играть любовников и что я случайно попал на роли благородных отцов и стариков, и несколько раз пробовал меня, заставляя играть Сеида в «Магомете» и Цедерштрема в «Бедности и благородстве души», но успеха не было: любовный огонь у меня не выражался. Убедившись в этом, Шушерин хотел, чтобы я играл молодых людей не влюбленных, и особенно налегал на роль Полиника в «Эдипе в Афинах»; все напрасно... чувства выражались у меня как-то не молодо и не бешено. Напротив, в роли Эдипа он был мною очень доволен. Впрочем, мы занимались не одними театральными пиесами. Я читал вслух все замечательное, что только появлялось в литературе; разумеется, были прочтены все любимые мои стихотворцы. Вообще у Шушерина было много эстетического чувства.

---

[1] Разумеется, в том числе были роли, которых я никогда не игрывал, но, чтобы заставить Шушерина проходить их со мной, я его обманывал и говорил, что их играл или что должен буду играть на домашнем театре у Шишкова и у Лабзина.

Года через полтора, когда дело о пенсии сделалось несомненным и два года благодарности истекли, Шушерин стал понемногу снимать с себя маску мнимой болезни; стал иногда прогуливаться и ходил со мною изредка в театр, хотя делал это с большою осторожностью, переодеваясь в самое простое платье, так что его никто не узнавал в театре. Тогда начинала входить в славу Катерина Семеновна Семенова. Я видел ее в первый раз в роли Ксении в «Дмитрии Донском» и разделял общее восхищение зрителей; но Шушерин, к великому удивлению моему, сказал мне, что она начинает портиться и что он решительно недоволен ею в трагических ролях, кроме ролей Антигоны и Корделии, что она попала в руки таких учителей, которые собьют ее с толку, выучат ее *с голосу* завыванию по нотам. «Да, любезный друг, — говорил мне Шушерин, — Семенова такой талант, какого не бывало на русской сцене, да едва ли и будет. Ты не можешь судить о ней, не видавши ее в тех ролях, которые она игрывала, будучи еще в школе, когда ею никто не занимался и не учил ее. Ее надобно видеть в «Примирении двух братьев» или «Корсиканцах» Коцебу. Как скоро будут давать эти пиесы, я иду вместе с тобой в театр. Я заметил в ней даже перемену в Антигоне и Корделии, когда играл в последний раз «Эдипа» и «Леара»: она начинала надуваться и завывать. Я тогда же ей сделал замечание; но она отвечала мне, что ее так учат. И знаешь ли ты, кто ее главный учитель? Ты, кажется, слышал его чтение у А. С. Шишкова? Это Н. И. Гнедич; хотя я его очень люблю и уважаю, но боюсь, что этот одноглазый черт погубит талант Семеновой». В непродолжительном времени мы вместе с Шушериным видели ее в обеих выше мною названных пиесах Коцебу; игра Семеновой меня очаровала, и я почувствовал ее истинное достоинство; но Шушерин говорил, что она прежде играла простее и естественнее. «Стоя на коленях, — с жаром воскликнул Шушерин, — надо было смотреть ее в этих двух ролях!» Он находил, что следы проклятой декламации уже начинали и здесь показываться. Я тогда не умел и не мог этого заметить.

Разнесся слух, что Гнедич переводит Вольтерова «Танкреда» для того, чтобы Семенова в роли Аменаиды

показала во всем блеске свой талант и могла бы достойно соперничать с m-lle George, игрою которой Гнедич не был вполне доволен; он особенно чувствовал в ней недостаток огня, которым сам был наделен даже в излишестве. Вскоре Гнедич заехал к Шушерину и сказал ему, что переводит «Танкреда» и даже привез прочесть начало своего перевода, который по тогдашнему времени казался нам превосходным. Перевод был кончен, и пиеса поставлена с необыкновенною поспешностью, в три месяца. Все исполнилось так, как предполагал переводчик: Семенова торжествовала, и в публике образовалась партия, которая не только сравнивала ее с m-lle George, но в роли Аменаиды отдавала ей преимущество. Впоследствии перевод «Танкреда» был напечатан с приложением портрета Семеновой и стихами к ней переводчика. Мы с Шушериным видели Семенову в роли Аменаиды два раза; во второй раз Шушерин смотрел ее единственно для поверки сделанных им замечаний после первого представления, которые показались мне не совсем справедливыми; но Шушерин был прав и убедил меня совершенно. Превозносимая игра Семеновой в этой роли представляла чудную смесь, которую мог открыть только опытный и зоркий глаз такого артиста, каким был Шушерин. Игра эта слагалась из трех элементов: первый состоял из незабытых еще вполне приемов, манеры и формы выражения всего того, что игрывала Семенова до появления m-lle George, во втором — слышалось неловкое ей подражание в напеве и быстрых переходах от оглушительного крика в шепот и скороговорку. Шушерину при мне сказывали, что Семенова, очарованная игрою Жорж, и день и ночь упражнялась в подражании, или, лучше сказать, в передразнивании ее эффектной декламации; третьим элементом, слышным более других — было чтение самого Гнедича, певучее, трескучее, крикливое, но страстное и, конечно, всегда согласное со смыслом произносимых стихов, чего, однако, он не всегда мог добиться от своей ученицы. Вся эта амальгама, озаренная поразительною сценическою красотою молодой актрисы, проникнутая внутренним огнем и чувством, передаваемая в сладких и гремящих звуках неподражаемого, очаровательного голоса, — производила увлечение,

восторг и вырывала гром рукоплесканий. После второго представления «Танкреда» Шушерин сказал мне с искренним вздохом огорченного художника: «Ну, дело кончено: Семенова погибла невозвратно, то есть она дальше не пойдет [1]. Она не получила никакого образования и не так умна, чтобы могла сама выбиться на прямую дорогу. Да и зачем, когда все восхищаются, все в восторге? А что могло бы выйти из нее!..» И до своей смерти Шушерин не мог без огорчения говорить о великом таланте Семеновой, погибшем от влияния пагубного примера ложной методы, напыщенной декламации г-жи Жорж и разных учителей, которые всегда ставили Семенову на ее роли *с голоса.*

Другою знаменитостью на петербургской сцене был трагический актер Алексей Семенович Яковлев. Талант огромный, одаренный всеми духовными и телесными средствами, но, увы, шедший также по ложной дороге. Он вышел из купеческого звания, не имел никакого образования и, что всего хуже, имел сильную наклонность к веселым компаниям. Перед его вступлением на сцену некоторое время занимался им знаменитый ветеран театрального искусства Иван Афанасьевич Дмитревский, и потому-то первые дебюты Яковлева снискали ему благосклонность публики, которая неумеренными знаками одобрения поспешила испортить своего любимца. Где есть театр, там есть и записные театралы. Это народ самый вредный для молодых талантов: они кружат им головы восторженными похвалами и угощениями, всегда сопровождаемыми излишеством употребления *даров Вакха,* как говаривали наши стихотворцы. По несчастию, Яковлев и прежде имел к ним склонность. Чад похвал и вина охватил его молодую голову: он счел себя за великого актера, за мастера, а не за ученика в искусстве, стал реже и реже посещать Дмитревского и, наконец, совсем его оставил. Новые роли, не пройденные с Дмитревским, игрались нелепо. Благосклонность публики, однако, не уменьшалась. Стоило Яковлеву пустить

---

[1] Шушерин был совершенно прав; чудный талант К. С. Семеновой не развился, и игра ее с каждым годом становилась слабее до самого окончания ее театрального поприща.

в дело свой могучий орган — кстати или не кстати, — это все равно, и театр гремел и ревел от рукоплесканий и «браво». Стих Озерова в «Дмитрии Донском»:

Мечи булатные и стрелы каленые, —

в котором слово *стрелы* произносилось бог знает почему с протяжным оглушительным треском, или другой стих в роли «Тезея»:

Мой меч союзник мне, —

причем Яковлев вскрикивал, как исступленный, ударяя ладонью по рукоятке меча, — приводили зрителей в неистовый восторг, от которого даже останавливался ход пиесы; я бесился и перед этими стихами заранее выбегал в театральный коридор, чтоб пощадить свои уши от безумного крика, топанья и хлопанья. Яковлев до того забывался, что иногда являлся на сцене в нетрезвом виде. Но публика не замечала или не хотела заметить — и хлопала, по обыкновению.

В самую эту эпоху сидели мы один раз с Шушериным, и я что-то читал ему. Вдруг раздался необыкновенно громкий звонок, и через минуту ввалился в гостиную полупьяный Яковлев. Он остановился в дверях и громозвучным голосом сказал:

Здравствуй, брат
Визират!
Как изволишь поживать?

К удивлению моему, Шушерин проворно соскочил с дивана, на котором лежал, бросился навстречу гостю, снял колпак, начал кланяться и шутовским голосом отвечал:

Слава-сте богу,
Живем понемногу.

Откуда взялся этот разговор на виршах, я не знаю. Дело в том, что Шушерин, не любивший Яковлева, как счастливого соперника, захотел потешиться своим гостем и показать мне его во всей невыгодной его славе. Чтобы не беспокоить Надежду Федоровну, которая с моим братом сидела в соседней комнате, он вывел Яковлева в залу, затворил дверь в гостиную, приказал подать само-

вар, бутылку рому и огромную чашку, которую не грех было назвать маленькой вазой, и мы втроем сели посреди комнаты около круглого стола. Шушерин напоил гостя допьяна и целый вечер безжалостно дурачил. Он называл его великим Яковлевым, заставлял декламировать разные места из его ролей, подстрекая словами: «Ну, Алексей Семеныч, покажи себя, не ударь лицом в грязь; мне хочется, чтобы вот молодой мой приятель (указывая на меня) увидел тебя во всей славе твоего великого таланта». И пьяный Яковлев доходил до неистовства, до отвратительного безобразия. Наконец, Шушерин с притворным участием упросил его рассказать о недавно случившемся с ним несчастном происшествии, которое Яковлев, трезвый, скрывал от всех и которое состояло в следующем: подгулявший Яковлев вышел с какой-то поздней пирушки и, не имея своего экипажа, потребовал, чтоб один из кучеров отвез его домой; кучера не согласились, потому что у каждого был свой барин или свой седок; Яковлев стал их бранить, называть скотами, которые не понимают счастия везти великого Яковлева, и как эти слова их не убедили — принялся с ними драться; кучера рассердились и так отделали его своими кнутьями, что он несколько дней был болен. Сцена отвратительная, но жалкая, а Шушерин валялся со смеху, слушая добродушный и вполне откровенный рассказ Яковлева. Эта черта в Шушерине мне очень не понравилась, и я поспешил уйти домой; вслед за мною Шушерин выпроводил Яковлева без всяких церемоний. В этот же раз, покуда не совсем опьянел, Яковлев рассказал нам, что он знаком с Державиным и ходит к нему читать или декламировать его оды; что Державин, слушая их, приходит в восторг и делает разные жесты и что один раз, когда Яковлев, читая оду «Бог», произнес стих:

Кого мы называем бог! —

Державин схватил с головы колпак и так низко поклонился, что стукнулся лбом об стол, за которым сидел. Яковлев и Шушерин смеялись; но мне вовсе не казалось смешным такое горячее сочувствие знаменитого нашего лирика к своим высоким произведениям.

Мне случилось еще провести один вечер у Шушерина с Яковлевым; но в этот раз он был не один, а вместе с Иваном Афанасьичем Дмитревским, которого я до тех пор не видывал, да и после не видал; итак, это был для меня один из самых интереснейших вечеров во всей петербургской моей жизни. Яковлев с Дмитревским сошлись нечаянно; первый был еще совершенно трезв, и появление старика очень его смутило, потому что он не навещал бывшего своего наставника несколько месяцев. Дмитревский был уже очень слаб, даже дряхл; с трудом передвигал ноги и ходил с помощью человека. Он показался мне среднего роста; но как стан его был сгорблен годами, то, может быть, я и ошибся; лица его я рассмотреть не мог, потому что глаза его не сносили света, и свечки были поставлены сзади; голос тогда был у него уже слабый и дребезжащий; он немного пришепетывал и сюсюкал; голова тряслась беспрестанно: одним словом, это были развалины прежнего Дмитревского. Посещение его, вовсе неожиданное для Шушерина, к которому езжал он чрезвычайно редко, я считал для себя особенною милостью судьбы. Шушерин представил меня Дмитревскому как дилетанта театрального искусства. Старик был со мной очень ласков и учтив как человек, живший всегда в хорошем обществе. Я говорил с ним о казанском театре и об его ученице Феклуше; он очень ее помнил и подтвердил мне все ее рассказы. Во все время нашего разговора смущенный Яковлев молчал; но скоро Дмитревский сам к нему обратился, и я с удовольствием увидел, что Иван Афанасьич, дряхлый телом, был еще бодр и свеж умом. Он принялся так ловко щунять Яковлева за его поведение, за неуважение к искусству, за давнишнее забвение своего прежнего руководителя, проложившего ему путь к успехам на сцене, что Яковлев не знал, куда деваться: кланялся, обнимал старика и только извинялся тем, что множество ролей и частые спектакли отнимают у него все время. Дмитревский улыбался и в нескольких словах показал, что это все вздор, что он знает весь репертуар Яковлева не хуже его самого. В числе оправданий Яковлев упомянул о поездке своей в Москву; он распространился о своих блистательных успехах на московской сцене и в доказа-

тельство вынул из кармана и показал нам дорогую золотую табакерку, осыпанную крупными бриллиантами, с самою лестною надписью. Табакерку ценили в пять тысяч рублей. Досадно, что я не помню надписи; но, кажется, она состояла в том, что московское дворянство изъявляет свою благодарность знаменитому артисту Яковлеву. Эта табакерка ужасно возгордила его; даже теперь, взглянув на нее, он вдруг ободрился и начал говорить о себе с дерзкою самоуверенностью. Он сказал, между прочим, что никто еще в России не удостоился получить такого блистательного знака благодарности от целого сословия благородного московского дворянства, что суд знатоков в Москве гораздо строже, чем в Петербурге, потому что в Москве народ не занятой, вольный, живет в свое удовольствие и театром занимается серьезно, тогда как здесь все люди занятые службой, которым некогда углубляться в тонкости театрального искусства, все чиновники да гвардейцы; что его игра в роли Отелло [1] всего более понравилась московской публике и что она два раза требовала повторения этой пиесы. При сих словах вдруг обратился он с вопросом к Дмитревскому, сильно раздраженному его хвастовством: «Позвольте узнать, достопочтеннейший Иван Афанасьич, довольны ли вы моею игрою в роли Отелло, если вы только удостоили вашим присутствием представление этой пиесы?» Дмитревский часто употреблял в разговорах слова «душа моя»; но букву *ш* он произносил не чисто, так что ее заглушал звук буквы с; помолчав и посмотря иронически на вопрошающего, он отвечал: «Видел, дуса моя; но зачем тебе знать, что я думаю о твоей игре? Ведь тебя хвалят и всегда вызывают; благородное российское дворянство тебе подарило табакерку. Чего ж тебе еще? Ты хорос, прекрасен, бесподобен». Яковлев чувствовал, что это насмешка. «Нет, достопочтеннейший Иван Афанасьич, — продолжал Яковлев с жаром и даже с чувством, — мне этого мало. Ваша похвала для меня дороже похвалы всех царей и всех знатоков в мире. Я обращаюсь к вам, как артист к артисту, как славный

[1] Трагедия «Отелло» была переведена с французской переделки Дюсиса г-м Вельяминовым.

актер настоящего времени к знаменитому актеру прошедшего времени». Яковлев поднялся с кресел, стал в позицию перед Дмитревским, ударил себя рукою в грудь и голосом Отелло произнес: «Правды требую, правды!» Скрывая негодование, Дмитревский с убийственным хладнокровием отвечал: «Если ты непременно хочесь знать правду, дуса моя, то я скажу тебе, что роль Отеллы ты играесь как сапожник». Эффект был поразителен: Шушерин плавал в восторге, потому что терпеть не мог Яковлева и хотя не любил, но уважал Дмитревского; я весь превратился в напряженное внимание. Яковлев, так великолепно и смело вызвавший строгий приговор, пораженный почти собственным оружием, несколько мгновений стоял неподвижно, потом поклонился Дмитревскому в пояс и смиренно спросил: «Да чем же вы недовольны, Иван Афанасьич?» — «Да всем, — отвечал Дмитревский, давший вдруг волю своей горячности. — Что ты, например, сделал из превосходной сцены, когда призывают Отелло в сенат, по жалобе Брабанцио? Где этот благородный, почтительный воин, этот скромный победитель, так искренно, так простодусно говорящий о том, чем понравился он Десдемоне? Кого ты играесь? Буяна, сорванца, который, махая кулаками, того и гляди что хватит в зубы кого-нибудь из сенаторов...» — и с этими словами Дмитревский с живостью поднялся с кресел, стал посреди комнаты и проговорил наизусть почти до половины монолог Отелло с совершенною простотой, истиной и благородством. Все мы были поражены изумлением, смешанным с каким-то страхом. Перед нами стоял не дряхлый старик, а бодрый, хотя и не молодой Отелло; жеста не было ни одного; почтительный голос его был тверд, произношение чисто и голова не тряслась[1]. Шушерин опомнился первый, бросился к Дмитревскому, схватил его под обе руки, целовал в плечо и, восклицая: «Вот великий актер, вот неподражаемый артист!» — с большим трудом довел его до кресел. Дмитревский так ослабел, что попросил

[1] Шушерин рассказывал мне, что голова у Дмитревского давно начинала трястись, но что когда бывал он на сцене, это было неприметно, а равно и недостаток его произношения.

рюмку мадеры. Яковлев стоял как опущенный в воду. Все молчали, точно испуганные сверхъестественным явлением. Оправившись, Дмитревский сказал: «Разгорячил ты меня, старика, дуса моя, и я пролежу оттого недели две в постели». Голос его дребезжал, язык пришепетывал, и голова тряслась попрежнему. «Пора мне домой, — продолжал он. — Если хочесь, дуса моя Алеса, ведь я прежде всегда так называл тебя, то приезжай ко мне; я пройду с тобой всю роль. Прощай, Яков Емельяныч». Дмитревский едва мог подняться с кресел: Степан вместе со слугой Дмитревского повели его под руки; Шушерин, забыв свою мнимую болезнь и холодную погоду, схватил свечу и в одном фланелевом шлафроке побежал проводить знаменитого гостя и сам усадил его в карету. Когда он воротился, Яковлев стоял в том же положении, задумчивый, смущенный и безмолвный. Шушерин принялся хохотать. «Что, брат? Озадачил тебя старикашка!» — «Да, — отвечал Яковлев, — я услышал истину». С прискорбием должен я сказать, что Шушерин не поддержал в Яковлеве такого доброго расположения. Он принялся шутить, хвалить Яковлева и даже сказал, что всякому слову Дмитревского верить нельзя, а в доказательство его фальшивости рассказал происшествие, случившееся с ним самим. «Когда я приехал из Москвы в Петербург, — так говорил Шушерин, — по вызову здешней дирекции, для поступления в службу на императорский театр, мне были назначены три дебюта: «Сын любви», «Эмилия Галотти» и «Дидона», трагедия Княжнина, в которой я с успехом играл роль Ярба. Я обратился к патриарху русских актеров, к Ивану Афанасьичу, который знал меня давно в Москве, всегда очень хвалил и способствовал моему переходу в Петербург. Несмотря на это, я боялся, чтобы его отзывы о моих дебютах не повредили мне, потому что не надеялся на прежние похвалы его, сказанные мне в глаза. Я хотел его наперед задобрить и просил, чтобы он прослушал мои дебютные роли; и хотя он отговаривался, что это не нужно, что ученого учить только портить, но я просил неотступно, и он выслушал меня. По первым двум ролям моих дебютов я получил подозрение, что Иван Афанасьич хитрит: самые лучшие места в моих ролях, которые я

обработал и исполнял хорошо, он как будто не примечал, а, напротив, те места, которые были у меня слабы и которыми я сам был недоволен, он очень хвалил. Постой же, старый хрыч, — подумал я, — я тебя выведу на свежую воду. Первые два дебюта сошли очень хорошо. Когда я приехал к Ивану Афанасьичу с ролею Ярба, то прочел ее всю как следует, кроме одного места, которое у меня было лучше всех и в котором московская публика меня всегда отлично принимала: это 1-е явление в 4-м действии, где Ярб бросается на колени и обращается к Юпитеру:

О ты, которого все чтут моим отцом,
Великий Юпитер, держащий страшный гром!
Зри сыну твоему творимые досады!
Впервые для своей молю тебя отрады:
Когда ты мой отец, яви, что я твой сын.
Из мрака грозных туч, *и проч.*

Видя же, что в природе ничего не делается и Юпитер молчит, Ярб с яростью встает и говорит:

Но что слова мои напрасно я теряю
И своего отца без пользы умоляю!
Когда ты не разишь, отцом тебя не чту
И только тщетную в тебе я зрю мечту.

Я прочел эти стихи так слабо, так дрянно, что мне было стыдно смотреть на Ивана Афанасьича. Что же он? Обнял меня и говорит: «Прекрасно, бесподобно, точно так, как я прежде игрывал эту роль». Я спросил даже, не слабо ли я играю это место, не нужно ли его усилить; но он уверял, что надобно точно так играть. Во время представления пиесы Иван Афанасьич сидел на креслах, между двух первых кулис. Я, разумеется, играл это явление совсем не так, как читал Дмитревскому; публике оно очень понравилось, долго хлопали и кричали «браво». Когда я сошел со сцены и подошел к Дмитревскому, он обнял меня, превозносил похвалами, а на ухо шепнул мне: «Ты, сельма, бестия, плут, мосенник; ты знаесь за что». Долго он не мог простить мне этой шутки, и сколько я ни уверял его, что это случилось нечаянно, что это был сценический порыв, которого я в другой раз и повторить не сумею — старик грозил паль-

цем и начинал меня ругать». Этот рассказ очень поколебал Яковлева в доверенности к Дмитревскому. Потом он сильно подпил и, уходя, сказал: «Поеду к старику, только надуть себя не дам». Я забыл сказать, что в этот же вечер, еще до приезда Дмитревского, Яковлев сказал нам, что написал поэму в стихах. Шушерин лукаво улыбнулся и сказал, что очень бы желал ее послушать, и Яковлев вынул из кармана тетрадку и прочел несколько куплетов. Стихи были, или показались нам, очень хороши, и мы оба, изумленные такой неожиданностью, горячо их хвалили. Яковлев ударил себя кулаком в грудь (это был любимый его жест) и сказал, обращаясь к Шушерину: «Да, брат, это Этна, в которой много кипит огня. Завтра прочту свою поэму Гавриилу Романовичу Державину». Я после видел эту пиесу, напечатанную отдельно. Это была не поэма, а большая лирическая песнь духовно-нравственного содержания, написанная, по-тогдашнему весьма хорошими стихами, и, конечно, обличала новое дарование в этом замечательном и талантливом человеке. Поступок Шушерина меня огорчил. Из всех рассказов об Яковлеве должно было заключить, что в основании характера этого человека много лежало благородного и прекрасного. Оставшись наедине с Яковом Емельянычем, я упрекал его, но он отшучивался и отвечал мне, что «я еще молод и когда поживу с его на свете, то иначе буду смотреть на людей». Только Шушерин с этих пор сделался осторожнее и старался при мне ничего подобного не говорить.

Гнедич переводил тогда «Илиаду». Он позвал Шушерина к себе, чтобы выслушать осьмую песнь, только что им конченную. Шушерин был так любезен, что сейчас вспомнил обо мне и выпросил позволение привесть меня с собою: до тех пор я не был лично знаком с Гнедичем. Он переводил «Илиаду», начав с седьмой песни, потому что считал перевод первых шести песен Кострова вполне удовлетворительным; переводил он ямбами с рифмами и дошел до половины десятой песни. Всем известно, что впоследствии, по совету С. С. Уварова, подкрепленному советом А. Н. Оленина, Гнедич уничтожил свой ямбический перевод и начал переводить «Илиаду» с первой песни гекзаметрами. Я помню, что тогда, не

понимая дела, я очень сожалел об этой перемене. Мы пошли с Шушериным пешком, и он предупредил меня, что Гнедич будет читать с таким жаром и с такими жестами, что опасно сидеть близко к нему, особенно с кривого глаза, и заранее потешался уродливостию его декламации. Все это в Шушерине мне было досадно. Гнедич принял нас радушно и после нескольких слов о театре и о Семеновой, причем Шушерин не пропустил оказии сказать, вопреки своему убеждению, что она очень успевает под руководством Николая Ивановича, — принялся читать осьмую песнь «Илиады». Предсказания Шушерина сбылись. Гнедич, читая перед актером и перед неизвестным ему молодым человеком, которого он считал также чем-то вроде актера — дал себе полную волю. Тут я увидел, что не имел понятия о чтении Гнедича, хотя и слышал его один раз у А. С. Шишкова, где он читал седьмую песнь «Илиады» при довольно многочисленном собрании почтенных слушателей. Гнедич декламировал неистово, с движениями и жестами, в самом деле очень смешными. Я сидел прямо против него, а Шушерин — сбоку, и я видел, как он забавлялся, что мешало мне восхищаться славными стихами Гнедича. Судьба захотела в этот раз вполне оправдать Шушерина: Гнедич в пылу декламации так махнул рукой, что задел за подсвечник, который вместе со свечой пролетел мимо головы Шушерина; он бросился поднять подсвечник; но Гнедич схватил его за руку, удержал на месте и, яростно смотря ему в лицо, дочитал, как Диомид, посадив возницей Нестора на свою колесницу, полетел против Гектора... Я поднял свечку, натурально переломившуюся, и поставил на другой стол. Вскоре пришла и моя очередь. Гнедич вдруг обратился ко мне, перекинулся через столик, за которым сидел, и, произнося стих:

Сего же злого пса стрела не улучает [1], —

едва не выколол мне глаз своим указательным пальцем. Шушерин смеялся за спиною у чтеца и делал мне такие уморительные жесты, что я сам едва не расхохотался.

---

[1] Гекзаметром этот стих переведен Гнедичем так: «Только сего не дается свирепого пса мне уметить».

После окончания чтения он был так неделикатен, что спросил у Гнедича: «не ушиб ли он руку о подсвечник?» Но последний с досадой отвечал: «Нет». Наконец, мы простились с хозяином. Я благодарил за удовольствие, которое доставили мне его стихи, а Шушерин благодарил очень двусмысленно, говоря, что Николай Иванович его утешил и что он никогда не забудет этого вечера. Когда мы вышли на улицу, Шушерин так принялся хохотать, что мы несколько времени простояли на одном месте. Я хмурился и не смеялся, и это еще более смешило Шушерина. Я сказал ему, что, несмотря на уродливые выходки, в чтении Гнедича так много силы и выразительности, что я слушал его с большим удовольствием; но Шушерин возразил, что было бы еще выразительнее, если б Гнедич, желая придать более силы своему стиху, пустил в меня подсвечником, как Гектор, бросивший камень в Тевкра... Шушерин не вполне понимал Гомера, и слова *пес*, особенно *псица*, как называет Ириса богиню Палладу Афину, возмущали и смешили его.

Была прекрасная летняя ночь, тихая и светлая, как это бывает иногда в Петербурге. Из Садовой мы вышли на набережную Фонтанки, хотя это было дальше, и так прошли до Сенной. Брата моего уже не было у Надежды Федоровны, в окнах было темно; он ушел спать домой, а Степан проводил его; мы жили тогда на другой квартире, в доме Волкова, очень близко от Шушерина, в том переулке, который идет с Сенной на Екатеринку.

Проходя со мною роль Неизвестного в комедии Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», имевшей большой успех на многих европейских театрах, Шушерин не был мною доволен и требовал от меня больше простоты и естественности. Чтоб показать мне, как должен я играть эту роль, он пошел со мною в немецкий театр, на котором актер Фьяло или Фьял (кажется, так), по мнению Шушерина и всех знатоков, играл эту роль превосходно. Оба мы не знали немецкого языка; но игра Фьяло была так выразительна, а пьеса нам так известна по русскому переводу, что мы оба понимали ее совершенно и на немецком языке. В самом деле, игра Фьяло могла назваться совершенством естественности и простоты чувства. С непривычки эта простота даже меня удивила,

особенно потому, что окружающие его действующие лица хотя также играли довольно просто, но все не попадали в один тон с неподражаемым Фьяло. Я переделал свою игру в роли Неизвестного, и Шушерин был так доволен, что даже обнял и поцеловал меня [1].

Я продолжал между тем, от времени до времени, смотреть Жорж. Отдавая всегда отчет в моих впечатлениях Шушерину, я возбудил его любопытство, и он сам захотел взглянуть на европейскую знаменитость. Мы выбрали для этого «Федру», всю роль которой я перевел для Шушерина (некоторые места даже стихами), хотя он и читал «Федру» в старинном переводе. Я заранее обратил его внимание на эффектные места и даже натвердил некоторые стихи по-французски, стихи, которыми m-lle George постоянно приводила в восхищение публику. Шушерин, может быть, оттого, что был предупрежден мною, оценил сразу по достоинству славную актрису; он говорил: «Удивляюсь, благоговею, преклоняюсь перед ее искусством [2], но не слышу души». Тем не менее он захотел еще ее видеть, и в продолжение нескольких месяцев мы видели ее еще раз в «Федре», потом в «Андромахе», в «Танкреде» и в «Семирамиде». В роли Аменаиды она действительно уступала Семеновой, но зато торжествовала в Семирамиде. Эту роль она играла лучше всех ролей, и Шушерин хвалил ее даже пристрастно, потому что увлекался великолепной наружностью, красотою, голосом, царственным величием актрисы. Когда Семирамида вошла на трон в венце, со скипетром, в царственной мантии и, обратясь к присутствующим, начала свою знаменитую речь, Шушерин едва усидел на креслах и сказал мне: «Я стану на колени». Мы разобрали игру m-lle George, как говорится, по ниточке, и вот, в коротких словах, в чем состоял весь механизм и вся ее характеристика. M-lle George играла свои роли холодно, без всякого внутреннего чувства. Пластика была великолепна, в полном смысле этого слова. George была совершенная красавица: пра-

[1] Попробовать эту переделку на сцене мне не удалось.

[2] Шушерин употреблял слово искусство не в том значении, которое придано ему теперь, а в смысле уменья, мастерства.

вильные, довольно крупные черты ее лица — необходимое условие, чтоб казаться совершенством красоты на сцене, — были подвижны и выразительны, особенно глаза; высокий рост, удивительные руки, сила и благородство в движениях и жестах — все было превосходно. Я думаю, что одна ее мимика, без слов, произвела бы действие еще сильнее. Характеры ролей, истинность их всегда приносились в жертву эффекту; следовательно — даже теперь выговорить страшно — ее игра была бессмысленна относительно к характеру представляемого лица. Всякую роль m-lle George предварительно рассекала на множество кусков: в каждом из них находились иногда два стиха, иногда полтора, иногда один, иногда несколько слов, а иногда и одно слово, которым она поражала слушателей; для усиления эффекта избранных стихов, выражений и слов она обыкновенно употребляла три способа. 1) Она тянула, пела, хотя всегда звучным, но сравнительно слабым голосом, стихи, предшествующие тому выражению, которому надобно было дать силу; вся наружность ее как будто опускалась, глаза теряли свою выразительность, а иногда совсем закрывались, и вдруг бурный поток громозвучного органа вырывался из ее груди, все черты лица оживлялись мгновенно, раскрывались ее чудные глаза, и неотразимо-ослепительный блеск ее взгляда, сопровождаемый чудною красотою жестов и всей ее фигуры, довершал поражение зрителя. 2) Громозвучная, певучая и всегда гармоническая декламация вдруг обрывалась, и выразительным шепотом, слышным во всех углах театра, произносились те слова, которым назначено было, так сказать, впиваться в душу зрителей. Не нужно прибавлять, что мимика и вся наружность соответствовали такому быстрому переходу. 3) Способ состоял в том, что из скороговорки вдруг вылетали несколько слов, и нередко одно слово, произносимое без напева, протяжно, как будто по складам, с сильным ударением на каждый слог, так что избранное выражение или слово поразительно впечатлевалось в слухе и, пожалуй, в душе иного зрителя. Этот последний способ, употребляемый иногда обратно, так что скороговорка врывалась в протяжно певучую речь, в Петербурге менее производил действия,

как я слышал от многих, чем на других европейских театрах, так что впоследствии m-lle George употребляла его гораздо реже, и многие говорили, что игра ее в России усовершенствовалась. Из такой постановки ролей необходимо следует, что они были все обделаны предварительно, *перед зеркалом,* в продолжение долгого времени. Все мельчайшие интонации голоса, малейшие движения лица, рук и всего тела, всякая складка на ее платье, долженствующая образоваться при таком-то движении, — все было изучено и никогда не изменялось. Мне случилось быть один раз в театре вместе с двумя ее поклонниками и сидеть между ними; я командовал всеми движениями m-lle George, зная их наизусть, так что выходило очень смешно. Я шептал: «Ступи шаг вперед, отодвинь назад левую ногу, опусти глаза, раскрой вдруг глаза, тяни нараспев, шепчи, говори по складам, скороговоркой, откинь шлейф платья назад...» и все в точности исполнялось в ту же минуту. Один из моих соседей расхохотался, а другой рассердился. M-lle George так механически играла свои роли, что, слушая иногда, повидимому с благоговеньем или сильным наружным волнением, она бранилась шепотом с своими товарищами за *поданные* не во-время *реплики,* или с своей прислужницей, стоявшей недалеко от нее за кулисами, забывшею подать ей какую-нибудь нужную вещь при выходе на сцену. Это слышал не я один, а весьма многие; находились такие люди, которые ставили ей в достоинство такое уменье — в одно и то же время разделяться на два лица. Игра m-lle George была положена, так сказать, на ноты, твердо выучена наизусть и с неизменною точностью повторялась всегда. George не обращала ни малейшего внимания на мысль автора, на общий лад (ensemble) пиесы и на тон реплики лица, ведущего с нею сцену; одним словом: она была одна на сцене, другие лица для нее не существовали. После этого можно ли назвать ее игру художественным воспроизведением личности представляемого лица? Это было проявление каких-то движений или волнений души, внешним образом выражающихся, нанизанных на нитку как ни попало. Нет, никогда не признаю я искусства в таком уменье передразнивать внешнюю природу че-

ловека, хотя бы оно было возведено до высокой степени! Конечно, она подражала не одной внешней природе, она подражала и выражению страстей человеческих, но это подражание вообще было безжизненно, бесхарактерно, безразлично. Зритель видел в ее чертах и слышал в ее голосе *какое-то* волнение, *какую-то* силу и, по смыслу произносимых ею слов, по характеру представляемого лица, должен был принимать это волнение или за гнев, или за отчаяние и т. п. Но, конечно, ни один зритель не мог найти в игре m-lle George выражения печали, любви и преимущественно нежности, хотя бы роль требовала именно таких чувств. Говорили: George производит сильное действие, оставляет глубокое впечатление. Положим, так, да какого рода это впечатление? Если не художественное, то не дай бог его испытывать. Это впечатление на нервы, а не на душу. Такое впечатление может произвесть всякое физическое явление: внезапный свет, темнота, стук. Если мы пойдем дальше и будем искать такого рода эффектов, то разве предсмертные томления умирающего человека или казнь преступника не произведут еще сильнейшего впечатления? Но представление таких предметов на сцене было бы оскорблением искусству и художественному чувству образованного человека, и чем вернее подражание, тем хуже. Впрочем, George не умела хорошо умирать на сцене (и слава богу), хотя имела на то претензию [1].

---

[1] В. А. Каратыгин, пользовавшийся также громкой славой, был некоторым образом также George в своей игре, хотя я ставлю его в одном отношении выше: роли у него были также *сделаны*, то есть выучены перед зеркалом с разными заранее придуманными, эффектными выходками; пластика — также иногда великолепна, хотя хриплый, подорванный голос и нерезкие, малоподвижные черты лица мешали ему достигнуть того совершенства, которым отличалась в мимике George; но вот в чем он превосходил ее: все его роли были обдуманы и проникнуты мыслью; характеры верны и выдержаны, и он грешил только в излишней эффектности внешнего исполнения, не проникнутой внутренним огнем. Вообще у него мало выражалось чувства, вероятно подавляемого несчастною методою, но была сила, отчасти заменявшая чувство. Лучшими его ролями я считаю: Людовика XI и особенно Лейчестера в «Марии Стюарт», в которой актер играет актера на сцене. Я сказал, что пластика была у него *иногда* великолепна, потому что были роли, в которых эта пластика являлась не совсем изящною.

Я, наконец, не мог уже видеть без неудовольствия m-lle George, между тем как Семенова и Яковлев, у которых хотя не было ролей цельных, но всегда были места, в которых природный талант их, то есть *одушевление*, вырываясь с неподдельною силою, — доставлял мне иногда истинное наслаждение.

Припоминая все рассказы Шушерина об его жизни и театральном поприще, слышанные мною в разное время, я соединю их в одно целое и расскажу, по большей части собственными его выражениями и словами, которые врезались в моей памяти и даже некогда были мною записаны. К сожалению, все мои тогдашние записки давно мною утрачены, потому что я не придавал им никакого значения. Разумеется, я многое забыл, и потеря эта теперь для меня невознаградима.

«Я родился в Москве, — так говорил Шушерин, — бедняком, от родителей низкого происхождения и мало их помню, особенно мать, которой я лишился еще в ребячестве. Отец мой был приказного звания и меня назначал к тому же, для чего и был я выучен грамоте хотя на медные деньги, но, по-тогдашнему, лучше других. Отец мой умер в самом начале московской чумы, которую все называли черной смертью, но я жил уже не вместе с ним, а с двумя разгульными товарищами, такими же повесами, как я. Мы все трое служили писцами в присутственном месте [1]. Я писал лучше и работал прилежнее их и потому денег получал больше, — так что их доставало у меня на опрятное платье, до которого я всегда был охотник, и на всякую гульбу; но товарищи мои одевались отвратительно. Все свободное время мы пьянствовали и буянили. Я пил не меньше их, а буянил втрое больше; но пьян бывал реже, потому что был необыкновенно крепок и вообще имел чертовское здоровье. Товарищи мои были такая ракалия, что иногда обкрадывали меня и пропивали мое праздничное платье; но

---

[1] В каком — не помню. Вообще должно сказать, что память моя, сохранив верно нить происшествий и многие выражения Шушерина, изменила мне в некоторых именах и годах; впрочем, годов я и тогда хорошенько не знал.

я продолжал жить вместе с ними и только искуснее прятал и крепче запирал мои вещи. Смерть отца не произвела на меня никакого впечатления, да и появление страшной чумы меня не испугало. Я даже мало наблюдал осторожности, и сам хоронил отца, прикасаясь к нему голыми руками, а не железными крючьями на длинных палках, какие тогда употреблялись всеми для прикосновения к человеку, умершему чумой. Я упросил полицейских, чтоб не жгли отцова платья и вещей, и, подержав их над дымом зажженного навоза, взял их к себе и употреблял без всякого вреда. Стыдно вспомнить, какая я был скотина и какую жизнь вел! В церковь ходил редко, говел через несколько лет. Только и было на уме, как бы где погулять на шерамыгу. Любимое мое удовольствие составляли кулачные бои, на которых я уже имел репутацию сильного и ловкого бойца, так что синяки носил редко, а других наделял ими часто; болен не бывал никогда. Так шла эта безобразная жизнь, пока не привлек моего внимания театр, заведенный и содержимый в Москве Медоксом. Эта забава мне очень понравилась и отчасти изменила мое поведение: я стал употреблять деньги на театр, а не на пьянство, отчего и гулять стал меньше. Новая моя охота росла, и, наконец, мне захотелось самому поиграть на *тиатере*, как его тогда называли. Я познакомился с мелкими актеришками, попотчевал, подружился с ними и открылся в моем желании. Уладить дело было нетрудно, потому что один из *официантов*, выносящих на сцену стулья и говорящих иногда по нескольку слов — умер, и мне доставили это место. Я писал и читал бойко и скоро сделался нужным лицом при театре; я переписывал роли, за что получал по три копейки медью с листа, и когда суфлер бывал пьян или нездоров, то я занимал его место. Роли также я стал получать позначительнее, то есть четвертки в две и в три; но жалованье было скудно, так что нечем было бы жить, если бы я не вырабатывал денег на стороне переписываньем бумаг. Я сказал, что охота к театру изменила несколько мое поведение; вступление же на театр в áктеры (так произносили тогда это слово) сделало меня еще поскромнее, потому что я

постановил себе за правило, в тот день, когда играл, — ничего хмельного не пить. Надо признаться, что долго играл я сквернейшим образом. Публика ругала меня беспощадно, как и многих других, и я слышал своими ушами, стоя на сцене, как потчевали меня в первых рядах кресел. Я слушал и смеялся. Наконец, один господин задел меня за живое. Я слышал, как он говорил: «Зачем эта дубина, Шушерин, вступил на театр, не имея к тому ни малейших способностей. То ли бы дело, тесак да лямку через плечо, а парень здоровый». Вдруг мне сделалось чрезвычайно обидно. «Постой же, — подумал я,— я докажу тебе, что у меня есть способности, и заставлю тебя мне похлопать». Господина этого я знал в лицо: он был известный охотник до театра. Я выпросил себе роль несколько позначительнее, выучил твердо и попросил советов Плавильщикова, хотя недавно вступившего на театр, но зато человека ученого. Я сыграл роль изряднехонько и получил, в первый раз в моей жизни, маленький аплодисмент. Это меня поощрило. Вскоре представился случай, по внезапной болезни одного актера, выучить в один день и играть другую роль, еще позначительнее. Разумеется, я напросился на это у режиссера сам. Роль я сыграл так удачно, что ее оставили за мной и по выздоровлении игравшего ее актера, который долго на меня косился. Мне прибавили двадцать пять рублей ассигнациями жалованья. Но дела шли все попрежнему. Вероятно, такая посредственность наконец бы надоела мне; я воротился бы к прежнему моему образу жизни, и, конечно, не бывать бы мне тем, что я теперь, если б я не влюбился. Влюбился я не на шутку, а так, как нынче не умеют влюбляться: от макушки до пяток. Я влюбился в молодую, прекрасную нашу актрису, занимавшую амплуа первых любовниц в драмах и комедиях, М. С. С. Разумеется, искателей было много. Достигнуть до предмета моей любви было одно средство: сделаться хорошим актером, чтоб играть с ней роли любовников. Публика принимала ее с восхищением, и между ею и мною лежала целая морская бездна. Я, не задумавшись, бросился в нее и — выплыл на другой берег. Прошедшее и даже настоящее тогдашнее мое поведение опротивели мне. Я не переменился, а переродился. Я сыскал себе

расположение в Плавильщикове, Померанцеве и Лапине, бывшем прежде на петербургском театре. Я уверил их (и не обманул), что оставил прежнюю жизнь, что посвящаю себя театру до гробовой доски и что хочу учиться. Они увидели, что это было мое искреннее желание, приняли меня в свое знакомство, давали мне книги и не оставляли меня советами. Кроме них, я ни с кем не знался. С утра до вечера я читал или писал, чтоб вырабатывать деньги; вечера проводил в театре, когда был театр, а остальное — большею частью у Плавильщикова или у Лапина. Я пил воду, ел щи да кашу, но одевался щегольски; денег доставало у меня даже на книги, и в моей небольшой библиотеке ты сам можешь увидеть по надписям, в какие года я покупал их. В продолжение трех лет я работал, как лошадь, и, как у меня было много огня, много охоты и не бестолковая голова, то через три года я считался уже хорошим актером и играл вторых любовников, а иногда и первых, но в трагедиях еще не играл. Публика начала меня принимать очень хорошо, и господин, назвавший меня дубиной, дай бог ему здоровья, хлопал мне чаще и больше других. Ничего не значащая роль арапа Ксури в комедии Коцебу «Попугай» много помогла мне перейти на роли первых любовников. Бог знает почему так понравилась публике моя игра! Я был осыпан аплодисментами и в первый раз в моей жизни — вызван. Право, я думаю, что прапорщик не так бы обрадовался генеральскому чину, как я этому вызову. Во второе представление «Попугая» я был принят еще лучше. Русский переводчик посвятил мне перевод «Попугая». Один богатый и просвещенный вельможа, князь Юсупов, всем известный любитель и знаток театра, мнения которого были законом для всех образованных людей, прислал мне от неизвестного сто рублей, а что всего важнее, он, сидя всегда в первом ряду кресел, удостоил меня не хлопанья (он этого никогда не делал), а троекратного прикосновения пальцев правой руки к ладони левой. Этого знака одобрения он только изредка удостоивал первых наших актеров. Когда я увидел этот знак, то с радости чуть не сбросил с руки чучелу попугая и едва не поклонился. С этого времени все переменилось: жалованье сейчас мне дали тройное,

а потом четверное, назначили роли первых любовников, даже в трагедиях, и спустя два года я сделался любимцем публики, первым актером, знаменитым Шушериным». — «А что же любовь, Яков Емельянович?» — спросил я. «Любовь, брат?.. Выдохлась, или, вернее сказать, перешла в любовь к театру. Притворные любовники в драмах и комедиях убили настоящего! Впрочем, я... Ну, да что поднимать старину — кто молод не бывал!..»

«С появления моего в роли Ксури я постоянно поверял достоинство моей игры движением рук того вельможи, о котором я сейчас тебе сказал. Как бы публика ни хлопала мне, если его руки оставались спокойны, я знал, что играю нехорошо; я начинал вдумываться в роль, разбирать ее, советоваться, работать и, когда добивался знака одобрения от старика, тогда был доволен собою. Я пользовался советами Лапина и Плавильщикова. Померанцев талантом был выше всех, но играл по внушению сердца и в советчики не годился. У Лапина не было большого дарования, но он был умный, опытный, старый актер. Он долго жил в Петербурге и много игрывал на театре с Дмитревским и с обоими Волковыми, а потому от него можно было очень позаимствоваться. Плавильщиков же был удивительный чудак, человек умный, ученый, писатель, кончил курс в Московском университете и начнет, бывало, говорить о театральном искусстве, так рот разинешь. Читал мастерски, я лучше его чтеца не знаю, по всему следовало бы ему быть знаменитым артистом, но он не был им; он, конечно, занимал первые роли и пользовался славой, но все не такой, какой бы мог достигнуть. Причина состояла вот в чем: у него было довольно теплоты и силы, но пылу, огня не было, а он именно их хотел добиться, отчего впадал в крик, в утрировку и почти всегда сбивался с характера играемой роли. В таких пиесах, где нельзя горячиться, он был превосходен, как, например, в «Титовом милосердии», в «Купце Боте», в роли пастора в «Сыне любви» и в «Отце семейства». Мне рассказывал много лет спустя один верный человек, что Плавильщиков, доходивший в роли «Эдипа в Афинах» до такого неистовства, что ползал на четвереньках по сцене, отыскивая Антигону, — один раз играл эту роль, будучи

очень слаб после горячки, и привел в восхищение всех московских знатоков. Ну, так вот какой человек был Плавильщиков! Перенимать у него методу игры, или, яснее сказать, исполнение ролей на сцене — не годилось, а советы его были мне всегда полезны. Вообще должно сказать, что Плавильщиков имел свой, и довольно большой, круг почитателей. Был у меня и еще добрый советчик и друг мой, которого ты знаешь, купец Какуев; он и тогда, в молодости, был страстным охотником до театра и отличался самым скромным поведением. — Лучшими моими ролями были в трагедиях Сумарокова: Хорев, Трувор и Ростислав;[1] в трагедиях Княжнина: Владисан, Рослав и Ярб; потом роль Безбожного в трагедии «Безбожный»; графа Кларандона[2] в «Евгении» Бомарше; графа Аппиано в «Эмилии Галотти» Лессинга; Сеида в «Магомете» и Фрица в «Сыне любви». Эта последняя роль, поистине ничего не значащая, до того нравилась московской публике, что я впоследствии пробовал ее играть и здесь, но московского успеха не было.

Слава моя и также Плавильщикова дошла до Петербурга. Иван Афанасьич Дмитревский приехал посмотреть нас; он и прежде бывал и игрывал в Москве, и мы его видали. В этот приезд он также играл несколько раз, и я всегда смотрел на него с восхищением и старался перенимать его игру. Он очень хвалил нас обоих, но от него ведь правды не вдруг узнаешь. Некоторые роли мы с Плавильщиковым играли поочередно, как, например, Безбожного и Ярба. Плавильщикову Дмитревский говорил, что он лучше меня, а мне, что я лучше Плавильщикова. Дело состояло в том, что Дмитревский предложил нам, от имени директора, перейти на петербургский театр, на котором актеры считались в императорской службе и по прошествии двадцати лет получали пенсион, — только жалованье предлагал небольшое. Мы с Плавильщиковым соглашались, но

---

[1] В трагедиях «Хорев», «Синав и Трувор» и «Семира».

[2] В 1788 году Дмитревский играл эту роль в Москве, и в объявлении было сказано: *«Лорд Граф Кларандон, любовник Евгениин и мнимый муж ее,* г-н Дмитревский, придворного Санкт-петербургского Российского Театра первый актер».

жалованья требовали вдвое больше и условились не уступать ни копейки. Дмитревский торговался с нами, как жид: он позвал нас к себе, угостил, обещал золотые горы и уговаривал подписать условие, но мы не согласились и ушли. Вдруг, дорогой, Плавильщиков отстает от меня и говорит, что ему надобно воротиться на ту же улицу, где жил Дмитревский, и к кому-то зайти — и воротился в самом деле. Мне сейчас пришло в голову, что он воротился к Дмитревскому и что он хочет уехать в Петербург один, без меня; он понимал, что мое соперничество было ему невыгодно. Я не ошибся: на другой день узнаю, что Дмитревский прикинул Плавильщикову двести рублей ассигнациями и что он подписал условие. До самого отъезда в Петербург Плавильщиков прятался от меня, потому что я не только бы обругал его, но и прибил. Он пробыл в Петербурге всего один год; [1] дебюты его были неудачны, как ему показалось, публика принимала его посредственно, товарищи-актеры косились, и начальство не оказывало ему внимания. Он соскучился по Москве, вышел в отставку и воротился к нам на театр. Из его рассказов я вывел, однако, заключение, что сначала петербургская публика его приняла довольно благосклонно, но что впоследствии он сам повредил себе, вдаваясь постепенно в тот неистовый крик и утрировку, о которых я тебе уже говорил; этому способствовала много петербургская трагическая актриса Татьяна Михайловна Троепольская, которая страдала точно тою же болезнию, как и Плавильщиков, то есть утрировкой и крикливостью. Я сам после с ней много игрывал и расскажу, какие я употреблял средства, чтоб удерживать ее в границах благопристойности. Странное дело: и Троепольская и Плавильщиков извиняли себя тем, что не могут совладеть с своею горячностью, а ведь это неправда. Настоящей горячности, то есть огня, с которым точно трудно ладить, у них не было. Я даже думаю, что именно недостаток огня, который невольно чувствуется самим актером на сцене, заставлял их при-

[1] Вероятно, это было в 1793 году, потому что в комедии «Школа злословия», в первый раз игранной в этом году, роль дяди Клешнина играл Плавильщиков, что и напечатано в самой комедии.

бегать к крику и к сильным жестам. Сколько раз случалось мне играть с Плавильщиковым, условившись заранее, чтобы он не вскрикивал, не возвышал голоса без надобности. Я даже прибегал к хитрости: уверял его, что он давит меня своим органом и что я от этого не могу хорошо играть и мешаю ему самому. Он соглашался. Перед самым выходом на сцену обещал взять тон слабее, ниже и вести всю роль ровнее, и сначала исполнял свое обещание, так что иногда целый акт проходил очень хорошо; но как, бывало, только скажешь какую-нибудь речь или слово хотя без крику, но выразительно, сильно, особенно если зрители похлопают — все пропало! Возьмет целой октавой выше, хватит себя кулаком в грудь, заорет, закусит удила и валяет так до конца пиесы. Точно, тут была какая-то горячность, но совсем не тот огонь, который приличен представляемому лицу и который не нуждается в крике.

Много прошло времени, в продолжение которого ничего особенного не случилось. Слава моя не падала, а, смею сказать, увеличивалась. Мне сделали вторичное предложение из Петербурга, законным порядком, на бумаге; а Дмитревский[1] писал ко мне частным образом, тоже от имени директора, что если я прослужу лет десять на петербургском театре, то мне зачтут годы частной службы у Медокса и обратят мое жалованье в пенсион. Жалованья предложили мне две тысячи рублей ассигнациями и полный бенефис в зимний карнавал. В таком же роде предложение, хотя с меньшими выгодами, сделано было актеру Сахарову и, по моему ходатайству, вдове покойного моего приятеля, Надежде Федоровне Калиграф: ей предложили шестьсот рублей жалованья. Мы все трое подумали, посоветовались и решились переехать в Петербург.

Дебюты наши были довольно удачны, особенно мои. Сахаров понравился в роли Христиерна, в трагедии Княжнина «Рослав»[2], Надежда Федоровна — в «Мисс

---

[1] Он уже в это время оставил театр.

[2] Сахаров славился в ролях злодеев. В самом деле, в тоне его голоса, в выражении его глаз и всего лица было что-то злобное, хотя, по словам Шушерина, он был предобрый малый.

Сарре Сампсон» и в «Титовом милосердии», а я — в «Эмилии Галотти» и в «Ярбе». Хотя я не вдруг приобрел благосклонность петербургской публики, у которой всегда было какое-то предубеждение и даже презрение к московским актерам с Медоксова театра, но я уверен, что непременно бы добился полного благоволения в Петербурге, если б года через два не появился новый дебютант на петербургской сцене, А. С. Яковлев, которого ты довольно знаешь. Он и теперь ничего не смыслит в театральном искусстве, а тогда был совершенный мужик, сиделец из-за прилавка. Нечего и говорить, что бог одарил его всем. И. А. Дмитревский был его учителем и покровителем. Дмитревский не то, что мы: он знаком со всею знатью и с двором; в театральных делах ему верили, как оракулу. Он поехал по всему городу, заранее расхвалил нового дебютанта, и Яковлев был так принят публикой, что, я думаю, и самого Дмитревского во время его славы так не принимали. Грешный человек, я подозреваю, что Иван Афанасьич хлопотал об Яковлеве не из одной любви к его таланту, а из невинного желания втоптать меня в грязь, потому что он не мог простить мне, как я осмелился вывести его на свежую воду при моем дебюте в «Ярбе»; он не любил людей, которые видят его насквозь и не скрывают этого. Впрочем, я совершенно убежден, что он сам не предвидел таких блистательных успехов своего ученика и что он был не совсем ими доволен. Я не хочу перед тобой запираться и уверять, что успех Яковлева не был мне досаден. Скажу откровенно, что он чуть не убил меня совсем. Публика, начинавшая меня и ценить и любить, вдруг ко мне охладела, так что если б не надежда на пенсию, на кусок хлеба под старость, то я не остался бы и одной недели в Петербурге. Стыдно бывало играть! В той самой роли, в которой за две недели встречали и провожали меня аплодисментами — никто разу не хлопнет, да еще не слушают, а шумят, когда говоришь. Горько было мне, любезный друг, очень горько. Положим, Яковлев талант, да за что же оскорблять меня, который уже несколько лет доставлял публике удовольствие?.. И добро бы это был истинный артист, а то ведь одна только наружность. — Все думали, что я не выдержу такого

афронта и возвращусь в Москву, которая некогда носила меня на руках; но бог подкрепил меня. Много ночей провел я без сна, думал, соображал и решился — не уступать. Я сделал план, как вести себя, и крепко его держался. Меня ободряла мысль, что не будет же Дмитревский все роли учить Яковлева, как скворца с органчика, и что он даже выученное скоро забудет и пойдет так врать, что публика образумится. Этот расчет только отчасти не обманул меня. Яковлев скоро зазнался, загулял и стал реже ходить к Дмитревскому: старик осердился и принялся побранивать во всех знакомых ему домах игру бывшего своего ученика. Лучшая половина публики очнулась, поняла свою ошибку; но остальная, особенно раек, продолжала без ума хлопать и превозносить нового актера. Между тем некоторые из моих молодых ролей совсем перешли к Яковлеву, и я сам от них отказался; но зато тем крепче держался я за те роли, в которых мое искусство могло соперничать с его дарованьем и выгодной наружностью. Я постоянно изучал эти роли и их довел до возможного для меня совершенства. Образованная часть публики, опомнившись от угара, начала принимать меня если не попрежнему, то все довольно хорошо. Я начал отдыхать. Вдруг Яковлев вздумал сыграть «Сына любви», роль, которую всегда играл я с успехом: забасил, задекламировал и скорчил героя вместо простого солдата. Публика приняла его очень плохо. Я упросил дирекцию, через одного приятеля, чтобы через два дня дали мне сыграть «Сына любви» и — был так принят, как меня никогда в этой роли не принимали: публика почувствовала разницу между актером, понимающим свое дело, и красивым, хотя даровитым невеждой. Почти то же случилось, когда Яковлев вздумал сыграть Ярба, который считался лучшею моею ролью. Дмитревский, играя Ярба, никогда не чернил себе лица; это был каприз, и при его великом искусстве и таланте публика не обращала внимания на цвет его лица. Яковлев вздумал сделать то же и явился белым посреди своей черной свиты; публике это очень не понравилось, и его приняли хотя не так плохо, как в «Сыне любви», но гораздо хуже, чем в других ролях. Но, боже мой, как бы он мог быть хорош в этой роли

с его чудесными средствами! Через неделю назначили «Дидону». Я должен был явиться в Ярбе; мне многого стоило, чтоб победить в себе неуверенность в успехе. И точно, я был принят несколько хуже прежнего, но несравненно лучше Яковлева; итак, дела находились в сносном положении.

Я сказал тебе, что петербургская трагическая актриса Татьяна Михайловна Троепольская страдала одною болезнию с Плавильщиковым, то есть, говоря их словами, излишнею горячностью, и что они взаимно сбивали друг друга. Мне рассказывали, что Плавильщиков, во время пребывания своего в Петербурге, перед началом представления пиесы, всегда старался подгорячить Троепольскую и говаривал: «Ну, матушка Татьяна Михайловна, не ударимте себя лицом в грязь, сыграемте сегодня на славу!» — и оба доходили до таких излишеств, что приводили публику в смех. Я употреблял совершенно противоположную методу: я всегда говорил Троепольской перед выходом на сцену, что мне как-то нездоровится, что я чувствую какую-то слабость или что я совсем не расположен сегодня играть, чувствую себя как-то не в духе, и просил ее помочь мне спустить спектакль кое-как, переваливая пень через колоду. Эта проделка мне удавалась: в той сцене, где надобно было побольше огня, поджечь Татьяну Михайловну ничего не стоило, и пиеса сходила ладнехонько. Это было в самом начале моего пребывания в Петербурге.

Наконец, наступила пора изменения в трагическом репертуаре: явилась трагедия Крюковского «Пожарский» и потом трагедия Озерова «Эдип в Афинах». В первой Яковлев играл Пожарского, и хотя публика принимала его отлично хорошо, но и меня, в роли Заруцкого, приняла с таким же одобрением; это, конечно, было для меня очень лестно. Мои приятели и почитатели называли это моим торжеством, говоря, что я умел из ничтожной роли Заруцкого сделать замечательное лицо и уравнять его с героем пиесы, которого играл даровитый любимец публики. Я принимал такие похвалы с скромностью, приписывая их снисхождению публики к старому актеру. Разумеется, я молчал и никого не выводил из заблуждения, а в самом-то деле из роли По-

жарского и сделать ничего нельзя. Если б Яковлев играл ее лучше, то есть простее, — публика была бы еще менее довольна, тогда как роль Заруцкого имеет страсти, выражение которых всегда на сцене эффектно и выгодно. Скорее можно назвать моим торжеством трагедию Озерова. Я решился взять в ней роль Эдипа и первый раз в моей жизни вышел на сцену в старике. Это был мой первый, полный успех на петербургской сцене. На месте Яковлева я бы взял в этой трагедии роль Полиника, которая могла затмить Эдипа; но ему, во уважение высокого роста и богатырской фигуры, предложили играть царя и героя Тезея. Конечно, публика и здесь ему очень много хлопала; но роль Тезея ничто в сравнении с Полиником: если б я был молод, ни за что бы с этой ролью не расстался. Тогдашний Полиник, г. Щеников, играл очень плоховато, и для меня это было небезвыгодно. Семенова, не игравшая еще в трагедиях, явилась в первый раз в роли Антигоны в «Эдипе в Афинах». Как она была хороша! Какой голос! Какое чувство, какой огонь!.. Ну да вот какой огонь: когда в третьем акте Креон, в отсутствие Тезея, похищает Эдипа и воины удерживают Антигону, то она пришла в такую *пассию*, что, произнеся первые четыре стиха:

Постойте, варвары! пронзите грудь мою,
Любовь к отечеству довольствуйте свою.
Не внемлют — и бегут поспешно по долине;
Не внемлют — и мой вопль теряется в пустыне... —

вырвалась у воинов и убежала вслед за Эдипом, чего по пиесе не следовало делать; сцена оставалась, может быть минуты две, пустою; публика, восхищенная игрой Семеновой, продолжала хлопать; когда же воины притащили Антигону на сцену насильно, то гром рукоплесканий потряс театр! Все вышло так естественно, что публика не могла заметить нарушения хода пиесы. Потом Озеров написал еще трагедию «Фингал». Я играл роль старика Старна; разумеется, Яковлев играл Фингала. Здесь повторилось почти то же, что было в трагедии «Пожарский», то есть: мстительный Старн произвел более впечатления, чем великодушный герой Фингал, хотя Яковлев

был дивно великолепен в этой роли. Я по совести скажу, что хорошо играл Старна, но вот какое странное приключение случилось со мной: «Фингала» приказано было дать на эрмитажном театре; русские спектакли на нем давались довольно редко, и обыкновенно лучшие актеры, занимавшие главные персонажи, получали подарки какими-нибудь драгоценными вещами; я ни разу не играл в Эрмитаже, не получив перстня. Во время представления «Фингала» государь был очень доволен, и особенно мною, как мне потом рассказывали; но на другой день Яковлев и Семенова, игравшая Моину, получили подарки: первый — бриллиантовый перстень, а вторая — бриллиантовые серьги, я же — ничего. Сначала думали, что это ошибка, но потом достоверно узнали, что государь именно велел послать подарки Яковлеву и Семеновой, и когда ему напомнили о Шушерине, он повторил прежнее приказание.

Через несколько времени поступила на театр давно мне известная по старинному переводу и глубоко мною чтимая трагедия «Леар» (то есть «Король Лир») Шекспира, переведенная или переделанная Н. И. Гнедичем, тоже, кажется, из Дюсиса; но, впрочем, не для меня и не по моей просьбе, а для Семеновой. Конечно, для нее тут была прекрасная роль Корделии, и Семенова играла ее чудо как хорошо; но главное в пиесе лицо — старик Леар, которого играл я. Во всем моем репертуаре не было ничего подобного этой роли. Хотя все превозносили меня похвалами, но я чувствую и признаюсь тебе, что играл эту роль слабо и неверно. Внутренний голос говорил мне, как надо играть Леара, и я на первой пробе репетировал согласно с внутренним моим чувством; но все на меня восстали и нашли, что это тривиально, что Леар будет смешон, и сам переводчик говорил то же; оно, конечно, казалось так, потому что язык пиесы и игра всех актеров были несколько напыщенны, неестественны, и простота моей игры слишком бы от них отличалась; но я знал через добрых людей, что Шекспир изуродован в этом переводе или в этой переделке, и сам читал описание, с какою простотой игрывал эту роль Гаррик. Поспорив немного, я уступил, потому что сам был

не уверен в успехе моей новой игры[1]. Я придал лицу Леара везде царственную величавость и важность тона, позволив себе приблизиться к натуре только в сцене помешательства во время бури. Успех был огромный, неслыханный. После окончания пиесы и вызовов, сначала меня, а потом Семеновой и Яковлева (последнего бог знает за что вызвали, и роль-то Ленокса была пустая) — прибежали ко мне в уборную мои советчики. Обнимая меня и поздравляя с успехом, один из них, кн. Шаховской, сказал: «Ну, вот видишь, Яков Емельяныч! хорошо, что ты нас послушался!..» — «Точно так, ваше сиятельство, — отвечал я с поклоном, — покорнейше вас благодарю...», но на уме у меня было совсем другое[2].

Наконец, явилась русская, то есть из русской истории, трагедия Озерова «Дмитрий Донской»[3]. Я играл ничтожное лицо, князя Белозерского, а Яковлев — Димитрия Донского. Эта роль была его триумф; она восстановила его несколько пошатнувшуюся славу, и восторг публики выходил из всяких пределов. Много

---

[1] Удивительно, как Шушерин, не получив никакого образования, был во многих понятиях выше не только современных актеров, кроме Дмитревского, но выше многих литераторов; я верил ему тогда на слово и только много лет спустя оценил верность взглядов Шушерина по достоинству.

[2] С трагедией «Леар» вышла смешная и неприятная история: Гнедич напечатал, не помню где именно, стихи к Семеновой при поднесении ей экземпляра «Леар», которые начинаются так:

Прими, Семенова, Леара своего:
Он твой, твои дары украсили его.

В то же время Гнедич подарил экземпляр своего перевода и Шушерину с собственноручною надписью этих самых стихов, с переменою слова «Семенова», на слова: «О Шушерин». Я увидел это и указал Шушерину, который немножко обиделся и при мне сказал шутя Гнедичу: «Какой вы эконом в стихах, любезный Николай Иваныч! Одни и те же стишки пригодились и мне и Семеновой! Только ведь мы могли заспорить, чей Леар: ее или мой? Я желал бы знать, кому стихи написаны прежде? Вероятно, мне, потому что я играл Леара и потому что я постарше». Гнедич ужасно смутился, уверял, что стихи написаны Шушерину, но что он их забыл и бессознательно повторил в стихах к Семеновой. После этого пустого случая он стал реже видаться с Шушериным.

[3] Озеров написал еще в 1798 году трагедию из русской истории: «Ярополк и Олег», которая была играна, но успеха не имела.

способствовало блистательному успеху Яковлева то, что тогда были военные обстоятельства: все сердца и умы были настроены патриотически, и публика сделала применение Куликовской битвы к ожидаемой тогда битве наших войск с французами. Когда, благодаря за победу, Дмитрий Донской становится на колени и, простирая руки к небу, говорит:

Но первый сердца долг к тебе, царю царей!
Все царства держатся десницею твоей.
Прославь, и возвеличь, и вознеси Россию!
Сотри ее врагов коварну, горду выю,
Чтоб с трепетом сказать иноплеменник мог:
Языки, ведайте — велик российский бог! —

такой энтузиазм овладел всеми, что нет слов описать его. Я думал, что стены театра развалятся от хлопанья, стука и крика. Многие зрители обнимались, как опьянелые, от восторга. Сделалось до тех пор неслыханное дело: закричали фора в трагедии. Актеры не знали, что делать. Наконец, из первых рядов кресел начали кричать: «Повторить молитву!» — и Яковлев вышел на авансцену, стал на колени и повторил молитву. Восторг был такой же, и надобно правду сказать, что величественная фигура Яковлева в древней воинской одежде, его обнаженная от шлема голова, прекрасные черты лица, чудесные глаза, устремленные к небу, его голос, громозвучный и гармонический, сильное чувство, с каким произносил он эти превосходные стихи — были точно увлекательны!

С появления этой трагедии слава Яковлева вдруг выросла опять до тех размеров, каких она начинала достигать после первых трех его дебютов, и утвердилась прочным образом, что ты видишь и теперь; а я опять начал испытывать холодность большинства публики. Точно как будто нельзя было, восхищаясь Яковлевым, отдавать справедливость Шушерину! Только в трех ролях: Эдипа, Старна и Леара — публика принимала меня благосклонно; даже по правде нельзя этого сказать про роль Старна, в которой я стал менее нравиться зрителям с тех пор, как мне не дали подарка за эрмитажный спектакль. Неприятность моего положения возвратилась вновь и не поправлялась. Так тянул я два года и сделался болен. Не думаю, чтоб моя болезнь происходила

от постоянного душевного огорчения, как думал мой доктор, потому что я, пролежав три дня, стал скоро поправляться; но я решился, наконец, привесть в исполнение мое давнишнее задушевное намерение. Десятилетний срок моей службы на петербургском театре уже прошел; мне стукнуло шестьдесят лет, и я, пользуясь своим нездоровьем, прикинувшись слабым и хворым, подал просьбу об увольнении меня на пенсию. Хотя я не пользовался благорасположением начальства, особенно по репертуарной части, потому что мало его слушался в постановке ролей, но оно желало от меня избавиться и усердно ходатайствовало об исполнении моей просьбы; ты знаешь, что у меня есть добрые приятели и милостивцы, которые приняли во мне участие. Теперь, кажется, уже нет сомнения, что я скоро получу мою пенсию и перееду на житье в Москву, которую люблю и которая всегда меня любила. Уже двадцать пять лет, как я начал копить деньги на старость: каждый год откладывал я что-нибудь и клал в ломбард, и у меня накопилось с процентами с лишком двадцать тысяч. Я куплю себе маленький домик в каком-нибудь переулке, перевезу из Петербурга всю свою мухобель [1], которую с намерением я заводил здесь в прочном виде, и заживу паном. За здешнею дирекциею у меня есть бенефис, и я уже выпросил позволение взять его в Москве: [2] это даст мне по крайней мере пять тысяч, а чтоб московской дирекции не было обидно, то предварительно сыграю разок для нее и, конечно, доставлю кассе полный сбор. Петербург никогда мне не нравился, а теперь так опротивел, что я ушел бы из него пешком. По правде тебе сказать, я чувствую себя так крепким и бодрым, что надеюсь еще прожить долго. Я не намерен расставаться совсем с театром, а буду поигрывать от времени до времени, когда мне захочется, в свое удовольствие. Дирекции это будет очень выгодно, и она с радостью согласится или делить со мною пополам сборы, или назначить мне бенефис. Кажется, мои планы и намерения самые сбыточные, и я могу надеяться на их исполнение.

---

[1] Так называл Шушерин свою мебель и разные домашние вещи.
[2] В это время в Москве уже давно был казенный театр.

В Москву, в Москву, любезный друг! На мою родину, в древнюю русскую столицу; я соскучился, не видав столько лет Кремля, не слыша звона его колоколов; в Москве начну новую жизнь — вот чего жаждет душа моя, о чем молюсь ежеминутно богу, о чем грежу во сне и наяву...» Надобно было видеть Шушерина, чтоб почувствовать всю горячность этого желанья, всю искренность этих слов! Увлеченный ими, я сам обещал ему, что перейду служить в Москву, куда, вероятно, будет иногда приезжать все мое семейство.

Между тем судьба еще не так скоро исполнила пламенное желание Шушерина. Прошло около года, а пенсия не выходила. Мое знакомство с ним с каждым днем становилось ближе. Он очень любил меня. Д. И. Языков рассказывал мне случай, который служит тому убедительным доказательством: я уезжал в отпуск в деревню и, будучи на охоте, по неосторожности прострелил себе руку; рана была довольно жестока, но при помощи хорошего доктора никакой опасностью не угрожала. Не понимаю, отчего дошла об этом весть до Петербурга, с довольно сильным украшением, то есть, что я убил себя наповал. Один раз у Шушерина обедало человек шесть приятелей. В том числе: Д. И. Языков, Гнедич, Н. И. Ильин (сочинитель известных драм)[1] и какой-то гость, в первый раз приглашенный к Шушерину. Этот господин, не зная о моей дружбе с Шушериным, вдруг за обедом говорит Языкову: «Слышали ли вы, что ваш знакомый молодой человек, Аксаков, застрелил себя на охоте и тут же умер?» Шушерин был так поражен, что всех перепугал. Он был крепкого духа человек, которого ничто не могло смутить, а тут выпали у него из рук ножик и вилка, которые он держал в то время, и ручьи слез хлынули из глаз; он должен был выйти из-за стола и оставить гостей с Надеждой Федоровной. В тот же день ездил он сам к Г. И. Карташевскому, чтоб узнать печальную истину, не застал его дома

---

[1] Драмы Н. И. Ильина: «Лиза, или Торжество благодарности» и «Рекрутский набор» долго держались на сцене обоих столичных театров и принимались публикою с необыкновенным восторгом. В «Рекрутском наборе» весь театр плакал от умиления и жалости.

и оставил записку. Степан сказывал мне по моем возвращении, что «Яков Емельянович почти всю эту ночь не почивали, все ходили по комнате». На другой день, рано поутру, Шушерин получил от Г. И. Карташевского записку с уведомлением, что я точно прострелил себе руку, но что я уже выздоровел и на днях буду в Петербурге. Шушерин так невзлюбил того господина, впрочем, ни в чем не виноватого, который напугал его известием о моей смерти, что никогда не хотел уже его видеть у себя в доме.

Ничего не могу сказать о том, что замедлило назначение пенсии Шушерину, только ожидание это было для него томительно. Уже два года всякий день отвечали: «В непродолжительном времени все будет сделано». Конечно, мое присутствие было большой отрадой для Шушерина, и мне очень приятно об этом вспомнить.

С тех пор как Шушерин не играл, на петербургском театре «Эдипа» давали один раз, вскоре после моего приезда в Петербург, и я теперь никак не могу вспомнить, кто играл роль Эдипа вместо Шушерина. Помню только, что актер был крайне плох, чему доказательством служит и то, что пиесу эту перестали давать. «Леара» совсем не играли, и Шушерин очень сожалел, что я не видел Семеновой в роли Корделии. Но судьбе было угодно, уже незадолго до моего отъезда из Петербурга, доставить мне это истинное наслаждение. Один раз, пришедши по обыкновению к Шушерину, я нашел у него Боброва, игравшего роли деми-карактéр (как говорилось тогда на театральном языке), а иногда и чисто комические. У Боброва были роли, которые он играл очень хорошо и с такою естественностью, какой тогда не было ни у кого. Как только Бобров ушел, Шушерин с живостью обратился ко мне и сказал: «Поздравляю тебя, любезный друг, ты увидишь Семенову в Корделии. Бобров вздумал взять себе в бенефис «Леара», которого сам хочет играть. Это будет тоже прекурьезная штука. Он приходил со мною посоветоваться и просил позволения прочесть мне роль. Я очень рад ему советовать, да только выйдет ли из этого какой-нибудь прок. Странная вещь! как это входит в голову комическим

актерам хвататься за трагические роли! Рыкалова[1] нелегкая угораздила сыграть Эдипа, а теперь Боброву пришла охота сыграть Леара. Разумеется, для бенефиса это выгодно: пиеса давно не игралась, Семенова в ней публике очень нравилась, и всякий для курьеза пойдет посмотреть, как Скотинин[2] превратится в короля Леара. Пойдем и мы с тобою, любезный друг. Я заранее скажу Боброву, чтоб он оставил нам двое кресел рядом. С меня денег он не возьмет; ну, а ты заплатишь».

Через несколько дней Шушерин сказал мне, что Бобров был у него и прочел ему роль, которую понимает довольно хорошо, что во многих местах он будет недурен, но что за успех ручаться нельзя, ибо публика, привыкшая смеяться над Скотининым и дядей Клешниным[3], сейчас расхохочется и над Леаром в тех местах, где Леар точно может возбудить улыбку, но смешанную с сожалением[4]. Шушерин, кажется, искренно занимался Бобровым и смотрел главную репетицию на сцене. Он упрашивал Семенову, чтоб она утешила старого актера, может быть в последний раз в его жизни, и сыграла Корделию как можно простее. Предположения Шушерина оправдались только отчасти, то есть: публика порывалась расхохотаться в некоторых местах, смотря на

---

[1] Комический актер Рыкалов в свое время пользовался большою известностью и даже славой, но я не был согласен с тогдашним общим мнением. Рыкалов имел важный недостаток в произношении: он не то что заикался, но язык у него ворочался не свободно, и Шушерин всегда говорил, что у него рот набит кашей; у него была и натура, но натура — фарс. Большинству публики нравились и нечистый выговор и фарс. Я, вероятно, Рыкалова видел в роли Эдипа.

[2] В «Недоросле» Бобров играл Скотинина с неподражаемым совершенством, да и физика его вполне соответствовала этой роли. Вообще Бобров был замечательный актер и стоял в искусстве несравненно выше Рыкалова, хотя не пользовался такой славой.

[3] Комическое лицо в комедии «Школа злословия», которое Бобров играл мастерски.

[4] Недавно на московской сцене было подобное странное явление: превосходный наш комический актер П. М. Садовский играл в свой бенефис «Короля Лира». Хотя г-н Садовский так хорошо понимает искусство, что, без сомнения, роль его была обдумана и поставлена верно, но успеха он не имел и не мог иметь. К сожалению, я не видал этого замечательного спектакля.

Боброва в «Леаре»; но Шушерин никак не ожидал, чтоб зрители покрыли такими сильными рукоплесканиями сцену бури в лесу, куда убежал Леар, изгнанный дочерью. Должно сказать по совести, что Бобров был в этой сцене — просто дурен. Напротив, те места, которые были сыграны Бобровым очень верно, просто и с достоинством, остались незамеченными. Семенова... никогда не забуду я того впечатления, которое произвела она на меня. Сколько было чувства в ее гармоническом голосе, во всех движениях, в глазах, полных слез, устремленных с такою любовью на отца! Неумолимый Шушерин и тут утверждал, что она была лучше, когда в первый раз играла эту роль с ним; но я ничего лучшего представить себе не мог и теперь не могу. Не думал Шушерин, что видит Семенову действительно в последний раз в своей жизни!

Я собирался уехать из Петербурга на неопределенное время, по особенному семейному обстоятельству. Шушерин, все еще не получивший отставки и пенсии, терял всякое терпение и приходил даже в раздражение; он упрашивал меня, чтоб я остался на какой-нибудь месяц, в продолжение которого дело его решится, и он проводит меня до Москвы. К сожалению, я не мог исполнить его просьбы, и он не только огорчался, но и сердился. За два дня до моего отъезда зашел я к Шушерину часов в десять утра, чего прежде никогда не случалось, и нашел его в зале, очень радушно угощающего завтраком какого-то седенького, худенького, маленького, но бодрого старичка. Это был актер Шумский, современник обоих Волковых и Дмитревского. Шушерин мне говорил, что Шумский старше их всех и что ему тогда было за сто лет. Находясь очень давно на пенсии, он жил у кого-то, на седьмой версте по Петергофской дороге, и каждый месяц приходил в Кабинет [1] за своим месячным пенсионом; этого мало: не знаю, по каким причинам, только он обыкновенно брал двадцатипятирублевый мешок медных денег и относил его на плече домой, никогда не нанимая

---

[1] Тогда пенсии актерам выдавались из императорского кабинета, который помещался в здании, теперь перестроенном, где находится императорская Публичная библиотека.

извозчика. В этот раз также был с ним мешок, который и стоял в углу. Надобно вспомнить, что в шестнадцати рублях тогдашней медной монеты находилось ровно пуд весу; итак с Невского проспекта до своего жилища, следовательно верст десять, ему надобно было пронести на плече с лишком полтора пуда. Он несколько раз в год захаживал на перепутье к Шушерину, чтоб отдохнуть и позавтракать, а как это всегда случалось довольно рано поутру, то я его никогда и не видывал. Шушерин утверждал, что Шумский был необыкновенный актер на роли слуг (прежде это было важное амплуа), молодых повес и весельчаков из простого звания. Я был очень рад, что мне удалось увидеть Шумского. Я с любовью и уважением смотрел на этот славный обломок нашего первоначального театра, замечательного сильными талантами, так чудно пощаженный временем. Шумский был весел, жив и словоохотен. Он проговорил со мной часа два. Без сомнения, его талант был чистый инстинкт или, пожалуй, вдохновение. Верный почти общему свойству долго заживившихся стариков — находить все прошедшее хорошим, а все настоящее дурным, — Шумский утверждал, что нынешний театр в подметки не годится прежнему, и доказывал это, по его мнению, неопровержимыми доказательствами. «Да вот, недалеко ходить (он говорил живо и отрывисто), Яков Емельянович, чать помнишь али нет? или был еще молод? Как, бывало, Офрен[1] в «Заире», в роли Оросмана, скажет: «Zaire, vous pleurez?»[2] — так полчаса хлопают и дамы и кавалеры плачут! А нынче что? ничего. Ну, да вот ты, Яков Емельянович, ведь и ты хорошо игрывал Оросмана, и тоже, бывало, как скажешь: «Заира, плачешь ты?» — тоже, бывало, долго хлопают, а нынче что? ничего. Никто и платочка не вынет, чтоб глаза утереть. Нынче все любят шум да крик. Я ходил вашего Яковлева смотреть. Ну что, ничего. Мужик рослый, голос громкий, а душевного нет ничего». В таком роде был весь разговор Шумского.

---

[1] Знаменитый, великолепный французский трагик.
[2] Заира, вы плачете? (*франц.*)

В июне 1811 года я уехал в Оренбургскую губернию. Через два месяца получил письмо от Шушерина, который уведомлял меня, что, наконец, давно ожидаемая пенсия и отставка им получены, что он теперь вольный казак, что он уже отправил весь свой *багаж* и Степана в Москву к Какуеву и сам на днях выезжает туда же вместе с Надеждой Федоровной.

В генваре 1812 года приехал я с своим семейством в Москву. Я немедленно отыскал Какуева и, к удовольствию моему, узнал, что Шушерин здоров и совершенно доволен своим положением, что он живет в переулке, близ церкви Смоленской божией матери, в собственном домике, уже давно для него купленном и даже отделанном, разумеется все тем же его другом Какуевым. Я поспешил к Шушерину. Мы обрадовались друг другу чрезвычайно. Он был счастлив в полном смысле этого слова. Домик был премиленький, отделан с большим вкусом; петербургская мебель, шкафы с книгами и фарфором, картины, часы, все было уставлено так ловко, так уютно, что точно было сделано нарочно по стенам этого дома. Надежда Федоровна помещалась прекрасно и совершенно отдельно. Шушерин был рад своему дому буквально, как ребенок, который рад игрушке, у него не бывалой! Он затаскал, замучил меня, показывая свой дом со всеми его надворными строениями и хозяйственными принадлежностями, растолковывая мне и заставляя вникать меня во все малейшие подробности. «Да понимаешь ли ты это счастие: иметь на старости свой угол, свой *собственный* дом, купленный на деньги, нажитые собственными трудами? да нет, ты этого никогда не поймешь!.. У меня много еще в голове планов, — продолжал он, — которые я буду приводить в исполнение постепенно. Нынешний год сделаю только палисадник и разобью садик; на будущий год непременно сделаю каменную кухню и поставлю ее отдельно, а на следующий год перекрашу прочным образом весь дом и все строения и потом уже стану заниматься одним садом; вид из него чудесный на Москву-реку; я засажу мой сад цветущими кустами, которые через год будут цвести и давать тень»... — так говорил Шушерин, и я верил вполне, что все это точно так исполнится. Никакого зловещего

предчувствия, никакой черной мысли не мелькало у меня в голове.

Шушерин, ожидая меня в Москву, приготовил мне работу; он уже условился с московской дирекцией насчет будущего своего бенефиса и выбрал для него пиесу: трагедию «Филоктет», написанную Лагарпом. Причиною такого выбора было, во-первых, то, что роль Филоктета шла к его годам и некоторым образом подходила к лицам Эдипа и Леара, которыми он прославился в последнее время, и, во-вторых, потому, что французский знаменитый трагик, Larive или Lequen, хорошенько не помню, выбрал эту пиесу для последнего своего бенефиса и прощанья с театром. Я должен был перевесть «Филоктета» стихами. Пиеса была небольшая, я принялся за дело с жаром, и месяца через два Шушерин повез меня читать мой перевод к Ф. Ф. Кокошкину, всеми уважаемому тогда литератору и страстному любителю и знатоку театра, первому чтецу и благородному актеру своего времени, с которым, разумеется, я был познакомлен предварительно. У Кокошкина ожидали нас: Мерзляков, Иванов, Вельяшев-Волынцев и Каченовский. Я принялся переводить «Филоктета» без всяких претензий на литературное достоинство перевода, только чтоб как-нибудь исполнить желание Шушерина, который сам признавался мне, что ничего, кроме золотой посредственности, от моего перевода не ожидал; но, прочитав его, Шушерин сказал, что это один из лучших переводов того времени, и потому он захотел им похвастаться. Хотя я и имел доверенность к эстетическому чувству Шушерина, но решительно не поверил его отзыву. У Кокошкина и мое чтение и мой перевод были осыпаны похвалами, что меня, по совести говорю, очень удивляло. Шушерин торжествовал за меня. Перевод мой переписали и послали в цензуру [1].

---

[1] Отрывок из этого перевода Кокошкин прочел в «Обществе любителей словесности при Московском университете» в 1815 году, а в 1821-м, решительно за перевод «Филоктета», я был выбран единогласно в члены общества. Чистосердечно говорю, что теперь мне смешно вспомнить, какой успех имело это чтение! Прочитанный отрывок поместили в «Трудах общества», откуда перепечатали его в «Собрание образцовых стихотворений». Как легко было тогда попасть в образцы... зато ненадолго!

Прошел великий пост и святая неделя, начались спектакли, но никакой луч надежды не мелькал в моей голове увидеть Шушерина на сцене прежде его бенефиса, и то надо было приехать для этого зимою в Москву. И вдруг совершенно неожиданно исполнилось это мое давнишнее и горячее желание. Вот как это случилось: зашел я однажды вечером к Шушерину и нашел у него двух московских актеров: г-на Злова и г-на Мочалова (отца того Мочалова, которого не так давно потеряла Москва). Оба они не имели еще никакой известности и получали ничтожное жалованье. Дирекция, возлагавшая на них надежды в будущем, для поощрения назначила им бенефис, через две или три недели после святой. Мочалов и Злов, говоря об этом с Шушериным, изъявили в то же время сомнение, чтоб бенефис мог принести им выгоду, потому что пиесы игрались незаманчивые. Москва разъехалась по деревням и по дачам, а бенефицианты не имеют такой репутации, чтоб привлечь в театр своим именем остальную публику. Шушерин слушал их с участием. Он вспомнил свои молодые годы; ему вдруг сделалось так жаль этих даровитых людей, что он с живостью сказал им: «Господа! хотите ли, чтоб я вам помог? я сделаю это очень охотно. И вот какая штука пришла мне в голову: дайте себе в бенефис небольшую комедию Коцебу «Попугай»; ее можно поставить в неделю, а я сыграю вам арапа Ксури. Москва очень любила меня в этой роли, и все из курьеза пойдут посмотреть, как шестидесятитрехлетний Шушерин сыграет восемнадцатилетнего негра!» Разумеется, и Злов и Мочалов не знали, как и благодарить за такое великодушное предложение. Они сию минуту отправились к директору А. А. Майкову, пересказали ему слова Шушерина; он, разумеется, охотно согласился, дело было улажено, и за постановку «Попугая» принялись усердно. Шушерин не позволял мне смотреть репетиций, и я тем с большим нетерпением и волнением ожидал этого спектакля. Недели через полторы новый деревянный большой арбатский театр наполнился зрителями, и бенефицианты, за всеми расходами, получили каждый по две тысячи пятисот рублей ассигнациями. Гром рукоплесканий

продолжался несколько минут, когда показался Ксури. Спина устала у бедного Шушерина от поклонов на все стороны; он же раскланивался по-старинному. С жадностью глотал я каждое его слово, ловил каждое движение и вот что скажу об его мастерском исполнении этой весьма незначительной роли. Начну с того, что Шушерина нельзя было узнать. Голос, движения, произношение, фигура — все это принадлежало совершенно другому человеку; разумеется, чернота лица и костюм помогали этому очарованию. Передо мною бегал не старик, а проворный молодой человек; его звучный, но еще как будто неустановившийся молодой голос, которым свободно выражались удивление, досада и радость дикаря, перенесенного в Европу, раздавался по всему огромному театру, и его робкий шепот, к которому он так естественно переходил от громких восклицаний, был слышен везде. Какая-то ребяческая наивность, искренность была видна во всех его телодвижениях и ухватках! Как мастерски подрисовал он себе глаза, сделал их большими и навыкате. Как он умел одеться и стянуться! Ни малейшей полноты его лет не было заметно. Все видели здорового, крепкого, но молодого негра. Одним словом, это было какое-то чудо, какое-то волшебство, и публика вполне предалась очарованию. Все мои замечания состояли в том, что Шушерин иногда слишком много и живо двигался и слишком проворно говорил. Я на другой день сказал об этом Шушерину, и он откровенно признался, что мое замечание совершенно справедливо и что он для того позволил себе эту утрировку, чтоб скрыть свои шестьдесят три года. Много было и письменных и печатных стихов и похвал в прозе Шушерину; я тоже написал четыре стиха тогдашней современной фактуры и напечатал их сюрпризом для Шушерина в «Русском вестнике» С. Н. Глинки. Нумер вышел через несколько дней после спектакля. Шушерин, прочтя мое четверостишие и не зная имени сочинителя, сказал, что эти стихи ему приятнее всех других. Вот они:

ЯКОВУ ЕМЕЛЬЯНОВИЧУ ШУШЕРИНУ

На спектакль в бенефис гг. Мочалова и Злова. Мая... дня.

В сей день ты зрелище явил нам превосходно
И с трудностию нас заставил разбирать,
Что более в тебе должны мы уважать:
Великий ли талант, иль сердце благородно.

Увидев на сцене Шушерина в роли Ксури, я понял, отчего за тридцать лет пред сим он имел такой блистательный успех, отчего ничтожная роль составила ему тогда первоначальную славу. Ящик отпирается просто: играя дикого негра, Шушерин позволил себе сбросить все условные сценические кандалы и заговорил просто, по-человечески, чему зрители без памяти обрадовались и приписали свою радость искусству и таланту актера. Итак, по тогдашним понятиям надобно было быть диким, чтоб походить на сцене на человека.

У нас говорится, что беда не приходит одна — то же можно сказать и о приятных событиях. По крайней мере так случилось тогда со мною, и так случалось нередко в продолжение моей жизни. Не успел я опомниться от радости, что видел Шушерина в роли Ксури, как судьба приготовила мне другой спектакль, о котором не могло мне и во сне присниться. В этот раз Шушерин сам зашел ко мне возвестить неожиданную и радостную новость. Как теперь гляжу на него, с ног до головы одетого в серый цвет, то есть по-летнему; проходя мимо нашей квартиры, он постучал своей камышовой тростью в мое окно, и когда я выглянул, то он с улыбающимся лицом мне сказал: «Ну, брат! Судьба хочет тебя побаловать: только я теперь рассказывать не стану, потому что, идя пешком, устал, а расскажу тогда, когда ко мне придешь. Если же хочешь сейчас узнать, то бери шляпу, проводи меня до дому и отобедай со мной». Любопытство мое было сильно возбуждено; я отправился с Шушериным и вот что узнал: Ф. Ф. Кокошкин не только был охотник играть на театре, но и большой охотник учить декламации; в это время был у него ученик, молодой человек, Дубровский, и тоже отчасти ученица, кажется, в театральной школе, г-жа Борисова; ему

пришла в голову довольно странная мысль: выпустить ее в роли Дидоны, а ученика своего Дубровского в роли Энея; но как в это время года никто бы из оставшихся жителей в Москве не пошел их смотреть, то он придумал упросить Шушерина, чтоб он сыграл Ярба. Разумеется, директор был очень этому рад и вместе с Кокошкиным атаковал Шушерина самыми убедительными просьбами. Рассказав все это мне, Шушерин прибавил в заключение: «Ярба я никогда не стал бы играть добровольно; но вот видишь ли, любезный друг, какая штука: дирекция мне нужна вперед, а Кокошкина директор очень уважает. Отказаться мне нетрудно, но ведь осердятся и, пожалуй, напакостят что-нибудь в моем будущем бенефисе. Я мог бы отложить этот спектакль до осени; но теперь ты здесь и, конечно, будешь рад увидеть меня на сцене. Разумеется, я желал бы показаться тебе не в Ярбе, а, например, в «Короле Леаре»; ну, да делать нечего — я согласился, и через полторы недели идет «Дидона». Не нужно говорить, как я был этому рад. Конечно, я не мог ожидать такого счастия. Мы сами собирались уже уехать из Москвы, и я упросил моего отца и мать отложить на несколько времени наш отъезд. Репетиции начались немедленно и продолжались ежедневно на сцене, потому что надобно было сладить пиесу с двумя молодыми неопытными актерами. Шушерин придавал репетициям большую важность [1] и не пускал на них посторонних зрителей до главной пробы, которая

---

[1] Шушерин говорил: «Репетиции — душа пиесы; только тогда пиеса получает полное достоинство, когда хорошо срепетирована. Посторонних людей никогда на репетиции пускать не должно: они мешают и развлекают, и притом при них совестно будет заметить что-нибудь другому и самому получить замечание. Генеральная репетиция должна происходить точно с такою же строгою отчетливостью, как и настоящее представление. Как бы пиеса ни была тверда, сколько бы раз ее ни играли — непременно надобно сделать репетицию вполголоса, но со всеми интонациями, поутру в день представления. Во всю жизнь мою я убеждался в необходимости этого правила. Нередко случалось играть мне, будучи не совсем здоровым, или несколько рассеянным, или просто не в духе — утренняя репетиция оставалась свежею в памяти и помогала мне там, где я мог бы сбиться и сыграть неверно». Я предоставляю всем артистам решить, до какой степени справедливо мнение их славного предшественника.

делалась в костюмах, во весь голос, на сцене и всегда накануне представления; но Шушерин и тут не пустил меня, а слышал я только одну репетицию вначале, вполголоса. Несмотря на совершенно устарелые стихи и нелепость самого Ярба, чтение Шушерина показалось мне превосходно. Наконец, наступил день, давно ожидаемый и желанный. Многочисленная публика наполнила театр. Поднялся занавес, прошел первый несносный акт; Борисова была принята очень благосклонно, что она и заслуживала, и даже к Дубровскому, не имевшему никаких дарований и не подававшему никаких надежд, зрители были снисходительны. Великолепен, блистателен явился Ярб. Это был тоже арап, как и Ксури, но высокого роста и богатырского телосложения. Как умел так превращаться Шушерин, не понимаю [1]. Бешенство Ярба начинается с первых слов:

Се зрю противный дом, несносные чертоги,
Где все, что я люблю, немилосерды боги
Троянску страннику с престолом отдают! —

и продолжается до последних стихов включительно:

Дидона!.. Нет ее!.. Я злобой омрачен;
Бросая гром, своим сам громом поражен.

Что сказать о целом исполнении этой поистине нелепейшей роли? Цельное исполнение ее невозможно. Ярб должен буквально беситься все четыре акта, на что, конечно, недостанет никакого огня и чего никакие силы человеческие вынесть не могут, а потому Шушерин, для отдыха, для избежания однообразия, некоторые места играл слабее, чем должно было, если следовать в точности ходу пиесы и характеру Ярба. Так поступал Шушерин всегда, так поступали другие, и так поступал Дмитревский в молодости. О цельности характера, о драматической истине представляемого лица тут не могло быть и помину. Итак, можно только сказать, что все те места ярости, бешенства и жажды мщения, в

---

[1] Я спрашивал об этом Шушерина; он сказал мне, что эта перемена произошла от головного убора в виде венца на голове с длинными перьями и что под подошвы ног были подложены картонные стельки.

которых Шушерин давал себе полную свободу, принимая это в смысле условном, были превосходны — страшны и увлекательны; в местах же, где он сберегал себя, конечно, являлась уже одна декламация, подкрепляемая мимикою, доводимою до излишества; трепета в лице и дрожанья во всех членах было слишком много; нижние, грудные тоны, когда они проникнуты страстью, этот сдерживаемый, подавляемый *рев тигра*, по выражению Шушерина, которыми он вполне владел в зрелых летах, — изменили ему, и знаменитый некогда монолог:

Свирепа ада дщерь, надежда смертных — месть,
К чему несчастного стремишься ты привесть?
Лютейшей ярости мне в сердце огнь вливая,
Влечешь меня на все, мне очи закрывая... *и проч. и проч.* —

не произвел такого действия, какого надеялся Шушерин и какое он производил некогда. Что касается до меня, не видавшего в Ярбе никого, кроме Плавильщикова, то я был поражен изумлением от начала до конца пиесы, восхищаясь и увлекаясь искусством, которое, властвуя неистощимым огнем души артиста, умело вливать его в эти варварские стихи, в эту бессмысленную дребедень каких-то страстей и чувств. Конечно, я составил себе такое высокое предварительное понятие об игре Шушерина в Ярбе и особенно о том месте, в котором он обманул Дмитревского, что настоящее исполнение роли меня не вполне удовлетворило; но теперь, смотря на целую пиесу и на лицо Ярба уже не теми глазами, какими смотрели все и я сам за сорок три года тому назад, я еще более удостоверяюсь, что только великий артист мог производить в этой пиесе такое впечатление, какое производил Шушерин. Он же сам был решительно недоволен собою и сожалел, что явился, в первый раз по возвращении из Петербурга, перед московской публикой (появление в роли Ксури он считал шуткою, добрым делом) в такой роли, которой ему уже не следовало играть. Публика же, напротив, была в полном восторге, за исключением весьма немногих людей, слегка заметивших кое-какие недостатки.

В самое то время, как Москва беззаботно собиралась в театр, чтоб посмотреть на старого славного артиста,

военная гроза, давно скоплявшаяся над Россиею, быстро и прямо понеслась на нее; уже знали прокламацию Наполеона, в которой он объявлял, что через несколько месяцев обе северные столицы увидят в стенах своих победителя света; знали, что победоносная французская армия, вместе с силами целой Европы, идет на нас под предводительством великого, первого полководца своего времени; знали, что неприятель скоро должен переправиться через Неман (он переправился 12 июня) — все это знали и нисколько не беспокоились. Подсмеивались над самохвальством Наполеона, который занятие Москвы и Петербурга считал так же легко возможным, как занятие Вены и Берлина. По крайней мере так понимало большинство публики тогдашнее положение России. Всего менее думали о Наполеоне я и Шушерин; мы думали о будущем его бенефисе, обещанном ему в исходе декабря, и о том, как бы мне к тому времени приехать в Москву. Я с семейством уехал в половине июня и весело простился с Шушериным в надежде увидеться с ним через полгода...

Известно, что̀ совершилось в эти шесть месяцев. Сгорела Москва, занятая неприятелем. Наполеон дождался в ней суровой осени, не дождавшись мира, потерял множество войск и бежал из обгорелых развалин Москвы. Радостно вздохнула Русь, благодарные молитвы огласили храмы божии, и с христианским смирением торжествовал народ свое спасение и победы на враги. Стали собираться понемногу распуганные жители столицы, и не замедлил приехать Яков Емельянович Шушерин, а с ним и Надежда Федоровна (кажется, они прожили эту грозу в Рязани), чтоб узнать, не уцелел ли его скромный домик; но, увы! одни обгорелые печи стояли на прежнем месте. Не веря тому, чтоб Москва могла быть отдана Наполеону, Шушерин не вывез своего имущества заблаговременно и потерял все, все, что наживал с таким трудом и так долго; но эта потеря, как рассказывал мне самовидец Н. И. Ильин, была великодушно перенесена Шушериным; он только радовался изгнанию французов и был очень весел. Зная твердость духа и образ мыслей этого замечательного человека, я совершенно убежден, что он перенес свою потерю спокойно. Москва не была

еще тогда вполне очищена от человеческих и скотских трупов; больных и раненых было множество; появилась тифозная гнилая горячка. Вскоре по приезде Шушерин заразился ею и умер в шестой день; в этот же день Надежда Федоровна, ходившая за старым своим другом неусыпно, потеряла употребление языка, впала в нервную горячку и умерла через пять недель... Все это я узнал в 1814 году, проезжая через Москву в Петербург.

В 1812 году Иван Афанасьич Дмитревский[1], уже давно оставивший театр, к общему изумлению и восторгу петербургской публики, явился на сцене в пьесе Висковатого «Всеобщее ополчение», разумеется, в роли старика. И тогда уже Дмитревский был так слаб от старости, что его беспрестанно поддерживали другие актеры, и едва ли кто мог расслушать произносимые им слова; но восторг зрителей был общий; гром рукоплесканий приветствовал каждый его выход и каждое удаление со сцены: по окончании драмы, разумеется, он был вызван единогласно, единодушно. Но замечательно то, что вызывали не просто Дмитревского, то есть не просто актера по фамилии, как это всегда водилось и водится, а *господина Дмитревского;* таким особенным знаком уважения не был почтен ни один актер ни прежде Дмитревского, ни после его. Я очень хорошо понимаю, что при тогдашнем патриотическом настроении Петербурга появление старца Дмитревского в патриотической драме должно было привесть в восторженное состояние публику; но, смотря на это дело с художественной стороны, я нисколько не жалею, что не видал этого спектакля. На театральных подмостках должен владычествовать один интерес — искусство. Действительность превращается на них в вымысел, теряет свое значение и дей-

---

[1] Известия о Дмитревском и Яковлеве, сообщенные мною в конце этой статьи, напечатанной в первый раз в «Москвитянине», в 1854 году, оказались весьма неточными. Я понадеялся на свою память и, говоря о *слышанном* мною за сорок лет, не навел справок и перепутал как порядок хронологический, так и самые события. Исправляю теперь мою непростительную ошибку по источникам самым достоверным.

ствует на душу неприятно. Напротив, вымысел должен казаться действительностью. Искусно сыгранная роль дряхлого старика на театре может доставить эстетическое наслаждение как действительность, перенесенная в искусство; но *действительный* старец Дмитревский, болезненный, едва живой, едва передвигающий ноги, на краю действительной могилы, *представляющий дряхлого старика* на сцене — признаюсь, это глубоко оскорбительное зрелище, и я радуюсь, что не видал его.

Яковлев кончил жизнь в 1817 году, находясь в полной силе и цвете возраста человеческого. Он оставил жену и детей. Дмитревский пережил его четырьмя годами; он хотел даже участвовать в бенефисе, который дан был театральной дирекцией в пользу вдовы и детей покойного Яковлева, о чем было объявлено в афише. Дмитревский должен был играть старика в маленькой пиесе князя Шаховского, написанной им еще в 1813 году, под названием: «Встреча незваных», то есть французов, имевшей в свое время большой успех. Но болезнь не допустила Дмитревского исполнить свое великодушное намерение.

ОЧЕРКИ
и
НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

БУРАН

ВСТУПЛЕНИЕ

Я не напечатал бы нижеследующего отрывка, то есть описания оренбургского бурана, если б почтенный критик «Русской беседы» не упомянул о нем в разборе «Семейной хроники и Воспоминаний» [1]. Он даже сделал из этой моей статьи несколько выписок и, основываясь на них, произнес свой приговор. Хотя вообще г. рецензент был слишком благосклонен к моим сочинениям, и по чувству благодарности мне не следовало бы возражать, но в некоторых частностях его рецензии я не могу с ним согласиться. Не могу согласиться, будто Степан Михайлович Багров (в описании его «Доброго дня») «заслоняется несколько описанием природы»; будто читатель «более видит перед собою «Добрый день» Оренбургской губернии, чем «Добрый день» Степана Михайловича, который оттого становится как будто на второй план». Я не говорю о достоинстве этих описаний: всякий судит об этом по своему впечатлению; но мне кажется, что старик Багров настолько окружен описанием природы, как атмосферы, в которой он жил, насколько это необходимо для полноты изображения. Не могу также согласиться, что я «напрасно поскупился на рассказы о действиях Куролесова» и что я «касаюсь его поступков только более общими его описаниями». Хороши эти опи-

[1] В первой книге «Русской беседы» 1856 года.

сания или нет, это другой вопрос; но я остаюсь убежденным, что частностей о Куролесове рассказано довольно и что если б их было более, то художественность впечатлений была бы нарушена. Особенно я не согласен, будто происшествие, рассказанное мною в «Буране», неестественно и будто в нем виден произвол сочинителя. Вот что говорит почтенный рецензент: «Мы не говорим уже о неестественности языка, которым беседует здесь старик: «Составим возы и распряженных лошадей вместе, кружком» и проч. Чувствуете ли вы всю условную ненатуральность эпохи тридцатых годов в самом рассказе — расчет на внешние эффекты и отсутствие внутренней необходимости в ходе действия? Старик дает совет; некоторые его слушают и спасаются; непослушные погибают. И надобно же непременно для большей разительности, чтобы один оказался около самого умета, прислонившимся к забору! Нужен же непременно неожиданный наезд нового обоза на то самое место, где лежал зарытый в снегу старик с своими, чтобы от занесенных снегом саней остались видными оглобли, чтобы старик и прочие были живы![1] Как пахнет все это обычною во время оно, отвне навязываемою моралью!» и пр. и пр. На все это я скажу, что происшествие, мною рассказанное, — действительный факт, случившийся неподалеку от моей деревни, слышанный мною со всеми подробностями от самих действовавших в нем лиц. Для того, чтоб читатели могли судить, прав ли я, или нет, не соглашаясь с моим почтенным рецензентом и не находя в своей пьесе ни «неестественности», ни «морали», ни авторского произвола, я считаю за лучшее перепечатать всю эту небольшую пиесу, вероятно теперь никому не известную. К тому же, может быть, некоторым из моих читателей будет интересно узнать, как писал один и тот же человек за двадцать три года до появления в свет «Семейной хроники» и «Воспоминаний», принятых так благосклонно читающей публикой? — как

[1] Занесенный снегом обоз стоял на дороге, и на него нельзя было не наехать новому обозу. Оглобли нарочно поднимаются вверх для того, чтоб всякий проезжий их увидел. Так обыкновенно поступают крестьяне, застигнутые бураном в степи в ночное время.

писал он в то время, когда, кроме каких-нибудь мелких статей, вынужденных, так сказать, обстоятельствами, он ничего не писал. Но, не соглашаясь в одном, я совершенно согласен и искренно благодарен уважаемому мною рецензенту за его замечания о «втором периоде гимназии и об университете», составляющих значительную часть моих отроческих воспоминаний. Они точно слабы, не полны и не выдержаны «по отношению к идее всей книги и к самим себе». Я сам это чувствовал, когда писал их. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь поправить мою ошибку. Эта часть воспоминаний требует более подробной и более последовательной, живой разработки.

Отрывок «Буран» в свое время обратил на себя внимание по особенному, довольно забавному обстоятельству, которое я считаю не лишним рассказать. В 1834 году М. А. Максимович, издавая альманах под названием «Денница», так убедительно просил меня написать *что-нибудь* для сборника, что я не мог отказать ему. В это время я был очень занят преобразованием Константиновского межевого училища в Константиновский межевой институт, для которого мне, как будущему директору, поручено было написать устав в более широких размерах и более современных формах. Я поистине не имел свободного досуга, но обещание Максимовичу надо было исполнить. Хотя прошло уже шесть лет, как я оставил Оренбургский край, но картины летней и зимней природы его были свежи в моей памяти. Я вспомнил страшные зимние метели, от которых и сам бывал в опасности и даже один раз ночевал в стоге сена; вспомнил слышанный мною рассказ о пострадавшем обозе — и написал «Буран». Я находился тогда (как и всегда) в враждебных литературных отношениях с издателем «Московского телеграфа», а издатель «Денницы» был с ним коротко знаком, участвовал прежде в его журнале и потому мог надеяться, что его альманах будет встречен в «Телеграфе» благосклонно. Благосклонный отзыв «Телеграфа» имел тогда важное значение в читающей публике и был очень нужен для успешного расхода книги. Я очень хорошо знал, что помещение моей статьи возбудит гнев г. Полевого и повредит «Деннице». Брань издателя «Телеграфа» для меня была не новость: я

давно уже был к ней совершенно равнодушен; но, не желая вредить успеху «Денницы», я дал мою статейку с условием — не подписывать своего имени, с условием, чтобы никто, кроме г. Максимовича, не знал, что «Буран» написан мною. Условие было соблюдено в точности. Когда «Денница» вышла в свет, «Московский телеграф» расхвалил ее и особенно мою статейку. Рецензент «Телеграфа» сказал, что это «мастерское изображение зимней вьюги в степях Оренбургских» и что, «если это отрывок из романа или повести, то он поздравляет публику с художественным произведением». Не ручаюсь за буквальную точность приводимых мною слов, но именно в таком смысле и в таких выражениях был напечатан отзыв «Телеграфа». Какова же была досада г-на Полевого, когда он узнал имя сочинителя статьи! Он едва не поссорился за это с издателем «Денницы». Я помню, что один из общих наших знакомых, большой охотник дразнить людей, преследовал г. Полевого похвалами за его благородное беспристрастие к своему известному врагу. Положение вышло затруднительное: издателю «Московского телеграфа» нельзя было признаться, что он не знал имени сочинителя, нельзя и отступиться от своих слов, и г. Полевой должен был молча глотать эти позолоченные пилюли, то есть слушать похвалы своему благородному беспристрастию.

Ни облака на туманном беловатом небе, ни малейшего ветра на снежных равнинах. Красное, но неясное солнце своротило с невысокого полдня к недалекому закату. Жестокий крещенский мороз сковал природу, сжимал, палил, жег все живое. Но человек улаживается с яростью стихий; русский мужик не боится мороза.

Небольшой обоз тянулся по узенькой, как ход крестьянских саней, проселочной неторной дорожке, или, лучше сказать, — следу, будто недавно проложенному по необозримым снежным пустыням. Пронзительно, противно для непривычного уха скрипели, визжали полозья. Одетые в дубленые полушубки, тулупы и серые суконные зипуны, нахлобученные башкирскими глухими малахаями, весело бежали мужики за своими возами. За-

пушенные инеем, обмерзшие ледяными сосульками, едва разевая рты, из которых белый дым вылетал, как из пушки при выстреле, и не скоро расходился, — они шутили, припрыгивали, боролись, толкали, будто невзначай, друг друга с узенькой тропинки в глубокий сугроб; столкнутый долго барахтался и не скоро вылезал из мягкого снегового пуха на твердую дорогу. Тут-то сыпались русские остроты, по природе русского человека, всегда одетые в фигуру иронии. «Не больно болтай, — говорил один другому, — язык обожжешь: вишь зной какой, так и палит!» — «Шути, шути, — отвечал другой, — самого-то цыганский пот прошибает!» Все хохотали. Так греются на морозе дух и тело русского мужичка.

Подвигаясь скорым шагом, а под изволок и рысью, обоз поднялся на возвышение и въехал в березовую рощу — единственный лесок на большом степном пространстве. Чудное, печальное зрелище представляла бедная роща! Как будто ураган или громовые удары тешились над нею долгое время: так все было исковеркано. Молодые деревья, согнутые в разновидные дуги, увязили гибкие вершины свои в сугробах и как будто силились вытащить их. Деревья постарее, пополам изломанные, торчали высокими пнями, а иные, разодранные надвое, лежали, развалясь на обе стороны. «Что за чертовщина! — сказал молодой мужик, — какой леший исковеркал березник?» — «Не леший, а иней, — отвечал старик, — глядь-ка, сколько его нальнуло к сучьям... тяга смертная! Ведь под инеем-то лед, толщиной в руку, и все к одной стороне, все к полуночи. Это бывает после оттепелей, случается не каждый год и вещует урожай: хлеба будет вволю». — «Да куда с ним деваться?..» — подхватил молодой крестьянин и хотел продолжать, но старик, с некоторого времени внимательно озиравшийся на все стороны, с прищуренным глазом припадавший к дороге, сурово крикнул: «Полно калякать, ребята. До умета [1] далеко, ночь близка, дело негоже. Бери вожжи, садись погоняй лошадей!..» Безмолвно повиновались строгому голосу старика, умудрен-

[1] Так называются один или два двора, поселенных на степной дороге для ночевки или кормежки обозов.

ного годами опытов, проницательный взор которого провидел в ясности тьму, в тишине бурю. Все струсили, хотя ничего страшного не видали. Проворно повскакали на воза, крикнули, тронули вожжами мочальные обро̀ти невзнузданных лошадей, и обоз, выбравшись из рощи на покатую равнину, побежал шибкою рысью.

Все попрежнему казалось ясно на небе и тихо на земле. Солнце склонялось к западу и, косыми лучами скользя по необозримым громадам снегов, одевало их бриллиантовой корою, а изуродованная налипнувшим инеем роща, в снеговом и ледяном своем уборе, представляла издали чудные и разновидные обелиски, осыпанные также алмазным блеском. Все было великолепно... Но стаи тетеревов вылетали с шумом из любимой рощи искать себе ночлега на высоких и открытых местах; но лошади храпели, фыркали, ржали и как будто о чем-то перекликались между собою; но беловатое облако, как голова огромного зверя, выплывало на восточном горизонте неба; но едва заметный, хотя и резкий, ветерок потянул с востока к западу — и, наклонясь к земле, можно было заметить, как все необозримое пространство снеговых полей бежало легкими струйками, текло, шипело каким-то змеиным шипеньем, тихим, но страшным! Знакомые с бедою обозы знали роковые приметы, торопились доезжать до деревень или уметов, сворачивали в сторону в ближнюю деревню с прямой дороги, если ночлег был далеко, и не решались на новый переезд даже немногих верст. Но горе неопытным, запоздавшим в таких безлюдных и пустых местах, где нередко, проезжая целые десятки верст, не встретишь жилья человеческого!

В таком именно положении находился незадолго перед сим веселый обоз, состоявший из осьмнадцати подвод и десятерых возчиков. Они ехали с хлебом в Оренбург, где надеялись, продав свои деревенские избытки хотя недорогой ценою, взять из Илецкой Защиты каменной соли, которую иногда удается сбывать весьма выгодно на соседних базарах, если по распутице мало бывает подвозу. Они выезжали на большую Оренбургскую дорогу, перебивая поперек так называемый *Общий Сырт*, плоское возвышение, которое тянется к Яику, нынешнему Уральску, и по которому лежит известная яицкая

казачья дорога. Хотя опытный старик приметил грозу заблаговременно, но переезд был длинен, лошади тощи, на кормежке обоз позамешкался, и беда пришла неминучая...

Быстро поднималось и росло белое облако с востока, и когда скрылись за горой последние бледные лучи закатившегося солнца — уже огромная снеговая туча заволокла большую половину неба и посыпала из себя мелкий снежный прах; уже закипели степи снегов; уже в обыкновенном шуме ветра слышался иногда как будто отдаленный плач младенца, а иногда вой голодного волка. «Поздно, ребята! — закричал старик. — Стой! нечего гнать и мучить понапрасну лошадей. Поедем шагом. Если не собьемся с дороги, авось бог помилует. Петрович, — сказал он, оборотясь к высокому плотному мужику, также немолодому, — поезжай сзади: твой гнедко хоть не боек, зато нестомчив, не отстанет, да и ты не задремлешь. Гляди в оба, чтобы кто не отстал да в сторону по дровяной или сенной дороге не отбился, а я поеду передовым!» С большим трудом перетащили стариков воз вперед, а лошадь Петровича, столкнув с дороги в сторону, объехали, потом вытащили ее из сугроба, и Петрович стал задним. Старик снял рысий малахай, вымененный у башкирского кантонного старшины на жирную молодую лошадь, в осеннюю гололедицу переломившую ногу, помолился богу и, сев на воз: «ну, серко! — сказал хотя невеселым, но твердым голосом, — выручал ты меня не один раз, послужи и теперь, не сшибись с дороги...» — и обоз поехал шагом.

Снеговая белая туча, огромная, как небо, обтянула весь горизонт и последний свет красной, погорелой вечерней зари быстро задернула густою пеленою. Вдруг настала ночь... наступил буран со всей яростью, со всеми своими ужасами. Разыгрался пустынный ветер на приволье, взрыл снеговые степи, как пух лебяжий, вскинул их до небес... Все одел белый мрак, непроницаемый, как мрак самой темной осенней ночи! Все слилось, все смешалось: земля, воздух, небо превратились в пучину кипящего снежного праха, который слепил глаза, занимал дыханье, ревел, свистал, выл, стонал, бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху и снизу, обвивался, как змей, и душил все, что ему ни попадалось.

Сердце падает у самого неробкого человека, кровь стынет, останавливается от страха, а не от холода, ибо стужа во время буранов значительно уменьшается. Так ужасен вид возмущения зимней северной природы. Человек теряет память, присутствие духа, безумеет... и вот причина гибели многих несчастных жертв.

Долго тащился наш обоз с своими двадцатипудовыми возами. Дорогу заносило, лошади беспрестанно оступались. Люди по большей части шли пешком, увязали по колено в снегу; наконец, все выбились из сил; многие лошади пристали. Старик видел это, и хотя его серко, которому было всех труднее, ибо он первый прокладывал след, еще бодро вытаскивал ноги — старик остановил обоз. «Други, — сказал он, скликнув к себе всех мужиков, — делать нечего. Надо отдаться на волю божью; надо здесь ночевать. Составим возы и распряженных лошадей вместе, кружком. Оглобли свяжем и поднимем вверх, оболочем их кошмами, сядем под ними, как под шалашом, да и станем дожидаться свету божьего и добрых людей. Авось не все замерзнем!»

Совет был странен и страшен; но в нем заключалось единственное средство к спасенью. По несчастью, в обозе были люди молодые, неопытные. Один из них, у которого лошадь менее других пристала, не захотел послушаться старика. «Полно, дедушка! — сказал он. — Серко-то у тебя стал, так и нам околевать с тобой? ты уже пожил на белом свету, тебе все равно; а нам еще пожить хочется. До умета верст семь, больше не будет. Поедем, ребята! Пусть дедушка останется с теми, у кого лошади совсем стали. Завтра, бог даст, будем живы, воротимся сюда и откопаем их». Напрасно говорил старик, напрасно доказывал, что серко истомился менее других; напрасно поддерживал его Петрович и еще двое из мужиков: шестеро остальных на двенадцати подводах пустились далее.

Буран свирепел час от часу. Бушевал всю ночь и весь следующий день, так что не было никакой езды. Глубокие овраги делались высокими буграми... Наконец, стало понемногу затихать волнение снежного океана, которое и тогда еще продолжается, когда небо уже блестит безоблачной синевою. Прошла еще ночь. Утих буйный ветер, улеглись снега. Степи представляли вид бурного

моря, внезапно оледеневшего... Выкатилось солнце на ясный небосклон; заиграли лучи его на волнистых снегах. Тронулись переждавшие буран обозы и всякие проезжие.

По самой этой дороге возвращался обоз порожняком из Оренбурга. Вдруг передний наехал на концы оглобель, торчащих из снега, около которых намело снеговой шиш, похожий на стог сена или на копну хлеба. Мужики стали разглядывать и приметили, что легкий пар повевал из снега около оглобель. Они смекнули делом; принялись отрывать чем ни попало и отрыли старика, Петровича и двоих их товарищей: все они находились в сонном, беспамятном состоянии, подобном состоянию сурков, спящих зиму в норах своих. Снег около них обтаял, и у них было тепло в сравнении с воздушной температурой. Их вытащили, положили в сани и воротились в умет, который точно был недалеко. Свежий, морозный воздух разбудил их; они стали двигаться, раскрыли глаза, но все еще были без памяти, как бы одурелые, без всякого сознания. В умете, не внося в теплую избу, растерли их снегом, дали выпить вина и потом уложили спать на полати. Проспавшись настоящим сном, они пришли в чувство и остались живы и здоровы.

Шестеро смельчаков, или, лучше сказать, глупцов, послушавшихся молодого удальца, вероятно скоро сбились с дороги, по обыкновению принялись ее отыскивать, пробуя ногами, не попадется ли в мягком снегу жесткая полоса, разбрелись в разные стороны, выбились из сил — и все замерзли. Весною отыскали тела несчастных в разнообразных положениях. Один из них сидел, прислонясь к забору того самого умета...

Илецк[1].

---

[1] Илецк было поставлено тогда для отвода подозрений г. Полевого. Но теперь мне кажется, что это могло скорее возбудить их. Без излишнего самолюбия можно сказать, что нельзя было ожидать статьи, так написанной, из Илецка. *Позднейш. примеч. С. А.*

ОТРЫВОК ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

Я познакомил вас с наружностью моего дедушки и отчасти с необыкновенной его вспыльчивостью, доходившею иногда до слепого бешенства. Я видел его таким в моем детстве, и впечатление страха до сих пор живо в моей памяти... Как теперь гляжу на него!.. В своем месте я расскажу некоторые из этих явлений. — Мой отец совершенно не походил на своего отца и лицом и свойствами: это был человек тихого и спокойного нрава, самых мирных наклонностей, в молодости отличавшийся девичьею красотою и смиреньем. Дедушке не нравились такие достоинства, и он говаривал иногда: «Эх, Тимофей не по мне! Весь в Неклюдовщину!» Из нас, троих его внуков, также никто не походил на дедушку, особенно наружностью. Мою вспыльчивость и живость я наследовал прямо от своей матери... Но кровь, порода берут свое и проявляются, иногда через долгое время, с поразительной очевидностью. Я нередко слыхал от настоящих русских людей, то есть от крестьян, что «такой-то парень *укинулся* в дедушку или прадедушку: весь, как вылитый, в него, и обличьем и обычьем». Эти чудно-меткие слова казались мне вздором. Судьбе угодно было, чтобы верный и глубокий смысл народного замечания и выражения осуществился в одном из моих сыновей. Сын мой Григорий, родив-

шийся 4 января 1820 года, в воскресенье, ровно в полдень, в селе Знаменском, Аксаково тож, скоро стал напоминать мне голубыми глазами и шириной склада моего дедушку, а своего прадедушку, Степана Михайловича. Впоследствии это сходство увеличилось и было признано всеми родными. В 1821 году осьмимесячного Гришу повезли мы с собою в Москву, где прожили ровно год. Гриша был такой прелестный младенец, что никто не мог видеть его и не приласкать: полный, круглый, розовый, атласный, с большими светлыми, веселыми голубыми глазами. Это были любовь и утеха всего дома и всех знакомых. Вспыльчивость начала оказываться в нем, когда он был еще грудным ребенком; если кормилица не скоро давала ему грудь, которую он требовал всегда живыми и выразительными движениями, то вся кровь бросалась ему в лицо, из розового он делался красным, и светлые глазки его темнели и мутились. В двухлетнем дитяти, необыкновенно добром и веселом, развивавшаяся постепенно вспыльчивость сделалась так забавною и смешною, что я даже сам, более других убежденный в вредных последствиях такой забавы, не мог иногда утерпеть и не подразнить Гришу. Гнев его обнаруживался уже не одной краской в лице и потемнением веселых глазок, но и градом ударов детского, впрочем необыкновенно большого и сильного кулачка. Вспышка, мгновенно налетавшая, — мгновенно и улетала: в ту же минуту Гриша уже обнимал, плакал и целовал того, кого колотил. Сколько раз я сам, неразумный отец, дразнил его!

Была у меня огромная легавая собака Гранжер, ни шагу от меня не отходившая (я был страстный охотник стрелять); все дети привыкли играть с ней, и умное животное позволяло тормошить себя маленьким шалунам и шалуньям. Однажды двухлетнему с небольшим Грише захотелось сесть на Гранжера верхом, и он просил меня посадить его и подержать; сначала я так и сделал; но как пропустить случай подразнить Гришу и посмеяться над страхом дитяти?.. Я посадил его на спину Гранжера, заставил ухватиться ручонками за толстую шею смирной собаки и сам отбежал проворно в сторону. Гриша ужасно перепугался: принялся кричать

на весь двор, умоляя нежнейшими эпитетами, чтоб я его снял; но я безжалостно хохотал и вдобавок позвал к себе Гранжера, до тех пор стоявшего неподвижно: собака повиновалась, вопли Гриши усилились, он начинал терять равновесие, покачнулся и полетел вверх ногами на траву... Не успел я опомниться, как Гриша молотил уже меня кулаками, продолжая реветь громче прежнего. Вместо того, чтоб взять за правило: не дразнить ребенка, способного приходить в такое исступление, — это сделалось любимой забавой. Вина непростительная! Непрерывный ряд таких увеселительных сцен продолжался почти до шестилетнего возраста бедного Гриши. Изобретательность в содержании их была неистощима! Одним из самых употребительных был следующий фарс: коверкая лицо и язык на немецкий лад, в чем я был большой искусник, я прикидывался немцем и весьма серьезно и долго уверял, что я колонист из Сарепты, когда мы жили еще в деревне, или булочник Дромер, когда мы уже переехали на житье в Москву. Ребенок, озадаченный таким превращением, обыкновенно начинал смехом и словами: «Нет, вы не немец, вы отесинька». Неутомимое продолжение фарса доводило его до слез, и, наконец, он выходил из себя. Последняя проделка в этом роде, когда Грише было уже около шести лет, наконец, вразумила меня. Гриша, выведенный из терпения моими убедительными доказательствами, что я немец Дромер, дал мне полновесную пощечину, примолвя: «а когда вы не отесинька, то как смеете лежать на его постели?» Туман слетел с моих глаз, и хотя я хорошо понимал, что Степан Михайлович 1780-х годов невозможен в 1840-х, что пылкость души, проникнутой образованием и семейной любовью, есть живописный источник всего прекрасного, благородного и высокого, но испугался, однако, за последствия, которым может подвергнуть молодого человека такая горячность. Кончилась забава, перестали дразнить Гришу и свои и чужие, отдохнуло мое бедное дитя. Разумеется, природная вспыльчивость оставалась, но, не раздражаемая более, уже не проявлялась в прежних безумных выходках. Так шли дела, пока наступило время отдать Гришу в Училище правоведения, только что открытое в Петербурге. Я всегда не

любил этот не русский город, весь состоящий из казарм и присутственных мест, из солдат и чиновников; еще более не любил его воспитательные и учебные заведения; но необходимость доставить сыновьям практическое, служебное направление и выгодную дорогу по службе — решила меня на эту жертву. Дети мои были связаны такими крепкими узами семейной любви, что я не боялся вредного впечатления, систематически губительного петербургского воспитания; к тому же сыновья мои вступали в учебное заведение по пятнадцатому году, а Гриша вступил даже по шестнадцатому. В 1863 году я отвез его в Петербург, и он вошел прямо в четвертый класс, тогда старший. Только при расставанье узнал я всю силу Гришиной любви ко мне и семейству, которого я был тогда единственным представителем. Никогда не забуду я его глаз, устремленных на меня с любовью и тоскою наступающей разлуки...

Прощаясь, он дал мне слово: в первую минуту вспыльчивости — вспомнить об отце и матери.

Он сдержал свое слово: через несколько месяцев один из коротких моих приятелей (А. Ф. Томашевский) привез мне секретное письмо от Гриши и отдал потихоньку от матери, которая не знала об этом письме до выхода Гриши из училища. Письмо сохраняется у меня и теперь. Опасаясь, чтоб слухи или извещение директора не встревожили нас, Гриша описал мне весьма подробно случившееся с ним происшествие. Оно состояло в следующем. Старший класс гулял в своем саду; к одному из воспитанников приехали мать и сестры, которые показались некоторым почему-то весьма забавными, и молодые люди позволили себе посмеяться над дамами неприличным образом. Гриша был также в саду и ходил, обнявшись с двумя товарищами. Все трое не только не участвовали в дерзости воспитанников, но, напротив, старались их удержать. Когда история дошла до директора, человека ничтожного, пустого, то разумный педагог наказал весь класс, кроме Гриши.

Благородная душа моего сына не вытерпела. Он явился к директору и сказал: «Ваше превосходительство приказали наказать весь старший класс, даже и тех двоих моих товарищей, с которыми я вместе ходил и

которые, точно так же, как я, не участвовали ни в чем; а потому я прошу, прикажите также наказать и меня».

Вместо того, чтобы как-нибудь поправить свою ошибку или по крайней мере, оценив такой благородный порыв, сказать молодому человеку, что не его дело вмешиваться в распоряжение начальства и прочая и прочая... г. директор, уязвленный в душе благородным чувством и словами моего Гриши, изволил прогневаться, назвал его бунтовщиком, вольнодумцем и погрозил телесным наказанием и солдатством на Кавказе...

Вся кровь прихлынула к сердцу и голове моего сына; в глазах у него потемнело, он уже терял сознание и власть над собою, и бог один знает, что бы он сказал и сделал, если б мгновенно не озарила его мысль об отце и матери. Гриша удержался, но весь пыл его оскорбленного сердца выразился в его взгляде!.. Таков был этот взгляд, что трусишка директор не вынес его более секунды и убежал, вскрикнув: «Ах, он сумасшедший!»

Гришу велели отвесть в больницу, раздели и посадили в пустую комнату под арест. Он повиновался беспрекословно; заставили просить прощенье (бог знает в чем) у директора — он все исполнил. Мысль об отце и матери уже ни на минуту его не оставляла. Но, боже, чего стоило ему переломить себя и усмирить свое оскорбленное сердце!.. Только сыновняя любовь могла произвесть такое чудо. Впоследствии, работая беспрестанно над собою, Гриша совершенно овладел своим характером... О, сильна и благонадежна любовь такого сердца! Глубокое чувство, безграничная преданность, полное самоотвержение и неизменное постоянство лежит в основании этой пылкой души...

НАТАША

(Очерк помещичьего быта)

В первых годах первого десятилетия текущего, богатого великими событиями, девятнадцатого века, стало быть с лишком за пятьдесят лет, в одной отдаленной от столиц полустепной и полулесной губернии, соседственной с настоящими коренными нашими лесными губерниями, Пермскою и Вятскою, в совершенном захолустье, жило богатое и многочисленное дворянское семейство Болдухиных в пятисотдушном селе Вознесенском, Болдухино тож; жило в полном смысле по-деревенски. Старики, не получившие никакого образования, разбогатевшие недавно и совершенно неожиданно, не привыкли еще пользоваться и распоряжаться как следует всеми средствами настоящего своего богатого состояния. В иных случаях тратились они без надобности и бросали деньги, как говорится, на ветер, так что добрые люди посмеивались и думали про себя, а некоторые, может быть, и говорили: «Дешево деньги достались; цены и счету им не знают». В иных случаях же, именно в таких, в которых не надо жалеть денег, Болдухины были скуповаты, и вот те же добрые люди говорили про себя, а некоторые, может быть, и вслух, что: *не рука крестьянину калач есть* и что не смыслят Болдухины, где денежку надо приберечь и где бросить. Впрочем, следуя духу времени, начинавшему пробиваться до границ

таких губерний, где зимой частехонько замерзает ртуть, Болдухины желали доставить *воспитание* своим детям и для того не жалели денег. Разумеется, успех (понимая его в нашем смысле) не соответствовал желанию и значительной денежной трате, потому что не только трудно, но почти невозможно было затащить в такую отдаленную глушь хороших учителей и учительниц; учительницы, или *мадамы*, как их тогда называли, были необходимее учителей, потому что в семействе Болдухиных находилось пять дочерей и четверо сыновей; но все братья были дети, были почти погодки и моложе своих сестер. Старшей из них, Наташе, совершенной красавице, тогда было четырнадцать лет. Итак, родители ограничились тем, что выписали через какого-то корреспондента, печатно уверявшего в газетах о своей честности, какую-то мадам де Фуасье и какого-то мусье, старого капитана австрийской службы Морица Иваныча Шевалье де Глейхенфельда, и поручили им учить детей всем наукам и искусствам. Старая француженка мадам де Фуасье, не знавшая никаких языков, кроме французского, умела только ворожить на картах и страстно любить свою огромную болонку Азора, у которого были какие-то странные черные, точно человечьи, глаза, так что горничные девки боялись смотреть на Азорку. Шевалье де Глейхенфельд, нидерландский уроженец, «Морс Иваныч», как его звала в доме прислуга, знал основательно два языка — французский и немецкий, неосновательно — латинский, да четвертый еще — составленный им самим из всех европейских языков и преимущественно из польского и других славянских наречий, потому что капитан долго служил в австрийской армии и много таскался по австрийским славянским владениям. Вот образчик его речей на этом составном языке. Хотел ли он назвать кого-нибудь глупым, он говорил: «Он има на свой глува шанки, ирбата и слома», то есть он имеет в своей голове сено, траву и солому. Разговоры называл говрианье, сказки — кишкерес, вора — двур, девушку — кобитка и пр. Сверх того он был большой проказник, иногда называл барыню — баранина, притворяясь, что не умеет различать этих слов. Так, например, один раз при гостях за обедом, будучи

недоволен, что мало осталось жаркого на блюде, он с досадой отказался от него. Г-жа Болдухина, заметив это, в простоте души обратилась к нему с вопросом: «Отчего, Мориц Иваныч, вы не взяли жареного?..» — «Оттого, моя сударыня баранина, — отвечал капитан, — что ту нема кусок на мой густо». Г-жа Болдухина покраснела до ушей с досады, гости расхохотались, у лакеев искривились лица от сдержанного смеха, а Морс Иваныч с видом невинности начал допрашивать: не сказал ли он чего-нибудь смешного? Кавалер де Глейхенфельд тоже ворожил, но по звездам, и составлял гороскопы, взлезая для наблюдения по ночам на колокольню. Странно, что, на смех здравому смыслу, некоторые из его гороскопов впоследствии оказывались поразительно верны. Разумеется, его считали колдуном и даже побаивались. Он очень любил одного из сыновей Болдухиных, смуглого лицом мальчика, и называл его: «Черный попа». Перед Наташей он благоговел.

Сначала ученье шло, казалось, хорошо; но года через два старики стали догадываться, что такие учителя недостаточны для окончательного воспитания, да и соседи корили, что стыдно, при их состоянии, не доставить детям столичного образования. Болдухины думали, думали и решились для окончательного воспитания старших детей переехать на год в Москву, где и прежде бывали не один раз, только на короткое время. Впрочем, была и другая побудительная причина к отъезду в древнюю столицу.

С половины лета начались сборы; старики не умели понять, что в Москве нужно только побольше денег и как можно меньше народу. Они нагрузились всякою всячиною, набрали кучу ненужных вещей, запасов и людей; разумеется, за все это они дорого поплатились.

В последних числах сентября, еще в хорошую, или по крайней мере сносную, осеннюю погоду, довольно рано поутру выехали из села Болдухина две кареты, две коляски, несколько кибиток и телег, навьюченных донельзя. Весь этот обозище отправлялся на своих доморощенных господских лошадях, числом не более, не менее на тридцати семи конях. Не успели отъехать и пятнадцати верст, как семилетний мальчик Петруша,

старший из сыновей Болдухиных, фаворит и баловень Варвары Михайловны (так звали г-жу Болдухину), которого повезли уже нездоровым, в надежде, что дорогой будет ему лучше, — так разнемогся или по крайней мере так расплакался (ехать в Москву ему не хотелось), что испуганные родители решились воротиться домой.

В селе Болдухине общее удовольствие по случаю отъезда господ в Москву на долгое время находилось в самом разгаре. Многочисленная дворня, проводя до околицы своих помещиков со многими вздохами и слезами, толпою возвращалась домой, рассуждая между собой, зачем уехали бары в Москву. «Видно, денег некуда девать, — говорил, хрипя от одышки, старый ключник Иван Маркыч, — ну, чего не видали в Москве? Ну, где им найти житья лучше, как в Болдухине?» — «Это все она, — подхватила молодая смазливая прачка, сосланная недавно за что-то из горничных в людскую стирать белье. — Барин бы век не выехал из деревни; это все ей, барыне, не сидится дома, она же и дочку подбила». — «Ну, где тебе, глупой бабе, это разуметь, — возражал старый буфетчик, купленный лет за десять Болдухиными. — Можно ли прировнять московскую жизнь к вашей? Здесь глушь, Азия, татары, черемисы да вотяки. Кого здесь увидишь? А там, на Москве у нас, церквей божиих не сочтешь; енералов и всяких важных господ видимо-невидимо, а к тому же и деток надобно обучать...» В таких-то приятных и поучительных разговорах дошла дворня до своих изб, клетей и амбарушек и, разбившись на кружки, принялась пировать на свободе. Хотя помещики были люди не строгие, а добрые и даже слабые, но все как будто гора у всех свалилась с плеч и всякий строил в голове планы, как бы сначала повеселиться, а потом повыгоднее проводить свое досужее время.

Вдруг какой-то зоркий мальчишка заметил показавшиеся на горе высокие экипажи; их сейчас узнали, и тревожная весть: «Господа воротились» — как молния пронеслась по всем людским, избам, ткацким, столярным, прачечным, — и везде сделалась большая суматоха. Кто мог, побежал навстречу, а кто не мог — те попрятались, наказав отвечать господам, если спросят: что приказчик

уехал, дескать, по хозяйственным господским надобностям в соседнюю деревню, что ключник угорел в бане, старый буфетчик отлучился поохотиться с острогою за рыбою верст за шесть, и пр. и пр.

Но все опасения были напрасны и все предосторожности не нужны. Хозяева воротились в таком смущении, что не обратили ни на кого ни малейшего внимания. Смущение происходило оттого, что старик Болдухин (в самом деле неохотно ехавший в Москву) сказал наотрез своей супруге и дочери при решении воротиться домой, что, по выздоровлении Петруши, хотя бы оно и через неделю последовало, поздно будет пускаться в такой дальний путь; что в октябре уже не езда на своих по проселочным дорогам и что ехать надо будет уже по зиме. Из этого вышел горячий и неприятный спор, и все воротились очень невеселы, особенно мать и старшая дочь Наташа, шестнадцатилетняя необыкновенная красавица. И матери и дочери, по каким-то неведомым, инстинктивным причинам, очень хотелось в Москву, и, войдя в дом, прошли они прямо в спальню г-жи Болдухиной и принялись обе плакать.

Экипажи оставили у лакейского подъезда и у девичьего крыльца; лошадей приказано было отложить, а лакеям и горничным выбирать из карет и повозок только необходимое для ночлега, из чего можно заключить, что барыня надеялась на скорое выздоровление Петруши. Кучер Трофим, выпрягая коренных из четвероместной кареты, крепко сердился на форейтора Сидорку: «Счастлив ты, собачий сын, что воротились,— говорил он хриплым басом. — Я бы на первой кормежке нагрел те спину. Вишь, как упарил подседельную! Разве я те не кричал: держи, не давай натягивать постромок?» — «Да кто ее, дядюшка, сдержит? — раздавался пискливый и плаксивый голос форейтора. — Ведь ты сам знаешь, какова она в голове-то крепка: все руки вытянула...» — «Я те вытяну. Ну, ну, ну, веди лошадей-то твоих», — ворчал Трофим (человек не злой, но любивший припугнуть форейтора Сидорку), уводя в конюшню четверку вспаренных коней. Лакеи и горничные принялись выбираться; кое-кто из остававшихся дворовых прибежали помогать им, и со всех сторон посыпались

шутки и прибаутки по случаю неудачной поездки и скорого возвращения: «Ну что, хорошо ли в Москве? Чай, всего нагляделись!» — говорили одни, оставшиеся в деревне. «Мы-то ничего, — говорили воротившиеся, — а вот вам-то каково! И погулять не успели. Да где у вас остальные-то? Али с радости угорели?» — «Ну, нишкни, что орешь! Вон барин на крыльце...» Барин в самом деле вышел на крыльцо для каких-то приказаний... В самую эту минуту раздался колокольчик, и телега парой, шибко приближаясь и звеня, въехала на двор; проворно соскочил с нее никому не известный, одетый как барин, какой-то молодой малый, спросил, дома ли господа и где они, и когда указали ему, что господин стоит на крыльце, приезжий подошел к барину, снял дорожный картуз, поклонился, подал письмо и сказал: «Флегонт Афанасьич, Мавра Васильевна и Афанасий Флегонтович Солобуевы приказали кланяться, спросить о здоровье и доложить, что они приехали и остановились в Вырыпаевке». Хозяин очень смутился, спросил, однако, о здоровье Солобуевых и, взяв письмо, торопливо ушел в дом. Входя в спальню с письмом в руке, Болдухин сказал торжественно: «Ну вот, матушка, хорошо, что воротились: ведь Солобуевы приехали. Ведь было бы стыдно, если б не застали нас. Ведь я говорил, что приедут». Мать и дочь обе вскрикнули и вскочили, подумав, что Солобуевы у крыльца, и сейчас вспомня, что они одеты по-дорожному; но Василий Петрович (так называли старика Болдухина) поспешил их успокоить, сказав, что гости ночуют за двенадцать верст, и прислали передового с письмом. Поспешно прочли письмо, содержавшее в себе только извещение о завтрашнем приезде (написанное конторским слогом и почерком). Разумеется, приезд последовал вследствие приглашения самих Болдухиных, сделанного еще прошлого года, которое считали несбыточным и о котором почти забыли. Хозяева не вдруг опомнились от такого, уже вовсе неожиданного и позднего посещения, которое застало их совершенно врасплох, совершенно не в пору, но делать было нечего. Сообразя несколько свое положение, Болдухины прежде всего призвали к себе в залу нарочного, присланного с письмом, расспросили его самым ласко-

вым образом о здоровье его господ и о том, благополучно ли они совершили такую дальнюю, трудную дорогу. Сказали, между прочим, как они рады таким дорогим и почтенным гостям, госпожа же Болдухина между ласковыми речами вклеила и вопрос: отчего Флегонт Афанасьич, Мавра Васильевна и Афанасий Флегонтович не прибыли летом, а пустились в путь уже в позднюю осень? Бойкий и хвастливый лакей, камердинер молодого Солобуева, сейчас смекнул, с кем имеет дело, закидал словами наших деревенских стариков и умел напустить им такой пыли в глаза рассказами о разных привычках и привередах своих богатых господ, что Болдухины перетрусились и не знали, как принять, где поместить и как угостить хотя не знатных, но страшным богатством избалованных и изнеженных посетителей; на вопрос же Варвары Михайловны, отчего так поздно приехали Солобуевы, камердинер отвечал: «Всё изволили сбираться и до последнего дня не решались, ехать или нет-с. Ведь Флегонту Афанасьичу отлучиться не то, что другому-с; в ихних делах может сделаться в одну неделю упущение на мильон или более-с (лакей не пугался цифры); окроме же того, они привыкли везде жить, как живут у себя дома; все с собой забрали-с, и людей себе приятных, и мухобилей, к которым привыкли. Мы едем-с в трех каретах, двух колясках и в двадцати повозках; всего двадцать пять экипажей-с; господ и служителей находится двадцать две персоны; до сотни берем лошадей. Флегонт Афанасьич очень знают-с, что в доме поместиться им с семейством невозможно: и вам и им-с будет беспокойно, а потому приказали просить, если нет особого флигеля для их помещения, очистить десятка два-с крестьянских изб. Хозяева останутся довольны-с». — Покуда объяснялись и ласково беседовали с камердинером, успели приготовить для него кое-что поесть, потому что в этот день ни для господ в кухне, ни для людей в застольной ничего не готовили: остававшуюся в Болдухине дворню всю спустили на месячину. Потом напоили приезжего господским чаем с ромом, и потом сам Болдухин пошел с ним осматривать флигель, никем кроме приезжих гостей не занимаемый, а также и людские избы. По счастью,

камердинер благосклонно объявил, что флигель очень достаточен для временного помещения его господ и что если очистить несколько людских изб, то и служители поместиться в них могут. Старик Болдухин очень был доволен таким отзывом. Камердинер просил немедленно его отправить. Привезшая его вырыпаевская пара, нанятая с оборотом, вместе с подводчиком была накормлена и напоена: лошадки — водой, а подводчик — вином. Болдухины написали самое ласковое письмо к Солобуевым, просили камердинера на словах передать их радость дорогим гостям, буфетчик поднес ему третью рюмку сладкой водки, — и опять зазвенел колокольчик, застукала телега, подняв за собою пыль вдоль длинной болдухинской улицы, и уехал бойкий камердинер. Боже мой! Какая суматоха, какая кутерьма поднялась в целом доме! Надо было не только выбраться из дорожных экипажей, разложиться по местам, привесть и кухню и буфет в прежний порядок, — надо было все устроить для помещения, для угощения приезжих гостей, богачей, мильонщиков, у которых и прислуга одевается и живет по-господски! Дым пошел коромыслом... Но не пора ли мне воротиться назад и рассказать, что это за Солобуевы, как они познакомились с Болдухиными и что значит их посещение?

В Оренбургской губернии находятся серные источники, получившие впоследствии всем известное имя «Сергиевских серных вод». Тогда это было дикое место на нагорной стороне степной реки Большой Сургут. Серные ключи били из подошвы небольшой горы и ручьями втекали в огромный четвероугольный, крепко срубленный из толстых дубовых бревен бассейн, построенный необычайно прочно и почти до краев наполненный осевшею серою. Старожилы говорили, да и местность это подтверждала, что тут был некогда серный завод, уничтоженный будто бы в последние годы царствования императрицы Елизаветы. Лично мне рассказывали, что когда расчищали серные ключи, то находили дубовые клинья, чурбаки и доски, обернутые в войлок, которыми были крепко заколочены главные источники, отчего вода, прегражденная в своем истоке, просачивалась вокруг множеством маленьких родников.

Очевидно, что завод был уничтожен за мнимым, то есть искусственным, уменьшением серных ключей. Кому это было нужно, — не знаю. Из бассейна бежала речка и впадала в Сургут. По отлогим скатам, в ущельях которых, избитых шахтами, росли разные породы чернолесья, в живописном беспорядке были разбросаны калмыцкие кибитки, палатки, плетневые шалаши и кое-где избушки, перевезенные из ближайших чувашских деревень. Помещики, даже из дальних мест, начинали уже каждое лето съезжаться на воды. Никаких докторов и полицейских чиновников там еще не было, а был некто Петр Андреич Глазов, оренбургский помещик и железный заводчик, открывший эти целебные источники по народной молве, потому что обыватели упраздненного города Сергиевска и окрестные жители, по большей части некрещеные чуваши, не переставали лечиться и вылечиваться от всех болезней питьем прозрачной, холодной, как лед, серной воды и купаньем в ее бассейне. Помещик Глазов, чудесно излеченный ими от долговременной болезни, стал посещать ежегодно целебные источники и сделался ревностным распространителем их славы, приглашая туда словесно всех знакомых и, через письма, даже незнакомых ему людей, доказывая им пользу леченья собственным примером. Он сделался каким-то хозяином, полицейским чиновником и доктором при Серных Водах: всякий новоприезжий являлся к Петру Андреичу, спрашивал, где ему разбить свой табор, рассказывал про свою болезнь и просил наставления, как употреблять воду? Петр Андреич отводил места, назначал употребление целебной воды, даже указывал, где брать дрова и откуда получать съестные припасы; все с уважением и благодарностью в точности исполняли его благодетельные советы.

Болдухины имели на Серных Водах самую лучшую избу, которую называли дворцом, потому что Варвара Михайловна, женщина тучная, но болезненная, несмотря на отдаленность (надо было проехать с лишком триста верст), уже несколько лет приезжала туда с мужем и старшими детьми лечиться целебными ключами. В прошедшем году Болдухины жили лето на Серных Водах.

Кочевой быт скоро знакомит и сближает людей, а потому и Болдухины были знакомы со всеми.

В один знойный летний день, когда душно было сидеть и в избе, и в палатке, и в калмыцкой кибитке, несмотря на то, что боковые кошмы были подняты и воздух свободно проходил сквозь решетчатые стенки войлочного шатра, семейство Болдухиных сидело с несколькими посетителями в тени своей избы и, не смущаясь жаром, готовилось пить чай, тогда еще не запрещенный докторами, потому что их не было. Вдруг видят они проезжающие мимо крестьянские роспуски, на которых, на груде подушек, покрытых богатым ковром, высоко сидел большого роста, никому не знакомый, очень тучный старик. Вид его поразил всех; на голове его была надета черная пуховая шляпа с широкими полями; длинные седые волосы лежали по плечам; крупные черты лица были выразительны; одет он был в темный сюртук; в руках держал камышовую трость с золотым набалдашником. Старик проехал очень близко, снял шляпу, поклонился и, тихо удаляясь на своих роспусках, с напряженным вниманием долго смотрел на изумленных Болдухиных. Не успели они переговорить с своими гостями о странном появлении неизвестного старика, как он в другой раз проехал мимо, уже с противоположной стороны, так же поклонился и так же внимательно смотрел на всех. Некоторые начали посмеиваться над загадочным незнакомцем и вторичным его поклоном; хотели было послать разведать, кто этот чудак и откуда?.. как вдруг в третий раз показались те же роспуски, с тем же высоким седоком, только уже не проехали мимо, а, поровнявшись, остановились; кучер слез с передков и, сняв шляпу, подошел прямо к старику Болдухину, поклонился и почтительно доложил, что господин его, Флегонт Афанасьич Солобуев, свидетельствует свое почтение и, желая познакомиться, просит позволения прийти к хозяевам и разделить беседу. Разумеется, Болдухины приказали покорнейше просить. Подходивший кучер был одет, как богатый купец, и сам по себе представлял великолепную тучную фигуру, украшенную чудесной русой бородой. Один из гостей вспомнил, что слышал вчера о приезде на воды издалека каких-то

богачей, заводчиков Солобуевых. Незнакомый старик не замедлил явиться. С большою важностью и в то же время вежливостью и старинными поклонами он отрекомендовался всему обществу и каждому порознь; подходил даже к Наташе, спросил об ее имени и просил полюбить старика. Новый гость уселся с другими около стола, на котором уже кипел самовар, и пустился говорить без умолку. Он попросил позволения закурить трубку, и великолепный кучер подал ему богатую пенковую трубку с витым чубуком и огромный кисет табаку, который более походил на мешок или кулек; гость закурил и, попивая чай и куря без перемежки, в короткое время рассказал всю свою историю, со всеми даже подробностями. Это был велеречивый говорун; его речь лилась, как плавный поток, имела в себе что-то книжное и высокопарное и в то же время что-то добродушное и достолюбезное. В непродолжительном времени общество узнало, что он старинный дворянин, владелец нескольких чугуноплавильных и железоделательных заводов и помещик многих деревень; что он уже тридцать восемь лет женат на Мавре Васильевне, урожденной Савиновой, что бог благословил его брак тремя дочерьми и одним сыном, которому уже двадцать пять лет, что дочери его выданы замуж и что он приехал лечиться на Серные Воды от одышки (которой никто у него не замечал). Хотя старик не поминал о деньгах, но все как-то почувствовали, убедились, что у него в сундуке лежат миллионы. Потом следовали бесконечные рассказы старика о достоинствах его жены и сына, о превосходном состоянии его заводов и пр. и пр. Сначала все слушали со вниманием и любопытством; даже Наташа опускала из рук свою работу и устремляла на старика свои прекрасные глаза. Старик это замечал и нередко обращал прямо к ней свою речь с каким-то особенным выражением, отчего Наташа смущалась и, скромно потупляя глаза, поспешно принималась за работу. Наконец, гость утомил и заговорил всех; вероятно, он это заметил, встал, раскланялся со всеми с великою учтивостью, с Наташей особенно, и, выпросив позволение привести свою старуху и представить сына, ушел.

Болдухины поговорили сначала о новом знакомом и хотя хвалили доброго старика, однако находили, что он подчас и скучноват, потому что слишком любит распространяться о своих заводах, о заводских делах, о своем сынке, так что другим приходится молчать и слушать; поговорили и забыли про своего велеречивого гостя. Через неделю, возвращаясь с Серных источников, где Варвара Михайловна пила холодную, прозрачную, как хрусталь, воду прямо из родника и для компании заставляла пить Наташу, цветущую свежестью и здоровьем, вздумали Болдухины, для большего телодвижения, пройти другою, окольною дорогой. Вдруг из одной новой избы, мимо которой шла дорога, прежде никем не занятой, выбежал лакей с покорнейшею просьбою от Флегонта Афанасьича и Мавры Васильевны Солобуевых, чтоб Болдухины удостоили их своим посещением. Отказаться показалось неловко, да и было совестно, что Василий Петрович забыл отдать визит старику Солобуеву, а потому, хотя и неохотно, Болдухины решились зайти к новым посетителям вод, а Наташу отпустили домой с гувернанткой. Только что Болдухины начали рекомендоваться с хозяйкой, как Флегонт Афанасьич хватился Наташи: он видел, что она шла вместе с отцом и матерью. Старик принялся так усердно просить и кланяться вместе с женой, чтоб воротили Наташу, хотел сам идти за нею, что Болдухины не могли отказать горячим просьбам хозяев и послали своего лакея сказать гувернантке, чтоб она с барышней воротилась. Наташа пришла; щеки ее от ходьбы разгорелись, и она была поистине чудно хороша. Солобуевы не знали, как приласкаться, как чествовать и где посадить своих гостей. Явился сын, молодой человек небольшого роста, бледный, худой, с каким-то стариковским выражением в чертах лица, впрочем весьма приятного, с какой-то лихорадочной живостью в глазах и быстротой в движениях. Он говорил принужденно и скоро, на Наташу почти не взглянул, и Наташа его даже не заметила; ею занимался с увлечением старик Солобуев: говорил почтительные похвалы и любезности, потчевал конфектами, мороженым, фруктами, которых надо было доставать за сто верст, — и добродушная Наташа,

видя к себе такое внимание и любовь от старика, сердечно его полюбила. Несколько раз Болдухины собирались домой, но Солобуевы так усердно кланялись, так усердно просили «посидеть еще немножко», что Варвара Михайловна хотя внутренне сердилась, но отказать таким просьбам не имела духа. Надобно признаться, что во всех этих учтивостях и ласках, угождениях и угощениях слышалось что-то купеческое и тягостное. Наконец, Болдухины решительно распрощались и ушли; старик Солобуев с сыном провожали дорогих гостей до половины дороги, и едва упросили их Болдухины, чтоб они воротились домой. Василью Петровичу и особенно Варваре Михайловне не понравились ни старуха, ни сынок: Мавра Васильевна показалась им безответной купчихой, а Афанасий Флегонтович — хворым и невнимательным вертопрахом; о старике Солобуеве они отзывались благосклоннее, а Наташа хвалила его от всей души, как умела, и сказала, что она полюбила его, как родного. Дня через два старики Солобуевы приезжали к Болдухиным шестерней в карете, а сын их, в одно время с ними, — четверкой в коляске, но хозяев не застали дома. Такой парад был очень смешон, и все водное население смотрело на него, как на забавное чудачество: на водах все попросту ходили друг к другу пешком или ездили на домашних дрожках и долгушах. Старика Солобуева, с распущенными белыми волосами по плечам, прозвали на смех водяным старцем, и одна только Наташа огорчалась этой шуткой, очень горячо защищала и хвалила доброго старика.

Чрез неделю, по каким-то особенным хозяйственным обстоятельствам, Болдухины собрались в несколько часов и, ни с кем не простившись, уехали с Серных Вод. Так кончилось знакомство их с Солобуевыми.

Воротясь в свое село, что было в исходе июля, Болдухины занялись своим деревенским хозяйством и совершенно забыли про богачей Солобуевых, с которыми так оригинально познакомились на Сергиевских Водах. Одна Наташа сохраняла в доброй и благодарной душе своей теплое и свежее воспоминание о старике Солобуеве, Флегонте Афанасьиче.

В продолжение этого года красота Наташи, старшей дочери Болдухиных, достигла полного своего блеска. Ей исполнилось шестнадцать лет. Я не стану описывать черты ее прекрасного лица, цвета ее глаз и волос; скажу только, что она была так хороша, что всякий, увидав ее в первый раз, невольно останавливался, заглядывался на нее и никогда не забывал. В лице Наташи было то, что гораздо выше, могущественнее самой красоты, — это было выражение душевной прелести, скромности, чистоты, благородства и необыкновенной доброты. Этому выражению нельзя было противиться; человек самый грубый и холодный подвергался его волшебному влиянию и, поглядев на Наташу, чувствовал какое-то смягчение в черствой душе своей и с непривычной благосклонностью говорил: «Ну, как хороша дочка у Василья Петровича!» Одна Наташа, не то чтобы не знала, — не знать было невозможно, — но не ценила и не дорожила своей красотой; она до того была к ней равнодушна, что никогда мысль одеться к лицу не приходила ей в голову; наряд ее был небрежный, и она даже не умела одеться. Наташа имела от природы здравый и светлый ум, чуждый всякой мечтательности, но нисколько не развитый ни ученьем, ни образованием, ни обществом. Чему было научиться от старухи гувернантки Фуасье, которая плохо знала грамоте по-французски? Какого развития можно было ожидать от постоянных бесед с нею, когда ее собственное развитие было нисколько не выше, если не ниже, развития Евьеши, Наташиной горничной? Г-жа Болдухина, сама не получившая никакого образования, была женщина не глупая и горячая; но она держала Наташу до сих пор в совершенном отдалении и только недавно начала приближать к себе. Наташа имела глубоко нежное сердце, но без всякого нежничанья, и сентиментальность по инстинкту ей была противна. Доброта ее была беспредельна и вполне развита от самых детских лет. Много чужих вин перебрала она на себя и много за них вытерпела от вспыльчивой и долго не любившей ее матери. Без преувеличенья можно сказать, что весь дом смотрел на нее как на ангела. Во многом Наташа была беспечное дитя; можно было подумать, что она и останется такою. Впереди не было надежды на образование;

но суровая школа жизни, с мудрыми своими уроками, ждала ее у порога родительского дома.

Прошел август, наступил сентябрь; все было тихо и спокойно в селе Болдухине; деревенские занятия и деревенские удовольствия шли своей чередой. Варвара Михайловна Болдухина хозяйничала по своей части, то есть заботилась о приготовлении впрок всяких домашних запасов: соленья, моченья, сушенья; много было насушено ягод и грибов, много наварено варенья, много заготовлено разных пастил, медовых и сахарных, на окошках и лежанках много наставлено бутылей с разноцветными наливками. Хозяйство Василия Петровича было поважнее, посущественнее: давно убрались с огромным количеством сена, кончили ржаное жнитво, началась и возка ранней, лучшей ржи, дожинали яровое. Шевалье де Глейхенфельд и мадам де Фуасье усердно занимались ученьем детей. Наташа, которую за доброту, а может быть и за красоту, все в доме чуть не обожали, начиная с мусье и мадам до последнего слуги и служанки, спокойно и беззаботно проводила время, хотя не имела никакой склонности к деревенским занятиям и удовольствиям, не любила даже гулять и как-то не умела восхищаться красотами природы; училась она не слишком прилежно, но в то же время и не ленилась. Не думая о своей наружности, не думая никому нравиться, она, казалось, хорошела с каждым днем.

Вдруг однообразное, невозмутимое спокойствие деревенской жизни Болдухиных было возмущено следующим обстоятельством: привезли, по обыкновению во вторник, письма и «Московские ведомости» из уездного городишки Богульска, отстоявшего в сорока пяти верстах от села Болдухина. Известно, что получение почты весьма приятное и даже важное событие в деревенской глуши. Василий Петрович, взяв все шесть полученных писем и газеты, отправился в спальню к Варваре Михайловне, чтоб там распечатать их и вместе прочесть. Варвара Михайловна, как женщина, была более любопытна, да и характером поживее, чем ее супруг. Она сейчас перебрала все конверты и нашла два письма, надписанные неизвестною рукою и запечатанные неизвестными

печатями, а потому захотела прочесть их прежде других писем. Василий Петрович распечатал одно и читал следующее:

«Милостивый государь Василий Петрович и милостивая государыня Варвара Михайловна! Имев честь и удовольствие познакомиться с вами и любезнейшею дочерью вашею, Натальей Васильевной, сего текущего года, в прошедшем июле месяце, на Серных Водах, мы с Маврой Васильевной, а равно и сын наш, Афанасий Флегонтович, по внушению божию, возымели непреложное намерение достигнуть счастья, породниться с вами. Наидостойнейшая, наилюбезнейшая и наипрекраснейшая дочь ваша, Наталья Васильевна, с той самой поры, как я, старик, ее впервые увидел, показалась мне божиим благословением для нашего сына, о коем я молился и молюсь и денно и ночно господу богу. Старуха моя и сын то же ощутили, когда увидели Наталью Васильевну. Итак, милостивые государи, рекомендуя вам нашего единственного сына и единственного наследника всех моих имений и капиталов (ибо дочери мои при замужестве отделены и награждены; ценность же моего состояния может простираться до семи мильонов рублей), просим у вас руки достолюбезнейшей Натальи Васильевны для нашего сына. Если господу будет угодно благословить наше желание и получить ваше родительское согласие, а равно и согласие любезнейшей дочери вашей, то заверяю вас клятвенным обещанием, что все дни живота моего будут направлены на то, чтобы день и ночь заботиться о том, чтоб каждое желание Натальи Васильевны угадывать и исполнять, и все мое счастье будет состоять в том, чтоб она была счастлива, в чем, при помощи милосердного творца, надеюсь успех получить.

На сие письмо наше просим благосклонности и неукоснительного ответа. Поручая себя, мою старуху и сына нашего, Афанасия Флегонтовича, вашему милостивому благорасположению, с чувствами совершенного почтения и преданности имеем честь быть, — милостивые государи, вашими покорнейшими слугами *Флегонт Солобуев, Мавра Солобуева, Афанасий Солобуев*».

Хотя сватовство к такой красавице, как Наташа, могло назваться делом весьма обыкновенным, но Болдухины были им озадачены и удивлены. В их глазах шестнадцатилетняя Наташа была еще девочкой, а не невестой. Много людей восхищалось ее красотой, но формальное предложение получила она в первый раз, да еще от какого богача! Они вторично прочли оригинальное письмо, и у Варвары Михайловны, несмотря на то, что богатство жениха сильно ее подкупало, вырвалось несколько неблагосклонных отзывов. «Вот еще, — говорила она, — отдать дочь за пятьсот верст на чугунные заводы, в вятские леса. Да и жених какой-то хворый и никакого внимания на Наташу не обратил. Это старику она понравилась, он ее боготворит, он и дело ладит. Флегонт Афанасьич, конечно, хороший человек, ну и Мавра Васильевна добрая женщина, и, конечно, будут Наташу на руках носить, а сына их мы вовсе и не знаем...» Нить таких рассуждений была прервана любопытством прочесть другое неизвестное письмо. Василий Петрович распечатал его и читал следующее:

«Милостивый государь Василий Петрович и милостивая государыня Варвара Михайловна!

Позвольте приступить к делу без околичностей. Вы знали моих покойных родителей, изволите знать и меня с сестрой с самого детства; но до последнего свидания нашего на Серных Водах я двенадцать лет не имел чести вас видеть. Наконец, я увидел вас на серных источниках; вы меня не узнали и не могли узнать. Там же я увидел несравненную вашу дочь, Наталью Васильевну, — и с тех пор благородный и прекрасный образ ее живет в моей душе. Внезапный ваш отъезд с Серных Вод, за два дня до которого я туда приехал, лишил меня возможности явиться к вам для засвидетельствованья моего глубочайшего почтения. Привыкнув подчинять мои поступки разуму и не доверяя прочности минутного увлечения, я, со всею силою воли, с лишком два месяца предавался усиленным занятиям, и хозяйственным и умственным, стараясь затмить очаровательный образ вашей дочери; но, наконец, убедился, что это невозможно, что судьба моя решена. Позвольте мне, милостивые государи,

явиться в ваш дом не только как сыну ваших старых знакомых, но и как человеку, который ищет у вас счастия своей жизни, руки вашей дочери. Вы знали меня еще мальчиком; Наталья Васильевна не знает меня вовсе: вам всем нужно познакомиться со мною ближе. Тогда уже от моих личных качеств будет зависеть, признаете ли вы меня достойным назваться вашим преданным сыном, изберет ли Наталья Васильевна меня вечным себе другом, который страстно полюбил ее с первого взгляда.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью честь имею быть вашим, милостивые государи, покорнейшим слугою *Ардальон Шатов*».

Чтение второго письма поразило Болдухиных более первого. Василий Петрович самодовольно улыбался и, наконец, сказал: «Вот какова наша Наташа; вот, как говорится: не было ни деньги, да вдруг алтын. Оба жениха отличные, только Наташа-то не похожа на невесту. Когда она узнает о намерении Ардальона Семеновича, ее и в гостиную не вытащишь». — «Да ей и сказывать не надо, — подхватила Варвара Михайловна. — Ардальон Семенович будет ездить к нам, как к старым знакомым». — «Ну, а что же отвечать Солобуевым?» — спросил Василий Петрович. Варвара Михайловна призадумалась. Семимиллионное состояние сильно тянуло к себе обоих стариков и льстило их тщеславию и любви к богатству; да и кто же его не любит? Они решили не держать этого сватовства в секрете и даже сказать о нем Наташе. Впрочем, они отложили всякое действие по этим письмам до тех пор, покуда обдумают хорошенько, не торопясь, такое важное дело.

Обдумыванье было непродолжительно. На другой же день Варвара Михайловна доказала Василью Петровичу, как дважды два — четыре, что женихов и сравнивать нельзя, несмотря на то, что один в семь раз богаче другого. «Солобуев, — говорила Варвара Михайловна, — увезет Наташу за пятьсот верст в лесную <глушь>, на заводы, из которых и день и ночь полымя пышет, так что и смотреть, говорят, страшно; а Шатов нам сосед, и ста верст не будет до его именья. Он первый жених в нашей губернии, хозяин, даром что молод. До-

ходу, говорят, получает по сту тысяч: будет с них. Один хворый, какой-то сморчок, а другой кровь с молоком и красавец; у одного отец и мать, а другой один как перст; есть сестра, да уже и ту, говорят, женихи сватают. В семью ли выходить под команду свекра и свекрови, или быть полной госпожой в доме?» Тут Василий Петрович не вытерпел и сказал: «Уж это, матушка, не резон. Флегонт Афанасьич и Мавра Васильевна стали бы Наташу, как свежее яичко, на ладонке носить, да и сынок бы никогда не посмел на нее косо взглянуть или ей поперечить. По-моему, так при стариках лучше пожить: добру поучат, да и в хозяйство введут». Разумеется, Варвара Михайловна не согласилась и утверждала, что это всему свету известно, что никто, кроме Василья Петровича, не скажет, будто одинокий жених хуже семейного. Впрочем, на все другие причины Василий Петрович был совершенно согласен, а потому и были написаны два письма: к Солобуевым весьма учтивое и ласковое, что покорнейше благодарят за честь, но что дочь еще ребенок и о замужестве не думает, да и сынка их совершенно не знает; к Шатову письмо было коротенькое: «Благодарим за честь и милости просим».

Болдухины как придумали, так и поступили. Позвали к себе Наташу, и Варвара Михайловна постаралась растолковать ей, что она уже не ребенок, что она уже девушка-невеста, что ей надо более заботиться о своей наружности, глаже причесывать свою голову, лучше одеваться, более обращать внимания на молодых людей, на их с нею обращение и разговоры, и самой быть осторожнее в словах и не говорить всякий домашний вздор, какой придет в голову, а быть со всеми ласковой, внимательной и любезной. Встревоженная и смущенная Наташа плохо поняла первый урок житейской мудрости и со всею искренностью, с детским простодушием отвечала, что она о женихах и думать не хочет, да и на ней никто жениться не думает. Отец с матерью переглянулись, усмехнулись и, чтобы убедить Наташу в противном, прочли ей письмо Солобуевых, с разными примечаниями и объяснениями, разумеется, не в пользу Афанасью Флегонтовичу. Старики ожидали, что Наташа не захочет и слышать о таком женихе, который живет далеко, в

каких-то лесах, который на нее и взглянуть не хотел и которого Варвара Михайловна не преминула назвать хворым и сморчком (это выражение ей понравилось, и она его часто употребляла). Но родители были очень изумлены, когда Наташа призадумалась, прочитав письмо, никакого нерасположения или неприятного чувства к предложению Солобуевых не показала, а тихо и скромно промолвила, что Афанасья Флегонтовича она почти не видала, но что он не показался ей хворым и противным, а, напротив, веселым человеком и что старика Флегонта Афанасьича она так полюбила, что за него согласилась бы выйти замуж...

Болдухины расхохотались, а Наташа как будто огорчилась и спросила: что же отвечали Солобуевым. Ей показали ответ, и она как будто обрадовалась, что в нем не было совершенного отказа, и вдруг, немного подумав, с ясным взором сказала: «Они приедут к нам в Болдухино?» Василий Петрович возразил, что этого быть не может, что никакой жених, не только такой богач, не поедет на смотр за пятьсот верст с тем, что, может быть, ему затылок забреют. Наташа не поняла последнего выражения; ей объяснили; но она осталась при своем мнении, что Флегонт Афанасьич непременно приедет, потому что очень ее любит и что это видно из письма. Старики повторили, что это совершенный вздор, и велели ей идти в свою комнату. Наташа более не противоречила и, уходя, робко попросила письмо Солобуевых, желая прочесть его в другой раз и даже списать. Василий Петрович поглядел на нее с удивлением и отдал ей письмо.

Шатову назначено было приехать через неделю. Варвара Михайловна, которая бог знает почему не благоволила к Наташе до совершенного ее возраста, а с некоторого времени, также бог знает почему, начинала ее горячо любить, которая даже не замечала прежде необыкновенной красоты своей дочери и только узнала о ней по тому впечатлению, которое Наташа стала производить на всех мужчин, Варвара Михайловна, после двух предложений от таких блестящих женихов, вдруг почувствовала материнское тщеславие и особенную нежность. Гордость иметь такую дочь-красавицу росла в ней с каждым днем. Она и просила и требовала, чтоб На-

таша к лицу одевалась, убирала голову, не горбилась (у Наташи точно была привычка немножко горбиться, отчего она казалась сутуловатой); требовала вкуса, уменья, охоты к нарядам — и не видя ничего этого, сердилась и строго поступала с дочерью.

Бедная Наташа! И красота, этот божественный дар, сделался для тебя тяжелым бременем, причиною огорчений и слез! Убедившись, что Наташа не из упрямства, а просто от неуменья не выполняет требований матери, Варвара Михайловна сама принялась одевать и причесывать свою дочь, потому что смолоду г-жа Болдухина имела расположение и вкус одеваться к лицу и щеголевато. Несмотря на то, что требования Варвары Михайловны были, с одной стороны, тяжелы для Наташи, Наташа была очень обрадована тем, что мать стала обращать на нее внимание. Материнские требования г-жи Болдухиной в то же время сопровождались горячими ласками и такою нежностью, какой Наташа никогда не испытывала. Она же, напротив, будучи нелюбимой дочерью, страстно любила мать и хотя по доброте своей не завидовала, но сердечно огорчалась, видя, как ее маменька бывала иногда нежна, заботлива и ласкова к ее братьям и сестрам, особенно к братцу Петруше. Наташа со слезами молилась богу, чтобы мать ее так же полюбила, и готова была на всякую жертву за одно нежное слово своей матери.

Само собою разумеется, что в последнюю неделю перед приездом Ардальона Семеновича Шатова Варвара Михайловна муштровала Наташу уже от утра до вечера. Каждый день она заставляла ее одеваться нарядно, как бы ожидая гостей или выезжая в гости. Наташа удивлялась и ужасно скучала таким принуждением. Она думала избавиться в деревне от вытяжки и корсетов, думала отдохнуть от Серных Вод, и точно начинала отдыхать, как вдруг проклятые наряды пошли в ход больше, чем на Серных Водах! В целом доме происходило общее, хотя не суетливое, охорашиванье, принаряживанье, так сказать: чище мели комнаты, старательнее снимали с потолков паутины, чище стирали пыль с мебели красного дерева, натертой воском; опрятнее одевались лакеи и горничные; подсвечники и люстры были вымыты, намазаны чем-то белым и потом вычи-

щены. Такое беззаконное нарушение патриархальной деревенской беспечности не могло не обратить на себя внимание прислуги и самой Наташи. Ничего не зная, она и все в доме стали кого-то или чего-то ждать. Наконец, в назначенный день, часа за два перед обедом, приехал Шатов в щегольской коляске на шестерне гнедопегих славных лошадей. В этот день уже с раннего утра знала лакейская, девичья и вся дворня, что приедут какие-то важные гости, потому что барыня заказала повару такой стол, какой готовился для гостей только первого разбора; когда же подкатила к крыльцу коляска Шатова, все в один голос сказали: «Это жених приехал».

Ардальон Семеныч Шатов был весьма недюжинный молодой человек. Хотя он пробыл в губернской гимназии только один год, но считался там лучшим учеником в средних классах. Отчего взяли его так скоро — неизвестно. Зато он получил хорошее домашнее образование; у них в доме жил учителем, и теперь продолжал жить уже другом, один малороссиянин, очень умный и научно образованный человек. Разумеется, ученость его была весьма односторонняя, как у всех киевских бурсаков. Каким образом судьба занесла его с юга России на северо-восток — не знаю, но, без сомнения, попал он сюда не по доброй воле. Властолюбивый бурсак еще при жизни старика Шатова сделался оракулом в доме, а по кончине его стал уже полновластным господином. Жить ему было очень привольно: кроме всяких существенных выгод и удобств (а он любил хорошо покушать и выпить стакан старого вина), он мог удовлетворять вполне своей духовной, высшей потребности, мог выписывать книг сколько угодно. Много лет прожив в бедности, он был лишен возможности следить за ходом и успехами просвещения, а потому дорого ценил умственное наслаждение, которое доставляла ему библиотека, собираемая им для молодого Шатова. Он был либерал, вольтерьянец по тогдашнему выражению; философы осьмнадцатого столетия были его единственными божествами. С полною добросовестностью наставник передал своему питомцу все свои знания, все убеждения и верования; как упрямый малоросс, он старался преимущественно развить в Ардальоне (так звал он своего

воспитанника и теперь) *силу воли*, ошибочно или нет предполагая, что ее мало в флегматическом ребенке, — и он успел в том. Как только дорос Ардальон лет до девятнадцати, он начал проявлять силу воли, не всегда слушаясь своего наставника и даже поступая иногда умышленно ему наперекор, хотя был очень к нему привязан. Так, например: наставник, любя, одобряя и поощряя в других ружейную охоту, ненавидел псовую, не мог видеть борзой собаки; а воспитанник, будучи в то же время страстным стрелком, завел огромную псарню и наполнил дом долгорылыми псами, противными его воспитателю. Подобных доказательств воли, или, лучше сказать, претензии на силу воли, было много, но для нас довольно и одного доказательства. Малоросс сначала хотел было повернуть делом круто, вздумал было расстаться с своим Телемаком, попугать его; но Телемак очень равнодушно принял такое намерение рассердиться и, позвав человека, приказал готовить экипаж для своего Ментора. Разлука была для обоих слишком тяжела. Пошли переговоры, соглашения, уступки, и дело кончилось тем, что Ментор остался жить у Телемака уже не в качестве наставника, а совершенно равного ему приятеля, не имеющего никакого влияния на образ его жизни. В таком положении жили они очень дружески в настоящую минуту. Разумеется, что Ардальон свысока посматривал на окружающее его общество невежд — помещиков и чиновников, которое, должно признаться, всегда было гораздо ниже его. Это развило в нем, вероятно, природную наклонность к резонерству: сентенция, наставление сейчас являлись у него на языке; а как все это делалось не живо, не было горячим, задушевным увлечением, то и было скучно. Ардальон Семеныч, будучи скрытен от природы, начитался в каком-то швейцарском философе, что разумный человек не должен раскрывать внутренность души своей перед невежественной толпою, а, напротив, должен согласоваться наружно с взглядами и убеждениями окружающих его людей; а потому он сознательно, законно позволял себе надевать в обществе довольно разнохарактерные маски, не делаясь через то обманщиком и лицемером, а, напротив, оставаясь правдивым честным человеком, всегда верным своему

слову. Он даже говаривал: «Маска не изменяет лица, актер не делается плутом, играя роли мошенников». Управляясь вот такими-то афоризмами, Ардальон Семеныч переломал, так сказать, всю свою природу, и у него невозможно было различить, что выходило из души и что из головы. Влюбясь с первого взгляда, как говорится, по уши в Наташу и построя уже план воспитать или, если понадобится, перевоспитать ее по-своему, явился он в Болдухино. Надобно сказать, что было особенное обстоятельство, которое много способствовало обаятельному впечатлению, произведенному красотою Наташи на сердце Ардальона Семеныча. Приехав на Серные Воды, он на другой же день вместе с своими приятелями пошел посмотреть, как приходят серноводские посетители и посетительницы на водопой (по выражению молодых насмешников) к целебным источникам и пьют холодную, как лед, и прозрачную, как кристалл, но вонючую серную струю. В самое это время пришла туда же г-жа Болдухина с мужем и с дочерью. Шатов, пораженный красотою девушки, стоя в нескольких шагах, устремил внимательные взоры на каждое ее движение; Варвара Михайловна, выкушав свои четыре стакана серной воды, подала стакан дочери. Наташа, заметив, что стоящие возле них молодые люди внимательно глядят на нее, и сообразив, что они, верно, будут смеяться и говорить: «Зачем такая здоровая девушка пьет такую гадость», — осмелилась тихим голосом сказать матери: «Позвольте мне сегодня не пить воды!» Но г-жа Болдухина строго на нее взглянула и сказала: «Пей!» Наташа с ангельской кротостью, без малейшего признака неудовольствия, взяла стакан, наклонилась к источнику и выпила два стакана не поморщась (хотя вода была ей очень противна) и с спокойной веселостью пошла за своей матерью. Шатов все заметил, все слышал; он был пленен, очарован и вывел справедливое заключение, что эта бесподобная красавица в то же время олицетворенная кротость и благость.

Первым делом Ардальона Семеныча было — понравиться старикам, и это было нетрудно. Красавец собой, степенный не по летам, рассуждающий обо всем скромно, разумно, говорящий плавно и складно, с уважением от-

носившийся к старинным обычаям, нравам, верованиям и даже предрассудкам, молодой человек в несколько часов привел в восхищение Болдухиных. Такого жениха Наташе, такого зятя им во всех отношениях нельзя было выдумать. Узнав, что Наташа не знает об его предложении, Ардальон Семеныч просил не говорить ей ни слова до его отъезда. Он хотел, чтобы первое впечатление молодой девушки было совершенно свободно; Шатов надеялся понравиться также и Наташе; но это было не так легко, как он думал. Во-первых, потому, что для Наташи всякое новое знакомство, сопровождаемое принуждением, было тягостно; во-вторых, мать так шумно хлопотала о ее наряде, особенно о прическе волос, с которыми наша красавица никогда не умела сладить, так сердилась на горничную барышни, очень любимую ею Евьешу, что Наташа почувствовала досаду на гостя, для которого, очевидно, подняты были все эти требования, шум и хлопоты; в-третьих, г-жа Болдухина не умела скрыть своего радостного волнения, до того хвалила приезжего гостя и особенно его красноречие, что робкой Наташе, которая искренно признавала себя за простую деревенскую барышню, сделалось как-то неловко и даже страшно явиться на смотр и на суд такого умника и красноречивого говоруна. Но делать было нечего, и Наташа за час до обеда вышла в гостиную. Шатов приветствовал ее почтительным поклоном и таким взглядом, который объяснил бы все дело, если б Наташа не была так невинна. Взгляд этот, однако, смутил ее, и смутил неприятно. Гость сначала продолжал разговаривать с стариками, иногда посматривая на Наташу, которая с любопытством и вниманием устремила на него свои чудные глаза и слушала его плавные речи; от каждого взгляда молодого человека она краснела, опускала глаза и начинала внимательно рассматривать свои руки, которые у нее были не так хороши и не сохранены от воздуха и солнца. Красота Наташи с каждым мгновением сильнее и сильнее очаровывала Шатова; он, наконец, поддался непреодолимому влечению и устремил на девушку уже неотрывающиеся взоры и заговорил с нею, к собственному его удивлению, весьма нетвердым

голосом и совсем не так складно и свободно, как он говаривал всегда. Наташа была неразговорчива с незнакомыми людьми и всегда несколько застенчива; теперь же она была особенно смущена, а потому ответы ее были самые односложные: по большей части да или нет, хочу или не хочу, люблю или не люблю. Шатов ободрился. Речь его полилась полной рекой, и это были уже не пошлые вопросы: как вы проводите время, много ли гуляете, не скучаете ли деревенской жизнью? Тут уже выражалось его собственное воззрение на общество, на отношения молодой девицы к окружающей ее среде, на впечатления деревенской природы, которые так благодатно ложатся на молодое сердце, на необходимость образования и чтения и пр. и пр. Наташа многое неясно понимала, потому что много было употреблено выражений книжных или литературных, которых она и не слыхивала; она инстинктивно почувствовала только, что ей читают какую-то проповедь; ей стало скучно, и она очень обрадовалась, когда старый буфешник, как звал его Морс Иваныч, доложил, что кушанье поставлено. Гость подал руку хозяйке, которая посадила его подле себя. За столом поместились несколько человек детей постарше, мадам де Фуасье и шевалье де Глейхенфельд. Наташа стрекнула было под защиту своей гувернантки, возле которой всегда сидела за обедом, но мать глазами указала ей место подле себя, прямо против приезжего гостя. Робкая, застенчивая Наташа смутилась и покраснела до ушей. Во-первых, она никогда на этом месте не сиживала, а во-вторых — сидеть против молодого человека, приехавшего в первый раз, никому не известного, который беспрестанно смотрит на нее какими-то странными глазами и который непременно будет с ней разговаривать, а она не будет знать, что и отвечать ему, — все это вместе казалось Наташе чем-то даже страшным. Она очень знала, что ее перемещение с обыкновенного места возбудит общее внимание, толки, догадки, насмешки. Нечаянно взглянула она на Морица Иваныча, и его лукавая улыбка окончательно ее сконфузила; она так растерялась, что готова была заплакать и убежать; но страх прогневать мать, которая бросала на нее выразительные взгляды, преодолел все другие

чувства, и Наташа овладела собой. По счастью, Шатов, как видно с дороги очень проголодавшийся, сначала исключительно занялся первыми блюдами и только односложными словами отвечал на потчеванье г-жи Болдухиной. Наташа решилась последовать его примеру и, вовсе не чувствуя аппетита, забыв все свои привереды в выборе пищи (вкус у нее был весьма исключительный), принялась кушать даже те блюда, которых она никогда не ела. Разумеется, все свои это заметили, улыбались и даже перешептывались. Румяный гость раскраснелся еще больше и, удовлетворив своему аппетиту, пустился разговаривать сначала с стариками, а потом и с Наташей; но, по счастью, разговор вертелся около предметов самых обыкновенных, и обед прошел благополучно. Наташа проворно ускользнула в свою комнатку и, наконец, вздохнула свободно; но не надолго: пришла мадам де Фуасье с своими вопросами, догадками и объяснениями. Гувернантка была в восхищении от молодого человека, хотя он ни одного слова не сказал по-французски, а по-русски она ни слова не понимала. Наташа, однако, начала догадываться, о чем идет дело; но не успела она высказать своей гувернантке, отчего молодой гость ей не нравится, как прибежала маленькая ее сестра и принесла приказание матери, чтобы Наташа пришла в гостиную. Наташа повиновалась без ропота и пошла ту же минуту, но еще с большей неохотой и нерасположением к гостю, чем до обеда. Шатов встретил молодую девушку уже с полною свободой, как знакомую, сел подле нее и пустился в разговоры, в которых уже не было выведываний и вопросов: что думает Наташа о том-то, как смотрит она на то-то?.. Шатов высказывал себя, свои взгляды, свои понятия, стараясь объяснить, отчего они так часто находятся в прямом противоречии со взглядами и мнениями, принятыми в обществе, и попрежнему Наташе многое было непонятно и все вообще скучно. Она очень любила общество, любила разговоры людей веселых и живых, любила шутки и смех, любила, чтоб ее заставляли хохотать, а не задумываться, любила простые речи о вещах ей доступных; а Шатов говорил протяжно, плавно, последовательно, очень складно и умно или по крайней мере рассудительно, но

зато безжизненно, вяло, утомительно и беспрестанно сбивался на книжные, отвлеченные предметы. Одним словом: нечему было улыбнуться, и он надоел Наташе.

Жаркий, настоящий летний день, несмотря на исход августа, переходил в освежительный вечер. Все семейство собралось гулять. Молодой человек предложил руку Наташе; она изумилась, взглянула на мать и, прочитав в ее глазах согласие, подала свою руку. Но лишь только вышли они в сад, Шатов попросил позволения воротиться: он вспомнил, что ему надобно переменить сапоги, надеть сюртук и калоши и заткнуть свои уши хлопчатой бумагой... Ну, что бы, казалось, тут за преступление? Что за важность, что за беда? Шатов за несколько месяцев вытерпел жестокую нервную горячку и боялся простуды от вечернего воздуха, а притом местоположение Болдухина было довольно сырое. Правда, воздух был зноен и все общество, старики, старухи и дети пошли гулять в тех же платьях, какие на них были, радуясь прохладе; правда, Наташа шла с открытой шеей и с голыми руками, в самых тоненьких башмачках; правда, было немного смешно смотреть на румяного, полного, пышущего здоровьем Шатова, который, ведя под руку девушку, в своем толстом сюртуке и толстых калошах, потел и пыхтел, походил на какого-то медведя, у которого, вдобавок ко всему, торчали из ушей клочья хлопчатой бумаги... но все же тут нет никакого преступления; но не так думают молодые девушки, гораздо постарше Наташи, а следовательно, и порассудительнее. И Наташа думала не так: в глазах ее Шатов погиб невозвратно. Он показался ей чудаком, трусом, который только и заботится о себе, боится простудить ноги и уши в жаркую погоду, беспокоится о своем здоровье, когда сам здоров, как бык, который любит только себя, а других и любить не может, который не мог забыть о своих калошах и хлопчатой бумаге, в первый раз ведя за руку девушку, повидимому им страстно любимую (Наташа догадалась уже, что Шатов влюблен в нее). Она оглянулась на всех, и все, кроме отца и матери, не могли удержаться от смеха, глазами указывая на ее смешного кавалера, а кто смешон, не смеша, тот конечно, не понравится молодой девушке.

Я не стану следить за всеми подробностями, за всею последовательностью этих мелких впечатлений, которые в массе производят самое сильное, самое прочное действие; с ним не могут сравниться никакие поразительные явления, производящие, повидимому, сильный эффект. Так мелкий, но постоянный дождь гораздо глубже увлажняет почву, нежели ливень, мгновенно набежавший, мгновенно пролетевший. Я скажу только, что после прогулки, вечернего чая и ужина Наташа была уже вся проникнута полным нерасположением к Шатову, способным дойти до отвращения. За ужином она сидела как на иголках, ничего не могла есть, и сердечное беспокойство выражалось на ее прекрасном лице. Встав из-за стола, она упросила мать отпустить ее с дежурства из гостиной, говоря, что у ней разболелась голова; мать позволила ей уйти, но Шатов просидел с хозяевами еще часа полтора, проникнутый и разогретый чувством искренней любви, оживившей его несколько апатичный ум и медленную речь; он говорил живо, увлекательно, даже тепло и совершенно пленил Болдухиных, особенно Варвару Михайловну, которая, когда Ардальон Семеныч ушел, несколько времени не находила слов достойно восхвалить своего гостя и восполняла этот недостаток выразительными жестами, к которым только в крайности прибегала. После короткого разговора с своим супругом о том, что Наташа догадалась и что надобно с нею переговорить о всем откровенно, она вошла в комнату Наташи и, видя, что она еще не спит, позвала ее к себе в спальню. Наташа немедленно оделась и пришла к матери. Она предчувствовала, что разговор будет о Шатове, и затруднялась, как отвечать, если мать спросит: «Нравится ли он ей?» Она хорошо уже поняла, что отцу и матери Ардальон Семеныч очень нравится. Наташа с робостью переступила высокий порог в комнате своей матери. Варвара Михайловна, не скинув даже чепчика и шали, с какою-то торжественностью сидела в креслах, ожидая с видимым нетерпением дочери. Лишь только вошла Наташа, Варвара Михайловна бросилась ей навстречу, с горячностью обняла и со слезами принялась целовать голову милой своей дочери, лаская ее нежными словами, столь красноречивыми в устах

матери. Вслед за таким вступлением полились восторженные речи, содержанием которых была пламенная радость матери, что такой редкий молодой человек, как Ардальон Семеныч, осыпанный от бога всеми дарами, страстно полюбил Наташу и просит ее руки. Варвара Михайловна не забыла, но не могла сдержать своего обещания не объясняться с дочерью до отъезда Шатова, это мы уже знали; впрочем, она помнила об этом, и потому, исполняя отчасти обещанное: не спрашивать невесту, нравится ли ей жених, она описывала только яркими красками будущее их счастие и заключила тем, что она сама будет тогда совершенно счастлива, когда ее милая, добрая Наташа сделается женою Ардальона Семеныча. Расстроенная до глубины души, робко, но всегда страстно любившая свою мать, Наташа пришла в безумный восторг от одной мысли, что от нее зависит счастие матери, — матери, для которой она была готова пожертвовать даже жизнью. Наташа мгновенно забыла все неприятные впечатления, произведенные на нее молодым Шатовым; в эту минуту она не понимала, не чувствовала их и с радостным увлечением, осыпая поцелуями и обливая слезами руки своей матери, твердым голосом сказала: «Успокойтесь, милая маменька, вы будете счастливы: я согласна, я желаю выйти замуж за Ардальона Семеныча!» Варвара Михайловна не удивилась такому скорому согласию своей дочери; ей в голову не входило, чтоб Шатов мог не понравиться Наташе; но тем не менее она очень обрадовалась и еще с большею горячностью, еще с большей нежностью прижала к сердцу свою милую дочь. Переполненная счастьем душа матери почувствовала потребность, необходимость молитвы. Варвара Михайловна растворила кивот с богатыми образами, перед которыми день и ночь теплились три лампады, стала вместе с Наташей на колени и успокоила свое взволнованное сердце сладкими, тихими слезами благодарности к богу. Наташа так же радостно молилась, и никакая тень сомнения не мелькала в ее голове. В эту минуту вошел Василий Петрович, которого задержали какие-то домашние хозяйственные распоряжения и дела. Он сначала удивился неожиданному зрелищу, но Варвара Михайловна поспешила рассказать ему все, и доб-

рый старик, также очень полюбивший Шатова и также обрадованный согласием дочери, так же искренно помолился вместе с ними. Варвара Михайловна, утомленная сильным, хоть и радостным волнением, заметя, что и Наташа как-то переменилась в лице, и вспомнив про ее головную боль, поспешила приказать ей проститься с отцом и идти спать. Старик поцеловал и перекрестил Наташу с особенным чувством. Варвара Михайловна сама проводила свою дочь в ее тесную девичью комнатку, заставила при себе лечь в постель, сама повязала на ночь ее чудную головку пестреньким платочком, который шел Наташе к лицу лучше всякой великолепной головной уборки. Варвара Михайловна была поражена красотой своей дочери, как будто в первый раз ее разглядела, как будто в первый раз увидела в ночном пестреньком платочке. Она вновь расцеловала свою красавицу, перекрестила ее уже в третий или четвертый раз, и, наконец, ушла счастливая мать... Полная радостного чувства дочерней любви, кроме этого чувства все позабывшая, скоро уснула и счастливая дочь.

На другой день поутру и мать и дочь проснулись рано. Варвара Михайловна, вспомнив случившееся, пришла еще в большее восхищение, чем вчера. Отдалившись от события несколькими часами сна, который в таких случаях важнее дней, проведенных в бдении, благодетельного сна, умирившего ее мысли и чувства, она яснее, сознательнее взглянула на настоящее свое положение и глубже почувствовала будущее. И, боже мой, какими радужными цветами засверкало оно перед ней!.. Вполне уверенная в счастии своей дочери, перед которою в глубине души признавала себя виноватою, удивляясь, не понимая, как она до сих пор так мало ценила и красоту, и ангельскую доброту, и безграничную дочернюю любовь своей Наташи, — она почувствовала сама такую нежность и любовь к ней, которая мгновенно овладела всем ее существом, перед которою побледнели все ее другие желания и привязанности, все горячие увлечения. Слезы раскаянья брызнули из ее глаз, и она снова обратилась к молитве и снова нашла в ней отрадное успокоение. — Между тем проснулся и Василий Петрович. Он также радостно припомнил вчерашний вечер, согласие Наташи

и на этот раз искренно разделял все благоприятные надежды легко заносившейся в них до излишества Варвары Михайловны. Поговорив весело о приданом, которое по молодости Наташи не было приготовлено и за которым надобно было ехать или посылать в Москву, об отделе дочери и устройстве особой деревни, имеющей состоять из двухсот пятидесяти душ, о времени, когда удобнее будет сыграть свадьбу, Болдухины пришли к тому, как теперь поступить с Шатовым, которому дано слово не говорить с дочерью об его намерении до его отъезда. Варвара Михайловна хотела скрыть от него объяснение с Наташей и оставить его в заблуждении, что она ничего не знает; но Василий Петрович решительно воспротивился тому, утверждая, что надобно поступить с женихом честно и откровенно и сказать ему всю правду. «Теперь обстоятельства переменились, — говорил он, — Наташа не может смотреть на Ардальона Семеныча, зная его намерения, как на обыкновенного знакомого. Да и глупы мы были, предполагая, что она не догадается. С первой минуты весь дом догадался. Когда это бывало, чтоб молоденькую барышню отрывали от ученья из классной и заставляли сидеть с молодым человеком в гостиной. Ведь это надобно вести совсем другим порядком, тогда бы и вчерашнего объяснения не было. Впрочем, дело уж сделано, и худого тут ничего нет». Варвара Михайловна чувствовала справедливость слов Василья Петровича и согласилась с ним беспрекословно. Впрочем, когда он говорил решительно, она не смела противоречить.

Комнатка Наташи горела яркими лучами недавно взошедшего солнца; проснувшись, Наташа удивилась такому блеску и свету, потому что обыкновенно просыпалась позднее, когда солнышко уходило уже за угол дома и только вкось освещало единственное ее окно, никогда не закрываемое ставнем. Первою мыслью Наташи была мать, мать, счастливая ее согласием выйти замуж за Ардальона Семеныча. Эта мысль так же озарила веселым светом ее душу, как солнце озаряло ее комнатку. Она вспомнила все выражения материнской горячности, нежные ласки и слова, радостные слезы, глаза, устремленные с любовью на дочь, и благодарные молитвы к богу. За несколько месяцев смела ли она

мечтать о таком сближении с матерью, о такой ее любви, о возможности доказать ей свою детскую безграничную любовь и таким доказательством осчастливить обожаемую мать! Одно чувство благодарности к богу за обращение материнского сердца, пламенное желание быть достойной ее любви и теплая молитва сохранить эту любовь навсегда!

В таком-то настроении духа увиделись мать с дочерью. Наташе давно хотелось обнять свою маменьку; только без зова она не смела еще прийти; но Варвара Михайловна не заставила ее долго дожидаться: переговорив и условившись во всем с Васильем Петровичем, она сама пришла к дочери, и при первом взгляде они прочли в глазах друг друга взаимные чувства и желания. Между родителями решено было так: Варвара Михайловна скажет Ардальону Семенычу, что Наташа знает об его намерении, а потому по своей неопытности, несветскости (которую Шатов ценил очень высоко) и по своей застенчивости она не в силах будет скрыть своего смущения при встрече с ним, как с человеком, ищущим ее руки, и что потому он увидит большую перемену в ее обращении. Разумеется, было положено умолчать об согласии невесты. К удивлению Варвары Михайловны, Наташа сказала: «Я не знаю, милая маменька, почему бы не сказать Ардальону Семенычу, если он будет спрашивать: как я приняла его предложение? что я на него согласна!» Варвара Михайловна возразила, что это будет уже слишком поспешно и что надобно *подержаться*. Разумеется, Наташа не настаивала.

Г-жа Болдухина, принарядившись как следует, чего она никогда не забывала, вышла в гостиную кушать чай. Василий Петрович, уходивший осматривать какие-то домашние работы, скоро к ней присоединился, а в непродолжительном времени явился и Шатов. Варвара Михайловна, напоив его чаем и кофеем с жирными сливками и пенками, накормив сухарями и кренделями, расспросив, хорошо ли он спал, не простудился ли вчера и пр. и пр., круто повернула разговор и сказала ему немедленно, что Наташа уже знает все, что она сама догадалась и скрывать от нее сделалось невозможно. Ардальон Семеныч, не дав ей распространиться в по-

дробностях, отвечал с достоинством, что он сам еще вчера понял невозможность оставаться в секрете его намерению; что, конечно, нельзя и не должно было матери отвечать ложью на вопрос дочери. Он поблагодарил, однако, за откровенное сообщение ему этого обстоятельства и прибавил, что очень хорошо чувствует, как должна смутиться теперь при виде его невинная, скромная и очаровательная Наталья Васильевна. Он изъявил даже готовность в этот день менее смущать ее своим присутствием и особенно своими разговорами. Все это было принято Варварой Михайловной с восторгом и было ею сейчас же пересказано Наташе; она выслушала слова Шатова с удивлением и благодарностью за внимание к ее положению.

Шатов предложил Василью Петровичу осмотреть его хозяйственные заведения и даже полевые работы. Болдухин был очень доволен и сначала повел своего гостя в столярную, в экипажную, на конный двор, а потом повез его в поле. До самого обеда Варвара Михайловна и Наташа не расставались и все разговаривали, и чем больше они говорили, чем больше открывали свои чувства, чем больше узнавали друг друга (потому что до сих пор знали очень мало), тем сильнее росла взаимная их любовь, росла не по дням, а по часам, как пшеничное тесто на опаре киснет (так говорит народная сказка), и выросла эта любовь до громадных размеров.

Нужно ли говорить, что Варвара Михайловна не пропустила случая представить Шатова в таком великолепном и пленительном виде, что Наташа, увлеченная искренним увлечением матери, думала, наконец, только об одном: нельзя ли сегодня же выйти замуж за Ардальона Семеныча? Но Варвара Михайловна, напротив, ежеминутно открывая в своей дочери драгоценнейшие качества и сердца, и нрава, и здравого ума, которого и не подозревала, и видя в то же время ее детскую невинность, ее совершенное непонимание важности дела, к которому готова была приступить, — Варвара Михайловна думала о другом: как бы оттянуть свадьбу на год, как бы сделать так, чтоб жених прежде вполне узнал и оценил, какое сокровище получает.

К самому обеду воротились Василий Петрович и

Ардальон Семеныч. Варвара Михайловна с Наташей, со всем семейством, с мусье и с мадамой, ожидали их уже в гостиной. Шатов, после любезного приветствия Наташе, сделанного очень свободно, не обратившего на нее ничьего внимания и нисколько ее не смутившего, прикинулся совершенно погруженным в хозяйство Василья Петровича, которое только что осматривал; он показал себя знатоком дела: замечал кое-какие недостатки, упущения, предлагал возможность улучшений и в то же время так искусно хвалил все остальное, что Василий Петрович оставался совершенно довольным, не мог надивиться хозяйственным практическим сведеньям молодого человека и повторял про себя любимую свою поговорку: «Ну, из молодых, да ранний!» Обед прошел очень весело, гость занимал всех разговорами и сосредоточивал на себе общее внимание; Наташе было легко, и она, сердечно благодарная Шатову, совершенно успокоилась и ободрилась. После обеда, напившись кофею, гувернер и гувернантка ушли, а за ними и дети. Шатов, не скрывая уже наполнявшего его чувства, обратился к Наташе с почтительным и нежным вниманием. Наташа встретила его слова таким взглядом, который, как электрическая искра, проник до глубины души молодого человека и потряс все духовное существо его; в этом взгляде выражалось столько сочувствия и благоволения, что Шатов, очарованный им, повинуясь непреодолимому чувству любви, для которой блеснула в этом взгляде взаимность, позабыв все свои прежние намерения уехать, не объясняясь и не спрашивая согласия невесты, с несвойственной ему живостью и жаром сказал: «Наталья Васильевна! Решите мою судьбу. Могу ли я надеяться получить вашу руку?» Наташа, не задумавшись, тихо и просто подала ему свою руку и голосом, который дошел до сердца всех присутствующих, отвечала: «Я согласна». Шатов целовал с восторгом руку своей невесты, а Василий Петрович и Варвара Михайловна, как громом пораженные, не веря своим ушам и глазам, не могли вдруг понять, что произошло перед ними. Шатов, опомнившись, взял за руку Наташу, подвел ее к отцу и матери и просил их утвердить своим согласием его счастие и благословить детей своих. Болдухины так были

озадачены, что не вдруг нашлись, что отвечать. Такая неожиданность, такая быстрая, хотя и желанная развязка как будто неприятно изумила их, особенно Варвару Михайловну. «Боже мой! Да как же все это так случилось? — проговорила она, наконец. — Наташа! Не слишком ли ты поспешно даешь свое согласие? Ты так мало еще знаешь Ардальона Семеныча, и он тоже мало знает тебя. Не лучше ли бы было наперед познакомиться покороче, оценить друг друга и тогда уже приступить к решению такого великого дела? Да, кажется, таковые были и ваши намерения, Ардальон Семеныч?» — «Вы совершенно правы, Варвара Михайловна; но вы сами видите, как непрочны человеческие намерения. Одна минута, один взгляд решил все. Как это сделалось, я и сам не знаю, но я умоляю вас, почтеннейший Василий Петрович, и вас, почтеннейшая Варвара Михайловна, не отравляйте этой блаженной для меня минуты никаким замедлением вашего согласия; благословите детей ваших. Позвольте мне любить вас сыновней любовью и называть отцом и матерью: вы знаете, что у меня их давно нет...» Но как старики еще молчали, то Наташа присоединила и свой голос; тихо и скромно сказала она: «Батюшка и матушка! Я знаю, что вы любите Ардальона Семеныча; благословите же нас». Что было тут делать? Ничего другого, как взять образ и благословить жениха с невестой. Так и сделали: все четверо пошли в спальню стариков, достали из кивота один из раззолоченных образов, перед которыми так недавно и так тепло молилась Варвара Михайловна с Наташей, — и благословили жениха и невесту. Василий Петрович был спокойно-светел, Варвара Михайловна беспокойно-радостна, Наташа находилась под обаяньем мысли, что маменька счастлива, и такая кроткая радость исполненного долга, любви и благодарности прибавила какое-то высокое, небесное выражение ее прекрасным глазам. Ардальон Семеныч, вышед из своего неестественного положения, из увлечения, так ему чуждого, был не то что холоден, но слишком спокоен и важен для настоящей минуты, а природная его медленность казалась уже вялостью. Он и прежде проповедывал, что терпеть не может порывов, что человек должен действовать разумно,

вследствие своего убеждения, а не по внушению внезапного чувства, в котором через час он будет раскаиваться, что такое состояние равняется опьянению, что человек тогда не хозяин самого себя (любимое его выражение)... — все это совершилось теперь с ним в самую важную, великую минуту в жизни! Несмотря на искреннюю любовь к Наташе, ему было досадно на себя, стыдно других; какое-то облако задумчивости покрыло его большие глаза, и без того лишенные живости и выражения. К общему удивлению, он сказал, что завтра рано поутру он едет в свою деревню. Василий Петрович и Наташа приняли его слова спокойно, но Варвара Михайловна, видимо взволнованная, не вытерпела и сказала: «Я надеялась, что вы перемените свое намерение и проведете с нами и вашей невестой хотя завтрашний день». Но Шатов утвердительно отвечал, что он никогда намерений своих не переменяет и никогда не изменяет своему обещанию, что послезавтра он обещал обедать у одного из своих соседей и что это непременно так и будет. Варвара Михайловна была недовольна, но Ардальон Семеныч, как будто утешенный проявлением своей самостоятельности, повеселел и оживился. Он говорил очень много: нежно с Наташей и почтительно со стариками; между прочим, он предложил, чтоб настоящее событие, то есть данное слово и благословение, остались покуда для всех неизвестными; что он воротится через несколько дней, привезет кольцо своей матери, которое бережет и чтит как святыню, и надеется, что обожаемая его невеста наденет это колечко на свой пальчик и подарит его таким же кольцом. Невеста в знак согласия взглянула на жениха ласково, а жених с чувством и благодарностью поцеловал ее руку. Потом, заметив, что его намерение уехать завтра и предложение сохранить в тайне данное слово как будто не нравились Варваре Михайловне, обратился он к ней с новыми красноречивыми объяснениями и доказательствами и без большого труда убедил г-жу Болдухину.

Когда семейство с мадам де Фуасье и кавалером де Глейхенфельдом соединилось за вечерним чаем, все шло попрежнему, как было за обедом, то есть Шатов занимал всех и сам занимался всеми и всего менее

Наташей. Никому в голову не входило, что она уже благословленная невеста.

Вечером, при прощанье (жених уезжал завтра очень рано) Ардальон Семеныч показал много чувства и нежности к Наташе. Он выпросил позволение писать к ней каждый день и просил отвечать ему хоть несколькими строками. Василий Петрович изъявил сомнение, что трудно устроить ежедневную переписку на расстоянии ста верст. Он не хотел сказать прямо, что находит ее вовсе излишнею. Шатов отвечал, что у него тридцать охотничьих скаковых лошадей и двадцать человек охотников для которых проскакать пятьдесят верст ровно ничего не значит, и что на половине дороги будут стоять переменные лошади и люди. Ардальон Семеныч был очень в духе, как говорится, и отпустил много великолепных фраз; между прочим, он сказал, что боится возгордиться тем, что несравненная Наталья Васильевна отдает ему свою руку, что для ее счастливого жениха нет препятствий, нет преград, нет ничего невозможного для того, чтоб каждый день получать об ней известие, что они будут долетать до него в восемь часов. Старики были вновь очарованы, и Наташа слушала такие речи с удовольствием.

Долго не могла заснуть Варвара Михайловна и мешала спать Василью Петровичу. Она чувствовала какое-то тоскливое волнение, которому причины она сама не знала. Конечно, дело такой великой важности решилось слишком внезапно, слишком неожиданно, каким-то сюрпризом и не совсем законным порядком. По кодексу Варвары Михайловны, жених должен был узнать от родителей о согласии невесты, а согласие невесты должно было основываться на воле родительской; но разве они этого не желают? Разве Наташа не знала этого? Но в сущности разве не исполнилось все то, чего так пламенно желала сама Варвара Михайловна? Так о чем же было беспокоиться, чем волноваться? А г-жа Болдухина и беспокоилась и чем-то волновалась. Намерение отложить свадьбу на год, которого старик Болдухин не одобрял, вероятно, должно было встретить сильное сопротивление со стороны жениха; если и Наташа, с которой мать об этом не говорила, не выразит особенного желания на такую длинную отсрочку, то одной Варваре Михайловне

нельзя будет поставить на своем. Да и как быть с приданым? Готового у ней ничего нет, а приданое должно быть щегольское, и за ним надо ехать в Москву. Все это вместе волновало и мешало заснуть заботливой матери. — Наташа, несколько утомленная, несколько смущенная новостью своего положения, но вполне уверенная, что маменька ее счастлива, не сомневалась и в своем будущем счастии. Она была даже довольна, что жених ее на некоторое время уехал. Ей надобно было свыкнуться с мыслью, что она невеста, что положение ее должно перемениться, что все будут смотреть на нее другими глазами. При постоянном присутствии жениха и общем наблюдательном внимании было бы гораздо труднее, было бы некогда свыкнуться, не приготовясь, с новым своим положением. Итак, Наташа была довольна и заснула скоро и спокойно.

В доме никто не сомневался, что Шатов приезжал недаром и что добрая барышня выйдет за него замуж. Горничная Евьеша, подавая умываться, первая атаковала Наташу вопросом о женихе. Наташа отвечала отрицательно. Вторую атаку повела мадам де Фуасье; она ранехонько пришла в комнату своей воспитанницы, бросилась целовать Наташу, которую, к большой досаде г-жи Болдухиной, называла иногда: «Mon enfant» [1], поздравляла ее с завидной судьбой и уверяла, что карты все это давно ей сказали. Здесь Наташе было труднее защититься от расспросов, и она по необходимости должна была признаться, что видит намерение Ардальона Семеныча и что если папеньке и маменьке будет угодно, то и она будет согласна. Де Фуасье плакала от радости, потому что была в восхищении от Monsieur Chatóff и потому что в основании была хотя пустая, но предобрая старуха. Мориц Иваныч ничего не говорил прямо; но его необыкновенные, низкие поклоны, с прижатыми к груди руками, его взгляды, ужимки, глаза, поднятые к небу с мольбою о счастии affabilité [2] (так звал он Наташу), были слишком выразительны и понятны, и хотя сильно смущали ее, но по крайней мере

---

[1] Дитя мое *(франц.)*
[2] Воплощение приветливости *(франц.)*

не требовали ответа и притворства. Впрочем, все это тревожило Наташу только первое утро; к вечеру как будто позабыли о приезде Шатова, и деревенская жизнь пошла по заведенному порядку. Варвара Михайловна все свободное время от классов, которые Наташа продолжала посещать для вида, так сказать мимоходом, проводила вместе с дочерью. Ее восторженные разговоры о достоинствах Ардальона Семеныча поддерживали духовное настроение Наташи, и она радовалась, что поступила так решительно, хотя мать не одобряла ее поступка и утверждала, что на предложение Шатова ей следовало бы отвечать, что все зависит от воли ее родителей, которым известно ее расположение.

На другой день к обеду прискакал верхом гонец с письмом от Шатова: письмо было отправлено в четыре часа утра, а в полдень уже получено Васильем Петровичем. Слова Ардальона Семеныча исполнились в точности: его посланье к невесте, наполненное великолепными нежностями, пролетело сто верст в восемь часов. Взмыленный конь и запыленный гонец всполошили болдухинскую дворню; все подумали: «Уж не случилось ли какого несчастья?» Но когда узнали, что такая скакотня будет происходить каждый день и что к вечеру приедет другой курьер с парою заводских лошадей для того, чтобы лошади и люди могли переменяться, то все подивились только затеям молодого барина и еще более утвердились в мысли, что он нареченный жених их барышни. Г-жа Болдухина была в восторге от этой скаковой проделки; Наташа с удовольствием видела в ней доказательство любви своего жениха, а Василий Петрович все это называл пустыми проказами. Гонец, выкормив лихого скакуна, через четыре часа должен был пуститься в обратный путь. Варвара Михайловна написала письмецо к Ардальону Семенычу, и Наташа приписала несколько строк под ее диктовку.

Со вторым курьером Шатов, между прочим, писал, что воспитатель его, Григорий Максимыч Винский, должен проезжать через село Болдухино и просит позволения заехать к его хозяевам, с которыми и прежде был знаком, для засвидетельствования своего глубочайшего почтения. Ардальон Семеныч просил принять его благо-

склонно, как человека, которому он обязан своим образованьем. Шатову отвечали, что очень будут рады возобновить знакомство с Григорьем Максимычем. Хотя это обстоятельство само по себе не давало никаких поводов к перетолкованию, потому что Винский ехал навестить больного приятеля, прежнего товарища своей тяжелой участи, и потому что дорога лежала возле самого дома Болдухиных, но Варваре Михайловне показалось, что «умысел другой тут есть», что Винский знает все и едет посмотреть невесту и что, может быть, нужно еще его одобрение для решительного окончания их дела. Г-жа Болдухина всегда переливала через край и видела то, чего нет. Винский точно желал взглянуть на Наташу, потому что знал намерение своего воспитанника; но он ничего не знал о полученном им согласии и не имел никакого влияния на его сватовство.

Винский приехал в Болдухино на другой день к обеду. Красота, скромность, благородство и сердечная доброта Наташи, выражавшиеся в ее глазах и во всех чертах лица, поразила его, он долго не мог свести с нее глаз. Под личиной правдивого грубияна это был человек тонкий, хитрый. Несмотря на ласковый прием, он сейчас заметил, что хозяйка как-то недоверчиво на него смотрит. Он сейчас взялся за откровенность и рассказал всю правду; то есть все, что ему было известно о намереньях и предложении Шатова. «Никто лучше меня не знает Ардальона, — говорил он, — и я считаю за долг честного человека (все равно, поверите ли вы мне, или нет) сказать вам, что этот молодой человек имеет благородную душу, доброе сердце и превосходные правила. Все его недостатки, как то: высокое о себе мнение, упрямство, тщеславие, охота умничать и учить других, — ничего не значат перед его достоинствами. Умоляю вас, не отвергайте его искренней любви к вашей дочери; я скажу вам откровенно и прямо, что не верил похвалам Ардальона, как словам юноши, влюбленного в первый раз; но, увидев вашу дочь, я всему поверил. В красоте ее лица выражается красота души. Я человек опытный, много жил и видел людей; я прочел в ее прекрасных глазах счастье того человека, который будет ее мужем. Ручаюсь вам, отвечаю, что она будет владеть безгранично

Ардальоном». Речи отставного воспитателя не понравились г-же Болдухиной; она поспешила высказать ему, что достоинства Ардальона Семеныча они очень хорошо знают, а недостатков, которые находит в нем Григорий Максимыч, они не видят; что дочь их воспитана в правилах покорности и повиновения к родителям и никогда властвовать над своим мужем не пожелает; что она еще ребенок и что если богу будет угодно, чтоб она была женой Ардальона Семеныча, то он сам окончит ее воспитание и, конечно, найдет в ней почтительную и послушную жену. Старый бурсак улыбнулся и отвечал: «Вы не верите моей искренности, боитесь моего влияния и отталкиваете меня. Как вам угодно! Желаю и не перестану желать добра вашей дочери». После этих слов он говорил только о посторонних предметах; выпросил себе бутылку старой ост-индской дреймадеры, лучше которой, как он уверял, в жизнь свою не пивал, — и уехал. Варвара Михайловна очень была довольна, что отбрила хитрого хохла (так она его всегда называла), который осмелился предложить свое покровительство ее дочери и хотел вмешаться в семейную жизнь будущих молодых. Наташа ничего не знала об этих разговорах, а Василий Петрович был ими совершенно недоволен и находил, что совсем было не нужно дразнить этого человека.

Четыре дня сряду скакали гонцы, а на пятый день к обеду ждали самого Шатова. Приготовили обручальное кольцо для жениха и вдобавок к прежним, также новым, сшили еще новое платье для Наташи. Все остальное шло попрежнему. Попрежнему восторгались Варвара Михайловна и все окружающие Наташу, говоря об ее женихе; попрежнему был доволен Василий Петрович; попрежнему и Наташа казалась спокойной и довольной; но, странное дело, последние два письма Ардальона Семеныча, в которых он пораспространился в подробностях о своих намерениях и планах в будущем, о том, что переезжает в Болдухино на неопределенно долгое время со множеством книг, со всеми своими привычными занятиями, в которых, как он надеется, примет участие и обожаемая его невеста, — произвели какое-то не то что неприятное, а скучное впечатление на Наташу. Накануне приезда жениха, когда невеста, про-

сидев до полночи с отцом и матерью, осыпанная их ласками, приняв с любовью их родительское благословение, воротилась в свою комнатку и легла спать, — сон в первый раз бежал от ее глаз: ее смущала мысль, что с завтрашнего дня переменится тихий образ ее жизни, что она будет объявленная невеста; что начнут приезжать гости, расспрашивать и поздравлять; что без гостей пойдут невеселые разговоры, а может быть, и чтение книг, не совсем для нее понятных, и что целый день надо будет все сидеть с женихом, таким умным и начитанным, ученым, как его называли, и думать о том, чтоб не сказать какой-нибудь глупости и не прогневить маменьки... И жалко стало Наташе своей девической, беззаботной жизни, с ее простотой и свободою; грустно стало, что мало будет слышать она болтовню своих маленьких братцев и сестриц, которые прежде надоедали ей, и жаль стало бесконечных рассказов мадам де Фуасье, также давно ей известных и также давно наскучивших. В первый раз спросила она себя: так ли много любит она жениха, чтоб бросить для него дом родительский; точно ли маменька будет счастлива, если она не полюбит Ардальона Семеныча так сильно, как следует жене любить своего мужа? Спросила — и не могла отвечать утвердительно; сомнение запало ей в душу. Не скоро она заснула, видела какой-то страшный сон; долго не спала после него и проснулась поздно с головной болью, с бледностью и усталостью на лице, что было замечено всеми. Разумеется, Варвара Михайловна заметила эту перемену прежде других, встревожилась ею и принялась расспрашивать Наташу о причине. Но дочь так долго и недавно была еще далека от матери, что, несмотря на порывы горячей любви и нежного участия со стороны матери, принимаемые с восторженной благодарностию, не могла предаться свободно искреннему, полному излиянию своей детской привязанности. Она не привыкла к ним и каждую минуту благодаря бога за обращение к ней сердца матери, каждую минуту боялась вдруг потерять то, что вдруг получила; одним словом, Наташа не смела высказать откровенно своих вчерашних чувств и сомнений. Варвара Михайловна легко удовлетворилась неискренними ответами Наташи, да и почему было не

удовлетвориться? Что было естественнее волнения и смущения молодой девушки накануне своего обручения?

Шатов приехал несколько позднее, чем его ждали, задержанный в дороге какой-то непредвиденной остановкой. В эти пять дней разлуки любовь овладела им и пустила глубокие корни в сердце молодого человека уже с непреодолимою силой. Он так соскучился по Наташе, что нетерпение ее увидеть изменило его спокойный нрав и нарушило его обычные, несколько важные и мерные поступки. Здороваясь со стариками, вместо приличных приветствий и вопросов, он только и сказал: «Где Наталья Васильевна? Здорова ли Наталья Васильевна?» Когда же она пришла, он с глубокою нежностью и радостью поцеловал ее руку и долго, пристально, не говоря ни слова, с каким-то самозабвением смотрел на нее. Это показалось странным невесте и даже старикам. Наташа смутилась, и отец с матерью также, потому что этот взгляд, проникнутый искренним чувством, продолжался, может быть, слишком долго. Наконец, Шатов, как бы опомнившись, вынул из бокового кармана маленький сафьянный футляр, достал из него простое золотое колечко, посмотрел на него с умилением и тихим голосом, в котором слышно было глубокое внутреннее чувство, просил Наташу надеть; но Варвара Михайловна сильно воспротивилась такому обручению *запросто*, находя неприличным, и утвердительно сказала, что обрученье может совершиться завтра обыкновенным, всеми принятым порядком, помолясь богу, при чтении святых молитв и с благословения священника. Ардальон Семеныч в свою очередь был озадачен и смущен. Он почувствовал, однако, что настаивать на своем было невозможно, и в то же время ему было как-то неловко и неприятно отступиться от своего желания, спрятать колечко опять в футляр и положить в карман. Он стал просить, чтобы Наталья Васильевна взяла по крайней мере к себе и спрятала его до завтра. Варвара Михайловна и на это не согласилась, но, видя смущение жениха, который, стоя посредине комнаты, все еще держал в одной руке кольцо, а в другой футляр и, повидимому, не знал, что ему делать, она предложила Ардальону Семенычу отдать кольцо ей, для того чтобы вместе с об-

ручальным кольцом Наташи положить его перед образа до завтрашнего утра. Видно было, что Шатов не только ничего подобного не ожидал, но что все это ему не очень нравилось. Он попробовал поспорить и защитить причину своего желания и просьбы, но, видя непреклонную настойчивость матери, подкрепленную согласием и Василья Петровича, заблагорассудил согласиться. Варвара Михайловна, чтобы прекратить неловкое положение всех, стоявших посреди комнаты, поспешно взяла кольцо, попросила Шатова сесть рядом с своей невестой и ушла, чтобы, согласно своему предложению, положить обручальные кольца перед образами. Исполнив это, она помолилась богу о счастии своей дочери и с веселым видом воротилась в гостиную. Жених с невестой сидели молча; глядя на них с недоумением, молчал и Василий Петрович; жених о чем-то печально задумался, невеста также. Варвара Михайловна, желая рассеять неприятное впечатление предыдущей сцены, с живостью обратилась к Шатову с разными посторонними разговорами и расспросами о том, что он делал в продолжение его отсутствия, и ей удалось мало-помалу рассеять его и привесть в обыкновенное положение. Облако задумчивости слетело с его лица, он как будто очнулся от какой-то дремоты, и любовь, радость, что он видит обожаемую Наташу, что завтра она будет обручена с ним, наполнили его душу. Он сделался разговорчив, весел, нежен с своей невестой, внимателен и почтителен с ее родителями и скоро заставил позабыть их обо всем случившемся. Наташа также казалась спокойною и даже веселою. В доме объявили всем, что Ардальону Семенычу дано слово, что Наташа уже невеста и что завтра будет обручение. Маленькие братья и сестры обнимали и поздравляли ее, а также и Шатова, которого все очень любили. Классные занятия прекратились в тот день ранее обыкновенного; пришли мадам де Фуасье и шевалье де Глейхенфельд. Каждый по-своему выражал свою радость и свое искреннее желание счастия жениху и невесте. За столом посадили их рядом, выпили их здоровье, и к вечеру не только вся дворня, но и все село Болдухино знало, что красавица барышня уже помолвлена тоже за красавца, по общему мнению, молодого

и богатого барина Ардальона Семеныча Шатова; а как в тот день отправился в город нарочный на почту за письмами, то и весь Богульск на другой же день узнал об этой важной новости.

Ардальон Семеныч прочным образом основал свое местопребывание во флигеле и целую особую комнату занял своими книгами, письменными принадлежностями, ружьями и охотничьими снарядами, потому что предполагал иногда ходить на охоту, для чего и привез свою любимую отличную собаку, которая в тот же день была представлена Наташе и принята ею с особенной благосклонностью; она пожелала всякий день кормить ее при себе, чем жених был очень доволен. Этот первый день прошел довольно приятно и оживленно. Жених менее рассуждал, больше рассказывал о том, что думал, чувствовал и делал во время своего отсутствия. Наташа не скучала и была довольна всеми его рассказами.

Варвара Михайловна сочла за нужное истребить неприятное впечатление, которое, как она думала, должна была произвесть на Наташу история с обручальным кольцом, а также и странность некоторых поступков жениха. Это было ей нетрудно, потому что Наташа менее находила тут странного, чем сама Варвара Михайловна. Наташе только не понравилось выражение глаз Шатова, когда он, увидевшись с ней, молча и долго смотрел на нее. Она с детской наивностью говорила матери, что терпеть не может, когда кто-нибудь смотрит на нее так пристально, точно хочет узнать, что происходит у ней в сердце, и что она особенно не любит таких взглядов Ардальона Семеныча. Но главное, что ей не нравилось и чего она не сказала Варваре Михайловне, это была медленность и вялость всех движений и слов ее жениха. Он говорил с расстановкой, растягивая свои речи, и Наташе сейчас становилось сначала скучно его слушать, а потом и тяжело; не будучи сама ни бойка, ни скора, она любила бойкую, скорую и веселую речь; одним словом: натура, личность Ардальона Семеныча была ей не по вкусу...

ОЧЕРК ЗИМНЕГО ДНЯ

В 1813 году с самого Николина дня установились трескучие декабрьские морозы, особенно с зимних поворотов, когда, по народному выражению, солнышко пошло на лето, а зима на мороз. Стужа росла с каждым днем, и 29 декабря ртуть застыла и опустилась в стеклянный шар. Птица мерзла на лету и падала на землю уже окоченелою. Вода, взброшенная вверх из стакана, возвращалась оледенелыми брызгами и сосульками, а снегу было очень мало, всего на вершок, и неприкрытая земля промерзла на три четверти аршина. Врывая столбы для постройки рижного сарая, крестьяне говорили, что не запомнят, когда бы так глубоко промерзала земля, и надеялись в будущем году богатого урожая озимых хлебов. Воздух был сух, тонок, жгуч, пронзителен, и много хворало народу от жестоких простуд и воспалений; солнце вставало и ложилось с огненными ушами, и месяц ходил по небу, сопровождаемый крестообразными лучами; ветер совсем упал, и целые вороха хлеба оставались невеяными, так что и деваться с ними было некуда. С трудом пробивали пешнями и топорами проруби на пруду; лед был толщиною с лишком в аршин, и когда доходили до воды, то она, сжатая тяжелою, ледяною корою, била, как из фонтана, и тогда только успокаивалась, когда широко затопляла прорубь, так что для чищенья ее надобно было подмащивать мостки. Скот грелся постоянно едою, корма выходило втрое про-

тив обыкновенного, и как от летней засухи уродилось мало трав и соломы, то крестьяне начинали охать и бояться, что корму, пожалуй, не хватит и до Алексея божьего человека. Стали бить лишнюю скотину, и мясо так подешевело, что говядину продавали по три копейки ассигнациями, а баранину по две копейки за фунт. Достаточные крестьяне уже не обедали без свежинки; но скоро стали замечать, что от мясной пищи прибавляются больные, и стали ее опасаться.

Великолепен был вид зимней природы. Мороз выжал влажность из древесных сучьев и стволов, и кусты и деревья, даже камыши и высокие травы опушились блестящим инеем, по которому безвредно скользили солнечные лучи, осыпая их только холодным блеском алмазных огней. Красны, ясны и тихи стояли короткие зимние дни, похожие, как две капли воды, один на другой, а как-то невесело, беспокойно становилось на душе, да и народ приуныл. Болезни, безветрие, бесснежие, и впереди бескормица для скота. Как тут не приуныть? Все молились о снеге, как летом о дожде, и вот, наконец, пошли косички по небу, мороз начал сдавать, померкла ясность синего неба, потянул западный ветер, и пухлая белая туча, незаметно надвигаясь, заволокла со всех сторон горизонт. Как будто сделав свое дело, ветер опять утих, и благодатный снег начал прямо, медленно, большими клочьями опускаться на землю. Радостно смотрели крестьяне на порхающие в воздухе пушистые снежинки, которые, сначала порхая и кружась, опускались на землю. Снег начал идти с деревенского раннего обеда, шел беспрестанно, час от часу гуще и сильнее. Я всегда любил смотреть на тихое падение или опущение снега. Чтобы вполне насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище представилось глазам моим: все безграничное пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной тишиной. Наступали длинные зимние сумерки; падающий снег начинал закрывать все предметы и белым мраком одевал землю.

Хотя мне, как страстному ружейному охотнику, мелкоснежье было выгодно и стрельба тетеревов с подъезда,

несмотря на стужу, была удобна и добычлива, но, видя общее уныние и сочувствуя общему желанию, я также радовался снегу. Я воротился домой, но не в душную комнату, а в сад и с наслаждением ходил по дорожкам, осыпаемый снежными хлопьями. Засветились огоньки в крестьянских избах, и бледные лучи легли поперек улицы; предметы смешались, утонули в потемневшем воздухе. Я вошел в дом, но и там долго стоял у окошка, стоял до тех пор, покуда уже нельзя было различить опускающихся снежинок... «Какая пороша будет завтра, — подумал я, — если снег к утру перестанет идти, где малик — там и русак...» И охотничьи заботы и мечты овладели моим воображением. Я особенно любил следить русаков, которых множество водилось по горам и оврагам, около хлебных крестьянских гумен. Я с вечера приготовил все охотничьи припасы и снаряды; несколько раз выбегал посмотреть, идет ли снег, и убедясь, что он идет попрежнему, так же сильно и тихо, так же ровно устилая землю, с приятными надеждами лег спать. Длинна зимняя ночь, и особенно в деревне, где ложатся рано: бока пролежишь, дожидаясь белого дня. Я всегда просыпался часа за два до зари и любил встречать без свечки зимний рассвет. В этот день я проснулся еще ранее и сейчас пошел узнать, что делается на дворе. На дворе была совершенная тишина. Воздух стал мягок, и, несмотря на двенадцатиградусный мороз, мне показалось тепло. Высыпались снежные тучи, и только изредка какие-то запоздавшие снежинки падали мне на лицо. В деревне давно проснулась жизнь; во всех избах светились огоньки и топились печи, а на гумнах, при свете пылающей соломы, молотили хлеб. Гул речей и стук цепов с ближних овинов долетал до моего слуха. Я засмотрелся, заслушался и не скоро воротился в свою теплую комнату. Я сел против окошка на восток и стал дожидаться света; долго нельзя было заметить никакой перемены. Наконец, показалась особенная белизна в окнах, побелела изразцовая печка, и обозначился у стены шкаф с книгами, которого до тех пор нельзя было различить. В другой комнате, дверь в которую была отворена, уже топилась печка. Гудя и потрескивая и похлопывая заслонкой, она освещала дверь и половину

горницы каким-то веселым, отрадным и гостеприимным светом. Но белый день вступал в свои права, и освещение от топящейся печки постепенно исчезало. Как хорошо, как сладко было на душе! Спокойно, тихо и светло! Какие-то неясные, полные неги, теплые мечты наполняли душу...

«Лошади готовы: пора, сударь, ехать!» — раздался голос Григорья Васильева, моего товарища по охоте и такого же страстного охотника, как я. Этот голос возвратил меня к действительности. Разлетелись сладкие грезы! Русачьи малики зарябили перед моими глазами. Я поспешно схватил со стены мое любимое ружье, моего неизменного испанца...

Москва, 1858, декабрь.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

События, о которых повествуют эти «Воспоминания», относятся к 1801—1807 гг. ко времени пребывания С. Т. Аксакова в Казанской гимназии и университете. «Воспоминания» хронологически завершают автобиографическую трилогию Аксакова, хотя писались они почти одновременно с последними главами «Семейной хроники» и задолго до «Детских годов Багрова-внука». 18 декабря 1853 г. Аксаков уведомлял сына Ивана, что хотел было приняться за воспоминания о Гоголе, но, добавляет он, «меня уговорили наперед окончить «Казанскую гимназию», которая, надо признаться, не только сильно меня занимает, но и волнует: память детства так ожила во мне, что старому сосуду приходится невтерпеж...» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, лл. 3 об.—4). Три дня спустя Аксаков писал Тургеневу: «Я теперь с увлечением пишу историю моего болезненного детства, которая называется «Казанская гимназия». Стану ожидать вашего суда, на искренность и справедливость которого могу положиться; сам же и все мои в этом деле не могут быть настоящими судьями: оно слишком затрагивает чувство, а этот господин сумеет обмануть кого угодно» («Русское обозрение», 1894, № 11, стр. 9).

«Воспоминания» писались быстро, с увлечением. Но вскоре наступила заминка, вызванная обстоятельствами, которые часто причиняли Аксакову огорчения. «Завтра я допишу свою гимназию до того места, где намерен остановиться, — сообщал он 4 января 1854 г. сыну Ивану, — и приняться за историю нашего знакомства с Гоголем. Я написал о гимназии 45 листов. Меня очень затруднило, когда я дошел до того времени, когда начал

понимать несогласие между отцом и матерью. Умолчать об этом невозможно потому, что моя духовная жизнь много от того переменилась. Без выпусков печатать эту статью при моей жизни нельзя» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 19, л. 35 об.).

В сохранившейся рукописи «Воспоминаний» никаких «выпусков», связанных с той темой, о которой говорит Аксаков, нет. Очевидно, «автоцензура» происходила на предшествующей стадии работы.

«Воспоминания» были закончены в середине января 1855 г. Об этом свидетельствует письмо Аксакова М. Г. Карташевской от 26 января 1855 г.: «15 генваря я кончил свои Воспоминания о гимназии и университете, в которых твой отец занимает значительное место» (ИРЛИ, 10.685/XVI с., л. 43).

При жизни Аксакова «Воспоминания» печатались дважды — в первом и втором изданиях книги «Семейная хроника и Воспоминания» (оба издания вышли в Москве, в 1856 г.). До этого в печати появлялся лишь один небольшой отрывок (эпизод, в котором изображается приезд Аксакова домой незадолго перед окончанием гимназии) — в «Русском вестнике», 1856, т. I, кн. I, стр. 114—119. Отрывок датирован 22 ноября 1855 г. и сопровожден следующим примечанием-послесловием редакции журнала: «Эта грациозная картинка есть отрывок из большого сочинения, которое должно вскоре выйти в свет. Отрывок этот, при всей своей малости, может дать некоторое понятие об интересе целого сочинения, которое будет одним из самых капитальных приобретений нашей литературы. С особенным удовольствием присовокупляем, что С. Т. Аксаков обещал украсить «Русский вестник» новым обширным трудом, который намерен вскоре предпринять».

В обоих изданиях 1856 г. «Воспоминания» вышли с «Приложениями», содержавшими: оглавление четырех номеров рукописного журнала «Аркадские пастушки» (1804, март, май, июнь, август), несколько стихотворений и статей сверстников Аксакова и, наконец, оглавление трех номеров издававшегося Аксаковым совместно с А. Панаевым «Журнала наших занятий» (1806, июль, ноябрь, декабрь).

Надо сказать, что в «Воспоминаниях», писавшихся почти через пятьдесят лет после изображаемых событий, имеются неточности в изложении некоторых автобиографических фактов. Хронология событий в «Воспоминаниях» не всегда верна. По архивным материалам, Аксаков был принят в Казанскую гимназию в ян-

варе 1801 г., а в мае того же года увезен матерью на излечение домой в деревню. 19 марта 1802 г. совет гимназии рассматривал прошение матери Аксакова о разрешении ее выздоровевшему сыну продолжать учение в гимназии «на собственном дворянском содержании» и принял по этому поводу положительное решение (см. Н. К. Горталов, Из прошлого императорской Казанской 1-й гимназии, Казань, 1910, стр. 19—20).

В настоящем издании текст печатается по второму прижизненному изданию «Семейной хроники и Воспоминаний» (М. 1856), без приложений. Некоторые имена персонажей и названия местностей, обозначенные в первом и втором изданиях инициалами или сокращенно, воспроизводятся здесь полностью по четвертому изданию (М. 1870), подготовленному И. С. Аксаковым.

Гимназия

Период первый

Стр. 7. *...от которой в будущем ожидали мы наследства.* — Речь идет о Прасковье Ивановне Куролесовой (Надежде Ивановне Куроедовой), о которой говорится в «Семейной хронике».

Стр. 9. *Княжевичи.* — См. примеч. к «Детским годам Багрова-внука» (наст. изд., т. 1 стр. 628).

Стр. 10. *...отдайте Сережу в гимназию.* — Казанская гимназия была основана в 1758 г. и вскоре возымела репутацию хорошего учебного заведения. В 1788 г. гимназию закрыли по недостатку средств. Десять лет спустя она была вновь открыта и преобразована. История Казанской гимназии подробно исследована в книгах: В. Владимиров, Историческая записка о 1-й Казанской гимназии, в 3-х частях, Казань, 1867—1868; Д. И. Нагуевский, Казанская гимназия накануне основания Казанского университета, Казань, 1900; см. также Н. К. Горталов, Из прошлого императорской Казанской 1-й гимназии, Казань, 1910.

Стр. 11. *«Ипокрена, или Утехи любословия»* — журнал, выходивший в 1799—1801 гг. в Москве под ред. профессора Московского университета П. А. Сохацкого.

Стр. 15. *Левицкий Лев Семенович* (1772—1807) — воспитанник рязанской духовной семинарии, затем — Московской для разночинцев гимназии и, наконец, Московского университета; с 1799 г. преподавал в Казанской гимназии «логику и нравоучение»,

а с 1805 г. — адъюнкт умозрительной и практической философии Казанского университета.

Стр. 21. *«Детское училище»* — «Новое детское училище, или Опыт нравственного воспитания обоего пола и всякого состояния юношества, содержащий преполезнейшие наставления к образованию разума и сердца и совершенному нравственному воспитанию, представленные в изящнейших письмах», соч. Жанлис, перев. с франц. в 3 томах, СПБ. 1792.

Стр. 38. *«Открытие Америки,* приятное и полезное чтение для детей и молодых людей» — соч. Кампе, перев. с нем. в 3 частях, М. 1787.

«Завоевание Мексики». — Вероятно, имеется в виду «История о покорении Мексики» испанского поэта и историка Антонио Солиса (1610—1686), перев. с нем. В. Лебедева, в 2 частях, СПБ. 1765.

Стр. 39. *«Земира и Азор».* — Текст этой оперы написан французским писателем Жаном Франсуа Мармонтелем (1723—1799), музыка — Гретри; на русском языке вышла в переводе Марии Сушковой (М. 1783).

Стр. 54. *Хребтуг* — походная кормушка для лошадей из холста.

Год в деревне

Стр. 58. *«Драматическая пустельга».* — См. примеч. к «Детским годам Багрова-внука» (т. 1 наст. изд., стр. 627).

Стр. 65. *Гнездарь* — птица, вынутая из гнезда.

Книжку о грибах Аксаков так и не написал. В 1856 г. в № 6 «Вестника естественных наук» он напечатал статью «Замечания и наблюдения охотника брать грибы» (см. т. 4 наст. изд.).

Стр. 66. *«Домашний лечебник» Бухана.* — См. примеч. к *«Семейной хронике»* (т. 1 наст. изд., стр. 620).

Стр. 67. *«Достопамятные приключения Ильи Бенделя,* сына Стокгольмского рыбака, оставившего свое отечество и удалившегося на голландском флоте в Америку...», перев. с нем. в 2 частях, М. 1789.

Стр. 70. *Мефитический* — зловонный, зараженный.

Стр. 74. *Морды и хвостуши* — плетенки из ивовых прутьев для ловли рыбы.

Стр. 77. *Яковкин Илья Федорович* (1764—1836) — с 1799 г. учитель истории и географии Казанской гимназии, а с 1805 г. —

директор гимназии и профессор Казанского университета; автор ряда учебников.

Запольский Иван Ипатьевич (1773—1810) — воспитанник Киевской духовной академии и затем — Московского университета; с 1799 г. — учитель физики и математики Казанской гимназии, а с основанием университета — определен адъюнктом прикладной математики и физики.

Карташевский Григорий Иванович (1779—1840) — воспитанник Московского университета, с 1799 г. — учитель математики в Казанской гимназии, а с 1805 г. — адъюнкт высшей математики в Казанском университете; впоследствии — попечитель Белорусского учебного округа, сенатор; в 1816 г. женился на сестре Аксакова — Надежде Тимофеевне.

Гимназия

Период второй

Стр. 79. *Приехав в Казань (1801 года)...* — Этот приезд Аксакова в Казань состоялся не в 1801, а весной 1802 г. (см. выше, примеч. на стр. 470—471).

Стр. 86. *Ибрагимов Николай Мисаилович* (1778—1818) — один из самых популярных преподавателей Казанской гимназии; окончил Московский университет. Об Ибрагимове сохранилось свидетельство еще одного воспитанника Казанской гимназии. В. И. Панаев рассказывает в своих «Воспоминаниях»: «Он имел необыкновенную способность заставить полюбить себя и свои лекции» («Вестник Европы», 1867, сентябрь, стр. 217).

Стр. 94. *Через несколько лет я встретился с Гурьем Ивличем Ласточкиным...* — В архивном фонде ИРЛИ хранится рукопись эпизода с Ласточкиным, написанная неизвестной рукой и исправленная автором. В рукописи есть некоторые незначительные разночтения с печатным текстом. Но одно из них любопытно. В печатном тексте сказано, что начальство уговаривало Ласточкина «поступить в духовное звание, к которому он не чувствовал влечения». В рукописи же читаем, что к духовному званию Ласточкин «питает непреодолимое отвращение!» (ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, д. № 12). Фраза претерпела изменения, вероятно, по цензурным соображениям.

Лиза была воспитанница В—х... — В той же рукописи (см. предыдущее примеч.) фамилия обозначена полностью: «Вишняковых».

Стр. 101. *Массильон* (1663—1742), *Флешье* (1632—1710) и *Бурдалу* (1632—1704) — французские церковные проповедники.

«Смерть Авеля» — сочинение швейцарского поэта-сентименталиста Геснера (1730—1788), в XVIII в. неоднократно выходило в русском переводе.

Стр. 102. *«Les aventures d'Aristonoy»* — повесть французского писателя Франсуа Фенелона (1651—1715), в русском переводе вышла под названием «Аристоноевы приключения» (СПБ. 1766).

Стр. 104. *Наш Эрих* — Эрих Иван Иванович (род. в 1755 г.), преподаватель Казанской гимназии, а затем — адъюнкт Казанского университета.

Стр. 108. В тексте «Русского вестника» к словам: *«...проводить вас до ночевки, до Мёши»* — имеется примечание автора: «Река в 25 верстах от города К.».

Стр. 118. В изображении знаменитого «дела о беспорядках» среди воспитанников Казанской гимназии Аксаков допустил некоторые неточности. «Дело» это произошло не в августе 1804 г., как утверждает автор «Воспоминаний», а в июне, до летних вакаций. Взрыв возмущения гимназистов был подготовлен их давним нерасположением к тупому и невежественному директору гимназии, А. Л. Лихачеву. Обстоятельное описание этого эпизода на основе архивных материалов см. в кн. Д. Нагуевский, Казанская гимназия накануне основания Казанского университета (1804—1805), Казань, 1900.

В сохранившейся рукописи «Воспоминаний» имеется черновая редакция этого эпизода, более подробная и в фактическом отношении несколько отличающаяся от беловой. Приводим этот текст:

«За несколько дней до возвращения моего с Григорьем Ивановичем из Аксакова в Казань, когда в гимназии собрались уже почти все ученики, больничный надзиратель Смирнов обидел ругательными словами и, кажется, ударил одного из лучших казенных воспитанников Александра Княжевича. Старший брат его Дмитрий, который во всех отношениях считался первым учеником, уже шестнадцатилетний, чрезвычайно пылкий молодой человек и самый нежный брат, горячо любимый всеми, вышел из себя от такой обиды и, подкрепленный общим сочувствием и содействием товарищей, предводительствуя толпою гимназистов, а их было около 80 человек, отправился в больницу, взял силою, но без всякой обиды, под арест больничного надзирателя и запер его в залу Совета. Потом написал письмо с изложением обстоятельств дела

от себя и от имени всех старших воспитанников, прося, чтоб надзиратель Смирнов в пример другим был отставлен от своей должности, и отправил это письмо за подписью учеников высшего класса с дежурным надзирателем к директору. Инспектора не было дома; когда он воротился и узнал всю историю, то, казалось, принял в ней живое участие и успокоил разгоряченную молодежь обещанием, что начальство выгонит Смирнова. Смело утверждаю, что, если б Упадышевский служил тогда надзирателем, все дело приняло бы совсем другой и благоприятный оборот. Но, к несчастию, за несколько месяцев Упадышевский оставил гимназию по болезни. Через час воротился от директора дежурный надзиратель с письменным приказанием инспектору: «Больничного надзирателя выпустить, а воспитанников — обоих Княжевичей — посадить в карцер; всем же, кто вздумает противиться, объявить, что они будут отданы в солдаты».

Нетрудно себе представить, какая буря закипела в сердцах молодых людей! Собралось шумное вече, и на нем было положено и потом объявлено инспектору и надзирателям, что Смирнов не будет выпущен до тех пор, покуда Совет гимназии не составит законного определения об его отставке, и что покуда этого не сделают, воспитанники не станут признавать никакого начальства, не станут ходить учиться в классы и просят г-на инспектора и господ надзирателей оставить гимназию и не вступаться в их дело, обещая в то же время, что будут вести себя тихо и прилично. Инспектор струсил и ушел с двумя надзирателями, а двое остальных, любимые учениками, по собственному желанию получили позволение остаться при своих местах, с тем чтобы ни во что не вмешиваться. Головы всех воспитанников горели; они выбрали главным своим начальником Дмитрия Княжевича и потом несколько человек старших, которым обещали повиноваться; ходили ужинать в большом порядке, обыкновенным фрунтом, но, опасаясь, чтоб их не схватили как-нибудь ночью, они натаскали скамеек, приперли ими двери и окна в своих спальнях, а вместо оружия собрали все кочерги, половые щетки и запаслись множеством поленьев, швырковых дров, которые в большом количестве стояли на дворе; для большей же предосторожности расставили часовых, которые сменялись каждые два часа.

Глупый директор, услыша такие вести, совершенно потерялся. На другой день он присылал к возмутившимся ученикам для переговоров, увещаний и соглашений то одного, то другого учителя, то инспектора. Воспитанники принимали парламентеров очень

почтительно и без всякого шума, но с твердостью объявляли, что до тех пор не выйдут в обыкновенный порядок и не выпустят Смирнова из-под ареста, покуда не соберется конференция и покуда не отставят виноватого от должности. На третий день собрался Совет и приехал директор. Залу Совета отперли; на столе лежала новая просьба, еще более почтительная и покорная, также за подписанием старшего класса; съехались присутствующие члены; ввели Смирнова и, когда он после допроса вышел из присутствия, взяли его опять под надзор. Потом все три класса собрались в соседственной зале, стали во фрунте и ожидали решения Совета. Старший учитель Яковкин и учитель российской словесности Левицкий, очень любимый, приходили уговаривать воспитанников, чтобы они освободили Смирнова и разошлись по своим местам, предоставя дело решению Совета и уверяя, что виновный непременно будет отставлен и что в случае их упорства они жестоко пострадают. Но воспитанники не поверили им и отвечали, что они готовы погибнуть все, только бы Смирнов был отставлен от службы актом. Долго сидела конференция; наконец, разъехались, ничего не сделав; больничного надзирателя опять заперли, и воспитанники пошли обедать позже двумя часами обыкновенного. Ночь провели точно так же, как и вчерашнюю. На третий день опять съехалась конференция; но как скоро собралась она в полном своем составе, возмутившееся юношество целою толпою ввалило в Совет, настоятельно требуя исполнения своей просьбы. Все струсили и потеряли голову, директор больше всех; написали и подписали определение[1], в котором было сказано, что больничный надзиратель Смирнов за дерзкий и оскорбительный поступок с казенным воспитанником Княжевичем 2-м отставляется от службы, о чем и представить на утверждение высшему начальству. Определение было прочитано самим Дмитрием Княжевичем и тут же объявлено Смирнову. В ту же минуту все пришло в свой обыкновенный порядок, начались классы, и учебная жизнь спокойно потекла по своей обычной колее. Скоро все успокоились и подумали, что дело не будет иметь никаких дальнейших последствий; но через неделю, во время обеда, вдруг взошла в залу рота солдат с ружьями и штыками; вслед за нею вошел губернатор и

[1] Кроме Григорья Иваныча, который считал такое действие унизительным и недостойным обманом и в то же время уступкою со стороны Совета. Вообще он не одобрял действий директора и предлагал совсем другие меры, которые могли бы в самом начале потушить это несчастное дело без дальнейших последствий.

директор...» Далее следует текст, в основном совпадающий с текстом окончательной редакции (Л. Б., ф. Аксакова, 1/8 лл., 25 об. — 28).

Возникает, естественно, вопрос: чем вызывалась необходимость замены одной редакции другой? К сожалению, с полной достоверностью ответить на этот вопрос пока не представляется возможным. Но обращает на себя внимание следующее. В первой редакции бунт гимназистов носил несомненно более серьезный характер, чем в последующей. Причем, этот эпизод написан здесь с явным беллетристическим нажимом и, кроме того, содержит в себе ряд недостоверных деталей. Например, главным виновником инцидента в этой первоначальной редакции изображается не «квартермистр», а больничный надзиратель; не соответствует истине и история с арестом надзирателя и многое другое (ср. с указан. выше книгой Д. Нагуевского). Все это противоречило методу писательской работы Аксакова, заявлявшего, что у него «нет свободного творчества», что он не владеет «даром чистого вымысла» и может писать, «только стоя на почве действительности, идя за нитью истинного события» (ИРЛИ, ф. 569, д. № 108, лл. 2 об. — 3), что никогда ничего не выходило из его попыток «писать вымышленное происшествие и вымышленных людей» (Л. Б., ф. Чижова, 1/16) — Аксаков, вероятно, потому и отверг черновую редакцию, что почувствовал, сколь далеко он отступил в ней от исторической истины и изменил тому художественному принципу, которому следовал во всех своих произведениях.

Стр. 118. *«Песнолюбие, опера комическая»* — соч. А. В. Храповицкого (1759—1801), муз. Мартина (СПБ. 1790).

Стр. 118—119. *«Преступник от игры, или Братом проданная сестра»* — комедия в стихах Дмитрия Ефимьева (1768—1804); впервые поставлена на петербургской сцене в 1788 г., вышла из печати — в 1790 г.

Стр. 119. *Шушерин.* — См. воспоминания о нем (наст. том, стр. 337), а также примечания (стр. 492).

Плавильщиков Петр Алексеевич (1760—1812) — выдающийся актер и драматург.

Стр. 120. *Давали оперу «Колбасники».* — Имеется в виду опера «Маркиз крестьянин, или Колбасник», перев. с итал. В. А. Левшина (СПБ. 1795).

«Ошибки, или Утро вечера мудренее» — комедия И. М. Муравьева-Апостола (СПБ. 1794).

«Нина, или От любви сумасшедшая» — опера французского композитора Далейрака (1753—1809), текст — Марсолье.

«Граф Вальтрон» — драма Августа Коцебу (1761—1819), перев. с нем. (М. 1803).

Стр. 121. *...журнал под названием «Аркадские пастушки».* — Как уже отмечалось, Аксаков сопроводил свои «Воспоминания» «Приложениями», в которых поместил в качестве иллюстрации несколько стихотворных и прозаических сочинений, написанных его сверстниками для рукописного журнала «Аркадские пастушки». Некоторые из этих сочинений он сопроводил комментариями. По поводу статьи Нереиса (Николая Панаева) «Швейцария в Казани» Аксаков писал: «Вот каким образом родилось название Швейцарии в окрестностях Казани. Отыскав это гористое и живописное местоположение позади урочища *Поцека,* на котором стоял архиерейский дом, Александр Панаев мне первому сообщил об этом открытии. Наши рассказы привлекли других, и гимназисты окрестили это место именем «Казанской Швейцарии». Теперь оно сделалось любимым местом гулянья для всего города. Там настроены домики, беседки, и, кажется, есть даже кондитерская; самое место разделилось на два гулянья: одна половина называется немецкою, а другая — русскою Швейцариею».

Отрывок статьи Адониса (Александра Панаева) «Путешествие в болгары» вызывает следующее замечание Аксакова: «Если немножко поправить эти строки, списанные с дипломатическою точностью, то они ничем не будут хуже прозы Владимира Измайлова и князя Шаликова, людей, которые в свое время имели свою славу».

Стихотворение Ириса (Ивана Панаева) «Осень» Аксаков комментирует так: «Иван Панаев славился у нас впоследствии одами, из коих некоторые по тогдашнему времени были очень недурны; но, к сожалению, их у меня нет. Его пиесу «Осень» я поместил для того, чтоб показать, как неудачно писал он стихи в другом роде, о чем у нас были большие толки и в чем наш лирик никогда не хотел сознаться» («Семейная хроника и Воспоминания», М. 1856, стр. 405—406, 409 и 411).

Стр. 122. *Румовский Степан Яковлевич* (1734—1812) — видный русский астроном, с 1800 г. — вице-президент Академии наук.

Герман Мартин Готфрид (1755—1822) — доктор философии Геттингенского университета, впоследствии — профессор греческого и латинского языков в Казанском университете.

Цеплин Петр Андреевич (1772—1832) — доктор философии Геттингенского университета, впоследствии — профессор всемир-

ной истории, статистики и географии в Казанском университете.

Стр. 124. Список первых студентов Казанского университета, приведенный Аксаковым, далеко не полный. Кроме того, некоторые фамилии и имена воспроизведены им неточно (ср. Н. Попов, Общество любителей отечественной словесности и периодическая литература в Казани с 1805 по 1834 г., — «Русский вестник», 1859, т. XXIII, стр. 54; см. также Н. П. Загоскин, История императорского Казанского университета, т. I, Казань, 1902, стр. 524—526).

Стр. 126. *Фукс Карл Федорович* (1776—1846) — профессор естественной истории и ботаники в Казанском университете, одно время был его ректором.

Университет

Стр. 128. *Эвест Федор Леонтьевич* (1774—1809) — воспитанник Московского университета, доктор медицины, непродолжительное время служил адъюнктом в Казанском университете.

Бюнеман Генрих Людвиг (1752—1808) — профессор естественного, политического и народного права в Казанском университете, лекции читал на французском и латинском языках; был крайне непопулярен среди студентов.

...назначал камерных студентов, — т. е. тех, которые должны были осуществлять дисциплинарный надзор за младшими студентами в своих камерах (комнатах).

Стр. 131. «*Бот или английский купец*» — комедия, перев. П. Долгорукого (М. 1804); «Дмитрий Самозванец» — трагедия А. П. Сумарокова (СПБ. 1771); «*Досажаев*». — Имеется в виду комедия Шеридана «Школа злословия» в переводе И. М. Муравьева-Апостола (СПБ. 1794), главный герой в этом переводе назван Досажаевым; «*Магомет*» — трагедия Вольтера, перев. П. Потемкина (СПБ. 1798); «*Отец семейства*» — драма Дидро, перев. Н. Сандунова (М. 1794); «*Рослав*» (СПБ. 1784) и «*Титово милосердие*» (СПБ. 1790) — трагедии Я. Б. Княжнина; «*Сын любви*» — драма Коцебу, перев. с нем. (М. 1795).

Стр. 132. *Веревкин Михаил Иванович* (1732—1795) — известный в XVIII в. драматург, первый директор Казанской гимназии.

Стр. 134. «*Ненависть к людям и раскаяние*». — Эта комедия Коцебу вышла в переводах И. Репьева (СПБ. 1792) и А. Малиновского (М. 1796).

«Эйлалия Мейнау, или Следствия примирения» — трагедия, «служащая продолжением к комедии «Ненависть к людям и раскаяние», соч. Фридриха Циглера, перев. с нем. А. Ф. Малиновского (М. 1796).

Стр. 139. *Лафонтен Август* (1758—1831) — немецкий романист-сентименталист. Кстати сказать, упомянутое в тексте произведение Лафонтена («Природа и любовь, или Картины человеческого сердца») в «Опыте Российской библиографии» В. Сопикова ошибочно приписано Мильтенбергу (ч. IV, СПБ. 1905, стр. 145). На титуле русского перевода имя автора не указано.

Стр. 148. *...до декабря включительно.* — Аксаков запамятовал. «Журнал наших занятий» выходил не только в 1806, но и в 1807 году. Об этом свидетельствуют найденные нами в одном из архивных фондов шесть подлинных экземпляров этого рукописного журнала. Среди них — три, которые были в руках Аксакова и описаны им в «Воспоминаниях» и «Приложениях» к ним, а также три других, которые писатель считал утерянными. Один из них, датированный *февралем 1807 г.*, особенно интересен, так как содержит в себе сочинения самого Аксакова (несколько исторических анекдотов, стихов и переводов с французского). Любопытно неизвестное до сих пор юношеское стихотворение Аксакова «К неверной». Приводим его полный текст:

Вчера у ног любезной
На лире я играл;
Сегодня в доле слезной
Я участь проклинал.

Вчера она твердила,
Что я кажусь ей мил;
Сегодня разлюбила,
Я стал уж ей постыл.

Когда в восторге нежном
И в радости своей
В жилище безмятежном
Клялась ты быть моей!

Тогда я восхищался,
Счастливей был царей;
С восторгом наслаждался
Любовию твоей.

Но, ах, судьба жестока,
Судила мне страдать
И горести глубоки
В сей жизни испытать.

О сердце! Кто познает
Твою ужасну власть.
Любовь меня терзает,
А я питаю страсть.

(Л. Б., ГАИС, V/5, «Журнал наших занятий», 1807, февраль, лл. 26 об. — 27).

Заметим еще, что в этом же номере журнала помещено и стихотворение «К соловью», которое неполностью приводит выше Аксаков. В журнальном тексте есть одна строфа (предпоследняя), очевидно забытая автором:

Что блаженство лишь в любви одной
Человек может найти всегда;
Что коль нет ее, то жизнь наша —
Цепь страданий продолжительных!

(там же, лл. 24 об. — 25).

Повидимому, существовали варианты этого юношеского стихотворения Аксакова. Между текстом, цитируемым автором «Воспоминаний», и тем, который помещен в «Журнале наших занятий», имеется ряд разночтений.

Стр. 148. *...выписки из некоторых пиес.* — Каждый номер «Журнала наших занятий» открывался эпиграфом, сочиненным Аксаковым: «Многие пишут для славы, мы пишем для удовольствия; приятная улыбка на устах наших товарищей и друзей есть для нас драгоценный венок награды». В «Приложениях» Аксаков приводит оглавление трех номеров «Журнала наших занятий» (1806, июль, ноябрь, декабрь) и несколько образцов сочинений, помещенных в них. Об отрывке из оды И. Панаева «Война» Аксаков замечает: «Такого рода стихами долго писали в России, и долго получали похвалы за них наши лирические поэты: что ж мудреного, что за пятьдесят лет сочинитель их считал себя истинным талантом, а его товарищи, семнадцатилетняя молодежь, видели в нем будущего Ломоносова или Державина».

Статья «Дмитрий при реке Доне» вызывает следующий комментарий Аксакова: «Эта ничего особенного в себе не содержащая статейка Фомина, студента, впрочем очень остроумного и дельного, не знаю почему, пользовалась у нас общим одобрением. Сравнивая ее с другими прозаическими статьями, я решительно не могу отдать ей значительного преимущества; итак, надобно приписать ее успех *счастью,* которое до сих пор нередко сопровождает

появление и книг и статей. Разумеется, под словом счастье должно понимать стечение благоприятных обстоятельств и причин, незаметных для человека».

О статье А. Панаева «О распространении и пользе русской литературы» Аксаков пишет: «Я помню, что в этой детски-молодой статье было несравненно больше преувеличенных, безусловных и восторженных похвал Карамзину и что только из уважения к моим настоятельным требованиям Панаев согласился кое-что убавить. Что же касается до мысли и выражений, то разве издатель «Московского Меркурия» (г-н Макаров), да и другие поклонники и последователи Карамзина не такими же мыслями и выражениями опровергали грубые, иногда натянутые, но всего чаще справедливые осуждения Шишкова?» («Семейная хроника и Воспоминания», М. 1856, стр. 412, 414, 416, 419).

Стр. 153. *«Общество любителей отечественной словесности».*— Это общество было создано весной 1806 г. и первоначально называлось: «Общество вольных упражнений в российской словесности». Почти целиком сохранившийся архив общества позволяет составить довольно ясное представление о содержании и характере его деятельности (ИРЛИ, ф. 107, д. № 1). Частично этот архив был использован Н. Буличем в кн. «Из прошлых лет Казанского университета», ч. I, Казань, 1887.

Аксаков подал заявление о приеме его в члены общества в конце 1806 г. В «Журнале текущих дел» есть запись от 17 декабря этого года: «Слушано было письмо г-на студента Аксакова о желании его быть членом нашего общества, но как г-н Аксаков не приложил при сем никакого опыта своего в литературе упражнения, то и положено известить его чрез г-на секретаря, что до выполнения им сего общество не может дать удовлетворительного ему ответа». Через месяц в «Журнале» появляется новая запись: «Иваном Панаевым представлены стихи г-на Аксакова «Зима», и общество приняло оного студента г-на Аксакова в число своих членов». 22 января 1807 г., как явствует очередная запись в протоколе, Аксаков впервые явился на собрание общества, а 29 января: «разобрана пиеса «Зима» г-на Аксакова и определена к вписанию в собрание трудов общества под № 25-м». Каждый протокол заседания подписывался всеми присутствовавшими членами общества. Под протокольной записью от 29 января 1807 г. впервые стояло уже и имя Сергея Аксакова, как полноправного члена общества. Неделю спустя находим в «Журнале» новую запись: «Г-н Аксаков подал своего сочинения в стихах: «К соловью», ко-

торую по рассмотрению определено вписать в собрание трудов общества под № 26». Это то самое стихотворение, которое воспроизведено писателем в его «Воспоминаниях».

В начале 1807 г. Аксаков оставил университет и уехал из Казани. 19 марта 1807 г. — очередная запись в «Журнале»: «Секретарь объявил об отъезде г-на Аксакова из Казани и желании его быть его иногородним членом, на что все члены вообще согласились». Через несколько месяцев, 25 июня 1807 г., имя Аксакова снова, и уже в последний раз, встречается в «Журнале». «Секретарь объявил обществу, что г-н А. Панаев уведомил его о отзыве г-на Аксакова, в коем, изъявляя он невозможность быть в сношении с обществом, просит его от него уволить, о чем и определено дать ему знать, г-ну Аксакову, чрез г-на Панаева, что общество на сие соглашается» («ИРЛИ, Архив Казанского общества отечественной словесности, ф. 107, д. № 1, лл. 2, 8 об., 9, 10, 13 об.).

О последующей истории Казанского литературного общества см. в указанной работе Н. Булича и в статье Н. Попова «Общество любителей отечественной словесности и периодическая литература в Казани с 1805 по 1834 год» («Русский вестник», 1859, т. XXIII, стр. 52—98).

Стр. 155. *Видок того времени.* — Видок Франсуа Эжен (1775—1857) — французский уголовный сыщик. Имя его стало нарицательным для обозначения ловкого сыщика, а также мошенника.

Стр. 157. *Каменский Иван Петрович* (1773—1819) — профессор Казанского университета по кафедре анатомии, физиологии и судебной «врачебной науки».

Городчанинов Григорий Николаевич (1772—1852) — профессор русской словесности в Казанском университете, сочинял бесталанные стихи и комедии, был посмешищем в глазах студентов.

...похожий на известного профессора Г-го и К-ва — вероятно, намек на профессора русской словесности П. Е. Георгиевского (1792—1852) и профессора истории И. К. Кайданова (1782—1843), слывших бесталанными педантами и староверами.

Стр. 158. Речь идет о пародии на одну из од Ломоносова, сочиненной поэтом-сатириком, флигель-адъютантом Александра I Сергеем Никифоровичем Мариным (1775—1813).

Стр. 159. *«Бедность и благородство души»* — комедия Коцебу, перев. с нем. (М. 1798).

СОБИРАНИЕ БАБОЧЕК

Осенью 1857 г. группа бывших студентов Казанского университета решила издать «учено-литературный сборник» «в пользу недостаточных студентов этого заведения». Инициаторы обратились к С. Т. Аксакову — «первому студенту» Казанского университета — с просьбой: дать название сборнику и принять в нем участие. Аксаков предложил название «Братчина» и прислал очерк «Собирание бабочек», имевший подзаголовок: «Рассказ из студентской жизни». Очерк был датирован 21 июля 1858 г. и опубликован в этом сборнике, вышедшем под редакцией П. И. Мельникова уже после смерти Аксакова (СПБ. 1859, стр. 3—64). Мы воспроизводим текст этого издания.

Стр. 165. *«Детское чтение».* — См. примеч. к «Детским годам Багрова-внука» (т. 1 наст. изд., стр. 627).

Стр. 166. *Блуменбах Иоганн Фридрих* (1752—1840) — немецкий естествоиспытатель.

Тимьянский Василий Ильич (род. в 1791 г.) — впоследствии профессор естественной истории и ботаники Казанского университета.

Стр. 172. *Вагнер Николай Петрович* (1829—1901) — ученый-зоолог, профессор Казанского и Петербургского университетов, автор известных «Повестей, сказок и рассказов Кота-Мурлыки».

Стр. 179. *Н. П. В.* — Здесь и в последующих случаях, вероятно, Николай Петрович Вагнер (см. пред. примеч.).

Эверсман Эдуард Александрович (1794—1860) — профессор Казанского университета по кафедре ботаники и зоологии.

Бутлеров Александр Михайлович (1828—1886) — великий русский ученый-химик, создатель современной органической химии; был одно время профессором Казанского университета. По материнской линии приходился родственником Аксакову.

Стр. 195. *Верешок* — черенок.

Стр. 209. Синель — сирень.

Стр. 212. *Озерецковский Николай Яковлевич* (1750—1827)— ученый-путешественник, академик; Аксаков имеет, вероятно, в виду его книгу «Начальные основания естественной истории» (СПБ. 1792).

ВСТРЕЧА С МАРТИНИСТАМИ

Это последнее опубликованное при жизни Аксакова произведение датировано декабрем 1852 г. Оно появилось в «Русской беседе», 1859, кн. I, стр. 31—76. Текст печатается по этому изданию.

Мартинисты — религиозно-мистическая секта, основанная в XVIII в. Мартинесом Паскуалисом (1715—1779) и Луи Сен Мартеном (1743—1803). Члены этой секты верили в возможность чудес в результате общения с духами. В начале XIX в. русские мартинисты развивали активную деятельность, усиленно пытаясь вербовать новых сторонников. Едко, а порой даже с сарказмом описывает Аксаков мистическую тарабарщину мартинистов и их тщетные попытки обратить его в свою веру. «Встреча с мартинистами» содержит интересный материал, характеризующий нравы определенной части великосветского петербургского общества, а также важный период в истории духовного развития молодого Аксакова.

Стр. 222. *Рубановский.* — Имеется в виду Василий Васильевич Романовский (1757—1827), который упоминается в воспоминаниях о Шушерине (см. ниже в наст. томе), член масонской ложи Лабзина «Умирающий сфинкс».

Стр. 226. *Лабзин Александр Федорович* (1766—1825) — видный масон-мартинист, автор многих сочинений мистического характера; издавал в 1806 и 1817—1818 гг. религиозный журнал «Сионский вестник», в 1800 г. основал масонскую ложу «Умирающий сфинкс».

Стр. 229. *Черевин Александр Григорьевич* (ум. в 1818 г.) — масон, последователь А. Ф. Лабзина.

Мартынов Александр Петрович (род. в 1782 г.) — масон, входил в масонскую ложу Лабзина «Умирающий сфинкс».

Мартынов Павел Петрович (ум. в 1838 г.) — полковник, земляк и приятель С. Т. Аксакова.

Стр. 230. Подпись *У. М.* означала не «Ученик Масонства», а «Ученик Мудрости».

Стр. 231. *«Путешествие младого Костиса от Востока к Полудню»* — сочинение немецкого писателя-мистика Карла Эккартсгаузена (1752—1803), перев. А. Ф. Лабзина (СПБ. 1801).

«Приключения по смерти» — сочинение немецкого писателя-мистика Юнга-Штиллинга (1740—1817), в 3-х частях, на русском языке вышла в переводе У. М. (т. е. Лабзина) (СПБ. 1805).

Стр. 233. *Сабанеев Иван Васильевич* (1770—1829) — генерал, участник походов Суворова и Отечественной войны 1812 г.

Стр. 234. *Капцевич Петр Михайлович* (1772—1840) — генерал, впоследствии генерал-губернатор Западной Сибири.

Стр. 235. *Розенкампф Густав Андреевич* (1764—1832) — юрист и государственный деятель, автор ряда исследований по теории и истории права.

Стр. 237. *Штофреген Конрад Конрадович* (1767—1841) — доктор медицины, лейб-медик Александра I.

Стр. 242. *Ильин Николай Иванович* (1777—1823) — драматург; его драма «Лиза, или Торжество благодарности» впервые представлена на петербургской сцене в 1802 г., вышла из печати в 1803 г.

Стр. 247. *Жена Лабзина* — Анна Евдокимовна Лабзина (1758—1828), автор «Воспоминаний» (СПБ. 1914).

Стр. 263. *Новосильцев Николай Николаевич* (1761—1836) — царский сановник, крайний реакционер.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ СЕМЕНОВИЧЕ ШИШКОВЕ

Настоящие воспоминания Аксакова представляют интерес для современного читателя, разумеется, отнюдь не теми сведениями, которые сообщаются в них о личности А. С. Шишкова (1754—1841). Основатель пресловутой «Беседы любителей русского слова», президент Российской академии, министр народного просвещения — во всех этих ролях Шишков стяжал себе недобрую славу рутинера и консерватора. Случилось, однако, так, что этот видный деятель александровской, а затем и николаевской реакции, принципиально враждебный всему тому, что носило на себе печать новизны, молодости и здоровья, сыграл известную роль в личной судьбе Аксакова, который юношей был введен в дом Шишкова и стал свидетелем, а порой — участником любопытных событий, здесь происходивших. Работая над воспоминаниями много лет спустя, Аксаков пытался передать ту атмосферу «благоговения» перед Шишковым, которую он испытывал в молодости. И вот что замечательно. Чем короче узнавал Аксаков Шишкова, тем менее оставалось в нем былого преклонения перед ним и, может быть даже незаметно для автора, все более отчетливо начинает вырисовываться со страниц воспоминаний образ ученого схоласта

и старовера. Умная и тонкая аксаковская ирония ясно проглядывает в нарисованном писателем портрете Шишкова. Характерно, например, заключение мемуариста о псевдонациональном направлении деятельности Шишкова и его последователей: «Они вопили против иностранного направления — и не подозревали, что охвачены им с ног до головы, что они не умеют даже думать по-русски»; примечательны и язвительная реплика о том, что Шишков «восставал против победоносного могущества новизны и таланта» и замечание о разглагольствованиях этого «гасильника» по поводу того, что «мужику не нужно знать грамоте». Словом, многое из того, что Аксаков узнал о своем «кумире», не раз повергало в смущение, как он пишет, его «молодую голову». Любопытна в этом отношении фраза А. О. Смирновой в письме к С. Т. Аксакову от 6 марта 1856 г.: «Желала бы знать, что вы думали о Шишкове; у вас он вышел живой совершенно; *многие полагают, что вы хотели совсем уронить его значение...*» (выделено нами — *С. М.*; «Русский архив», 1894, кн. I стр. 159). А что думал сам автор воспоминаний о своем герое, красноречиво свидетельствовало его беспокойство относительно цензурных неприятностей, с которыми столкнутся, как он полагал, воспоминания о Шишкове. В одном из писем к Погодину, еще задолго до того, как эти воспоминания были закончены, Аксаков с горечью писал: «О Шишкове многого не пропустят» (Л. Б., ф. Погодина, II, 1/59).

Но, повторяем, не в Шишкове главный интерес этого произведения. Значение воспоминаний Аксакова состоит в том, что они содержат в себе ценный автобиографический материал. А кроме того, в них разбросано немало характерных подробностей, помогающих читателю ощутить живую атмосферу эпохи.

Первоначально «Воспоминание об Александре Семеновиче Шишкове» было опубликовано в первом издании «Семейной хроники и Воспоминаний» (М. 1856) и в том же году с незначительными стилистическими исправлениями снова напечатано во втором издании этой книги. Мы воспроизводим текст второго и последнего прижизненного издания. Имена и названия, обозначенные здесь инициалами или сокращенно, даются полностью по четвертому изданию (М. 1870).

Стр. 266. *Эпиграф* — из пушкинского «Второго послания к цензору» (1824). Первую строку следует читать: «Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа».

Стр. 268. *«Детская библиотека».* — См. примеч. к «Детским годам Багрова-внука» (т. 1 наст. изд., стр. 628).

Стр. 269. *Бартельс Мартин Федорович* (1769—1837) — профессор математики; в 1806 г. был избран почетным членом Казанского университета, а год спустя получил здесь кафедру математики.

Вронченко Федор Павлович (1780—1852) — чиновник министерства финансов, впоследствии министр финансов.

Стр. 270. *...положено было представить меня главе славянофилов.* — Слово «славянофил» имеет здесь не тот смысл, который оно обретет в 40-х гг. Славянофилами в начале XIX в. называли ревностных сторонников А. С. Шишкова.

Стр. 273. *Ширинский-Шихматов Сергей Александрович* (1783—1837) — поэт, член шишковской «Беседы любителей русского слова», в идейно-литературной борьбе начала XIX в. занимал крайне реакционную позицию. Его поэма «Петр Великий, лирическое песнопение», упоминаемая Аксаковым, вышла из печати в 1810 г.

Стр. 281. *Шишков Александр Ардалионович* (Шишков 2-й) (1799—1833) — поэт-переводчик; был убит на улице в г. Твери.

Стр. 282. *«Разговоры о словесности между двумя лицами Аз и Буки»* — соч. А. С. Шишкова (СПБ. 1811).

Стр. 283. *Бунина Анна Петровна* (1774—1828) — посредственная поэтесса, была избрана почетным членом шишковской «Беседы».

Стр. 284. *Кикин Петр Андреевич* (1775—1834) — генерал, флигель-адъютант Александра I, яростный приверженец Шишкова.

Стр. 285. *Невзоров Максим Иванович* (1762—1827) — поэт и переводчик, доктор медицины, масон.

Стр. 287. *Мордвинов Николай Семенович* (1754—1845) — видный царский сановник.

Бакунин Михаил Михайлович (1764—1837) — генерал, петербургский губернатор.

Метастазио Пьетро (1698—1782) — итальянский поэт.

Стр. 290. *Цизальпинская республика* — была создана в 1797 г. Наполеоном в Северной Италии и просуществовала до 1805 г.

Стр. 293. *...приказал ехать к Воронцовым.* — Воронцов Семен Романович (1744—1832) — дипломат.

Стр. 297—298. *Хвостов Александр Семенович* (1753—1830) — двоюродный брат Д. И. Хвостова, поэт и переводчик, ярый шишковист.

Стр. 302 *Хвостов Дмитрий Иванович* (1757—1835)—знаменитый своей бездарностью поэт, его стихи постоянно служили предметом насмешек.

Шаховской Александр Александрович (1777—1846) — драматург и театральный деятель.

Строганов Павел Александрович (1774—1817) — генерал, видный царский сановник, один из советников Александра I в начале его царствования.

Оленин Алексей Николаевич (1763—1843)— литератор, археолог, директор Публичной библиотеки в Петербурге, президент Академии художеств.

Писарев Александр Александрович (1780—1848) — драматург, генерал, был одно время военным губернатором Варшавы.

Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1790—1855)— писатель, сторонник Шишкова, впоследствии — министр народного просвещения.

Захаров Иван Семенович (1754—1816) — сановник, писатель, переводчик, председатель шишковской «Беседы».

Висковатов Степан Иванович (1786—1831) — драматург, переводчик.

Стурдза Александр Скарлатович (1791—1854) — дипломат и публицист крайне реакционного направления.

Горчаков Дмитрий Петрович (1758—1824) — поэт, член шишковской «Беседы».

Станевич Евстафий Иванович (1775—1835) — поэт-шишковист.

Львов Павел Юрьевич (1770—1825)— писатель, член шишковской «Беседы», автор нашумевшей в свое время сентиментальной повести «Российская Памела» (СПБ. 1789).

Гераков Гавриил Васильевич (1775—1838) — автор бездарных произведений охранительного направления.

Стр. 306. Речь идет о пародии К. Н. Батюшкова «Певец в Беседе любителей русского слова», направленной против шишковской «Беседы».

Дмитриев Михаил Александрович (1796—1866) — реакционный поэт; о принадлежности Батюшкову указанной пародии он писал в своих воспоминаниях «Мелочи из запаса моей памяти» (М. 1869, стр. 199—200).

Стр. 310. *...одиннадцатый том Русской истории Карамзина, изданный после его смерти Д. Н. Блудовым.* — Сведения неточные. XI т. «Истории государства российского» Карамзина вышел

в 1824 г., т. е. еще при жизни автора. Очевидно, Аксаков имел в виду XII т., который действительно был издан уже после смерти Карамзина в 1826 г. — графом Дмитрием Николаевичем Блудовым (1785—1864).

Венелин Юрий Иванович (1802—1839) — литератор, славист и этнограф.

ЗНАКОМСТВО С ДЕРЖАВИНЫМ

Эти воспоминания С. Т. Аксаков написал в мае 1852 г. Под названием «Отрывок из воспоминаний молодости. Знакомство с Державиным» они были предназначены для второго тома «Московского сборника», запрещенного «высочайшим решением» в начале 1853 г. Познакомившись с рукописью, И. С. Тургенев писал 20 ноября 1853 г. автору: «Посылаю вам статью вашу о Державине. Она чрезвычайно интересна и любопытна — и хотя великий поэт является в ней в чуть-чуть комическом свете, тем не менее общее впечатление трогательно — словно из другого мира звучит этот голос. Непременно надобно напечатать эту статью» («Вестник Европы», 1894, № 2, стр. 480).

«Знакомство с Державиным» впервые появилось в свет в первом издании книги «Семейная хроника и Воспоминания» (М. 1856) и вызвало ряд положительных отзывов. Благодаря Аксакова за присылку его «знаменитой книги», М. А. Максимович писал ему из Киева: «Как у вас дышит жизнью все, от певучего, докучного комара — до восторженных движений угасающего вулкана — Державина! Какая полнота и теплота жизни в картинах природы и в изображении людей и людцов русского мира!» (ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 3, д. № 90, л. 5).

Текст воспроизводится по второму прижизненному изданию «Семейной хроники и Воспоминаний» (М. 1856), в которое Аксаковым было внесено несколько стилистических исправлений.

Стр. 314. *...чтобы взглянуть на брата...* — Имеется в виду Аркадий Тимофеевич Аксаков (1803—1860).

...в известном Гарновском доме — известный в Петербурге своим роскошеством дом артиллерийского офицера, полковника Михаила Антоновича Гарновского (1764—1817); впоследствии владелец оказался в опале, а в его доме, по повелению Павла I, были устроены конногвардейские конюшни, а затем военные казармы.

Стр. 315. *Подпрапорщики Капнисты* — сыновья писателя В. В. Капниста, приходившегося родственником Г. Р. Державину.

Кавелин Александр Александрович (1793—1850) — впоследствии генерал от инфантерии; одно время служил при дворе в качестве воспитателя наследника — будущего царя Александра II.

Годеин Павел Петрович — командир школы гвардейских подпрапорщиков.

Стр. 317. *Тончи Сальватор* (Николай Иванович) (1756—1844) — итальянский живописец и поэт; вторую половину своей жизни провел в России; жил в Петербурге, а с 1802 г. служил в Москве инспектором дворцового архитектурного училища. Портрет Державина его работы, о котором говорит Аксаков, хранится ныне в Государственной Третьяковской галерее, в Москве.

Стр. 319. *Яковлев Алексей Семенович* (1773—1817) — замечательный русский актер-трагик.

Стр. 321. «*Ирод и Мариамна*» — трагедия Г. Р. Державина (СПБ. 1809).

Стр. 323. Незавершенная трагедия Державина называется не «*Агалиба*», а «Атабалибо, или Разрушение перуанской империи».

«Сумбека (кажется, так), или Покорение Казани». — Имеется в виду пьеса Державина «Грозный, или Покорение Казани» (1814).

Стр. 325. *...любил одно осьмистишие...* — Повидимому, речь идет о четверостишии «Суд о басельниках»:

Эзоп, Хемницера зря, Дмитрева, Крылова,
Последнему сказал: ты тонок и умен;
Второму: ты хорош для модных, книжных тем.
С усмешкой первому сжал руку — и ни слова.

Стр. 329. *Кокошкин Федор Федорович* (1773—1838) — театральный деятель, посредственный драматург; сторонник классицистической рутины.

Валберхова Мария Ивановна (1788—1867) — драматическая актриса, переводчица.

Стр. 330. *Брянский Яков Григорьевич* (1790—1853) — выдающийся актер-трагик петербургской сцены.

Стр. 332. *Львов Федор Петрович* (1766—1836) — поэт, приверженец Шишкова.

Стр. 334. *Родзянко Аркадий Гаврилович* (1793—1846) — второстепенный поэт.

ЯКОВ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ ШУШЕРИН

Имя выдающегося русского актера Я. Е. Шушерина (1753—1813) занимает видное место в истории духовного развития молодого Аксакова. Знакомство и общение с Шушериным во многом содействовали формированию взглядов Аксакова на сценическое искусство, становлению тех реалистических принципов театральной эстетики, которые с такой замечательной силой раскрылись в его критических статьях второй половины 20-х — начала 30-х гг. Задумав на склоне лет обширный цикл воспоминаний о самых знаменательных событиях своей жизни, о встречах с наиболее интересными современниками, Аксаков недаром решил посвятить специальную статью Шушерину, истории знакомства и своих отношений с ним.

22 декабря 1853 г. Аксаков извещал Тургенева: «Я начал писать статью из моих воспоминаний об Я. Е. Шушерине, с которым был коротко знаком» («Русское обозрение», 1894, № 11, стр. 9). Это первое упоминание в переписке Аксакова о предпринятом им труде. А полтора месяца спустя он сообщал Погодину: «Я пишу теперь статью «Воспоминания о Шушерине и о современных ему театральных знаменитостях с 1808 по 1812 год». Эта статья действительно будет интересна для всякого рода читателей...» (Л. Б., ф. Погодина, II 1/60).

Воспоминания о Шушерине были впервые опубликованы в 1854 г. в журнале «Москвитянин» (№ 10, май, кн. 2, стр. 85—118, и № 11, июнь, кн. 1, стр. 119—152) с подзаголовком: «Отрывок из воспоминаний. (Посвящается М. С. Щепкину.)» Текст датирован мартом 1854 г.

Отзывы современников о новой работе Аксакова превзошли все его ожидания. Первым откликнулся Тургенев. «Здесь все — и, разумеется, начиная с меня, — в восторге от Вашего Шушерина, — писал он 7 августа 1854 г. — Это просто прелесть; а что касается до слога — мы все у вас должны учиться. Отголосок этих мнений вы найдете в августовском «Современнике», в фельетоне Панаева» («Вестник Европы», 1894, № 2, стр. 486).

«Фельетон», на который ссылается Тургенев, назывался: «Заметки и размышления Нового Поэта по поводу русской журналистики». Характеризуя состояние современной русской литературы, И. Панаев отмечал, что, к сожалению, еще не перевелись писатели, предпочитающие благородной простоте и безыскусной правдивости всякого рода эффекты и литературные фейерверки. Этим

сторонникам «высокопарной прозы» автор статьи противопоставляет Аксакова. «...Никто из нас, не исключая лучших современных беллетристов, — пишет он, — не сумеет ни за что рассказать нам с такою художественною простотою, с таким отсутствием всяких литературных кокетств какой-нибудь факт из своей жизни, свою встречу с каким-нибудь более или менее замечательным лицом, как рассказал нам автор «Записок об уженье» в «Отрывке из своих воспоминаний» свое знакомство с актером Шушериным... Статья его под названием «Яков Емельянович Шушерин и современные ему театральные знаменитости» может служить для всех нас, *молодых* писателей, образцом, что такое художественная простота, для нас, которые только и кричим о простоте в последнее время, хотя преуспеваем в ней слабо. Личности Шушерина, Яковлева, Дмитревского и других тогдашних театральных знаменитостей — как живые перед вами в этой статье» («Современник», 1854, № 8, стр. 132). Панаев называет воспоминания Аксакова «превосходной статьей», удостоверяющей в том, как «умно, живо, легко и просто рассказывает автор» (там же, стр. 142).

Отзывы Тургенева и Панаева глубоко взволновали Аксакова и заставили его даже высказать сомнение в обоснованности подобных оценок. «Отзыв ваш о моей статье «Шушерин» был мне очень приятен, — отвечал он Тургеневу, — я верю вашему вкусу и вашей искренности, хотя в то же время признаю выражение, что вы *должны учиться у меня слогу*, преувеличенным выражением вашей дружбы. Я очень благодарен и Панаеву за все его похвалы, тоже несколько излишние...» («Русское обозрение», 1894, № 11, стр. 17—18).

Воспоминания Аксакова, по общему признанию критики, ярко воссоздавали личность Шушерина и черты эпохи. Но, написанные четыре десятилетия спустя после изображаемых событий, они содержали в себе и ряд фактических ошибок, неточностей. На некоторые из них тотчас же указал известный мемуарист С. П. Жихарев в статье «Воспоминания старого театрала» («Отечественные записки», 1854, № 10, отд. II, стр. 93—132, и № 11, отд. II, стр. 23—52). Отдельные неточности были обнаружены у Аксакова историками русского театра — см., напр.: М. Лонгинов, «Заметки для истории русского театра» («Русский архив», 1870, стр. 1354—1366); А. Н. Сиротинин, «Яков Емельянович Шушерин» («Русский архив, 1890, № 5, стр. 79—96); А. Н. Сиротинин, «П. А. Плавильщиков, актер и писатель прошлого века» («Исторический вестник», 1891, т. 45, стр. 415—446).

Выступление Жихарева вызвало короткую ответную статью Аксакова «Несколько слов о статье «Воспоминания старого театрала» («Москвитянин», 1854, т. V, смесь, стр. 201—202). Согласившись с некоторыми критическими замечаниями «старого театрала», Аксаков вместе с тем возражал против тона этих замечаний и отдельных резких выражений. Критику Жихарева он учел в последующем издании воспоминаний о Шушерине, куда были внесены соответствующие исправления.

После первой публикации воспоминания о Шушерине появлялись в печати при жизни Аксакова дважды — в первом и втором издании книги «Семейная хроника и Воспоминания» (М. 1856). Мы воспроизводим текст второго издания. Имена и названия, обозначенные инициалами или сокращенно, даются полностью по четвертому, посмертному, изданию (М. 1870).

Стр. 339. *Воробьева Матрена Семеновна* (ум. в 1831 г.) — драматическая актриса, дебютировала на московской сцене в 1799 г.

«Гуситы под Наумбургом» — драма Коцебу, перев. Н. Краснопольского (СПБ. 1807).

«...нестерпимейший актер г. Прусаков» — московский артист Артамон Никитич Прусаков (ум. в 1841 г.).

Стр. 341. *Дмитревский Иван Афанасьевич* (1733—1821) — выдающийся русский актер, драматург.

Стр. 346. *M-lle Жорж* (сценический псевдоним Маргариты Жозефины Веймер) (1787—1867) — известная французская актриса, гастролировала в России; ее дебют на петербургской сцене состоялся 13 июля 1808 г.

Стр. 348. *Медокс Михаил Егорович* (1747—1822) — театральный антрепренер, содержал частный театр в Москве.

Языков Дмитрий Иванович (1773—1845) — ученый-филолог, переводчик, академик.

Стр. 349. *Калиграф Иван Иванович* (ум. в 1780 г.) — крупный драматический актер московской сцены, ученик Ф. Г. Волкова.

Стр. 350. *«Бедность и благородство души»* — комедия Коцебу, перев. А. Ф. Малиновского (М. 1798).

Стр. 351. *Семенова Екатерина Семеновна* (1786—1849) — выдающаяся трагическая актриса, дебютировала в 1805 г.

«Примирение двух братьев» — комедия Коцебу, перев. с нем. (М. 1801).

«Корсиканцы» — комедия Коцебу, перев. с нем. (Смоленск, 1801).

«Танкред» — трагедия Вольтера, впервые была представлена на сцене 8 апреля 1809 г., напечатана в перев. Н. И. Гнедича в 1916 г.

Стр. 357. *Дюсис (Дюси) Жан Франсуа* (1733—1816) — французский драматург, был известен своими «переделками» произведений Шекспира.

Стр. 359. *«Эмилия Галотти»* — трагедия Лессинга, перев. с нем. (СПБ, 1784).

Стр. 361. *Костров Ермил Иванович* (ок. 1750—1796) — поэт, перевел первые шесть песен «Илиады» (М. 1787).

Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — министр народного просвещения, президент Академии наук, крайний реакционер.

Стр. 367. *Каратыгин Василий Андреевич* (1802—1853) — известный петербургский трагик (об отношении к нему Аксакова см. вступительную статью к 1 т. наст. изд.).

«Людовик XI» — трагедия К. Делавиня.

«Мария Стюарт» — трагедия Ф. Шиллера. Русский перевод Н. Павлова (М. 1825) был сделан с французской переделки Пьера Лебрюна (1760—1837).

Стр. 368. *...в самом начале московской чумы.* — Эпидемия чумы в Москве свирепствовала в 1770—1771 гг.

Стр. 370. *Актриса М. С. С.* — вероятно, Мария Степановна Сахарова (урожд. Синявская) (1762—1828) — известная драматическая актриса, выступала на московской, а потом на петербургской сцене.

Стр. 371. Драма Коцебу *«Попугай»* вышла в переводе А. Ф. Малиновского (М. 1801).

Юсупов Николай Борисович (1750—1830) — видный царский сановник, в 1791—1799 гг. — главный директор театров.

Стр. 372. *Померанцев Василий Петрович* (ум. в 1809 г.) — московский драматический актер.

Лапин Иван Федорович — московский драматический актер.

Стр. 373. *«Безбожный»* — трагедия Иоахима Вильгельма Браве (1738—1758), перев. И. Елагина (СПБ. 1771).

Стр. 375. *Сахаров Николай Данилович* (ум. в 1810 г.) — актер.

Стр. 376. *«Мисс Сарра Сампсон»* — трагедия Лессинга.

«Ярб». — Имеется в виду трагедия Я. Княжнина «Дидона», героем которой является Ярб.

Стр. 378. *Крюковский Матвей Васильевич* (1781—1811) — драматург, его трагедия «Пожарский» (СПБ. 1807) имела шумный успех.

Стр. 379. *Щенников Александр Гаврилович* (1781—1859) — петербургский актер.

Стр. 380. *Гаррик Давид* (1717—1779) — выдающийся английский актер, замечательный исполнитель шекспировских ролей.

Стр. 385—386. *Бобров Елисей Петрович* (1778—1830), *Рыкалов Василий Федотович* (1771—1813) — комические актеры.

Стр. 387. *Шумский, современник обоих Волковых.* — Один из первых русских актеров, Яков Данилович Шумский дебютировал в 1751 г.; Волков Федор Григорьевич (1729—1763) — основатель русского национального театра, актер, режиссер, драматург. Волков Григорий Григорьевич (род. в 1735 г.) — брат предыдущего, талантливый драматический актер.

Стр. 388. *Офрен Жан* (1720—1806) — французский актер, последние двадцать лет жизни выступал на петербургской сцене.

«Заира» — трагедия Вольтера, перев. с франц. Адриана Дубровского (СПБ. 1799).

Стр. 390. Аксаков перевел трагедию Софокла «Филоктет» не с греческого оригинала, а с французского перевода Лагарпа и издал его в Москве, в 1816 г. Аксаков предпослал своему переводу стихотворное посвящение Шушерину:

Когда бы я владел таким в стихах искусством,
Каким одушевлен к тебе почтенья чувством,
Славней Софоклова гремел бы Филоктет,
И в восхищении ему внимал бы свет;
Но скуден дар во мне чувств выражать премены,
Гонения судьбы, страстей противных брань;
Прийми ж, о Шушерин, любимец Мельпомены,
Таланту своему благоговенья дань! —

которое было написано, по словам автора, еще при жизни Шушерина.

Свое посвящение Аксаков сопроводил следующим примечанием:

«Филоктет» был переведен для последнего бенефиса г. Шушерина. Французы, помешавшие многому, между прочим помешали представлению сей пьесы; а смерть г. Шушерина, кажется, и навсегда отдалила ее от театра. Итак, она печатается для чтения, а

более чтоб почтить память почтенного человека и славного нашего актера. Вырученные деньги предоставляются в пользу бедных».

В «Литературных и театральных воспоминаниях» Аксакова (см. т. 3 наст. изд.) содержится ряд любопытных подробностей об истории этого перевода, а также дополнительных фактов, характеризующих отношения Аксакова и Шушерина.

Стр. 390. *...французский знаменитый трагик Larive или Lequen» — Ларив* Жан (1749—1827) и *Лекэн* Анри Луи (1729—1778) — известные французские актеры драматической сцены.

Иванов Федор Федорович (1773—1838), *Вельяшев-Волынцев Дмитрий Иванович* (1770—1818) — драматурги-переводчики.

Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842) — историк, журналист, издатель журнала «Вестник Европы».

Стр. 391. *Злов Петр Васильевич* (1774—1823) — драматический актер и певец (бас).

Мочалов Степан Федорович (1775—1823) — драматический актер, отец знаменитого трагика Мочалова Павла Степановича (1800—1848).

Майков Аполлон Александрович (1761—1838) — малоизвестный писатель, в 1821—1825 гг. — директор императорских театров.

Стр. 392. *Глинка Сергей Николаевич* (1775—1847) — писатель; в 1808—1824 гг. издавал журнал «Русский вестник».

Стр. 398. Приводим вариант «известий о Дмитревском и Яковлеве», которым заканчивалась статья в «Москвитянине»: «Все это я узнал через год, проезжая через Москву в Петербург; там ожидали меня известия о других утратах. В достопамятном 1812 году не стало Яковлева и Дмитревского. Яковлев кончил жизнь рановременно, в полной силе и цвете возраста человеческого. Он оставил жену и детей; Дмитревский пережил его несколькими месяцами, но успел участвовать в бенефисе, который дан был театральной дирекцией в пользу вдовы и детей покойного Яковлева. Князь Шаховской написал для этого спектакля небольшую пиесу под названием: «Встреча незваных», то есть французов, имевшую тогда сильный современный интерес, и дряхлый старец Дмитревский, уже очень давно оставивший театр, вышел в этой пиесе на сцену в роли старосты, также дряхлого старика. Этот спектакль долго оставался в памяти петербургской публики. В нем было даже слишком много интересов, так что сочувствия, ими возбуждаемые, мешали одно другому: сожаление о потере Яковлева и участие к его семейству; появление на сцену знаменитого

артиста, для большей части публики известного как славное имя прошедшего театрального мира, так благородно доказавшего искреннюю привязанность к бывшему своему ученику, и, наконец, живое напоминание едва совершившегося великого события, то есть пребывания и потом изгнания французов из Москвы. Мне рассказывали, что последний интерес ослабил другие, между тем каждого из них было бы слишком достаточно для произведения сильного впечатления, даже сильнейшего, чем произвели они все вместе. Что касается до меня, то я нисколько не жалею, что не видел этого спектакля. На театральных подмостках должен владычествовать один интерес — искусство. Действительность превращается на них в вымысел, теряет свое значение и действует на душу неприятно. Напротив, вымысел должен казаться действительностью. Настоящую вдову и настоящих сирот Яковлева, выпущенных на сцену для возбуждения сострадания зрителей — было бы для меня грустно, и тяжело, и неприятно видеть. Искусно сыгранная роль дряхлого старика на театре может доставить эстетическое удовольствие как действительность, перенесенная в искусство; но действительный старец Дмитревский, едва живой, едва передвигающий ноги, на краю действительной могилы, *представляющий старика* на сцене — признаюсь — это глубоко оскорбительное зрелище, и я радуюсь, что не видел его» («Москвитянин», 1854, № 11, июнь, кн. I, стр. 152).

ОЧЕРКИ И НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

БУРАН

Этот небольшой очерк, появившийся впервые без подписи автора в альманахе «Денница» на 1834 г. (М. 1834, стр. 191—207), представляет существенную веху в творческой биографии Аксакова. Он как бы знаменовал рождение в нем крупного художника-реалиста и открывал прямую дорогу к «Семейной хронике» и «Детским годам Багрова-внука».

Хотя очерк был датирован Аксаковым 1834 г., но, повидимому, он был написан во второй половине предшествующего года. Цензурное разрешение «Денницы» помечено 24 октября 1833 г. Можно предполагать, что замысел этого очерка возник у Аксакова задолго до того, как он был воплощен. В рукописном отделе

Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина хранится объемистая тетрадь Аксакова под названием: «Книга для всякой всячины. 1815 года сентября 28 дня. Москва». «Книга» содержит в себе множество деловых записей Аксакова, стихов, набросков статей и прозаических отрывков, черновиков писем к различным корреспондентам и проч. Некоторые из материалов датированы между 1815 и 1824 гг. В этой «Книге» имеется вкладыш — два листка почтовой бумаги, представляющие собой крайне неразборчиво написанный рукой Аксакова черновик стихотворения. Оно рисует картину снежного бурана в степи и являет собой, очевидно, не что иное, как первоначальную попытку воплощения замысла, который впоследствии принял форму очерка «Буран». По некоторым особенностям почерка можно предположить, что стихотворение относится ко второй половине или к концу 20-х гг. Приводим его текст:

Сияет солнце, воздух тих;
Недвижимы дерев вершины,
Спокойны снежные пучины;
Алмазный блеск горит на них
И ослепляет взор прельщенный;
Здоровый холод всех живит,
Тащась дорогой искривленной,
Обозный весело бежит.
Уж солнце полдень протекает
И зимний вечер недалек,
Как вдруг от севера взвывает
Порой прерывный ветерок.
Хоть солнце все еще сияет
И чист небес лазурный вид,
Но под ногами закипает,
И поле струйками бежит.
Знакомы с бедами обозы
Поспешно ускоряют бег,
Зимы свирепы зная грозы,
Спешат укрыться на ночлег.
И горе, горе запоздавшим
И ночь встречающим в полях,
Опасностей не испытавшим
В безлюдных и степных местах.
И вскоре туча снеговая
С заката кроет небосклон,
И ветр пустынный, завывая,
Взрывает степь со всех сторон.
Земля смешалась с небесами,
Бушует снежный океан,
Все белый мрак одел крылами,
Настигла ночь, настал буран!

Свистит, шипит, ревет, взывает.
То вниз, то вверх вертит столбом,
Слепит глаза и удушает
Кипящий снежный прах кругом.

(Л. Б., ГАИС III, VII/I).

В следующих десяти строках стихотворения поддаются прочтению только отдельные слова. Основная часть черновика расшифрована нами совместно с К. В. Пигаревым.

В 1858 г. «Буран» был перепечатан автором в его книге «Разные сочинения», в разделе «Мелкие пиесы» (М. 1858, стр. 329—344) и сопровожден «Вступлением». Текст печатается по этому изданию.

Стр. 403. *...почтенный критик «Русской беседы»* — Н. П. Гиляров-Платонов, автор напечатанной в журнале «Русская беседа» (1856, кн. I, за подписью: Н. Г — в) статьи о книге Аксакова «Семейная хроника и Воспоминания».

Стр. 405. *Максимович Михаил Александрович* (1804—1873)— выдающийся этнограф и историк, профессор ботаники Московского университета, а затем профессор русской словесности Киевского университета и его ректор; был в дружеских отношениях с Аксаковым.

Стр. 406. *Полевой Николай Алексеевич* (1796—1846) — журналист, критик, беллетрист, драматург, историк; в 1825—1834 гг. издавал журнал «Московский телеграф»; в конце 30-х гг. эволюционировал вправо и перешел вскоре в лагерь реакции; к Аксакову относился враждебно.

Отзыв «Телеграфа». — Имеется в виду напечатанная в «Московском телеграфе» (1834, № 1) статья-обзор «Новые книги», подписанная инициалами К. П. — Ксенофонтом Полевым, братом издателя журнала. В абзаце, посвященном выходу в свет альманаха «Денница» на 1834 г., было сказано следующее: «Буран. Мастерское описание бури в степях оренбургских. Если и это отрывок из романа, то мы поздравляем публику с романом, обещающим много хорошего» (стр. 183).

ОТРЫВОК ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

В своей автобиографической трилогии С. Т. Аксаков воссоздал историю трех поколений Багровых — Аксаковых. Чем ближе становились изображаемые события, тем большие затруднения испытывал писатель, честная и правдивая летопись которого вызывала

сильное сопротивление со стороны членов его семьи. Есть немало оснований предполагать, что Аксаков первоначально имел в виду довести свою поэтическую летопись до событий гораздо более поздних, чем это им было сделано. Летом 1856 г., уже после издания «Семейной хроники» отдельной книгой, он писал своему знакомому, оренбургскому губернатору Е. И. Барановскому: «Далее писать было невозможно: я и так был уже очень стеснен близостью ко мне описываемых событий» (ЦГАЛИ, ф. 884, оп. 1, д. № 38, л. 2).

Настоящий «Отрывок из семейной хроники» свидетельствует о том, сколь серьезно было намерение Аксакова расширить рамки своего повествования и ввести в него даже события, связанные с четвертым поколением Аксаковых — т. е. детей писателя. «Отрывок» рассказывает о некоторых эпизодах детства и юности второго сына Сергея Тимофеевича — Григория Сергеевича (1820—1891), воспитанника Петербургского Училища правоведения, впоследствии оренбургского и самарского губернатора.

В 1848 г. Г. С. Аксаков женился на С. А. Шишковой. Незадолго перед тем, в 1847 г., С. Т. Аксаков подарил будущей невестке альбом и записал в него настоящий «Отрывок». Альбом открывался собственноручной записью С. Т. Аксакова: «Всякий клочок бумаги долговечнее самой долгой человеческой жизни. Ты сохранишь эти листы, милая Софья, и они сохранят тебе живое воспоминание прошедшего. С. Аксаков, 1847, декабря 27. Москва». Этот альбом хранится ныне в архивном фонде музея «Абрамцево». «Отрывок» был обнаружен в 1925 г. С. Н. Дурылиным и опубликован им в журнале «Огонек», 1939, № 18 (669), стр. 10—11.

Некоторые неточности, вкравшиеся в печатный текст, мы исправляем в настоящем издании по рукописи.

Первоначальное желание Аксакова продолжить работу над «Семейной хроникой» не было тайной для его близких друзей. Небезинтересно отметить, что после смерти писателя М. П. Погодин пытался уговорить членов его семьи, чтобы они «продолжали» «Семейную хронику», имея, вероятно, в виду, что будут при этом использованы не только материал их собственных наблюдений, но и черновые заготовки самого покойного писателя, которые могли сохраниться. Погодин писал: «Вот об чем я давно думал: вам надо продолжать «Семейную хронику» — хоть для себя, для семейства, для рода. Ольга Семеновна пусть рассказывает события со всеми действующими лицами, а барышни пусть записывают на

листах, перегибая пополам, чтобы после можно было вставлять, исправлять и т. п. Можно расположить описание по лицам или по событиям, корректурно. После обозначится, как лучше. Например, начать бы с Софьи Николаевны: как постепенно и почему переменялись чувствования, происходило охлаждение и т. п. Браки Надежды Тимофеевны и проч. Подумайте хорошенько об этом...» (Абрамцево, Рук. 11).

Из этой затеи ничего, разумеется, не вышло.

Стр. 412. *Весь в Неклюдовщину.* — Дед С. Т. Аксакова был женат на И. В. Неклюдовой и крайне не симпатизировал ее родне, которую иронически называл «Неклюдовщиной».

Стр. 415. *Томашевский Антон Францевич* (1803—1883) — приятель Аксакова, чиновник Московского почтамта, цензор, литератор.

НАТАША

С. Т. Аксаков начал писать эту повесть летом 1856 г. Она осталась незаконченной.

В 1886 г. в Полном собрании сочинений С. Т. Аксакова «Наташе» было предпослано предисловие И. С. Аксакова, в котором он писал: «В настоящее время нет уже более надобности скрывать, что эта повесть не вымысел и составляет один из эпизодов «Семейной хроники». *Болдухины* — те же Багровы, или те же Аксаковы, родители автора; *Василий Петрович* — он же Алексей Степанович, описанный в «Женитьбе моего отца» (т. е. «Женитьбе молодого Багрова». — *С. М.*) и в «Детских годах», он же и *Тимофей Степанович*, упоминаемый в тех рассказах, где автор уже снимает с себя псевдоним «Багрова». *Варвара Михайловна Болдухина* — та же Софья Николаевна и Марья Николаевна, которой образ с такою любовью воспроизведен ее сыном в «Семейной хронике» и в описании «Годов в гимназии»; для читателя небезинтересно в предлагаемой повести встретиться с этой замечательной женщиной уже в более зрелом возрасте, проследить дальнейшее развитие ее характера. «Наташа» — та самая «сестрица Наташинька», или «Надежинька», с которою уже знакомы читатели по прежним сочинениям автора. Ее женихи: *Солобуев* — сын владельца богатых чугунных заводов Вятской губ. Мосолов, а *Шатов* — Шишков, помещик Бузулукского уезда Самарской, тогда еще Симбирской губернии.

Рассказ Сергея Тимофеевича прерывается на том, как Шатов, уже получивший согласие 16-летней Наташи и ее родителей, уже объявленный женихом, при более близком знакомстве становится все менее и менее симпатичен невесте, и смущение начинает овладевать душою молодой девушки. Мы можем досказать эту историю: свадьба расстроилась, и Наташа, или Надежда Тимофеевна, вышла замуж за Солобуева, т. е. Мосолова. Но это замужество продолжалось недолго: года через четыре он умер, а потом года через два молодая вдова вышла в 1817 г. замуж за известного читателям «Семейной хроники» и «Воспоминаний» умного и образованного Григ. Ив. Карташевского, который был сначала воспитателем С. Т—ча в Казани, затем профессором в Казанском университете... Кажется, в намерении автора было рассказать замужество «Наташи» с «Солобуевым» и изобразить всю отвратительную картину семейных нравов в среде богатых помещиков — заводчиков Вятской губернии в начале нынешнего века, матерьялом для чего, кроме личных воспоминаний Сергея Тимофеевича, должны были служить и «*Воспоминания*», написанные нарочно, по его просьбе, самою «Наташею», или Н. Карташевской, уже в 1858 г. (С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. III, СПБ. 1886, стр. 1—2).

Упоминаемая И. С. Аксаковым рукопись Н. Т. Карташевской хранится в ИРЛИ, ф. 3, оп. 11, д. № 6. Рукопись называется «Наташа» и имеет подзаголовок: «Истинное происшествие (1811—1814). Действие происходит в Оренбургской и Вятской губернии».

Знакомство с рукописью Н. Т. Карташевской дает возможность предположительно судить о том, почему Аксаков не использовал рассказ сестры и не закончил повесть.

В рассказе Карташевской Наташа, выйдя замуж, попала в «недоброе семейство», до крайней степени развращенное богатством. Сам старик, добрый и горячо полюбивший Наташу человек, умер еще до свадьбы сына. Дочери его и их мужья представляли собою людей, в которых стремление к богатству уничтожило все человеческие чувства. Смерть мужа Наташи, не злого, но легкомысленного и избалованного человека, произошла при каких-то странных обстоятельствах. После его смерти вокруг Наташи начинается дикая борьба родственников за наследство, сопровождаемая обманом, воровством и вымогательством. «Деньгами воспользовались все, кроме Наташи, которая не получила своей законной части и не жалела об этом. На деньгах лежало какое-то проклятие: к кому они ни доходили, всякого постигало несчастье». Так заканчивается рассказ Карташевской.

Можно полагать, что если бы Аксаков воспользовался этим материалом, его произведение оказалось бы по духу своему близким к знаменитой главе о Куролесове из «Семейной хроники».

Но в процессе работы над повестью писатель столкнулся с теми же трудностями, какие он испытывал, когда писал «Семейную хронику». Речь идет о знакомой нам «оппозиции» со стороны некоторых членов семьи Аксакова, препятствовавших обнародованию многих автобиографических фактов, которые, по их мнению, могли бы бросить тень на всю семью. Еще в январе 1855 г., жалуясь своей племяннице М. Г. Карташевской на неимоверные трудности, которые приходится преодолевать в работе над «Семейной хроникой», Аксаков, в частности, подчеркивал «сильную оппозицию» со стороны ее матери, т. е. родной сестры писателя — Надежды Тимофеевны Карташевской. С грустной иронией писал тогда Аксаков, что хронику о дедушке и бабушке его сестра вытерпела, но когда дело дойдет до отца с матерью, да еще до мужа и до нее самой — то неизвестно, «что будет делать братец Сереженька с сестрицей Надеженькой» (ИРЛИ, 10.685/XVI с., л. 43).

С повестью «Наташа» дело обстояло еще более серьезно. Героиней задуманного произведения должна была стать сама Надежда Тимофеевна Аксакова-Карташевская. 17 сентября 1856 г. С. Т. Аксаков с горечью писал сыну Ивану: «Ты прав, милый друг, «Наташа» возбудила бы больше сочувствия и самого меня заняла бы сильнее, но я прихожу в отчаяние от невозможности написать ее. Правды говорить нельзя, а всякая ложь расхолодит мое воображение, и все дело мне опротивит. Я ничего не могу выдумывать: к выдуманному у меня не лежит душа, я не могу принимать в нем живого участия, мне даже кажется это смешно, и я уверен, что выдуманная мною повесть будет пошлее, чем у наших повествователей. Это моя особенность и в моих глазах показывает крайнюю односторонность моего дарования» (Л. Б., ГАИС, III/22 д).

Указанными обстоятельствами, видимо, и объясняется то, что повесть «Наташа» осталась незаконченной.

При жизни Аксакова были опубликованы лишь отдельные ее фрагменты. «Отрывок из очерков помещичьего быта 1800 годов» появился в 1857 г. в газете «Молва» (№ 1, стр. 3—4, и № 3, стр. 30—32). В марте 1859 г., за месяц до смерти писателя, другой отрывок из повести был прочтен его сыном Константином в публичном заседании Общества любителей Российской словесности. В 1860 г., уже после смерти Аксакова, он был напечатан

под названием «Отрывок из повести «Наташа» в журнале «Русская беседа» (т. II, стр. 1—20). И, наконец, полный текст повести увидел свет лишь в 1868 г. на страницах «Русского архива» (№№ 4 и 5, стр. 529—584) под заглавием: «Очерки помещичьего быта в начале нынешнего века». Текст этого издания воспроизводится в настоящем собрании с исправлением нескольких явных опечаток.

ОЧЕРК ЗИМНЕГО ДНЯ

Это последнее произведение С. Т. Аксакова, «диктованное им, — по словам его сына Ивана, — на одре мучительной болезни, за четыре месяца до кончины» (С. Т. Аксаков, Семейная хроника и Воспоминания, изд. 4, М. 1870, Предуведомление, стр. II). Очерк датирован декабрем 1858 г. Он был предназначен автором для газеты «Русский дневник», которую начинал издавать бывший студент Казанского университета П. И. Мельников, и в первом же номере этой газеты за 1859 г. появился в свет. Воспроизводим текст этого издания.

Стр. 465. *Малик* — заячий след на снегу.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

ОЧЕРКИ И НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Аксаков Сергей Тимофеевич

Собрание сочинений, т. 2

Редактор А. Ванслова

Оформление художника М. Серегина

Художеств. редактор К. Буров

Технический редактор В. Гриненко

Корректор Р. Гольденберг

*

Сдано в набор 26/V 1955 г.
Подписано в печать 17/X 1955 г. А-05198
Бумага $84 \times 108^1/_{32}$ — $31^3/_4$ печ. л. = 26,04 усл.
печ. л., 25,69 уч.-изд. л. + 1 вкл. = 25,74. л.
Тираж 150 000, Цена 11 р. 50 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности.
4-я тип. им. Евг. Соколовой.
Ленинград, Измайловский пр., 29.